

63 я 73  
9853



ПРОГРАММА  
ОБНОВЛЕНИЕ  
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РОССИИ

Средневековая культура

И

Город в новой  
исторической науке

Данное издание представляет собой авторскую работу, подготовленную в рамках программы «Обновление гуманитарного образования в России», которая осуществляется Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию и Международным фондом «Культурная инициатива».

Спонсором программы является известный американский предприниматель и общественный деятель Джордж Сорос.

**Стратегический комитет программы:**

ВЛАДИМИР КИНЕЛЕВ  
ВЛАДИМИР ШАДРИКОВ  
ВАЛЕРИЙ МЕСЬКОВ

ТЕОДОР ШАНИН  
ДЭН ДЭВИДСОН  
ВИКТОР ГАЛИЧИН

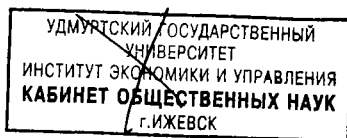
ПРОГРАММА  
ОБНОВЛЕНИЕ  
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РОССИИ

А.Л. ЯСТРЕБИЦКАЯ

# Средневековая культура и город в новой исторической науке

МОСКВА  
ИНТЕРПРАКС  
1995

ББК 63.3(4)  
Я 85



*85-430*

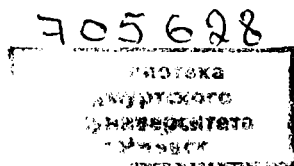
**Ястребицкая А.Л.**

Я 85 Средневековая культура и город в новой исторической науке. Учебное пособие. М.: 1995. — 416 с.  
ISBN 5-85235-227-6

В книге дано описание средневекового города не только как экономического, административного, социального, но и социокультурного феномена. Новое прочтение и критическое осмысление традиционной историографии, преодоление исторических мифов и успехи новой современной медиевистики показаны на богатейшем материале исследований зарубежных и отечественных ученых XIX и, в основном, XX века. Анализ опирается на многочисленные источники.

Предназначается для студентов всех гуманитарных специальностей и, прежде всего, историков.

ББК 63.3(4)



ISBN 5-85235-227-6

© Ястребицкая А.Л., 1995  
© Интерпракс, 1995.



## ***Введение***

---

# **ИСТОРИЯ В ДВИЖЕНИИ**

Это учебное пособие имеет целью приобщить читателя, и в первую очередь студентов гуманитарных вузов, к новому историческому знанию и к тому, как происходило его становление; ввести студента в лабораторию современной медиевистики с ее методами, тематикой, исследовательским инструментарием, дать представление о том, как менялось исследовательское сознание и рождалась новая историческая наука — социальная и культурологическая, достижением которой стало открытие Средневековья как особой культуры, особой цивилизации.

За отдельными именами, работами, направлениями зачастую ускользает представление об истории как науке и специфике приемов творчества историка. Историческая наука, пишет Марк Блок в своей знаменитой «Апологии истории» — «стремление к лучшему пониманию, следовательно — нечто, пребывающее в движении»<sup>1\*</sup>. Действительно, каждая эпоха предлагает нам новые оценки и решения, казалось бы уже давно решенных проблем.

Что составляет мотор этого движения? Конечно, только «плохая» история есть, по формулировке М.Н. Покровского, «политика, опрокинутая в прошлое», но именно тесная связь с современностью исторической науки, ее постоянное обогащение знанием настоящего, высвечивающим новые горизонты и порождающим новые вопросы, приводит к тому феномену, который поражает и раздражает обывательский здравый смысл — к тому, что история меняет свои представления и оценки прошлого.

И далеко не случайно, что тот глубокий качественный переворот в историческом сознании и историческом познании, под знаком которого прошла вся вторая половина нынешнего столетия, приходится именно на послевоенные десятилетия. Пережи-

---

\* Примечания приводятся в конце каждого очерка.

тые трагедии фашизма и национал-социализма, второй мировой войны, социальные потрясения («студенческие революции» в Европе и США) 60—70-х годов вызвали разочарование в глобальных теориях прогресса, научно-технической революции с разумно организованным обществом в качестве апофеоза прогрессивного линейно-поступательного развития, поставили европейское общество перед проблемой индивидуальной ответственности и роли человека в истории.

Именно реальной жизнью была подсказана важность изучения чувственного, эмоционального мира человека в различные периоды истории, массовых представлений и фобий, их влияния на идеологию, политику, институциональные устройства; официальной и народной религиозности; фольклорных традиций, ритуалов, также как и «мира» человека: питания, одежды, технических орудий труда, его языка, представлений и способов мышления. Именно эти темы стали предметом изучения исторической или культурной антропологии и входящей в ее поле истории повседневности.

Однако это постоянное движение исторической науки объясняется отнюдь не только наличием системы ее гибких связей с настоящим, но и постоянным видоизменением, совершенствованием метода подходов и приемов исторического исследования, протекающим постепенно, а временами скачкообразно.

Дело в том, что специфика «ремесла» историка, его профессии, определяется тем, что познание им прошлого носит непрямой характер: оно всегда опосредовано совокупностью памятников, которые мы именуем источниками. Это отнюдь не значит, что работа историка есть только описание источников или стоящих за ними фактов, «как они происходили». Историк всегда начинает свою работу, имея определенную презумпцию, порожденную его предшествующим опытом, его мировоззрением, его убеждениями. Сложность этого процесса познания прошлого состоит в том, что в нем также существует обратная связь: презумпция исследователя не есть нечто жестко обусловленное, рождающееся вне и до работы над источником, — напротив, она формируется и перестраивается в ходе этой работы и под влиянием ее. Изменение отношения к источнику и изменение общего подхода к истории идут, как правило, рука об руку.

История исторического ремесла проходит в своем развитии несколько этапов. На заре Нового времени история являла собой такую дисциплину, какой представляет историю и по сей день обыватель, — это была история пересказывающая, когда эрудиты пересказывали свидетельства старых хроник, соединяя (подчас

механически) одну хронику с другой. Деятельность выдающихся людей выступала главным объектом описания, а морализация по поводу их деятельности дополняла повествование. Нужно ли говорить, что ход истории предстал в ту пору совокупностью случайностей или же его закономерность искали за пределами собственно истории — в богословских построениях, осмысливавших существование человеческого общества телеологически — как направленное Богом к определенной цели?

Поворот был совершен в конце XVII в. и суть его состояла в рождении критики: от пересказывающего повествования к критическому изучению источника — таково содержание совершившейся перемены. Если презумпцией пересказывающей истории было доверие к источнику, то презумпцией историков нового поколения стало недоверие, потребность в критической проверке и уже на этой основе — выдвижение новых утверждений и «великих гипотез».

Критический метод, начало которому было положено в XVII в., составляет одно из основных средств исследования и современного историка. «В основе почти всякой критики, — пишет М. Блок в «Апологии истории», — лежит сравнение. Если до нас дошло два противоречащих рассказа об одном событии, то один из них по крайней мере является ложным, напротив, если два рассказа слишком совпадают между собой, весьма вероятно, что один из них заимствован из другого. Наиболее ценным оказывается совпадение источников различного типа, абсолютно между собой не связанных, скажем, письменных, археологических и иконографических свидетельств. Так — в принципе. На практике же не существует никаких готовых рецептов, никаких механических правил критического анализа. Поэтому нет ничего удивительного, что абсолютизированный критический метод привел в конечном счете к тому, что принято называть гиперкритикой: сомнению и отрицанию подверглись такие свидетельства, которые отнюдь не являются недостоверными. В ходе гиперкритики была отвергнута, скажем, реальность Троянской войны и вся ранняя история Рима была объявлена выдуманной, однако дальнейшее развитие науки показало, что в основе многих легенд и преданий лежали действительные события.

Параллельно развитию критики создавалось рационалистическое объяснение истории. Это естественно, ибо оба явления исходили из веры во всемогущество человеческого разума. Исторический рационализм проявлялся двояко: во-первых, в том, что деятельность отдельных лиц переставала рассматриваться с позиций морали и получала обоснование в их интересах; иными

словами, за кажущимся хаотичным движением людей открывалась борьба глубоких сил и интересов; во-вторых (и это, видимо, тесно связано с первым), в повышенном внимании к каузальным связям. Поиск ответа на вопрос, почему возникло то или иное явление, что было его причиной, из какого эмбриона оно выросло, становится одной из главных задач исторической науки в XVIII и XIX вв. Телеологический принцип был отброшен и заменен стремлением найти законы, по которым с внутренней необходимостью развивается человеческое общество, переходя от одной стадии к другой.

Развитие рационалистического метода сопровождалось весьма важным процессом в исследовательском сознании. Если критика имеет дело с изолированным фактом, который сопоставляется с другой группой фактов, то исторический рационализм предполагал абстракцию, «разумное упорядочение материала», ведущее к «обнажению силовых линий огромного значения». В то время как деятельность отдельных личностей выступает перед нами в неповторимом своеобразии, историческая наука, обнаруживая общее, родственное между явлениями, оказалась способной выявить закономерные тенденции в развитии общества. Общества оказались более схожими между собой, нежели индивиды, и пути их эволюции могли быть обобщены в определенные типы. Такова бесспорная заслуга рационализма историков XVIII и особенно XIX в., пытавшихся понять прошлое в категориях закономерности.

Развитие науки в XX столетии внесло, однако, ряд существенных нюансов. Прежде всего, оно изменило наше отношение к ньютоновской механистической закономерности, которую заменили понятием относительности и вероятности, и в силу «полубессознательного осмоса» эти принципы стали проникать и в историческую науку. Железная схема исторической поступи, как она представлялась Гегелю с его триадой (от несвободы к свободе и затем к осознанию свободы), была заменена гораздо более гибким (вероятностным) представлением о развитии человеческого общества: переход от одной формы общественного бытия к другой стал мыслиться не абсолютно predeterminedным, не знающим колебаний законом, но более или менее вероятным и потому допускающим разнообразные отклонения и вариации. Вместо ограниченного набора исторических форм общественного существования (в духе гегелевской триады) обнаружилось довольно большое количество различных «культур», «цивилизаций» или «регионов», сводимых в определенные типы по совокупности различных «признаков», «феноменов» или «элементов» — хозяйственных, политических, идеологических и прочих.

Само отношение к этим «признакам», «феноменам» и «элементам» цивилизации изменилось по сравнению с прошлым столетием. Для большинства исследователей XIX в. каждый из этих феноменов вел «самостоятельную» жизнь: он эволюционировал от более простых форм к более сложным и эта эволюция имела каузальное оправдание — происхождение институтов, обычаев, литературных или архитектурных приемов гипнотизировало исследователей. Но — и это весьма существенно — феномены цивилизации не соотносились с другими элементами той же цивилизации. Силовые линии исследования шли как бы только в вертикальном направлении, по методу филиации, — понятие системно-структурного единства общества в исторической науке XIX в. еще не существовало. Его становление связано с коренной перестройкой исследовательского сознания и рождением новой социальной истории — детища XX столетия.

Историки-медиевисты Марк Блок (1886—1944) и Люсьен Февр (1878—1956), основатели первых «Анналов» (1929—1939 гг.), были одними из тех европейских ученых, которые содействовали своими исследованиями утверждению социокультурного подхода к изучению истории общества; в нем они видели не механическое соединение несходящихся между собой областей бытия (и, соответственно, исследований), но определенную систему, составные части которой были взаимосвязаны — пронизаны общим принципом.

Именно эта концепция истории лежала в основе того прорыва в социальных, а затем и культурологических исследованиях, которым отмечены послевоенные десятилетия и который является «потрясающим достижением истории как дисциплины»<sup>2</sup> Французский медиевист Пьер Нора, оценивая состояние исторических исследований в 60—70-е годы, пишет: «Мы живем в эпоху взрыва интереса к истории. Постановка новых проблем, оплодотворенных привлечением идей из смежных дисциплин, а также распространение во всем мире исторического сознания, длительное время ограниченного пределами Европы, невероятно обогатили перечень вопросов, которые историки адресуют прошлому. Посвященная до недавнего времени рассказу о событиях, которые впечатляли современников, биографиям великих людей, политическим судьбам народов, история как дисциплина изменила свои методы, структуры и цели... Анализ экономики и общества сегодня расширился за счет исследований материальной культуры, цивилизаций и менталитета. Политическая история вплотную подошла к изучению механизмов власти. Использование количественных методов предложило более надежную основу для развития демографичес-



ких, экономических и культурологических исследований. Текст как таковой уже не правит бал: неписанные свидетельства — археологические находки, образные представления, устные традиции — расширяют пределы истории... В то же время ускорение исторического процесса привлекло внимание к противоположному явлению, обусловив более глубокое изучение постоянного и неизменного в истории общества<sup>3</sup>

Этот взрыв породил величайшие исторические труды, многие из которых возникли в недрах «Школы Анналов», ставшей мощным двигателем нововведений в исторической науке и инициировавшей развитие в 70—80-е годы одного из наиболее влиятельных в европейской историографии направлений, известного под названием «Новая историческая наука» (или «Новая социальная история»)<sup>4</sup>

Если же попытаться кратко определить суть того метода, под знаком которого осуществлялось движение исторической мысли (в частности, в интересующей нас области изучения европейского Средневековья) в наше, подходящее уже к своему рубежу XX столетие, то можно с полным правом сказать, что это — утверждение сознания единства общества, цивилизации как культурной целостности, отход от исключительно рационалистического, унаследованного от XIX в. истолкования деятельности людей, общественных групп и целых государств. Исследования историков-медиевистов, особенно в последние два десятилетия, обнаружили, что поведение людей подчас оказывается обусловленным не их действительными и осознанными интересами, а привычками, «обычаем», «ролями», которые укоренились в обществе, автоматизмами сознания (ментальностью), ценностными ориентациями. Современные историки все больше отходят от анализа прямого и осознанного содержания, запечатленного текстом. Стараются проникнуть за идеологическую сферу, присутствующую в каждом историческом памятнике, в его социально-психологический мир, выраженный бессознательно. Конкретно-исторические исследования в этом направлении показывают, что мнимое «случайное» и «иррациональное» в источнике имеет свою систему и с большой вероятностью выражает систему представлений людей о мире и о себе в этом мире, присущую данному обществу как культурной целостности.

Об этом последнем следует, пожалуй, рассказать подробнее.

«Культурная целостность» — как это понимать? И вообще, какой смысл вкладывают в данном случае социальные историки в само понятие «культура»? Обратимся к ним самим. Вот как раскрывает суть проблемы А.Я. Гуревич, один из ярких предста-

вителей этого направления изучения истории в отечественной науке<sup>5</sup>

История культуры в ее традиционном понимании, как это хорошо известно, ориентирована в целом на изучение исключительно «высших» достижений мировой культуры. Ее предмет — великие мыслители, художники, музыканты, шедевры искусства, выдающиеся философские и эстетические теории и т.п. Правомерность такого подхода к изучению культуры сама по себе сомнений не вызывает, пишет А.Я. Гуревич. Важно, однако, отдавать себе отчет в его ограниченности, недостаточности. Принимая же его безоговорочно, мы соглашаемся с тем, что культура творится немногими и является достоянием лишь части общества, тогда как остальная его часть — «серая масса» — как бы выводится за скобки и пребывает «вне культуры». Более того, при абсолютизации такого понимания культуры возникает непреодолимый разрыв между духовными свершениями человека, его общественным сознанием и его социальной жизнью. Во всяком случае, взаимосвязи между этими сферами человеческого существования проследить практически невозможно. «Их можно только примыслить», исходя из общих соображений типа «детерминированности» надстроечных явлений базисными процессами или «теории трех уровней» (экономика—социальность—культура). Новый подход к изучению культуры ориентирован на преодоление этого разрыва. В основе его лежит представление о культуре как системе ментальных (проявляющихся не осознанно) и социально-психологических установок человеческого поведения, присущих каждому обществу, специфических для данного общества и данной эпохи и являющихся достоянием каждого человека, к данному обществу (культуре) принадлежащего. В этом смысле, можно было бы сказать, пользуясь формулировкой А.Я. Гуревича, что культура — это «выражение способности человека придавать смысл своим действиям». Эта «способность» проявляется и в области художественного творчества, и в любом поступке любого человека в повседневной жизни, также как и в высших формах интеллектуальной деятельности. Вся социальная практика человека пронизана культурными представлениями и навыками, которые придают ей специфическую окраску и во многом определяют. В этом смысле — «нет человека вне культуры».

Подход к культуре как к системе общественного сознания и адекватных ей форм социального поведения воспринят историками от культурантропологии, равно как и метод изучения ее, фиксирующий внимание на человеке в группе, в обществе, во всех сферах его жизнедеятельности. Отсюда и название этого направ-

ления историко-культурных исследований — «историческая антропология». Культурологическое исследование такого типа есть вместе с тем и социальное исследование, поскольку оно исходит из того, что равно невозможно понять ни культуру вне ее социального контекста, ни само общество, «абстрагируясь от культуры как органического аспекта его функционирования». «Соответственно, изучение социальной истории надлежит понимать как «глобальную», всеобъемлющую стратегию, направленную на раскрытие и объективных и субъективных предпосылок исторического движения. Предмет изучения ориентированного таким образом культурологического исследования — «не памятники культуры и материальной жизни», взятые сами по себе, не «дух времени», не логические понятия, сконструированные философами, социологами и политэкономами..., но общественный человек и общество, понимаемое как сверхсложная организация людей...» «Мировосприятие и культурная традиция, религия и психология, пишет А.Я. Гуревич, — суть та среда, в которой выплавляются человеческие реакции на внешние стимулы, не говоря уже о том, что широкий пласт поступков вообще диктуется сложившимися идеалами и культурными моделями, а не материальными интересами». Речь идет, таким образом, как подчеркивает ученый, не о психологизации истории, а о понимании того, что любые факторы исторического движения становятся его действительными пружинами, реальными причинами, когда они пропущены через ментальность людей и трансформированы ею. Поэтому человек с его внутренним миром, в свою очередь исторически и культурно обусловленным, не может не стоять в центре исторического исследования.

Историко-антропологический подход позволяет освободиться от мистификации истории, по-новому взглянуть на природу закономерности, структуры, которые не возвышаются над человеком и обществом, но складываются в процессе живой и конкретной общественной практики людей. Именно в этом смысле «люди — творцы своей истории».

Введение «антропологического» измерения в историческое исследование привело к расширению границ предмета исторической науки, к освоению ею новых «территорий» (история женщин, детства, семьи, отношений родства), нетрадиционных проблем (рождаемость, смертность, миграции и т.п.) и соответственно новых методов анализа.

Социокультурные исследования ориентируются на соответствующие методики разных дисциплин, своими путями идущих к решению той же задачи — постижения «языка культуры». Это —

историческая поэтика, вскрывающая формы и методы художественного осмысления действительности и их изменения в ходе истории; семиотика, которая исследует знаковые системы, присущие данной цивилизации; этнопсихология, изучающая традиции видения мира в определенных человеческих общностях; культурология, «которая стремится завязать активный диалог с людьми других культур, расшифровать их логику, специфику их культурного самосознания и присущие этому сознанию противоречия»; историческая демография, особенно то направление, которое исследует демографические представления и демографическое поведение, и, наконец, история ментальностей. Российские историки-медиевисты следуют той ее ветви, которая ставит целью постижение «способов социального поведения людей, продиктованных их мыслительными и эмоциональными установками» и которая опирается в своей исследовательской практике на все вышеназванные направления, аккумулируя их конкретно-исторические достижения. На Западе она представлена работами Ж. Ле Гоффа, Ж. Дюби, Н. Дэвис, А. Борста, К. Гинзбурга и многими другими.

Перечисленные исследовательские подходы и направления на практике тесно переплетаются, переходя один в другой, их нелегко разграничить. Но все они ориентированы на одну и ту же «сверхзадачу» постижения неповторимого облика, специфики культуры, в условиях которой формируются определенные типы личностей, и создания «стереоскопической» картины исторического прошлого.

Такое — историко-антропологическое — понимание истории и смысла «ремесла» историка превращает историю из иллюстрации неотвратимого действия «универсальных закономерностей» в историю с «человеческим лицом», в науку, необходимую для нормального функционирования общественной жизни и отвечающую потребностям общества в самопознании.

Сегодня Новая социальная история испытывает известные трудности. С одной стороны, это неизбежные в развитии науки крайности и «издержки» роста, «встроенные дефекты», по выражению Л. Стоуна, социальных и культурологических исследований истории, ставшие очевидными к началу 80-х годов. Это — переоценка возможностей количественного метода; пренебрежение изучением государственной власти и политики как процесса; следование рационалистической модели при оценке массового поведения и народной культуры; недооценка роли события и личности в истории, значения случайности, случая; спад в последние десятилетия интереса к исследованию материальных факторов и социально-экономических структур и т.д. Но, с другой

стороны, это трудности, связанные с перегруппировкой сил перед необходимостью решения новых задач.

Важнейшей из них является постепенное смещение фокуса исследовательского внимания с социальной истории культуры на культурную историю и выработка соответствующих методик. Речь идет об уяснении того, каким образом культурная практика людей, социально-психологические и ментальные представления индивидов, групп, классов о социуме, праве, обычаях, труде, богатстве, отношении к смерти, жизни и т.п., оказывая воздействие на общество, моделирует социально-политические отношения, организацию материальной жизни и повседневности, социокультурную систему в целом. На первый план выходит изучение «микро-истории» отдельного человека и групп, но в ее взаимосвязи с «макропроцессами» — реконструкцией политики, общественного устройства, экономики, законов морали как факторов, в свою очередь воздействующих на мысли и формы поведения людей.

Одним из пробелов в изучении европейской истории, необходимость восполнения которого ощущается сегодня очень остро, является также исследование «среднего класса», «среднего звена» — бюргерства и буржуазии и таким образом истории города.

Включение российских историков в мировое сообщество ученых, их приобщение к передовым методикам современных исторических исследований, в частности, в области медиевистики, пришлось в целом именно на этот период трудностей, критики и пересмотра исследовательской стратегии и научного инструментария. Но для того, чтобы понимать перспективы, важно иметь представление и об уже пройденном современной наукой пути, о том конкретно-историческом пространстве, открытие и освоение которого собственно и делает возможной постановку новых задач и прежде всего важнейшей из них — разработку путей для решения задачи историко-культурного синтеза.

Именно этим руководствовался автор, стремясь раскрыть становление и реализацию нового, нетрадиционного видения истории и подходов к ее изучению на материалах одной из важнейших областей исторического знания — так называемой медиевистической урбанистики.

Эта книга — о средневековом европейском городе в историографии и в истории. Речь в ней пойдет о тех принципиальных изменениях, которые претерпели познавательные основы урбанистики во второй половине нынешнего столетия, о движении исследовательской мысли, о методологии и методиках современных социально-исторических и культурологических исследований европейского города. Одновременно — это также книга о новом



образе городской истории доиндустриальной Европы, как важнейшем итоге новых исследований.

Важность рассмотрения состояния современной исторической науки, ориентированной на познание прошлого в единстве его культурных и социальных процессов именно на материале исследований, посвященных европейскому городу, определяется рядом причин. Прежде всего, той ключевой ролью, которую играет город как пространственная, хозяйственная, социокультурная среда обитания, как одна из основных форм общественного существования человека в цивилизационных процессах и всемирно-историческом развитии в целом.

История города начинается задолго до Средневековья. Переход к городской цивилизации — один из решающих поворотных пунктов всемирно-исторического развития, осуществился в VII тысячелетии до н.э. в Восточном Средиземноморье и в первые века н.э. достиг Рейна.

Город — феномен исторический: его социокультурное содержание и его функции не оставались неизменными, равно как и формы урбанизма и пространственный ареал урбанизации, изменявшиеся по мере смены исторических эпох и цивилизаций. Город не только менялся сам в ходе цивилизационных процессов, но и воздействовал на динамику их движения. Именно в силу этой его природы и роли в развитии цивилизаций проблема города выступает как одна из фундаментальных проблем науки и прежде всего — исторической. Исследования в этой области так или иначе сопряжены с рассмотрением актуальных задач исторического познания в целом.

С этой точки зрения, аналитическое обобщение представлений современной науки о специфике и природе городского развития в Средневековье и на пороге Нового времени приобретает принципиальное значение для уяснения социально-культурного механизма движения мировой истории на одном из ее ключевых этапов, связанных с формированием европейской цивилизации — ее хозяйственных, социальных, культурных, политических основ, регионального своеобразия, ее этнокультурного облика, наконец. Во всех этих процессах роль города неоспорима. Задача современной науки состоит в конкретно-историческом раскрытии этой роли, ее осмыслении и выработке для этого адекватных подходов.

Обращение к современной урбанистике, однако, представляет особый интерес и с другой точки зрения. Дело в том, что средневековый город является одной из важнейших традиционных областей исследования в мировой исторической науке. Проблема города родилась на рубеже XVIII—XIX столетий одновременно с политическим возвышением и утверждением буржуазии, форми-

рованием ее государственности и идеологии. Она заняла в европейской историографии одно из центральных мест в полном согласии с буржуазно-либеральными мифами этой историографии — о прогрессе как однолинейном, поступательном развитии с буржуазным обществом в качестве его апофеоза, о средневековом бюргерстве как борце с феодализмом и прообразе класса буржуазии, унаследовавшей, в свою очередь, его доблести. Средневековый город и средневековое бюргерство, таким образом, оказывались как бы у истоков буржуазной эпохи европейской истории. Это обстоятельство предопределило неиссякаемый интерес традиционной историографии к истории города средних веков и начала прединдустриальной эпохи, как и политико-правовую направленность этого интереса, на многие десятилетия. Каждая генерация исследователей во всеоружии своих концепций и своего видения истории снова и снова обращалась к урбанистической тематике, подвергая пересмотру казалось бы незыблемые положения.

С этой точки зрения медиевистическая урбанистика, ее тематика, источниковый материал являют собой поистине гигантское опытное поле, на котором уже второе столетие пересматривается и совершенствуется арсенал познавательных средств и приемов исторической науки. Тем более важным представляется исследование ее состояния именно в наше время, когда мировая наука все более решительно порывает с эпистемологическим багажом, унаследованным от прошлого столетия, когда со все возрастающей силой заявляет о себе как на Западе, так и на Востоке движение за радикальный пересмотр основ познания исторического прошлого, представлений об исследовательском поле исторической науки и ее инструментарии.

Изучение средневекового города — неотъемлемая составная часть современной медиевистики. Все те принципиальные, методологические изменения, которые имели место на протяжении XX столетия, не обошли стороной урбанистику. Более того, самым своим становлением как социально-исторической дисциплины она во многом обязана этим изменениям в исследовательском мышлении, восходящим к началу века («прививка» к истории социологии, экономической истории). Во второй половине XX в. и особенно с начала 70-х годов городская история Средневековья становится одной из важнейших областей, где развернулась отработка новых методов структурно-системного анализа, историко-демографических, культурно-антропологических исследований, к которым обратились медиевисты. Именно в этом методологическом контексте разворачивается сегодня пересмотр одной из ключе-

вых проблем урбанистики (и исторической науки в целом) — о природе города, его месте в структуре европейского общества эпохи феодализма — начала Нового времени. Город и урбанизационные процессы в доиндустриальной Европе — эта тема занимает сегодня одно из центральных мест в мировой исторической науке.

Обращение к новым методам анализа, в частности, социокультурного, принципиальное изменение в целом источниковедческой базы исследований города имеет следствием открытие мощного пласта конкретно-исторической действительности — неизвестной прежде городской истории средневековой Европы, в том числе городского развития в Центральной Европе и славянских странах, реконструкция которого в так называемый «до- и раннелокационный» периоды стала возможной благодаря развитию и успехам археологии Средневековья.

Вместе с тем, новые подходы и направления изучения истории европейского города, накопленный современной наукой локальный материал, также как и возможности, которые открываются для более глубокого понимания сущности как самого городского феномена в средневековой Европе, так и современной ему социально-экономической и социально-культурной системы в целом, не стали еще предметом специального критического осмысления и обобщения ни в зарубежной, ни в отечественной науке. Данная работа — первый опыт в этом направлении.

Изложение в книге разворачивается как бы на двух уровнях. С одной стороны, задача заключается в том, чтобы дать целостную картину характера перемен, переживаемых этой исторической дисциплиной и исторической наукой в целом сегодня: о ее исследовательском инструментарии, открытиях и перспективах, основных направлениях и новых тенденциях изучения средневекового города, а с другой — акцентировать внимание на малоработанных и дискуссионных вопросах и темах истории европейского города. При этом автор не ограничивается описаниями и констатациями (в известной мере необходимыми и неизбежными в работе историко-методологического жанра). Анализ массового материала конкретно-исторических исследований, выполненный на сопоставимой, новой методико-методологической основе, позволяет сформулировать собственное понимание ключевых проблем, касающихся природы средневекового города и его ранней истории, принципов типологизации, специфики и форм средневековой урбанизации, ее изменения во времени и пространстве, особенностей семейных институтов и ценностных ориентаций

УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ  
КАБИНЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК  
г. ИЖЕВСК

17

705628

Библиотека  
Удмуртского  
государственного университета

в урбанизированной среде европейского средневекового общества.

В этой связи важно также подчеркнуть, что книга эта — не историографическое исследование в общепринятом смысле. Автор не ставит целью дать исчерпывающий компендиум существующих работ по истории европейского средневекового города.

Систематизируя и анализируя результаты локально-региональных исследований по городской истории, вводя в рассмотрение отдельные работы, посвященные общим вопросам европейского средневекового города, я стремлюсь не только обратить внимание на те возможности, которые открываются благодаря новому материалу для адекватного понимания сущности городского феномена и средневековой общественной системы в целом. Не менее важным мне представляется также раскрыть теоретико-методические основы современной медиевистики в их становлении, как результат длительного поступательного процесса изменения исследовательского мышления, смены парадигм и научных представлений. Реконструировать, а точнее, — «промаркировать» поступательную линию движения исторической науки, отмечая наряду с изменением исследовательского мышления и моменты, обеспечивающие «взаимосцепленность» и взаимообусловленность сменяющих друг друга этапов движения научной мысли и исследовательских генераций — это культурологическая постановка вопроса. Она тем более важна, что отвечает магистральной тенденции самой исторической науки сегодня. Одной из примечательных черт наиболее динамичных ее течений, в частности, «Школы Анналов», является как раз присущее ей хорошо отрефлектированное сознание своей укорененности в мировом историографическом процессе. Это находит выражение в стремлении к реконструкции историографических «истоков», концепций и методов конкретно-исторического познания, разрабатываемых сегодня в русле Новой исторической науки, или Новой социальной истории, как ее также часто называют.

Особое внимание в книге уделяется поэтому анализу тех работ и таких научных направлений, в которых наиболее полно и последовательно заявляет о себе именно поступательная динамика исследовательской мысли. Не претендуя на исчерпывающее описание состояния урбанистики в тот или иной конкретный период, такой подход позволяет зато рассказать о том, какой она «надеется стать» в дальнейшем своем развитии. При таком ракурсе наблюдения особенно рельефно проступает ускользающая обычно органическая «взаимообусловленность» исследовательских генераций, отдельных работ, направлений. Сменяя друг друга, отказываясь

от общих, генерализирующих теоретических построений предшественников, предложенных ими оценок и решений тех или иных конкретно-исторических проблем, каждое новое поколение исследователей вместе с тем так или иначе отталкивается от уже достигнутого, вбирает и развивает далее то, что в свое время было лишь обозначено или высказано в виде гипотез, оставленных современниками без внимания, но в иной социокультурной ситуации новой исторической эпохи, иной системы мышления и представлений вдруг обретает смысл и значение эпистемологического «прозрения».

Именно эта сторона и особенность движения исследовательской мысли привлекает прежде всего внимание автора. Ибо понять и адекватно оценить процессы, происходящие сегодня в медиевистической урбанистике, вряд ли возможно, не уяснив природы и характера перемен, стремительно осуществлявшихся в этой области исторической науки с конца 60-х годов. Этим ракурсом наблюдения определяется и принцип отбора и метод анализа урбанистических исследований, как и в целом — структура книги и ее хронологические рамки. С точки зрения ключевых проблем городской истории, привлекающих сегодня внимание историков-урбанистов и автора, содержание ее охватывает период от конца раннего Средневековья до начала Нового времени. Что же касается анализа историографического процесса как такового, то в центре внимания в данном случае находится широкий круг специальных урбанистических исследований, начиная с рубежа XIX и нынешнего столетия, включающий историографический материал 20—30-х годов и послевоенных десятилетий, также как и отдельные работы 70—90-х годов.

В книге анализируются материалы преимущественно зарубежных исследований истории европейского города в средние века и раннее Новое время. Это работы немецких, французских, итальянских медиевистов, польских и чешских историков-урбанистов и археологов, касающиеся как общих, так и конкретно-исторических проблем городского развития в Европе; публикации материалов международных конференций и симпозиумов по проблемам города. Привлекаются также при рассмотрении отдельных вопросов собственно городские документы, в частности, завещательные и нормативные акты.

Вместе с тем, в книге имеется специальный раздел, посвященный отечественной научной мысли в области урбанистики. Исходя из общей постановки проблемы работы в целом, автор акцентирует здесь внимание лишь на некоторых именах (Н.П. Оттокар) и направлениях (историко-археологическое изучение древнерусско-



го города), которые, на его взгляд, ярко демонстрируют как общности черт западного и восточноевропейского средневекового урбанизма, так и единство магистральной тенденции научного поиска в области исторических исследований\*.

В книге пять очерков. Посвященные разным аспектам изучения города и его истории они достаточно автономны. Вместе с тем очерки связаны единством концепции историографического анализа и подхода к интерпретации конкретно-исторического материала. В центре внимания первых двух очерков — становление современной урбанистики как дисциплины Новой социальной истории, ее исследовательский инструментарий, ее методологические обретения и перспективы развития. Третий очерк посвящен анализу двух новых тем, важных для понимания социокультурной природы средневекового города и городского развития в доиндустриальной Европе — это семья и структуры родства; малые города, как специфическая форма средневековой урбанизации. Четвертый и пятый очерки вводят в культурное пространство средневекового города; здесь рассматриваются особенности урбанизма в средние века, характеризуются основные компоненты средневековой и прежде всего городской культуры, некоторые аспекты истории повседневности. Если в предыдущих очерках автор стремится ввести читателя в исследовательскую лабораторию современного историка-урбаниста и показать, «как пишут историю сегодня», то здесь речь идет уже в основном о плодах этого труда, о вырисовывающемся в процессе социокультурного синтеза образе европейского средневекового города, как и Средневековья в целом.

Таким образом, очерки дополняют друг друга, обретая в рамках единого исследовательского контекста книги одновременно и единое звучание. В своей совокупности они дают, как надеется

---

\* Отечественная историография имеет глубокие традиции и в изучении западноевропейского средневекового города; она обширна тематически и многогранна. Широко известны и за пределами нашей страны новаторские исследования российских ученых об итальянских городах (В.И. Ротенбург, Л.А. Котельникова, М.Л. Абрамсон, Л.М. Брагина и др.), об урбанизации в Нидерландах и скандинавских странах (А.Н. Чистозвонов, А.А. Сванидзе), Англии (Е.М. Косминский, Е.В. Гутнова, Л.П. Репина и др.), на Иберийском полуострове (Л.М. Мильская, О.И. Варьяш, А.П. Черных, В.А. Ведюшкин), во Франции (Ю.Л. Бессмертный, Н.А. Хачатурян, Н.И. Басовская, Г.М. Тушина и др.). Урбанистические центры успешно работают в университетах многих российских городов. Как самоценный феномен отечественная историография западноевропейского средневекового города требует специального анализа ее методологических и методических основ, конкретно-исторических разработок и тенденций развития.

автор, достаточно цельное представление о процессах в мировой науке в области изучения истории европейского города сегодня, так же как и о сущности самого этого сложного и своеобразного явления европейской истории и культуры Средневековья.

### Примечания

<sup>1</sup> Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1986. С. 11.

<sup>2</sup> Стоун Л. Будущее истории//Thesis. Научный метод. Т. II. № 4. М., 1994. С. 160.

<sup>3</sup> *Le Goff J. et Nora P. Faire de l'histoire.* Т. 3. Р., 1974; цитируется по: Стоун Л. Будущее истории. С. 160.

<sup>4</sup> Гуревич А.Я. Исторический синтез и «Школа Анналов». М., 1993; *La Nouvelle histoire.* Р., 1978.

<sup>5</sup> Гуревич А.Я. К читателю. Культурная антропология//Одиссей. Человек в истории. Исследования по социальной истории и истории культуры. М., 1989. С. 5—10. См. также публикации материалов в выпусках этого же ежегодника за 1990, 1991, 1993, 1994 гг.; Гуревич А.Я. Загадка «Школы Анналов». «Революция во французской исторической науке» или Об интеллектуальной ситуации современного историка//*Arbor mundi: Мировое древо. Международный журнал по теории и истории мировой культуры.* Вып. 2. М., 1993. С. 168—178; *Chartie R. Histoire et sciences sociales. Un tournant critique?*//*Annales E.S.C.* 1988.

## **КАК ПИСАЛИ ИСТОРИЮ СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДА В ПРОШЛОМ И КАК ЕЕ ПИШУТ СЕГОДНЯ**

Наша задача — раскрыть эту тему в широком историографическом контексте, отражающем движение исследовательской мысли в европейской урбанистике, начиная с рубежа XVIII—XIX столетий, когда, собственно, родилась проблема средневекового города и когда в ходе дискуссии о его происхождении, природе и месте в мировой истории, положении в средневековом обществе, был, по существу, сформулирован тот круг ключевых вопросов, от подхода к решению которых во многом зависели направления и тематика его изучения на протяжении многих и многих десятилетий.

Но реконструируя общую историографическую панораму европейского города, центральное внимание мы вместе с тем уделим ее этапу, начало которого приходится на первые послевоенные десятилетия, когда оформляется средневековедская урбанистика как социально-историческая дисциплина. В этой связи прослеживается, как постепенно происходило вытеснение в исследовательском сознании традиционных, восходящих к историографии XIX в., представлений о средневековом городе. Внимание при этом акцентируется на критическом анализе общих концепций истории средневекового города, выдвинутых западными средневековедом в ходе исследований 60—80-х годов. В этом контексте прослеживается и зарождение новой стратегии городских исследований, ориентирующихся на социокультурный синтез. Разработка ее в 80-е годы явилась логическим результатом принципиального расширения горизонта наших знаний в предшествующие десятилетия о средневековом городе как историческом феномене и одной из форм общественного бытия в феодальной Европе. Таким образом, речь

здесь пойдет о радикальном изменении эпистемологии изучения средневекового города со второй половины XX столетия и новом образе города доиндустриальной эпохи.

## СМЕНА ПАРАДИГМ

Проблема средневекового города родилась на рубеже XVIII и XIX вв. как политическая проблема. Она получила последовательное выражение в работах французских историков О. Тьерри и Ф. Гизо, резко противопоставивших средневековый город феодальному сословию. Само происхождение горожан отличало их, по мысли Тьерри, от феодалов: горожане Франции происходили от галлоримского населения античных муниципиев, тогда как феодалы были потомками завоевателей-франков. Именно горожане, сплоченные в своем единстве, поднялись против феодального строя и в ходе так называемых коммунальных революций, рисовавшихся Тьерри и Гизо как прообраз буржуазной революции, в конце XVIII в. пробили брешь в «старом порядке».

Такая концепция порождала два следствия: во-первых, город мыслился как неизменная категория, этнически и политически единая, существовавшая вне времени — в Античности, в Средневековье и в Новое время; во-вторых, город мыслился как категория, абсолютно противостоящая феодальному началу и потому определяемая лишь в правовом и в политическом аспектах, но отнюдь не в экономическом — ибо в экономической сфере отличие средневекового города от средневековой деревни оказывалось гораздо менее бросающимся в глаза, нежели их различие в сфере права и политики.

Немецкая историография начала XIX в., естественно, расходилась с Тьерри в трактовке происхождения городов: уже у К. Эйхгорна появляются элементы вотчинной теории происхождения средневековых городов, получившей затем развитие в трудах В. Арнольда и К. Нича. Но родившийся из вотчины город немецких историков первой половины XIX в. был подобием нового города (не случайно Арнольд насчитывал в немецких городах классического Средневековья сотни тысяч жителей) и правовая обособленность также и в немецкой историографии оказывалась основной отличительной чертой городского строя. Соответственно и в философской конструкции средневековый город занял то же место, какое ему принадлежало в построениях Тьерри: город представлялся Гегелю средоточием тех новых начал, которые противостояли

средневековым порядкам и которые подготовили рождение нового, то есть буржуазного общества.

Вместе с тем город рисовался средоточием равенства, что особенно было подчеркнуто сторонниками так называемой общинной теории происхождения средневековых городов, выводивших город — как Г. Маурер и О. Гирке — из крестьянской общины-марки.

Коренные изменения в подходе историков к вопросу о природе средневековых городов связаны с развитием позитивистской историографии конца XIX в., с ее интересом к явлениям экономической жизни и с ее попытками приложить к исследованию Средневековья статистические методы. Работами К. Лампрехта и его сподвижников был внесен «деловой» подход в изучение хозяйственной жизни Средневековья и, в частности, средневековых городов. И сразу же обнаружилось коренное отличие между городом эпохи феодализма и городом Нового времени — отличие, которое начиналось с численности населения и со своеобразия организации производства и торговли. Вместе с тем подход позитивистов поставил под сомнение романтические картины городского равенства и общинного единства средневековых горожан, якобы единым фронтом противостоящих светским и церковным феодалам. Средневековый город перестал рисоваться подобием города Нового времени и одновременно его этическим идеалом, как это было в романтических концепциях Тьерри и Гегеля.

Но если город Средневековья не тождествен городу Нового времени и не является городом «вообще», некоей неизменной, сохраняющейся из века в век политико-правовой категорией, то неминуемо должен возникнуть вопрос о своеобразии средневековых городов Европы, об их отличии от городов других эпох и других регионов, также как и проблема город — «сельский мир» (нем. Land), их взаимодействия и соотношении.

Уже Адам Смит, опережая свое время, высказал мысль о коренном отличии античных и средневековых городов, но более тщательное рассмотрение типологии города связано с именами В. Зомбарта и М. Вебера, писавших уже на переломе от XIX к XX в.

Заслуга В. Зомбарта, прежде всего, в прояснении понятия «город». Он сделал то, что до него представляли не особенно ясно — выделил как самостоятельные объекты исследования город в хозяйственном смысле и город в политико-административном отношении. В рамках экономического понятия город он подчеркнул различие между «городом потребляющим» и «городом производящим», который, в свою очередь, мог выступать как ре-



месленный город с локальной или дальней ориентацией рыночного сбыта и как «торговый город». Это понятийное уточнение имело ни с чем не сравнимое значение именно для изучения хозяйственной и социальной сущности города. Вместе с тем оно заостряло внимание на различии между отдельными средневековыми городами, что под влиянием бюхеровской генерирующей теории городского хозяйства практически игнорировалось.

Вебер, хотя и опирался на зомбартову городскую типологию, но имел совершенно иной отправной пункт. Экономическое интересовало его не само по себе, но в его связях и отношениях к остальным сторонам общественного бытия. В центре внимания Вебера в сущности — административно-правовой облик города, также как и те формы городской жизни, в которых наиболее отчетливо обнаруживала себя общественная структура города.

Однако сама по себе экономическая или административно-политическая характеристика не создает, по Веберу, городскую общину в полном смысле слова. Понятие города складывается, полагал он, из нескольких конкретных признаков: укрепление, рынок, суд и, хотя бы частично, собственное право, «внутренняя связь» и вытекающая из этого по крайней мере частичная автономия и автокефальность, то есть участие горожан в управлении. Чем полнее осуществляются эти признаки, тем ближе поселение к «истинному городу».

Таким образом, если типология В. Зомбарта пробила сокрушительную брешь в господствующих представлениях об унифицированности структуры средневекового городского хозяйства и общества, то «городская социология» М. Вебера убеждала в существовании взаимосвязи между городскими хозяйственными, социальными и политическими структурами. Однако самым важным, пожалуй, было все же то, что оба исследователя не рассматривали больше город как нечто застывшее и неизменное в своей сущности. Они подчеркивали его динамичность и тесную взаимосвязь изменений его хозяйственной и социальной жизни с экономическим и социальным развитием в целом.

Тем самым на передний план выдвигалась проблема средневекового города как явления исторически обусловленного. Типологизирующий подход к городской истории, выделение политико-административно различающихся разновидностей города означали, по существу, постановку вопроса о своеобразии средневекового города — вопроса, который надолго определил развитие урбанистики.

## ВЫРАБОТКА ДЕФИНИЦИИ ГОРОДА

В самом деле, именно поиск своеобразия средневекового города — и более того, своеобразия внутри средневекового города — составляет характерный признак современной историографии проблемы. Здесь прежде всего вырисовываются две методологические задачи. Первая — понятийная. Чрезвычайное внимание к разработке понятийного аппарата вообще характерно для исторической науки XX в. Методической максимой ее является представление о научном понятии как инструменте, призванном уточнять исследуемое историческое явление. Сегодня историки не считают возможным бездумно пользоваться термином «город» — как и многими другими понятиями, важными для средневековой истории, но стремятся выявить смысл, вкладываемый в это понятие в ту или иную эпоху\*. Можно отметить существование двух, на первый взгляд противоположных, в действительности же необходимо дополняющих друг друга подходов к этой проблеме: во-первых, многим исследователям свойственна тенденция абсолютизировать те понятия, которыми оперировали сами современники, и тем самым ограничить понятийную проблему выяснением содержания терминологии средневековых источников; во-вторых, активно предпринимаются попытки приложить к Средневековью понятия, выработанные теми научными дисциплинами, которые изучают положение современных городов. Порождаемые тем и другим подходами трудности очевидны: абсолютизация средневековой терминологии заводит в тупик, поскольку выясняется, что основные понятия, такие как *burg*, *vic*, *civitas* и т.п., неоднозначны и сами по себе не содержат объективной характеристики города, тогда как географическое понятие города и территориально-функциональный метод исследования поселений, распространившийся с 70-х годов XX в., остается скорее социологической абстракцией, нежели действенным средством изучения средневековой реальности. Решение проблемы лежит, видимо, в тонком сочетании данных, извлекаемых из анализа средневековой терминологии, с априорными понятиями, которые историк получает из философии и социологии, из изучения современной экономики и из иных «неисторических» областей знания. Только соединение терминологического анализа с разработанными наукой общими категориями может дать убедительную основу для построения понятия «средневековый город». Пока, однако, мы сталкиваемся в практике со множеством противоречащих друг

---

\* См. Очерк III. С. 195—200.

другу или во всяком случае расходящихся между собой его определений.

Городская стена — типичный признак средневекового города, и в представлениях современников нередко стиралось различие между городом как особым типом поселения и всяким иным поселением — бургом, обнесенным крепостной стеной. А между тем были и города, не имевшие крепостных укреплений, и крепости, не являвшиеся городами. Надежнее критерия городской стены выглядит другой критерий, лежащий, так сказать, в сфере правового самосознания средневекового человека: зрелый город — это то, что оформлялось как город и имело свое городское право. Но городского права не было в крупнейшем из европейских городов — в Константинополе, да и не в нем одном. Средневековый город мог быть административным и культовым центром округа или страны, но административные и культовые функции также не выступают общеобязательным критерием городской жизни, как и, скажем, наличие специального рыночного права или коммунального самоуправления. Административные функции могли осуществлять, хотя и в редуцированном объеме, и монастыри, и княжеские дворы, и промышленные села позднего Средневековья.

Идеальная модель и жесткое понятие средневекового города были выработаны в свое время на примере сложившихся городов высокого (классического) и позднего Средневековья, таких как Любек, Нюрнберг или Кёльн, обладавших широкой автономией, многообразием функций, мощным экспортным производством и торговлей, многочисленным населением с сильно дифференцированной структурой. Однако эти города, демонстрирующие «целый пучок» критериев и признаков классической городской жизни, являли собой исключения в безбрежном море мелких, подчас с ограниченными функциями и правами, зачастую экономически слабых городов. Характерно, что основную массу городских поселений, основанных в позднее Средневековье, составляли города именно такого типа.

Многообразие городской действительности и долгий, сложный путь становления европейского средневекового города, открывшиеся благодаря локально-региональным исследованиям, убеждали в непригодности общезначимого, базирующегося на строго фиксированном наборе формальных критериев понятия «город» и в необходимости использования комбинированного и одновременно «подвижного» (*variablen*) определения. Складывалось впечатление, что «гибкое» понятие позволит учесть как индивидуальность отдельного города, так и локальное многообразие го-

родских форм и их исторические изменения. Эта тенденция к феноменологическому, описательному понятию города отчетливо обозначилась в историографии уже к концу 60-х годов. Открывая действительно широкие возможности для изучения отдельных городов и специфики урбанизационных процессов в различных исторических областях и землях, этот подход чреват, однако, серьезной опасностью растворить в локальном разнообразии то специфическое, что присуще в целом городскому феномену.

Если рассматривать средневековый город как экономическую категорию, как центр средоточения определенных производственных функций, то его можно определить как поселение, в котором основная или, во всяком случае, значительная часть жителей занята не аграрным производством, но всякого рода ремеслами, промыслами (солеварение, промысловый лов рыбы, горное дело) и торговлей. Разумеется, подчас встречались поселения, именовавшиеся городами, где жители не были заняты в сколь-нибудь серьезной степени ремесленно-промыслово-торговой деятельностью. Напротив, во многих областях, и особенно часто в Англии (как и в Центральной Европе), местечки негородского типа являлись ремесленно-торговыми центрами, а интенсивно развитые промыслы сплошь и рядом складывались за пределами городских стен.

«При зарождении и на всем протяжении жизни городов в Европе и в других регионах важнейшей была и оставалась одна и та же проблема: речь идет о разделении труда между деревней и городскими центрами, разделении, которое никогда окончательно не определялось и неизменно вновь и вновь возобновлялось. В принципе, в городе располагались торговцы, сосредоточивались функции политического, религиозного и экономического управления, ремесленное производство. Но только в принципе, ибо такое разделение труда продолжало колебаться, склоняясь то в одну, то в другую сторону»<sup>1</sup>

И все-таки, если понимать это определение не абсолютно, а статистически, как относящееся к большинству городов развитого европейского Средневековья, оно окажется наиболее продуктивным. Отделение ремесла от сельского хозяйства в относительно заметном масштабе было сопряжено с новым типом массовой деятельности (конечно, единичных торговцев и ремесленников можно было найти и в догородской Европе, у германцев эпохи Тацита), новыми формами социальной организации, новым миро-созерцанием. Все это рождалось в рамках того загадочного феномена, который именуется средневековым городом, и все это выросло здесь не благодаря крепостным укреплениям, рыночному праву, городской «общинности» (общинные начала были прису-

щи и многим иным институтам Средневековья), но в результате хозяйственной метаморфозы, заставлявшей порывать с традиционными формами бытия, устойчиво державшимися в окружавшем города море аграрного мира<sup>2</sup>

Другая методологическая задача, имеющая предварительный характер, состоит в принципиальном отказе от одностороннего решения коренных проблем. Показательным примером перестройки историографии в связи с отказом от однозначного подхода к действительности является судьба вопроса, остававшегося в течение десятилетий наиболее дискуссионным во всей проблеме средневекового урбанизма. Речь идет о происхождении средневековых городов

Историками XIX в., как мы видели, было выдвинуто много объяснений происхождения городов. «Романтическая» историография поддерживала прежде всего тезис о городском континуитете, то есть о развитии средневековых городов из уцелевших элементов римского муниципального строя. Другие точки зрения отвергали континуитет и выводили средневековые города из вотчинных учреждений, из общины-марки, из купеческих поселений, из епископальных или монастырских центров. Объяснения предлагались во множестве, но каждое из этих объяснений было исключительным и однозначным: либо континуитет, либо общинная теория, либо поселение купцов. И, естественно, против каждой из этих теорий можно было всегда выдвинуть обильный фактический материал, поскольку всегда можно было нащупать города, возникшие заново и не восходящие к античным центрам, или города, не выросшие из купеческих поселений, или — не имеющие отношения к сельским общинам.

Для современного этапа развития историографии показателен принципиально иной подход: исследователи признают наличие многих факторов, определявших становление средневекового города: не континуитет или община, или купеческое поселение, но континуитет и община, и купеческое поселение, и церковно-монастырские центры, и княжеская вотчина, и рыночный посад — все это оказывается источником роста городов<sup>3</sup>. Но таким образом историческая наука сталкивается с новой опасностью: будучи определяемо действием множества факторов, возникновение городов представляется, по сути дела, исторической случайностью. Если город мог быть вызван к жизни добрым десятком разнородных экономических, политических, военных, церковных, культурных причин, то он перестает быть исторически закономерным феноменом. Между тем, закономерность его появления, ускользающая от внимания исследователей, ограничивающих свое на-

блюдение отдельными, разбросанными на огромных пространствах городскими поселениями, очевидна уже в силу того, что становление города в Европе (равно как и предшествующий этому упадок римской муниципальной системы) приходится на определенный и хронологически весьма ограниченный промежуток времени: как в свое время к VI—VII вв. практически исчезли римские города и те, что лежали на завоеванной варварами территории, и те, что казались надежно укрытыми за границами Византийской империи, так в X—XI вв. вся Европа стремительно покрывается сетью поселений совершенно нового типа. Следовательно, нужно сделать еще один шаг вперед и сказать, что становление средневекового города в Европе (как и упадок римского муниципия) было вызвано не независимым и спонтанным развитием вотчины, общины, рыночного поселения, монастыря или упадком античной *civitas*, но той общей экономической, социальной, политической и культурной ситуацией, которая создалась на исходе раннего Средневековья. Предметом анализа должны стать не столько конкретные судьбы изолированных поселений, давших начало будущим городам, но общая обстановка в Европе IX—X вв. с ее ростом населения, отделением ремесла от сельского хозяйства, расширением хозяйственных и культурных контактов; обстановка, требовавшая возникновения нового типа поселения, способного выполнить новые политические, социальные, административные, экономические и культурные задачи и именно в этой обстановке все — и развалины античного муниципия, и замок феодала, и монастырь, и епископская резиденция, и поселение купцов, и даже в определенных благоприятных условиях сельская община — могло превратиться в город. Иными словами, многообразие конкретных путей, фиксируемое исследователями города, должно сочетаться с пониманием того факта, что эти многообразные пути смогли осуществиться только потому, что им благоприятствовала, более того, их вызывала к жизни создававшаяся в IX—XI вв. социополитическая и социоэкономическая ситуация.

Стремление так или иначе поставить возникновение городов в связь с общими структурными процессами в Европе на рубеже раннего и «высокого» (классического) Средневековья уже достаточно ощутимо в общих работах 60—70-х годов. Авторы их в целом сходились в признании того, что город рождается в условиях хозяйственного подъема и что решающие импульсы исходили не от «возрождающейся» торговли, как утверждал в свое время А. Пиренн, но из «деревни», которая после разрушения римской городской культуры в течение многих веков являлась, по выражению Ж. Дюби, «ведущим сектором исторического развития в

Европе». Складывание городского рынка и городского менового хозяйства происходило в неразрывной связи с процессами, протекавшими в аграрной сфере — с демографическим ростом деревни, стимулировавшим внутреннюю колонизацию и расширение площадей пахотных земель, с постепенным подъемом доходности сельскохозяйственного производства, ослаблением древней (полурабской и рабской) зависимости и повышением мобильности сельского населения; втягиванием крестьянства в рыночные отношения, включением в торговлю минеральных и т.д. Рост населения ставил сельскую местность перед необходимостью оттока избыточных рабочих рук в города. С другой стороны, население вики и рыночных мест становилось потребителем сельскохозяйственной продукции, а в самих городах развивалось производство предметов повседневного спроса.

Подчеркивая эти взаимосвязи, французские медиевисты (Ж. Дюби, П. Тубер, Р. Фосье), в отличие от своих немецких коллег (в частности, Э. Эннен), акценты, однако, расставляли иначе. Мощный размах урбанизации X/XI—XII столетий в Западной Европе, по их мнению, имел в основе прежде всего социально-политические изменения, которые сопровождали распад раннесредневековых монархий и которые нашли отражение в формировании новой сеньориальной знати — рыцарства, шатленов. Процесс, по радикализму связанных с ним общественных перемен, как утверждает, в частности, Ж. Дюби, сопоставимый с революционным. Опираясь на вновь построенные замки и бургы, новый «социальный класс» узурпировал у королевской власти военно-политические и судебно-административные права.

Городской образ жизни, «на первых порах трудно ощутимый», по выражению П. Тубера, выкристаллизовывается в ходе этого мощного процесса «инкастелламенто» (от лат. *castrum*, *castellum* — крепость) — распространения укрепленных замков. Город воспринимается округой и различается от других поселений, полагает Ж. Дюби, прежде всего как место средоточения, как ядро суверенной власти. Она возвышает его и обосновывается в нем. Отсюда — акцентировка политико-административного значения средневекового города в противовес его экономической роли, которая на раннем этапе его истории, как считают названные ученые, выражена существенно слабее.

Являясь средоточием различного рода власти — религиозной, политической, военной — город осуществлял (будучи сам еще небольшим и полуаграрным) господство над жителями соседних сельских округов, благодаря чему значительная часть плодов их труда направлялась к городским центрам. Так город рос долгое

время «как охраняющий паразит» (Ж. Дюби): поглощение и людской силы и материальных средств для поддержания собственной экспансии казалось «платой за услуги», которые он оказывал деревне и которые складывались из функций управления и защиты. Однако пришло время, когда городские центры и новые районы, где они были заложены, сделались достаточно сильными, чтобы сконцентрировать в своих руках все результаты прогресса и стать истинными хозяевами, превратив деревни в «спутников и подчиненных». Завершение этого процесса в Северной Франции Ж. Дюби датирует концом XII — началом XIII в., на полтора века раньше он завершился в Северной Италии и приблизительно на век позднее — в Германии.

Таким образом, рассмотрение проблемы происхождения средневекового города в длительной временной перспективе и в контексте социополитических и социокультурных процессов в Европе рубежа раннего и «высокого» (классического) Средневековья позволило, и это особенно важно подчеркнуть, поставить вопрос о диалектике взаимодействия экономического и социально-политического факторов в становлении и развитии средневековой урбанистики. Системный подход к проблеме городского феномена в средневековом обществе, выдвинутый французскими медиевистами, нашел последователей среди историков-урбанистов, в частности, в центрально- и восточноевропейских странах.

## ГОРОДСКИЕ ФУНКЦИИ

До тех пор, пока представления о городе Средневековья строились по образцу города Нового времени, на первом плане перед исследователями оказывался вопрос о происхождении городских учреждений: рассматривались ли они как заимствованные из римской действительности или возникшие на германской — вотчинной, общинной либо купеческо-рыночной основе. В основе научных дискуссий XIX в. лежит вопрос о том, из каких источников, из каких «строительных материалов» был создан город — тогда как самая структура сложившегося города оставалась за горизонтом исследования, считалась само собой разумеющейся. Как только встал вопрос о своеобразии средневекового города, акценты переместились: дискуссия о генезисе города была решена в современной историографии наипростейшим путем — путем объединения всех бывших в наличии теорий происхождения городов, решена и как бы отодвинута в сторону. Центральное место



занял вопрос о функциях города. У этого вопроса, в свою очередь, обнаружилось также несколько аспектов.

Первый и центральный аспект, без которого невозможно понять значение средневекового урбанизма, это место города в феодальной системе: как функционирует он в лоне феодальной системы? Каково место горожан, ремесленников, купцов в мире «воинов» (рыцарей) и крестьян, в мире, «основанном на войнах и земле»? Как сочленяется городская экономика, городское общество, городская культура, городская ментальность с феодальным способом производства, с вассально-феодальной системой, с феодальными ценностями? Следует ли определять город как феномен предкапиталистический, подтачивавший феодализм изнутри, или как элемент, как фазу самой феодальной системы? И можно ли говорить о существовании города «феодального»?

Для исследователей, писавших в XIX в., особенно в его начале, проблемы эти, как будто, не представляли никаких сложностей: город мыслился антитезой феодального порядка, отрицанием феодализма в экономическом, правовом и культурном плане. Но уже позитивистская историография выявила такие хозяйственные черты городской жизни, которые отнюдь не противостояли, а, напротив, соответствовали средневековому образу жизни; это относилось в первую очередь к городскому хозяйству, носившему мелкотоварный характер. Правда, еще и в XX столетии распространялись теории, подчеркивавшие предпринимательские, крупнокупеческие начала в городской жизни, если не во всех, то во всяком случае крупных городах Средневековья (во Фландрии, Италии, в некоторых немецких областях); такую теорию, в частности, развивал А. Пиренн<sup>4</sup>. Однако постепенно стало выясняться, что под разряд предкапиталистических городов попадают далеко немногие средневековые центры и, более того, что многие явления средневековой городской жизни, даже средневекового городского права, отлично вписываются в общую систему феодального мира. Эта точка зрения представлена в западной историографии прежде всего работами О. Бруннера. По мысли его, городская община — лишь одна из особых форм европейского феодального общества, одна из «локальных властей» — «четвертая власть», по выражению Б. Шевалье: «Средневековая урбанизация складывается и развивается в среде, раздираемой противоречиями между территориально-монархическим государством и локальной автономией. Когда все уже были на месте, город явился как четвертая власть бок о бок с королем, церковью, властительницей душ и сердец, и сельской аристократией...»<sup>5</sup>. Даже столь специфический для городского права принцип как «Городской воздух делает свободным» рассмат-

ривается в современной историографии не как антифеодальный феномен, а как особый случай всеобщего принципа феодального иммунитета. Такой пересмотр традиционных воззрений имеет серьезные основания: средневековый город был, несомненно, элементом феодальной общественно-экономической формации и черты феодальной общественно-политической системы должны были так или иначе отразиться на нем. Но, подчеркивая это обстоятельство, что можно понять как нормальную реакцию на «романтические» крайности исследователей прошлого столетия и их последователей в этом вопросе в начале XX в., О. Бруннер, в частности, и его сторонники, в свою очередь, впадают в другую крайность и не видят двойственности природы средневекового города. Будучи несомненным порождением Средневековья, принадлежа десятками своих черт феодальному порядку (и натурально-хозяйственным принципам своей экономики, и социальной природой своего патрициата, и характером своей земельной собственности, и средневековыми основами своей культуры), город вместе с тем диалектически носил в себе отрицание феодализма. Таким образом, решение проблемы лежит, видимо, не в замене романтических воззрений Тьерри «феодальной» концепцией Бруннера, а в уравновешенном сочетании тех и других принципов.

Второй аспект заключается в выяснении того, когда и как создается та совокупность функций, которая может считаться необходимой и достаточной для определения данного типа поселения как городского. Иначе говоря, мы возвращаемся снова к вопросу о генезисе городов, но возвращаемся к нему уже на совершенно иной основе. Речь идет не о том, чтобы выяснить, из каких корней, каких истоков образовались городские поселения, начинающие свой путь с IX—XI вв., но чтобы провести грань между городами и предгородскими центрами раннесредневековой Европы. Исследования, развернувшиеся в послевоенный период (главным образом археологические — на территории Центральной Европы, Скандинавских стран, в областях расселения западных славян, в юго-восточной Европе) обнаружили существование в VII—X вв. широкого круга предгородских поселений самой различной природы. Иные из них носили явно характер укрепленных пунктов, но в других столь же отчетливо проступали черты ремесленных поселений, подчас связанных в своей хозяйственной активности с весьма отдаленными местностями.

Решение этой проблемы лежит, по всей видимости, в той трактовке ситуации, о которой шла речь выше. Вся экономическая, политическая и культурная ситуация в Европе VII—X вв. в своей

совокупности еще не созрела для утверждения городской жизни. В какие-то короткие моменты, в каких-то ограниченных районах, в силу каких-то, не всегда достаточно ясных условий, возникали поселения, напоминавшие своим обликом то, что позднее должно было стать средневековым городом. Если Турнэ и другие города на Шельде пришли в упадок в раннее Средневековье (хотя в меровингском Турнэ и сохранялись кое-какие римские ремесленные традиции — они прослежены, в частности, в текстильном и камнерезном производстве), то по соседству от него, в бассейне реки Маас, в VII—VIII вв. возникает ряд городов-эмбрионов, нуклеусов, как их называют современные медиевисты: Намюр, Маастрихт, Динан, Домбург, Дурстед (Дорестаadt) и ряд других, среди которых только Верден играл серьезную роль еще в предшествующем столетии. Можно сказать, что по Маасу в VII—VIII вв. через каждые 12—14 миль стоял castrum, служивший местом монетной чеканки. Это экономическое процветание бассейна Мааса в VII—VIII вв. кажется поразительным и необъяснимым. Тем более примечательно, что оно как бы находит свое продолжение на другом берегу Ла Манша: «город» Саутхемптон (средневековый Hamwih — Хамвих), процветавший в VIII в. и переставший существовать около 950 г., был не только и не столько локальным ремесленным центром (археологический материал из Саутхемптона свидетельствует о ткачестве, а также о керамическом, деревообделочном и косторезном производстве), но и «международным» портом, до какой-то степени напоминал Дурстеду. Показательно, что Саутхемптон-Хамвих — торгово-ремесленный нуклеус с плотным населением, элементами регулируемой городской планировки и, по всей видимости, монетным двором, сосуществовал и был связан с королевской резиденцией в Винчестере — административным и церковным центром, где располагались усадьбы знати. Симбиоз торгово-ремесленного поселения и административного центра завершается в X в.: Хамвих перестает существовать, как бы поглощенный Винчестером, который зато переживает своего рода урбанизацию — в нем возникает регулярная планировка улиц, перестраивается оборонительная система, возрастает население, основывается ряд монастырей<sup>6</sup>

Точно также в Скандинавских странах VII—IX вв. существовали своеобразные, хорошо укрепленные поселки, население которых занималось ремеслом и торговлей. Но как раз типичной чертой средневековых нуклеусов была их нестабильность: они возникали, чтобы исчезнуть; с наступлением «городской ситуации» X—XI вв. почти все они не стали основой новых поселений — они не прижились. Подлинный город Средневековья рождается, как пра-

вило, на «неподготовленной» почве — поблизости, но не на римских или раннесредневековых руинах.

Но констатируя возрождение европейского города в X—XI в., мы оказываемся перед очень сложной проблемой его соотношения с позднеантичным полисом. Что собственно говоря, произошло? Был ли восстановлен издавна в Средиземноморье существовавший институт, только захиревший в V—VII вв. и опять выдвигающийся на передний план после того, как хозяйство феодального типа несколько стабилизировалось, а политическая напряженность, непрерывно создаваемая набегами арабов, а затем викингов, датчан и венгров, ослабела? Или же средневековый город явился новым феноменом, принципиально отличным от греческого полиса и римского муниципия?

Чтобы ответить на этот вопрос, недостаточно поднять горы фактического материала, ибо между античным полисом и средневековым городом всегда можно найти и существенные черты сходства, и коренные отличия. Особое самоощущение горожан было присуще и современникам Аристофана, и бюргерам Любека, и обитателям Константинополя: и в древности, и в средние века город противопоставлял себя округе, «деревне», «земле». И в древности, и в средние века это привычное самоощущение подкреплялось административно-правовым оформлением, обособлением города как своеобразной общины, его ведущим местом в образованности, художественном научном творчестве, культе. Классическая античная культура вышла из города, из Афин, а не из сельской Беотии, и истоки итальянского Ренессанса надо искать в общественных условиях Флоренции и других городов, а не в окружавших город контадо.

Современные западные историки стремятся дать этому объяснение. Так, по мнению Ж. Дюби, названные выше особенности положения города в окружающем его мире были присущи городскому организму во все времена, будучи производными от его главной и, как считает Дюби, изначальной функции — политической по своей сущности, ибо город являет себя «из мрака протоистории» одновременно с государственностью как опора этой государственности и образ «распорядительной и упорядочивающей власти». В этом смысле, полагает Дюби, правомерно говорить (при всех «разрывах» в ритмах урбанизации) о «структурном континуитете»<sup>7</sup> Сходства действительно много, но не заслоняет ли это сходство другие черты — черты различия?

Мы исходим из того, что зрелый средневековый город не есть просто концентрированное поселение (с относительно плотным населением), окруженное стеной и снабженное особой правовой

защитой. Мы определили его как особый тип поселения, основная или во всяком случае значительная часть жителей которого связана с ремеслами, промыслами и торговлей, то есть с разными формами несельскохозяйственного производства. Такое определение отнюдь не может быть распространено на античный полис-муниципий, который, разумеется, включал в свой состав торгово-ремесленные слои, но не был торгово-ремесленным центром по преимуществу. Полис-муниципий служил административно-политическим и культурно-культовым объединением населения независимо от форм его трудовой деятельности: в нем могли преобладать торговые или землевладельческие элементы — но связь античного полиса с землей не нарушалась или нарушалась в исключительных случаях. Поэтому кризис полисного строя выражается не только и, может быть, даже не столько в экономических факторах, сколько в последовательном разрушении административных, культурных и культовых функций старого города. Показательно в этой связи, что в раннее Средневековье от галло-римских городов нередко сохраняются их торгово-ремесленные пригороды (*suburbia*), тогда как административные центры исчезают в первую очередь. Латифундия, как и свободная деревня, выходит из-под надзора городских курий еще в Поздней Римской империи, и, наоборот, окрестные крупные собственники стремятся установить свой контроль над полисом. Образование монастырей, с одной стороны, и захирение «университетов» — с другой, были признаками деурбанизации культуры и культа; христианство, которое начинало как городская религия и для которой сельские жители были язычниками, «погаными» — *pagani*, постепенно перемещало свои центры в сельскую глушь или во всяком случае в сельскую местность. Не приходится думать, будто епископат в раннее Средневековье поддерживал городскую жизнь (что усиленно подчеркивается современной историографией): могущество князей церкви зиждилось не на ремесленно-торговой деятельности, но на их земельной собственности и иммунитетных привилегиях; епископ мог и вовсе порвать с городом, как это было в Марселе, где епископская резиденция переместилась в аббатство св. Виктора и в городе создался церковно-административный «вакуум», длившийся до XI в., когда епископ возвратился обратно. В других случаях епископы подчиняли себе рудименты античных муниципиев (Трир) или города-эмбрионы (Шпейер) — они становились сеньорами городов, то есть внешней по отношению к городу силой. Не случайно коммунальное движение XI в. проявилось всего отчетливее в борьбе нового города против епископской сеньории, в открытом противостоянии между епископ-

ским городом *civitas* и пригородом *burgus* с его приходскими церквами.

Таким образом, раннесредневековая цезура в развитии города означала не просто экономический упадок и относительную аграризацию хозяйственной жизни. В ходе этой цезуры завершился переход от античного полиса-муниципия, подорванного внутренним кризисом Римской империи и физически сокрушенного в ход варварских вторжений, к городу нового типа.

## ОБ ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДА

С проблемой функций средневекового города тесно связан еще один аспект исследования. Как мы видели, для сторонников романтической концепции средневекового города характерно было представление о единстве горожан, которые обычно охватывались совокупным понятием «бюргеры». Это представление усиливалось по мере развития общинной теории возникновения городов, настойчиво подчеркивавшей существование общинных чер организации ремесла и права городов. К. Бюхер и его сторонники рисовали немецкий город даже в XIV—XV вв. как маленький обособленный мирок, расцветиваемый всеми красками социального благополучия. Замкнутое городское хозяйство, с одной стороны, и отсутствие острого социального неравенства, равно как и ожесточенной социальной борьбы, с другой, характеризовало город в построениях Бюхера. Но с начала XX в. против концепции Бюхера о социальной однородности населения средневековых городов стали выдвигаться серьезные возражения. Уже А. Дорен, опираясь на статистические данные, утверждал, что средневековые города, во всяком случае немецкие в XIV—XV вв., несмотря на и аграрный характер, несмотря на господство цехового строя и надзор за торгово-ремесленной деятельностью, знали гораздо большие имущественные различия, нежели деревня этого времени. Дорен, как и вслед за ним А. Пиренн, обнаруживали уже средневековом городе и накопление капитала, и пролетариат.

Новый поворот был придан этой проблеме в середине 20-х годов Х. Йехтом. Для социальной характеристики средневекового города, полагал он, недостаточно общей констатации имущественного неравенства, неравенства доходов как среди городского населения в целом, так и среди цеховых ремесленников или в рамках отдельных цехов. Важно проследить особенности и конкретные формы проявления этой дифференциации применительно к городам разных хозяйственных типов и вскрыть ее причины. Сам Йехт выде

для по меньшей мере три типа средневековых городов: аграрные города со слабо выраженной имущественной и социальной дифференциацией, к которым только и применима концепция Бюхера; ремесленные города средней величины, с ограниченным рынком сбыта, в которых средние владельческие группы уже не всегда являются преобладающими; наконец, крупные городские центры с развитой отраслью производства, работающей на внешний рынок, где различие между имущественными группами оказывается еще более значительным.

Х. Иехт — как это стало типичным и для современной зарубежной историографии — видел решение вопроса в локальном или типологическом своеобразии отдельных групп городов, отказываясь, по сути, от сколько-нибудь целостной характеристики социальной природы города. Дело, однако, не сводится только к типологическим различиям. Было бы недостаточным сказать, что в средние века в одних городах преобладали общинные начала, тогда как другие уже вступили на путь «капиталистического» предпринимательства. Действительность на самом деле была еще более сложной. Как торгово-ремесленная деятельность горожан, поставленная в рамки цехового строя, так и социальная структура городов (вместе с соответствующим административным устройством, политическими и идеологическими формами бытия) были в своем существе противоречиво-двойственными. Сам цеховой строй включал в себя и общинно-уравнительные тенденции, и формы их нарушения, поддерживал и охранял мелкотоварное производство и вместе с тем создавал предпосылки для его разрушения. Подобно тому, как город Средневековья и входил в феодальную систему, и противостоял ей, экономическое и социальное бытие города одновременно и соответствовало средневековой хозяйственной и имущественной организации, и создавало элементы, подрывавшие ее существование. Таким образом, дело не только в локально-типологическом разнообразии, но и в самой внутренней противоречивости — амбивалентности социально-экономической природы города.

## РАЗНООБРАЗИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ДВИЖЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Акцентируя сложность явлений городской жизни, социальные историки 70—80-х годов тем не менее понимали эту сложность несколько односторонне. Она выступает в их исследованиях по преимуществу сложностью форм и локальных особенностей, но

не сложностью диалектически-противоречивого развития, вообще присущего Средневековью и с особой силой проявляющего себя в явлениях городской истории. В этом отношении показательна разработка историками-урбанистами типологии средневекового города. Мощный импульс в этом направлении был дан в 70-е годы работами немецкой медиевистики Э. Эннен о европейском средневековом городе, переведенными на многие языки.

Первоначально Э. Эннен ограничивалась противопоставлением двух типов городского развития: одного, характерного для южных европейских средиземноморских городов, сохранявших живые традиции римского наследия, и другого, заальпийского, восходящего в гораздо большей степени к преобразованным формам германского общественного уклада. Однако в дальнейшем такое противопоставление оказывается недостаточным, и Эннен выделяет добрый десяток типов средневековых городов, отличающихся и генетически, и функционально.

Приверженность к классификации городских типов действительно продуктивна, поскольку ведет к отказу от той однородной монокартины, с которой имели дело историки XIX в. Но «разнообразие в пространстве», волей или неволей, заслоняет исследователям движение во времени. Перед историком оказывается некое количество городских типов, различие функций которых определяется в очень большой степени различием их происхождения (континуитет античного муниципия, рыночное поселение, княжеский бург и др.), а то в свою очередь может быть возведено к локальным особенностям различных районов. В результате этого упускается то чрезвычайно важное обстоятельство, на которое в свое время обратил внимание американский медиевист, исследователь городов средневековой Фландрии Д. Николас, и которое можно было бы назвать диалектической прерывистостью в развитии городов. На первый взгляд кажется парадоксальным, что городская жизнь Средневековья расцветает порой с особой силой именно там, где римские традиции или предгородские (эмбриональные) тенденции не существовали или были относительно слабыми. Старые традиции, по какой-то необъяснимой или, лучше сказать, пока еще не объясненной причине, оказываются тормозом развития, принуждая либо к перемещению городской жизни на какое-то новое, близлежащее место (явление, неоднократно подчеркиваемое, в частности, при археологических исследованиях отмеченное во множестве локальных работ), либо же к относительно раннему затуханию городской жизни. Это сковывающее воздействие традиции приводит, в частности, к закату цветущих городов Лангедока и подлинному расцвету таких городов, как



Флоренция или Генуя, в которых античные традиции были относительно незначительными. Эта диалектическая прерывистость городского развития действительно казалась бы парадоксальной, если бы не то обстоятельство, что мы сталкиваемся с ней еще раз, на закате истории Средневековья, когда можно наблюдать, что капитализм осуществляет успешный рывок именно там, где традиции цехового строя и средневековой экономики не получили классического выражения. Не Фландрия, а Голландия оказывается средоточием раннекапиталистического развития, не предкапиталистические центры Италии XIV в., а английские города, не игравшие прежде столь заметной роли в европейской экономике и политике. Мы имеем дело, следовательно, не с парадоксом формулировки, а с диалектикой действительности: средневековый урбанизм не просто разнообразится в пространстве, но видоизменяется с течением времени, так что одни районы и типы городов то переживают подъем — в соответствии с создавшейся общей ситуацией, — то, напротив, отстают от других и становятся живым, но медленно отмирающим анахронизмом.

Европейская «городская ткань» на протяжении Средневековья претерпевает серьезные трансформации. Современные исследования показывают, что примерно с середины XIV—XV в. постепенно изменяется ее иерархическая структура в результате формирования, с одной стороны, нового «высшего эшелона» — региональных столиц, резиденций суверенов и центров административного управления рождающейся новой национальной и территориальной государственности, а с другой — массы поселений, городских по своим функциям, но зачастую лишенных какого-либо, «соответствующего», правового статуса, — так называемых «неполноценных» городов. Меняется и пространственно-территориальное «расположение» городской сети под воздействием разных факторов и процессов хозяйственного, социального, политического характера. Это — и подъем горнодобывающей и горнорудной промышленности, способствовавший возникновению городов в областях, до этого почти не знавших урбанизации (Гарц, чешское Рудогорье, саксонские Эрцгебирге, Норвегия), и развитие нового сукноделия, производства бумазеи и полотна (стимулировавших, в частности, образование городов в Бретани, Нормандии, Юго-Западной Германии), и формирование новых силовых линий и центров в европейской хозяйственной и политической жизни под влиянием великих географических открытий и возвышения европейского Северо-Запада в противовес Средиземноморью, и складывание общеевропейской торговли зерном, мясным скотом, винами и т.п.

Параллельно происходило оформление прежде разрозненных провинциальных городских систем в единую взаимосвязанную систему исторической области, страны. Важную роль в этом процессе играли так называемые «малые города» — особенно в Центральной и Восточной Европе, на Балканах, где они выступают как специфическая форма урбанизации позднего Средневековья и раннего Нового времени\*.

Таким образом, изучение ритма, темпов, факторов и форм урбанизации в их конкретно-историческом развитии и разработка на этой основе ее региональной типологии является одной из насущных задач современной медиевистики. Нельзя сказать, чтобы попыток решения этой задачи не было. Так, широкое признание в современной историографии, в частности центрально-европейских стран, получили периодизация и типология европейской средневековой урбанизации, разработанные немецкими медиевистами К. Хаазе и Х. Штообом.

К. Хаазе, исходя из классического, идеального типа средневекового города, обладающего правом, автономией, отграниченного от сельского мира, выделяет в истории европейской урбанизации три этапа с весьма подвижными внутренними границами. Первый этап — «раннесредневековая эпоха» — охватывает период от империи Каролингов до XIII в. Это время господства, по выражению Хаазе, «скованного города». О городе в правовом, топографическом, терминологическом смысле нет и речи: он пребывает еще в стадии рождения и становления под влиянием «хозяйственных импульсов, фискальных, экономических интересов феодальных господ». Вторая эпоха — это время города в правовом смысле, когда происходит его оформление как «юридического лица» — «дееспособной корпорации». Иногда этот период называют, «упрощая историю», считает Хаазе, «коммунальной эпохой». Движение в этом направлении начинается в области бассейна рек Мааса и Шельды, постепенно смещаясь на восток, оно достигает немецких земель где-то около 1100 г. Германия вносит в этот процесс известное своеобразие, связанное с оформлением в позднее Средневековье сильной территориальной власти и государственности. В связи с этим в немецких землях было весьма ощутимо сковывающее сеньориальное влияние на городское развитие и более тесная включенность города (через посредство системы налогообложения и управления) в структуру территориальной государственности и хозяйственной жизни. «Вольные», «имперские» и «ганзейские» города испытывали политическое и экономическое дав-

---

\* См. Очерк III. С. 190—221.

ление со стороны княжеской и территориальной власти, «являя собой изолированные острова независимости». Создаваемые в раннее Новое время новые города были ориентированы, считает К. Хаазе, исключительно на потребности княжеских дворов и территориальных правителей. Третьему периоду, который, по мысли Хаазе, начинается с Французской революции, предшествовало столетие «переходного периода», когда постепенно города из самоуправляющейся общины превращались в город как институт административной системы<sup>9</sup>

Х. Штооб, исходя из среднестатистических данных о росте городов в Центральной Европе, выделяет пять периодов, принимая во внимание преобладание городских поселений с определенным набором признаков. Период до 1150 г. — время так называемых «материнских городов» и формирования самого типа «средневековый город»; 1150—1250 гг. — период «больших основанных» городов «старого типа» и тиражирования на широком пространстве, в том числе и Восточной Европы, вызревшего «в лоне материнских городов» городского права; 1250—1300 гг. отмечены распространением «малых городов»; 1300—1450 гг. — время так называемых «неполноправных» городов; в период с 1450 по 1800 гг. число вновь возникших городов в целом невелико, но распространяются новые их типы — горные города («выраставшие словно из-под земли»), княжеские резиденции (спланированные «с точным геометрическим расчетом») и города-«убежища» — эмигрантские города. В 1800 г. европейская урбанизация вступает, как считает Штооб, в новую фазу подъема<sup>10</sup>

Типологии европейской урбанизации, разработанные К. Хаазе и Х. Штообом, базируются на обобщении массового материала конкретных исследований городов, в том числе картографических и топографических, преимущественно Центральной и Восточной Европы. И все же это скорее формальный инструмент (бесспорно полезный и необходимый), облегчающий исследователю ориентацию во временной перспективе и многообразии форм, чем работающая модель, учитывающая динамику развития городского феномена во всей сложности его социальных, хозяйственных, социокультурных и политических взаимосвязей, так же как и функционально-иерархические смещения, пространственные и морфологические изменения собственно урбанизационной (городской) системы. В этих типологиях нет главного — собственно урбанизации, как динамической целостности, как конкретно-исторического системного процесса, а именно такой подход к проблеме представляется наиболее продуктивным.

Одним из первых опытов типологии именно урбанизационного процесса, а не отдельных городских форм, является многотомная «История городской Франции». Об этом труде следует сказать подробнее. Созданный под руководством Ж. Дюби и при непосредственном участии ведущих историков «Школы Анналов», в том числе и Ж. Ле Гоффа, этот труд представляет собой первый опыт написания истории европейского города и урбанизации с позиций социокультурного синтеза. Первые три тома его посвящены непосредственно Средневековью и раннему Новому времени<sup>11</sup>

Охватывающий хронологически огромный период — от Античности до XX столетия, а пространственно — практически всю Западную Европу (территории и области, в отдельные исторические периоды имевшие так или иначе отношение к французской государственности), этот труд синтезирует материалы конкретно-исторических исследований города в этом ареале за последние полвека. В нем аккумулировано все то новое, что привнесло в изучение города развитие археологии Средневековья, приложение лингвистических, социально-географических, историко-демографических методов к области городской истории. В него вошли также и новые материалы по аграрной истории западноевропейского Средневековья, отражающие многовековую эволюцию хозяйственного и социального пейзажа «деревенской Франции». Это — тот контекст, в котором разворачивается рассмотрение истории «городской Франции» и который она, в свою очередь, призвана дополнить, расширить и уточнить, акцентировав прежде малоучитываемые взаимосвязи, но важные для понимания средневековой системы в ее целостности.

Французские медиевисты подчеркивают своеобразие природы средневекового города как исторического феномена и его положения в феодальном мире, следуя в этом во многом за М. Блоком. Среди специфических черт социального климата западноевропейского Средневековья, писал Блок, нет ничего более своеобразного, чем городская коммуна. В гораздо большей степени торговый и ремесленный, чем город Античности, он также более четко был отделен от сельской округи, в которой без всякого сомнения нуждался. Он неоднократно предпринимал шаги для эксплуатации ее и господства над ней, но не так, как «открытые для земельной аристократии близлежащей округи политические и религиозные центры классических цивилизаций». Располагавшиеся в безбрежном пространстве сельского мира, испытывавшие сеньориальное давление и гнет, средневековые «буржуа» — горожане составляли (благодаря своей, пусть и относительной, завоеванной свободе,

образу жизни, интересам, ментальности своих жителей) подлинно «инородное тело»<sup>12</sup>

Суть проблемы, полагает, однако, Ле Гофф, развивая мысль Блока, заключается в уяснении характера и степени этой «инородности». «Те новые формы активности (экономической по существу, как считает Ж. Ле Гофф, расходясь в этом с Ж. Дюби. — *Авт.*), которые породили городской процесс и которые остаются главнейшими в жизни города, — превращают ли они города в деструктивные организмы социокультурной системы, базирующейся на эксплуатации земли (и тем самым в феномены обособленные и исключительные) или же они являются элементами, которые модифицируют систему, не трансформируя ее, однако, коренным образом — вот в чем вопрос?» Город, полагает Ле Гофф, «нашел свое место» в феодальной системе. Он сформирован вместе с нею, но не как «союзник» (*système allié*. — *Ив Барель*), а как его составная, неотъемлемая часть (*partie intégrante*), образовав «феодално-(сеньориально) бюргерскую систему» (*le système féodal-bourgeois*). Эта система существовала так же долго, как и сеньориальный способ производства, не препятствуя экономическому функционированию рынка и не слишком сдерживая «буржуазные» (бюргерские) амбиции. Но справедливо и то, пишет Ле Гофф, что средневековый город, в силу своей экономической логики, основывающейся в большей мере на деньгах, чем на земле, а также благодаря своей системе ценностей, противопоставивший аристократическому идеалу вертикальной иерархии иерархию горизонтальную, наконец, благодаря своим представлениям о времени и о труде мог подтачивать феодальную систему изнутри, трансформируя ее тем самым в систему капиталистическую; он, конечно, предвосхищал и революцию индустриальную».

Таким образом, Ж. Ле Гофф не считает, подобно О. Бруннеру или И. Барелю, что имела место некая обособленная «городская средневековая система». Он предпочитает говорить о «симбиозе и противодействии» города и «феодалитэ», — о городском феномене как интегративной части феодальной системы, как феномене своеобразном и важном, «вписывавшимся в ее пространство и функционирование» и обладавшим повсеместно «общими чертами»; имела место, по выражению Ле Гоффа, некая «городская сеть/система» («*réseau urbain*»). Оригинальность этого феномена (как и противостояние его системе), по мнению Ле Гоффа, нигде не обнаруживается столь выразительно как в области культуры. Изучение специфики городской средневековой культуры, роли христианства в его сложении, так же как и роли самой городской культуры в создании и оформлении городского пространства со-

ставляет сегодня один из новых доменов урбанистической медиевистики, мощный импульс развитию которого был дан прежде всего работами самого Ле Гоффа<sup>13</sup>. Его концепция относительно природы средневекового города и его места в системе феодализма является, на мой взгляд, несомненно наиболее продуктивной в современной науке именно в силу ее ориентации на исторический синтез как глобальную, «тотальную» историю.

«История городской Франции» является также и первой попыткой конкретно-исторического моделирования урбанизационных процессов на основе социокультурного синтеза, «ибо не существует», как говорится во введении, «еще городской истории Англии или Германии» (Ж. Дюби), как, впрочем, добавим от себя, и России. Генеральная идея этого научного предприятия французских медиевистов как раз заключалась в том, чтобы, развернув исследование в длительной временной перспективе на динамичном огромном пространстве исторической территории Франции, выявить «ритмы, преемственности, разрывы» в городской ее истории. Главное, как пишет Дюби во введении к изданию в целом, заключается в том, чтобы понять, что представлял собой городской феномен и каково было его место в «совокупном развитии обширной экономической и социальной системы — социокультурной формации, комплексной самой себе»<sup>14</sup>.

## ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Что же представлял собой город высокого, классического Средневековья (XI—XIV вв.)?

Исследования 60—90-х годов позволяют дать следующую его характеристику. Город был поселением, обособленным от окружающей территории в экономическом, правовом и топографическо-бытовом плане, обладавшим при этом устойчиво-стабильным населением, в отличие от раннесредневекового рыночного места, колонии «бродячих» купцов и иных эмбриональных форм.

Под топографическим обособлением следует разуметь физическое отделение города от деревни с помощью стен, на расстоянии мили от которых прекращала свое действие юрисдикция городских магистратов. Еще существеннее, чем топографическое обособление города, было его хозяйственное, экономическое обособление. В трактовке вопроса надо быть, однако, чрезвычайно осторожным. Во-первых, средневековый город отнюдь не порывал с сельским хозяйством. Горожане имели огороды и полевые угодья, пасли свой скот в общинном лесу, который, кроме того, доставлял им стро-

ительный материал и топливо, женщины пряли лен, шерсть и т.д. И это относится не только к захолустным городам, почти не отличавшимся от деревушек, но и к значительным центрам (таким как, например, Любек или Дубровник) — ситуация, фиксируемая исследователями в Европе повсеместно.

Во-вторых, хозяйственная деятельность средневекового города XI—XIV вв., даже в тех сферах, которые выходили за рамки аграрного производства, определялась средневековыми экономическими принципами, присущими мелкотоварной стихии. Основной задачей считалось не производство прибавочного продукта и завоевание новых рынков сбыта, а простое воспроизводство и поддержание уровня жизни, соответствующего социальному статусу. Хорошо известно, что ремесло и торговля в большей части средневековых городов были организованы по корпоративному принципу: цехи стремились сохранить мелкий характер ремесленного предприятия и поддерживать равенство между членами организации. При всем различии между отдельными городами и отраслями производства почти все цеховые статуты ограничивали размеры мастерской, число подмастерьев, количество станков, продолжительность рабочего дня, регламентировали количество приобретаемого сырья, объем выпускаемой продукции, ее качество и цену.

Таким образом, город вписывался в общую экономическую систему Средневековья, был ее необходимым составным элементом, но вместе с тем — колыбелью, в которой вызревали и росли новые хозяйственные силы. Прежде всего, город выступал как средоточие специализированного производства: если крестьянин был не только земледельцем, скотоводом и виноградарем, но также столяром, ткачом, кожевником, изготавливавшим почти всю свою несложную утварь собственными руками, то ремесленник, даже если он отдавал известную часть своего времени выпасу скота или рыбной ловле, или домашним поделкам, являлся прежде всего профессионалом: кузнецом, ткачом, бочаром. Даже такие «крестьянские» работы, как выпечка хлеба или приготовление пива, становятся в городе обособившейся профессией. Город противостоит деревне экономически не только и даже не столько тем, что он производит иную продукцию, но тем, что он производит ее иначе — руками специализированных мастеров. Город заботится в первую очередь об удовлетворении своих внутренних потребностей, но он удовлетворяет их при помощи сравнительно узких профессионалов. И чем дальше, тем ремесленная специализация становится более разветвленной, более дробной. Именно в этом смысле городской труд Средневековья является подготовительной школой для капиталистического способа производства.

Другое коренное отличие городского хозяйства от деревенского заключалось в том, что городская экономика в несравнимо большей степени ориентировалась на денежный обмен. В деревне денежные отношения возникали в форме уплаты ренты феодалу, оплаты феодалом помочей и некоторых других видов работ, при поездке крестьянина на городской рынок или при обращении к ростовщику. Межкрестьянские отношения (да и значительная часть отношений с сеньором) оставались в значительной мере за пределами денежного обмена и выражались в разного рода отработках, «услугах», натуральных займах и т.п.

Иное дело — в городе. Город с самого своего возникновения был тесно связан с рынком, и хотя горожане нередко все знали друг друга, их хозяйственные отношения никак не сводились к натуральным услугам. Горожанин покупал на рынке одежду и утварь (во всяком случае, ее существенную часть), галантерейные изделия, даже хлеб и рыбу — то, что крестьянин в нормальных условиях производил в собственном хозяйстве. Но этого мало: в городе ремесленник и торговец, как правило, нанимал подмастерье и платил ему заработную плату, тогда как в деревне наем батрака в крестьянском хозяйстве XI—XII вв. оставался редким явлением, да и сеньория использовала наемный труд в ограниченном масштабе. Разумеется, в положении ранних подмастерьев XII—XIII вв. сильны были черты «семейной» эксплуатации: статус подмастерья был временным, он питался и жил в доме мастера. И все-таки главное, что определяло общественное положение подмастерья и его отношения с хозяином, состояло в заработной плате. Именно «наемная» сторона статуса подмастерья, его бытие в качестве наемного работника имели за собой будущее. В XIV—XV вв. в западноевропейских городах создается особый слой постоянных, «вечных» подмастерьев: цеховые уставы тех лет знают подмастерьев, женатых и живущих отдельным домом, что противоречило принципам цеховых порядков, но сделалось к этому времени необходимостью. Одновременно с этим мастера берут на себя детальный надзор за поведением подмастерьев. Обособление подмастерьев как социальной категории привело к образованию особых организаций — братств подмастерьев, фактически противостоящих цехам, в которых наемные работники были административно бесправными или в лучшем случае неполноправными.

Денежные отношения, профессиональная специализация и наемный труд, определявшие городскую экономику (при всем сохранении в ней цеховых ограничений), вели к изменению коренных социально-психологических представлений: о времени и пространстве, о богатстве и бедности, о труде.



Город был обособлен от феодальной деревни еще в одном плане — юридически-социально-административном. В результате коммунального движения XI—XII вв. многие города сумели высвободиться из-под власти светских и церковных сеньоров и как бы стать вне феодального права, получив привилегию руководствоваться городским правом на территории города и прилегающей к нему узкой полосе. Городское право не только обособляло коммуну, изымало ее из-под сеньориальной юрисдикции, но и — шире — противопоставляло феодальной системе. Хорошо известный принцип «Городской воздух делает свободным» позволял феодально зависимому крестьянину, прожившему год и день внутри городских стен, расстаться с его зависимостью и приобрести свободу. Многие города изгнали проживавших в них феодалов или ограничили их права, создав таким образом новую, городскую привилегированность. Города, наконец, установили свои формы административной организации: это были территориальные братства; торгово-ремесленные корпорации (цехи и гильдии), объединявшие полноправных мастеров — собственников мастерских и лавок; братства подмастерьев и, разумеется, прежде всего — органы коммунального самоуправления, городские советы.

Однако социально-административные особенности города еще более амбивалентны, чем экономические, и в этой сфере город и принадлежит, и вместе с тем не принадлежит феодальному миру. Прежде всего, класс феодалов был отнюдь не вовсе исключен из социальной среды средневекового города. Сюда входили некоторые светские сеньоры (особенно в Северной Италии и Южной Франции), поселявшиеся в городах. Сюда входила также та часть духовенства, которая сумела удержать какие-то позиции в городе; с начала XIII в. новые монашеские ордена — доминиканцы и францисканцы (минориты) — сосредоточили свою деятельность в городских предместьях, осуществляя идеологическое воздействие на город, этот центр богатства и средоточие ересей. Но главной частью этого слоя был патрициат — земельные собственники, эксплуатировавшие зависимых крестьян и в своем быту и поведении имитировавшие рыцарство. Они создавали обширные линьяжи и поддерживали родовую солидарность, заводили гербы, носили шпоры, стремились породниться с феодальной знатью и пройти посвящение в рыцари. Именно патрициат держал в руках, особенно в первое время после завоевания коммунальных привилегий, городские советы и осуществлял власть над городом и его ближайшей округой\*. Город противостоял деревне своей социаль-

---

\* См. об этом Очерк IV. С. 281—284.

ной структурой не в меньшей степени, чем хозяйственной активностью.

Прежде всего, городской патрициат, хотя и тяготел к аноблированию, принципиально отличался от подлинных баронов и шатлэнов. Дело не столько в том, что патрициат оставался частично открытой социальной группировкой, куда доступ был относительно свободен для разбогатевших бюргеров. Важнее то, что эксплуатация земли не составляла основной функции городских нобилей; их земельные владения были сравнительно невелики и имели прежде всего престижное назначение, тогда как богатство патрициата XIII—XIV вв. складывалось в иной — торгово-ростовщической — сфере, в эксплуатации городских доходных статей (откуп пошлин), в аренде городских имуществ. Деятельность нобилей исходила из монополии на городские привилегии и имущества, но она предполагала известную энергию и предприимчивость в области, как правило, чуждой «настоящим» рыцарям. Не случайно в XIII в. можно наблюдать интенсификацию сельского хозяйства в непосредственной близости от таких патрицианских центров, как Кёльн и Гент.

Но гораздо существеннее, видимо, было возникновение ремесленных городов с большим производственным размахом: во Фландрии, в Северной и Средней Италии в XIII—XIV вв. Здесь ремесленное производство (в первую очередь, сукноделие), рассчитанное на экспорт, давало настолько высокий доход, что значительная часть городского патрициата предпочла организацию ремесла ростовщичеству и откупу городских монополий.

В таких ремесленных центрах создается, помимо влиятельного слоя цеховых мастеров, совершенно новая для Средневековья общественная группировка — постоянный рабочий, не имеющий собственности и живущий продажей своего труда. Ремесленные города XIV в. были охвачены сложными и острыми противоречиями: с одной стороны, это движения цеховых мастеров против патрициата, с другой — выступления «тощего народа», требующего уравнивания в правах с полноправными членами цехов.

\* \* \*

Проследивая смену парадигм медиевистической урбанистики, мы акцентировали внимание преимущественно на общих проблемах — происхождении европейского средневекового города, трактовке его сущности и места в общественной системе феодализма,

типологии, ритмах урбанизации и т.п. Но не менее важно, видимо, завершая наше рассмотрение, представить кратко в целом — в ретроспективе и перспективе, последовательную линию перемен, которые претерпела и претерпевает сегодня эта область изучения истории.

Европейский город имеет долгую, более чем тысячелетнюю историю и его историография фактически родилась вместе с ним. Она родилась, по очень точному выражению французского историка Д. Роше, «как потребность, как способ утвердить самобытность олицетворяемых городом социальных практик»<sup>15</sup> Действительно, что есть городские хроники, как не оружие защиты против сеньоров — светских и духовных, также как, впрочем, и против короля или императора. Показательно внимание к факту, к документу, как свидетельству городской истории, со стороны властей и городских советов, следствием чего явилось, кстати, создание муниципальных архивов и строгий контроль за их сохранностью, их систематическое упорядочивание, символизировавшее «организацию истории и мира». И далеко не случайно должность городского архивиста, как и городских нотариусов, считалась одной из самых престижных.

Запечатленная в хрониках и сочинениях интеллектуалов городская история усложнялась и модифицировалась по мере трансформации и самого городского феномена и той общественной структуры в целом, составной частью которой он являлся. Но то, что оставалось неизменным на протяжении столетий — так это принцип воспроизведения этой истории как истории политической и событийной. В центре внимания и в высокое, классическое, Средневековье и в период Возрождения и Гуманизма находилось противостояние муниципальных институтов и монархической власти — королевской или императорской, территориально-княжеской, также как и проявления городского патриотизма. Последующие эпохи прибавили новые аспекты и темы: интерес к административным институтам, праву, судоустройству, корпорациям, сословиям. Затем наступил черед описания истории городских элит, именитых лиц, фамильных гербов и архивов с целью явить миру доказательства преемственности традиции и воскресить тени доблестных предков. Но при всех тематических расширениях и обогащениях городская история в трудах ее историографов продолжала оставаться историей выдающихся событий и политических личностей.

Первая решительная попытка прорыва этой традиции приходится на начало нынешнего столетия и первые его десятилетия (вплоть до 40-х годов). Импульсы исходили от социальной истории

и исторической географии, от исследователей урбанистических форм. В эти годы, в частности, был поставлен вопрос о взаимосвязи изменений в организации городского пространства с социальными мутациями городского организма в целом — о зависимости изменений урбанистических форм от уровня технических знаний и возможностей, от моментов социального, культурного, экономического развития. Забегая вперед, здесь уместно заметить, что эта линия получила своеобразное развитие уже в наше время в трудах французского медиевиста Ж. Ле Гоффа, поставившего в рамках концепции тотальной истории вопрос о воздействии христианских представлений, в частности христианской модели города, на организацию и восприятие городского пространства.

Историками начала века был поставлен и другой не менее важный вопрос — о роли экономических и социальных структур. Именно в этом непреходящее значение, в частности, работ бельгийца А. Пиренна и француза Ж. Лефевра, как и их немецких современников Р. Хёпке, Х. Хаймпеля, Х. Йехта.

Пятидесятые годы знаменуют рождение историографии города как особой исторической дисциплины — урбанистической медиевистики, где взаимодействовали специалисты самых разных направлений научного знания — от археологов, географов, картографов до лингвистов, социальных историков, специалистов в области исторической демографии, экономической истории, культурной антропологии\*. Тогда же обозначились ставшие приоритетными на многие годы магистральные линии его изучения: возникновение города и становление городской цивилизации, развитие урбанизационных процессов в разных европейских странах и исторических регионах; анализ социальных и демографических структур, экономических циклов и конъюнктуры (на базе нового прочтения массивов серийных источников и применения методов их количественного анализа); оппозиция города и сельского мира и др. Городской материал оказался благодатной почвой для реконструкции моделей демографического поведения, изучения его динамики в зависимости от социальной, культурной и религиозной принадлежности, региональных особенностей; для выработки ме-

---

\* Именно на это десятилетие и 60-е годы приходится создание первых специализированных центров и рабочих групп в области исследования городской истории Средневековья и раннего Нового времени в ряде европейских стран (Франции, Италии, Бельгии, Германии, Англии), вскоре приобретших международный характер. В 1965 г. Международным комитетом исторических наук была основана Международная комиссия по истории города. В это же десятилетие были заложены основы сети специализированных периодических изданий и положено начало публикации серий важнейших источников по городской истории.

тодик реконструкции семейных структур, отношений родства, анализа внутрисемейных отношений, миграционных процессов, стимулирующих их факторов, их типологизации и т.п.

Исследования этих проблем на городском материале привели к оформлению в 70—80-е годы — прежде всего во французской, англо-американской и итальянской медиевистике — исторической демографии города как особого направления.

В 60—70-е годы обозначились новые тенденции в области социальных исследований средневекового города, в частности, в области изучения феномена социальной мобильности городского населения. К традиционному аспекту — социальное возвышение отдельных индивидов, групп — добавилось исследование процесса «обратного движения»: снижения социального статуса, образования маргинальных групп и слоев.

Новыми социальными историками был поставлен вопрос о «городском пространстве» как сфере, где действуют специфические формы солидарности и социальной напряженности; где пересекаются различные культурные, профессиональные, политические, властные структуры. Это стимулировало изучение социальной топографии, форм повседневности, ценностных ориентаций, стереотипов поведения различных слоев и групп городского населения. Но в ходе этих исследований рождалось и представление о городе как о специфической социокультурной целостности. Сторонники его стремились показать, что город это нечто иное, чем просто механическая сумма разнообразных функций и факторов — экономических ли, социальных, политических, демографических или каких-либо иных. Это — специфический микро- и макромир одновременно, базирующийся на сложной системе специфических взаимосвязей, диалектического взаимодействия между индивидами и общностями, материальными условиями и культурными силами, между нормой и реальной практикой. Это единство устойчиво и одновременно в высшей степени динамично, что находит отражение в самых разнообразных формах — в организации городского пространства и градостроительной практике, в ценностных ориентациях и формах коммуникаций. Наметившийся уже в 60-е годы, этот подход к изучению средневекового города получил развитие в 70—80-е годы в рамках историко-антропологических медиевистических исследований.

Завершая обзор основных направлений изучения европейского средневекового города, важно подчеркнуть как главный итог этого сложного процесса — принципиальное расширение горизонта наших представлений о городе как историческом феномене и одной из форм общественного существования в феодальной Евро-

пе. Открыт (особенно за последние три десятилетия) столь обширный, специфический и неизвестный прежде пласт конкретно-исторической реальности, что это позволяет говорить о новом прочтении истории европейского города. Действительно, в ходе исследований были получены серии сопоставимых показателей, раскрывающие разнообразные аспекты истории городского феномена в средневековой Европе. Установлены циклы движения хозяйственной жизни и населения; распространения урбанизации и развития урбанизма; сложность и специфика социальной и социокультурной стратификации городского населения, также как и зависимость названных городских феноменов от региональных и местных особенностей. Реконструированы формы организации и динамика эволюции городского производства, открыто своеобразие городской культуры и социокультурных представлений и т.д.

Все это подвело историков-урбанистов вплотную к проблеме исторического синтеза — к осмыслению средневекового города как единого в своей сущности специфического социокультурного феномена современной ему общественной системы. Сегодня задача заключается в разработке сравнительной истории европейского города, исходящей из этого целостного представления и одновременно раскрывающей широкие взаимосвязи и конstellации разнообразных факторов «базисного» и «надстроечного» характера, определявших многообразие локальных форм и конкретно-историческое своеобразие «городских индивидуальностей». Следует подчеркнуть, что речь идет именно об органическом, историко-культурном синтезе, а не о механическом соединении разнообразных данных разнородных локально-региональных исследований, различающихся своими подходами и методическими принципами.

Одним из первых опытов подобного синтеза стала уже упоминавшаяся нами многотомная «История городской Франции». В этом труде, изданном, как отмечалось, под общей редакцией Жоржа Дюби, известного французского историка «Школы Анналов», обобщены результаты исследований (на протяжении почти трех десятилетий) учеными этого направления городского развития в Западной Европе.

С масштабным проектом изучения европейского города и урбанизации, ориентированного на социокультурный синтез, выступают сегодня Центр по городской истории Лечестерского университета (Великобритания) и созданная по его инициативе и под эгидой ЕЭС Европейская ассоциация городской истории. Пока еще речь идет о подготовительной стадии работы. Она

развертывается одновременно по нескольким линиям: подготовка исследовательских кадров современного уровня квалификации (программа «Эразмус»), координация исследовательских усилий историков-урбанистов различных европейских стран, анализ и обобщение итогов развития национальных историографий по изучению города, объединение ученых разных стран вокруг проблемно-тематических проектов, в частности, проекта «Малые города в позднее Средневековье и Новое время», поднимающего одну из центральных и специфических проблем не только английской, но и европейской урбанизации<sup>16</sup>

Центр городской истории Лечестерского университета, как и Европейская ассоциация городской истории, только разворачивают свою деятельность. Но ее характер и тот отклик, который она находит среди специалистов, прежде всего молодого поколения историков, симптоматичны уже сами по себе как свидетельство притягательности новых идей и подходов утверждения принципов историко-культурного анализа в исследовательском сознании.

### Примечания

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII в. М., 1981. Т.1. С. 509—514.

<sup>2</sup> См.: *Le Goff J.* Introduction//*Histoire de la France urbaine*. P., 1980. Т.2: *La ville médiévale: des Carolingiens à la Renaissance*. P.11—25.

<sup>3</sup> Здесь можно было бы сослаться прежде всего на Э. Эннен. См.: *Ennen E.* *Die europäische Stadt des Mittelalters*. Göttingen, 1975. S.46—104.

<sup>4</sup> См.: *Пиренн А.* Средневековые города Бельгии. М., 1937. С. 169—197.

<sup>5</sup> *Brunner O.* Stadt und Bürgertum in der europäischen Geschichte//*Idem.* *Neue Wege der Sozialgeschichte*. Göttingen, 1956. S. 80—97; *Idem.* «Bürgertum» und «Feudalwelt» in der europäischen Sozialgeschichte//*Die Stadt des Mittelalters*. Darmstadt, 1976. Bd 3. S. 480—503; *Chevalier B.* *Les Bonnes villes de France du XIV-e au XVI-e siècle*. P., 1982. P. 13.

<sup>6</sup> *Biddle M.* Winchester: the development of an early capital//*Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter*. Göttingen, 1972. Т.2. S. 229—261; *Ennen E.* *Die europäische Stadt des Mittelalters*. S. 67—68.

<sup>7</sup> *Duby G.* *France rurale, France urbaine: Confrontation*//*Histoire de la France urbaine*. Т.1. P. 13—16; 23—24; *Fevrie P.-A.*/Op. cit. P. 423—479.

<sup>8</sup> *Nicholas D.M.* Medieval urban origins in Northern continental Europe: State of research and some tentative conclusions//*Studies in medieval and Renaissance history*. Lincoln, 1965. V.6. P. 67, 89.

<sup>9</sup> Haase C. Die Entstehung der Westfälischen Städte. Münster, 1976. S. 12, 258—260.

<sup>10</sup> Stoob H. Kartographische Möglichkeiten zur Darstellung der Städtenstehung in Mitteleuropa, besonders zwischen 1450 und 1800//Stoob H. Forschungen zum Städtewesen in Europa. Köln; Wien, 1970. Bd 1.S.40; Idem. Münsterstädte: Formen der Stadtentstehung im Spätmittelalter//Ibidem. S. 225—245.

<sup>11</sup> Histoire de la France urbaine/Sous la dir. de Duby G. P., 1980—1981. T.1—5. — T.1: La ville antique. Des origines au IX-e siècle. T.2: La ville médiévale. Des Carolingiens à la Renaissance/Sous la dir. de Le Goff J.; T.3: La ville classique. De la Renaissance aux Revolutions/Sous la dir. de Le Roy Ladurie E.

<sup>12</sup> См.: Idem. T.2. P. 14.

<sup>13</sup> См.: Le Goff J. Idem. T.2 P. 19, 241.

<sup>14</sup> Duby G. France rurale, France urbaine: Confrontation... P. 9—11.

<sup>15</sup> Roche D. Ville: Une longue histoire//La Nouvelle Histoire. P., 1978. P. 565—567.

<sup>16</sup> С этой целью Центр издает ряд периодических информационных изданий, в том числе: Urban History Newsletter. Second Series (с 1986 по 2 выпуска в год); Urban History yearbook, 1991/Ed. by Rodger R.L.; N.Y.: Studies in international Urban History; Register of European urban History teaching, research and publications, 1990; 1991/Ed. by Haynes B. & Clark P.; Reading in Urban History/General Ed. Clark P., Reed D.: The medieval Towns: A Reader in English Urban History, 1200—1540. L., 1990; The Tudor and Stuart Town: A Reader in English Urban History, 1530—1688. L., N.Y., 1990; The Eighteenth-century Town: A Reader in English Urban History, 1688—1820. L., N.Y., 1990.



## **НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ГОРОДА: ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ**

Изучение средневекового города тесно связано с состоянием исторической науки в целом и медиевистики, как одной из ее областей. Соответственно, рассмотрение урбанистической историографии даже на относительно небольшом хронологическом отрезке не сводимо лишь к сопоставлению существующих точек зрения на те или иные проблемы. Задача состоит также и в том, чтобы раскрыть сам процесс «писания истории», показать, «как писали» и «как пишут теперь» историю европейского средневекового города. Важным при этом является уяснение историковедческой базы, понятийного аппарата, методического инструментария исследований, как и изменений, происходящих в этой области. Ибо история, по выражению М. Блока, «не ремесло часовщика или краснодеревщика. Она — стремление к лучшему пониманию, следовательно, — нечто, пребывающее в движении».

...Как серьезное аналитическое занятие, — пишет Блок в «Апологии истории», — история еще совсем молода. Она силится теперь проникнуть глубже лежащих на поверхности фактов; отдав дань соблазнам легенды или риторики, она хочет отказаться от отравы, ныне особенно опасной, от рутины учености и от эмпиризма в обличье здравого смысла. В некоторых важных проблемах своего метода она пока еще только начинает что-то нащупывать...»<sup>1</sup> «Апология истории», над которой Блок работал в 1941—1942 гг., возникла не только как «противоядие», в котором ее автор пытался «найти немного душевного спокойствия» среди ужасов военного времени. Здесь разъяснялись и защищались идеи нового понимания науки истории — ее задач, ее исследовательского поля, ее методических приемов. Эта книга как бы подводила первый итог

той «битве за историю», которая подспудно развернулась в европейской историографии уже где-то с рубежа XIX—XX столетия, и затем, прерванная трагическими событиями второй мировой войны, вспыхнула с новой силой с середины — конца 50-х годов, но среди ее действующих лиц не было уже многих из тех, кто эту битву начинал, в том числе и самого М. Блока, расстрелянного нацистами.

Утверждавшее себя представление об истории настолько расхожилось с привычным, традиционным, что это давало его сторонникам полное право заявлять о «новой» истории. Действительно, речь шла об экономической и демографической истории, истории техники и технологии, нравов и умонастроений, а не только политики, войн и дипломатии; об истории людей — «всех людей», а не исключительно королей и знати; об истории структур, об истории в движении и изменениях, об истории объясняющей в противовес истории событийной и вместе с тем статичной, описательной, нарративной, догматической; наконец, об истории тотальной, раскрывающей движение общества в его целостности.

Это движение исторической мысли не обошло стороной и такую традиционную область исследований, как средневековый город. Оно дало о себе знать, как было показано в первом очерке, в новых подходах к трактовке ключевых проблем, в разработке новых направлений его изучения. Продолжая рассмотрение темы исследовательских парадигм в медиевистической урбанистике, мы попытаемся конкретизировать, как происходило становление новой социальной истории европейского города, ее тематики и проблематики. В центре внимания в данном случае — анализ дискуссионных материалов, раскрывающих процесс, с одной стороны, пересмотра традиционных подходов к выработке дефиниции средневекового города, к определению сил, участвовавших в его становлении и развитии, оценке внутреннего городского устройства, его хозяйственной жизни и социальной структуры, а с другой — выработки понятийной системы медиевистической урбанистики, формирования ее специфической источниковой базы, в том числе и за счет массового археологического материала, принципиального расширения тематики городских исследований в результате обращения к «нетрадиционным» для исторической науки аспектам городской жизни, связанным с демографическими процессами и социокультурными представлениями.

Как тонко заметил в свое время М. Блок, в науке на каждом ее этапе присутствуют разные тенденции, «которые невозможно отделить без некоторого предвосхищения будущего», и от исследователя зависит, какой путь рассмотрения он изберет. Что касает-

ся книги в целом и конкретно этого ее очерка, то речь далее пойдет не столько о статическом состоянии средневековой урбанистики, сколько о том, какой она надеялась и «надеется стать в своем развитии».

## ПЕРЕСМОТР ТРАДИЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ: ПОНЯТИЕ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ, СИЛЫ, УЧАСТВОВАВШИЕ В СТАНОВЛЕНИИ ГОРОДА

Качественный перелом в представлениях западных медиевистов о феномене средневекового города приходится в целом на рубеж 60—70-х годов: в исследовательском сознании показателен повышенный интерес историков-урбанистов в эти годы к методологическим вопросам и в этом контексте к осмыслению пути, пройденного их предшественниками — историками 20—30-х годов, ибо именно к этому времени восходят истоки многих современных концепций городского развития в средневековой Европе. Выражением и свидетельством этого интереса стало, в частности, появление изданий типа «историографических антологий». Реконструируя историографию проблемы, они восполняли в какой-то мере остро ощущавшуюся в исследовательской среде потребность в целостном восприятии городского развития, казалось, достижимом путем последовательного освещения центральных проблем, затрагивающих важнейшие аспекты жизнедеятельности средневекового города. Именно такую, комплексную задачу преследовали «дармштадские» сборники «Средневековый город», анализ материалов которых составляет содержание этого раздела<sup>2</sup>

Составленная известным немецким историком-урбанистом Карлом Хаазе — тогда, в 70-е годы, еще молодого ученого, принадлежавшего к послевоенному поколению «преобразователей» исторической науки — антология включает работы тех, кого новая генерация почитала как «отцов», но с кем и полемизировала (Г. Аммана, О. Бруннера, Обина, Ф. Гансхофа, М. Вебера, А. Пиренна, Х. Планитца, Е. Кайзера, К. Фрелиха, Ф. Рерига и др.), а также и их продолжателей и их последователей из числа своих сверстников, чья творческая деятельность в полной мере развернулась уже в 60—70-е годы (К. Крошелл, В. Шлезингер, Э. Машке, Э. Эннен, К. Чок и др.).

Материалы, объединенные в антологии, посвящены преимущественно истории немецкого города и лишь в немногих из них затрагиваются судьбы других областей средневековой Европы (Фландрия, Англия). Тем не менее они приобретают общее зна-

чение для понимания европейской средневековой урбанизации. Преобладание работ немецких авторов при рассмотрении проблемы происхождения городов, также как вопросов городского права и администрации, социальной и хозяйственной жизни в их историографическом контексте и ретроспекции имеет и объективные основания, ибо признано давно, что «самое существенное... в смысле их научной постановки... и в смысле методологической ценности усилий, направленных к их разрешению», было осуществлено в области урбанистики в свое время именно представителями немецкой исторической науки<sup>3</sup>

Итак, что есть город? Чтобы уточнить постановку проблемы, следует выделить в ней три оппозиции: 1) европейский город и внеевропейский город; 2) европейский средневековый город и античный город; 3) европейский средневековый город и деревня. Поскольку статьи сборника, как правило, ограничены немецким ареалом, первая из этих оппозиций затронута в них крайне бегло. М. Вебер считал городскую общину характерным институтом именно западного мира; восточный город знал объединения по родственному принципу, производственные объединения, наконец, локальные группировки (таковы константинопольские регионы); но на Востоке не сложились ни сословие горожан, ни общегородские институты. Именно в оппозиции с Востоком (как его понимал М. Вебер) выдвигалась им на передний план и подчеркивалась административно-правовая специфика европейского средневекового города<sup>4</sup>

Сопоставление с античностью позволяет увидеть другую особенность средневекового города. В античности, по мнению Ф. Феркотрена, существовало два параллельных понятия: *urbs* — город в «современном смысле слова», сосредоточение людей на небольшом пространстве, и *civitas* — городская община, центром которой был *urbs*, но куда входило и *territorium*, соответствующая сельская округа. Только в IV в. происходит отделение «территории» от города и возникает «средневековый дуализм города и деревни», что находит внешнее выражение, с одной стороны, в обнесении города стенами, а с другой — в переселении знати в ее освобожденные от налогов поместья<sup>5</sup>

Коль скоро дуализм города и деревни оказывается, таким образом, отличительной чертой средневекового общественного устройства, выяснение природы третьей оппозиции — города и деревни — сельской округи в средние века становится особенно важной задачей, которую так или иначе ставили и решали авторы ряда статей, включенных в сборник. К. Хаазе, столкнувшийся с этой проблемой при решении конкретной задачи — составления

исторической карты городов Вестфалии, подчеркивал особенности нового подхода к проблеме, характерного для современной историографии: дефиниция города, по его мнению, должна родиться не в результате строго логического определения, но в форме ограничивающего описания, включающего в себя разнообразные факторы: хозяйство, право, топографию, статистику, официальную терминологию<sup>6</sup> В результате такого описания создается «комбинированное» понятие города. По сути дела, уже М. Вебер пришел к необходимости такой комбинированной дефиниции. Она включала в себя наличие большого замкнутого поселения, жители которого существовали за счет несельскохозяйственного производства, которое к тому же отличалось «многосторонностью» — относительно высоким разделением труда. Город отличало также существование регулярного рыночного обмена, присутствие «крупных потребителей» — сеньоров, чиновников, получателей земельной ренты, т.е. слоев, существующих на внегородские доходы. Помимо того, город — союз, регулирующий свою экономику. Наконец, город — крепость, центр налогового обложения и место пребывания гарнизона. Из множественности признаков, предложенных М. Вебером, Ф. Рериг выдвигал на первое место три: относительно большое число жителей; создание достаточно большой массы продукта, в обмен на который можно получать сельскохозяйственные товары; наличие слоя потребителей, какими в римскую пору были легионы, базировавшиеся в городах-крепостях<sup>7</sup> Э. Эннен также подчеркивала необходимость множественных критериев для определения города. Город, согласно ее дефиниции — это окруженное стеной поселение лиц, занимающихся торговлей и ремеслом, включающее в себя рынок. Город выполняет «центральные функции» в церковной сфере и в администрации; город, по ее словам, возможен только в условиях «письменной культуры», его отличает денежное хозяйство<sup>8</sup>

Каждый из этих критериев в отдельности, как подчеркивает Хаазе, сам по себе недостаточен. Действительно, часть городов сохраняла по преимуществу аграрный характер (о наличии «аграрных городов» писал и Вебер); многие из городов были настолько невелики, что уступали по размерам селам. Самым большим из немецких городов Средневековья, по подсчетам Г. Аммана, был Кёльн, насчитывающий 40 тыс. жителей (в Париже жило 60 тыс., в Венеции, Милане, Флоренции 60—100 тыс.); население, около полутора десятка немецких городов (Мец, Страсбург, Нюрнберг, Любек и др.) превышало 10 тыс., свыше 200 городов насчитывали от 2 до 10 тыс. жителей, остальные города (а их общее число

достигало в Германии 4 тыс.) были и того меньше<sup>9</sup> Хаазе полагает также, что такой специфический для городского облика элемент, как крепость, нельзя считать определяющим критерием — крепости были и вне городов. Излюбленным фактором, к которому обращаются исследователи для определения города, является право, но, утверждает Хаазе, различие между городским и сельским правом не является столь очевидным, как это представлялось ранее. Наконец, он цитирует формулу Э. Кайзера, согласно которой городом было то, что называло себя городом, и отмечает, что терминологические самоназвания средневековых городов настолько подвижны и нечетки, что и этот критерий не является однозначным.

Тенденция современной историографии к созданию описательного многообразия критериев грозит вылиться, как уже отмечалось, в такую расплывчатость, в которой может раствориться то общее, что отличало средневековый город. В самом деле, Эннен настоятельно подчеркивает не только то, что городской жизни были свойственны динамичность, изменчивость форм, но и другое обстоятельство: каждый город обладал своим индивидуальным лицом. К. Фрелих, рассматривая средневековый город в духе теории множественности критериев, видит в нем «живое единство», образованное взаимосвязью топографических особенностей, хозяйственной деятельности и правовых моментов, но одновременно подчеркивает, что подобное признание разнообразных критериев ведет к тому, что основным объектом исследования становится отдельный город «в его исторической реальности и своеобразии»<sup>10</sup> Еще резче формулирует ту же мысль К. Крэшель. Следуя за Эннен, он даже готов допустить, что единого феномена «средневековый город» вообще не существовало. Объективная реальность признается только за конкретным городом или за некоторыми типами городов<sup>11</sup>

В отличие от названных сторонников теории множественности критериев некоторые исследователи, работы которых представлены в антологии, стремились выделить тот фактор, который, с их точки зрения, определял лицо средневекового города.

Для В. Эбеля таким признаком было сословное состояние горожан: в городе, подчеркивал он, создается сословие нового типа, основанное не на принципе происхождения, а на профессиональной принадлежности, сословие свободных людей — горожан. Оно создается из разнообразных «строительных элементов», почерпнутых из сферы сельского права, рыночного права, пожалованных городам привилегий, но все эти имевшиеся в наличии элементы были перестроены самими горожанами. Хотя Эбель

рассматривал, казалось бы, одну сторону городской жизни — ее сословно-правовой аспект, он вносил в исследование чрезвычайно важный момент, опущенный его предшественниками: в городской действительности все разнородные элементы, существовавшие в той или иной форме в догородской Европе и сохранявшиеся бок о бок с городами в аграрной Европе, срослись и видоизменились. Существенным, таким образом, становится не сосуществование этих элементов, а их творческое преобразование в городской атмосфере<sup>12</sup>

Другое решение проблемы было предложено К. Хаазе, который подчеркивал, что город — не крепость, а прежде всего «хозяйственный феномен», характеризующийся развитием экономики, основанной на разделении труда и на интенсификации сельскохозяйственного производства. Одновременно с экономическим сдвигом, но в зависимости от него, создается особое право, общинные формы и оборонительная система.

Не менее острая дискуссия развернулась вокруг проблемы происхождения средневековых городов. Работа К. Крэшеля, названная выше, позволяет представить основные этапы развития немецкой исторической науки, посвященной становлению средневекового города. Первоначально К.Ф. Эйхгорн выводил город непосредственно из римской городской административной системы, элементы которой сохранялись в раннее Средневековье под защитой духовного иммунитета. В концепции Эйхгорна, таким образом, слились два «градообразующих» фактора: континуитет античных порядков и роль христианской церкви, которым предстояло занять видное место в историографии этой проблемы. Уже Э.Т. Гауп, ученик Эйхгорна, внес известные коррективы в концепцию своего учителя, подчеркнув существование самобытных корней германского городского права. Это представление о самобытных германских корнях получило в дальнейшем конкретизацию в форме нескольких боровшихся между собой теорий. Во-первых, Г. фон Белов, опираясь на труды Г.Л. фон Маурера, выводил городскую общину из сельской общины, к этой точке зрения были близки также К. Гегель и О. Гирке, видевшие источник городской организации в старых формах общины или сообщества. Во-вторых, Р. Зом предположил, что городское право сложилось на базе рыночного права, которое, в свою очередь, родилось из королевских пожалований.

Новым этапом в развитии историографии Крэшель считает работу С. Ритшеля. Прежде всего, в отличие от своих предшест-

венников, опиравшихся исключительно на письменные памятники, Ритшель пристальное внимание уделил топографии средневековых городов; далее отказавшись от моноказуального объяснения генезиса немецкого города, Ритшель выводил его из дуализма епископского города с римскими традициями (концепция Эйхгорна) и «рыночного города», отличавшегося чисто купеческим и ремесленным характером. Последующее развитие историографии приводило, с одной стороны, к развитию намеченной Ритшелем идеи дуализма рыночного поселения и крепости — таковы, в частности, взгляды Ф. Байерле, с другой — к подчеркиванию активной роли купцов-предпринимателей, что характерно для концепций Ф. Рерига и Г. Планитца. Наконец, Крэшель отмечает работы Э. Штайнбаха и Э. Эннен, признавших действие многообразных факторов в процессе становления города.

Работы, включенные в антологию, отражают разные представления о генезисе средневекового города и позволяют понять всю дискуссионность проблемы в современной науке.

Разумеется, в настоящее время уже невозможна концепция Эйхгорна в ее обнаженном виде, однако элементы его теории «римского континуитета» все еще сохраняются и всего отчетливее, пожалуй, в трудах сторонницы «поликазуального» объяснения Э. Эннен<sup>13</sup>. Она подчеркивает прежде всего сохранение городского образа жизни (*Urbanität*) в романских землях, тогда как северные области носили отчетливо выраженный сельский характер. Но и в эту аграрную картину северных областей Эннен вносит двойные ограничения: во-первых, сохранились многие отдельные черты римского прошлого, во-вторых, существовала «переходная и контактная зона». Вслед за Эннен В. Шлезингер также выделяет две большие области: южную и северную. При этом он полагает, что античная *Urbanität* постепенно продвигалась на север, причем продвигалась по двум линиям: одна из них проходила через бассейны Роны и Соны к Мозелю и Рейну, другая — по старой янтарной дороге через Аквилею и Карнунт. Разные пути проникновения античного влияния и разные политические судьбы двух «линий» городского континуитета определили, согласно Шлезингеру, различия характера прирейнских и придунайских городов<sup>14</sup>.

Взгляды Эннен близки к старой концепции Эйхгорна и еще в одном пункте: гораздо мягче, чем Эйхгорн, Эннен все-таки допускает существенную роль церкви в сохранении античного города.

Другая форма сохранения теории континуитета представлена в работе Ф. Феркотрена, который прослеживает длительность сохра-



нения античных элементов в городской жизни к северу от Альп и постепенность совершавшихся в городе перемен. Еще в VI в. галльские города сохраняли античный облик — от многоэтажности зданий до хозяйственной активности. С VI в. происходят существенные перемены в управлении городом: исчезают курии и город переходит в подчинение графу. Хозяйственные сдвиги Феркотрен датирует только VIII—IX вв., когда в галльских городах перестают функционировать иноземные купцы и Северная Галлия обращается своими экономическими интересами к Англии и другим северным областям. VIII в. Феркотрен датирует упадок античного города — *civitas*, хотя и подчеркивает, что это явление не должно быть чрезмерно генерализовано. И только к X—XI вв. он относит разрыв с античной традицией, который усматривает прежде всего в том, что города расширяют свои стены, отходя тем самым от завещанной поздней античностью топографической ограниченности.

Резюмируя исследование, Феркотрен подчеркивает, что раннему Средневековию был присущ «известный континуитет и известная революционность» в сфере городской жизни. По всей видимости, Феркотрену, как и Э. Эннсен, события III и IV вв. кажутся более катастрофическими для судеб античного города, чем раннее Средневековье, не уничтожившее, но скорее сохранившее и преобразовавшее античную *civitas*.

Другие исследователи оценивают роль античного наследия гораздо более скептически. Так, Ф. Рериг считал, что северные города не связывало с античностью ничего, кроме их местоположения. Ф.Л. Гансхоф решительно подчеркивал, что среди фландрских городов нет ни одного, происхождение которого можно было бы отнести к римским временам<sup>15</sup>

Разумеется, в настоящее время даже сторонники концепции римского континуитета не придерживаются той точки зрения, что средневековый город вырос только из античного, и допускают наряду с сохранением римских элементов действие новых, неримских начал. В. Шлезингер, который утверждает, что еще и в IX в. с понятием *civitas* связывалось «отчетливое представление о продолжающейся римской городской жизни», вместе с тем подчеркивает, что средневековая предгородская агломерация — *burgus* не была продолжением античного города; наоборот, эта форма поселения образовалась в период так называемого Великого переселения народов и была занесена германцами на территорию Римской империи. Благодаря археологическим находкам, поселения такого типа известны у славян и англосаксов: они содержали в себе «элементы городского характера», хотя и несопоставимые с фор-

мами позднеантичной *civitas*. Таким образом, по Шлезингеру, в раннее Средневековье как бы «предсуществовали» два типа поселения с городским или предгородским обликом: позднеантичная *civitas* и германо-славянский *burgus* — град. Поэтому процесс становления средневекового города представлялся Шлезингеру не качественным скачком, но постепенным слиянием двух предгородских элементов: *civitas* дала ему крепостные стены, германское поселение, именовавшееся в раннее Средневековье виком (*wik*), — образовало предместье, *suburbium*, которое до XII в. называлось *burgus*, а потом получило название *stat*. Шлезингер придавал очень большое значение словам Лиутпранда Кремонского, который определяет «бург» как совокупность домов, не окруженных стенами, и подчеркивает, что эта традиция сохранилась во французском и итальянском языках, тогда как в германской среде слово этого корня со временем стало употребляться для обозначения крепости.

Однако, что представлял собою этот «вик», который Шлезингер считает возможным отождествлять с «бургом» и называет «предгородским ядром поселения»?

В. Фогель в довольно парадоксальной давней статье, посвященной проблеме вика, исходит из того, что германцам раннего Средневековья была совершенно чужда городская жизнь<sup>16</sup>. Вместе с тем они были не только крестьянами, но и купцами-воинами, купцами, искавшими приключений, которые, пока это было возможно, вели торговые операции, не зная города. Лишь постепенно они создали городские поселения трех типов: резиденции, поселения странствующих купцов и аграрные города, что соответствовало трем конституирующим элементам германского общества: «политическим господам», купцам и крестьянам. Вики и явились такими поселениями странствующих купцов. Однако, согласно Фогелю, они представляли собой не рынки для продажи товаров купцами, а места, где германский «купец-авантюрист» приобретал нужное ему в дорогу продовольствие; иными словами, это были места, где скапливались избыточные продукты крестьянского и ремесленного производства. Они служили для отдыха караванов странствующих купцов и лишь постепенно на их месте стали образовываться рыночные поселения. Жители вигов и получили, по Фогелю, прозвище «викингов».

Лишь в одном пункте Фогель не расходился с традиционной, восходящей к С. Ритшелю, точкой зрения: и он считал, что вики основывались поблизости от административных центров — будь то позднеантичная *civitas* или сеньориальное *castrum* — крепость.

Таким образом, для Фогеля вик — новообразование раннего Средневековья, к тому же типично германское новообразование. Тем самым процесс горообразование оказывается германизированным, и для континуитета в концепции Фогеля практически не остается места.

В. Шлезингер решительно полемизировал с этой точкой зрения, рассматривающей вик только как довольно случайное место пристанища купцов. Уже то, что он выводил этимологию слова «вик» из латинского *vicus*, показывает, насколько он далек от Фогеля, противопоставлявшего германский *wik* и латинский *vicus*. Согласно Шлезингеру, вики всегда были местами прочного оседания купцов и отнюдь не представляли собой чужеземный элемент в окружающей их среде. Постоянный характер поселения — вика проявляется, в частности, в том, что в виках строились церкви. Вики, однако, всегда носили сеньориальный характер, т.е. управлялись королевскими наместниками, важнейшей функцией которых было взимание пошлин; признание сеньориального характера администрации вика — это, пожалуй, единственное, что роднит представления Шлезингера о предгородском поселении с концепцией Фогеля.

Большое внимание развитию вигов уделяет также и Э. Эннен. Уже в VII в., считает она, в экономической жизни раннесредневековой Европы дают о себе знать новые импульсы: возникают гавани (*portus*), вики, ярмарки и рынки. Эннен не принимает взглядов Фогеля и рассматривает *portus* и вики как торговые поселения, эмпории. Однако она смягчает и тезис Шлезингера о вике как постоянном, прочном купеческом поселении. Их быстрое отмирание, по мысли Эннен, — показатель непрочности корней вигов, и если Шлезингер настаивал на том, что в виках строились церкви, то Эннен, напротив, отмечает, что в одном из наиболее развитых поселений этого типа, в Квентовике (на реке Канш), не было никаких религиозных учреждений. В этом отношении вики противостояли сохранившимся от римского времени *civitates*, где население отличалось большой оседлостью, нежели франки, фризцы и иные германские народности, создававшие вики. Экономической предпосылкой возникновения вигов Эннен считает потребности знати и церкви в предметах роскоши, а также развивающуюся в раннее Средневековье торговлю рабами. В отличие от Фогеля и Шлезингера она подчеркивает, что управление виками находилось в руках купцов — свободных людей или зависимых от короля, объединившихся в гильдии. Эннен выделяет три волны развития новых поселений городского (предгородского) типа: ранние вики на побережье и в бассейне Мааса; вики

IX в., распространившиеся и на правобережье Рейна; рыночные поселки, возникающие в IX в. и распространяющиеся в X—XI вв.<sup>17</sup>

Таким образом, мы можем констатировать, оставляя в стороне расхождение между различными точками зрения, что средневековые города XI в. сложились на «топографической» базе двух учреждений, существовавших в раннее Средневековье: позднеантичной *civitas* или иного фортификационно-административного поселения (королевского пфальца, сеньориального замка, епископского центра, монастыря), выполнявшего функции убежища, и «предгородского» поселения, вика-бурга, население которого было занято торговлей и ремеслом. Возникает вопрос, каковы были те силы, которые преобразовали эту топографическую базу в настоящий город.

С точки зрения Ф. Рерига, подлинным «носителем революции», приведшей к образованию городов, был купец. Купцы создали основанный на клятве союз, открыли новую область приложения сил — бассейн Балтийского моря, создали первоклассную организацию производства, основанную на планировании и рационалистических принципах. Внешним проявлением интенсификации хозяйственной жизни явилось применение купцами письменности в их экономической деятельности, что Рериг относит приблизительно к 1250 г.

Близкие к Реригу взгляды развивал К. Фрелих, по мысли которого крепость, королевская или сеньориальная, и вик составляли топографическое двуединство, в которой крепости принадлежала пассивная, а вику — активная роль. Это представление об активной роли купеческого элемента детальнее развернуто в другой статье Фрелиха, где он рассматривает процесс возникновения так называемых «основанных городов». Согласно Фрелиху, основание городов протекало не произвольно, но осознанно и в плановом порядке. Первые привилегии, пожалованные городам уже в X в. (наиболее ранние из них датируются 965 г.), касались почти исключительно купеческих интересов: освобождение от пошлин, охрана порядка на рынке. При этом привилегии жаловались всей совокупности купцов, выступавших в качестве носителя нового права. Это дает Фрелиху основание говорить о том, что еще до основания рыночных поселений купеческие группы обладали известной организацией и имели привилегии конституирующего характера. Они образовывали союз, строившийся на личных связях, который Фрелих определяет как «купеческую общину», хотя термин «гильдия» и не засвидетельствован в ранних источниках, Фрелих считает, что ранние *mercatores* (от лат. *mercator* — купец)

имели в своей организации черты, напоминающие систему гильдий. Существование гильдий и ганз у раннесредневекового купечества допускает и Э. Эннен. Короче говоря еще до образования городов купцы составляли «замкнутую в хозяйственном и правовом отношении группу», и они сохранили в силу этого специфическое положение в ранних городах. Именно *mercatores* рассматривались в ранних городах как *burgenses*; жители бургов — горожане (Фрелих следует в этом пункте за Ф. Байерле), являясь привилегированной группой городского населения, противостоящей ремесленникам и мелким торговцам. К XII в. они сливаются с другой привилегированной группой — с министриалами городского сеньора, образуя городской патрициат. Это противопоставление (дуализм) купеческого начала и городского ремесла Фрелих прослеживает в топографии города на примере Гослара, где наряду со старым *forum commune* — сферой действия купцов, монетчиков и горняков — возникает в XIII в. новый рынок.

По-иному предстает социальная основа становления городов у Г. Планитца. По его мнению, купеческая община X в. имела личный характер и потому не была связана с управлением рынков своего вика, предполагавшем не личные, а территориальные связи. Немецкая городская община, согласно Планитцу, выросла из городского сообщества, основанного на присяге. Она была общиной не купцов, а горожан. В отличие от Фрелиха, Планитц не отождествляет, а противопоставляет термины *mercatores* и *burgenses-urbani-cives*. Первоначально состав городского населения был пестрым: наряду с «лучшими людьми» (на языке латинских документов — *optimi, meliores, primores*), т.е. купечеством, там жили самостоятельные ремесленники, ремесленники, находившиеся в зависимости от сеньора, и сельскохозяйственные работники, приходившие в города. Статус купечества и ремесленников вплоть до XI в. оставался различным, именно потому, что среди ремесленников преобладали зависимые и несвободные люди. Только во второй половине XI в. обе эти группы сближаются, создавая основанное на присяге сообщество, направленное против сеньора. Это сообщество, изредка именуемое в источниках *conjunctio*, представляло собой «клятвенное братство» (*Schwurbruderschaft*) германского права. Оно предполагало запрещение своеуправства и мести по отношению к согражданам — для разбора внутренних тяжб создавался специальный суд, — а также взаимопомощь, самостоятельную налоговую систему и автономную организацию обороны.

Становление города, как основанного на присяге сообщества купцов и ремесленников, Планитц связывал с политическими

событиями XI в. В результате катастрофы, которую немецкая королевская власть пережила при Генрихе IV, купечество потеряло ту правовую защиту, какой оно в качестве королевских людей пользовалось в X столетии, — то, что называется в источниках Muntwalt. Купцы оказались перед опасностью попасть в зависимость от сеньоров города, преимущественно от епископов, и эта опасность привела их к союзу с ремесленниками и к образованию нового общественного слоя — горожан.

Критика взглядов Рерига, Планитца и других исследователей, подчеркивавших купеческие или купеческо-ремесленные корни происхождения городов, осуществлялась по разным линиям. В. Шлезингер выступил против монокаузальности предложенного ими объяснения. С его точки зрения городская община вырастает не только из купеческой гильдии или сообщества, основанного на присяге (как это думал Планитц). В ее формировании участвовали и иные факторы, а именно: соседский союз германского происхождения, франкская судебная община, пожалованные сеньором привилегии. Шлезингер останавливается в данном случае только на административно-правовом аспекте проблемы; примечательно, однако, что и в его формулировке особое место уделяется «третьей силе», участвовавшей в создании города и городского права — сеньориальному фактору.

Представление о роли «третьего» элемента, образующего город, было высказано также К. Хаазе, который рассматривает прежде всего топографический аспект проблемы: вместо дуализма городского поселения, о котором говорили многие ученые, начиная с С. Ритшеля, Хаазе вводит своего рода «трихотомию» раннего города. По его мнению, город состоял из трех элементов: крепости, или местопребывания сеньора; купеческого поселка — вика; поселка ремесленников, именовавшегося рынком (mercatus)<sup>18</sup> При этом у Хаазе и речи нет о той пассивной роли сеньориальной крепости, которую постулировал Рериг: город образуется в результате взаимодействия всех трех элементов, когда возникает общая оборонительная система, в которой было заинтересовано и окрестное сельское население. Только в XII в. князья теряют свои укрепления в городах.

Уже Э. Кайзер, подчеркнувший целесообразность и тщательную продуманность с какой создавалась система городских зданий, площадей, улиц; видел в городском сеньоре основателя и защитника города. Г. Райнке развивает ту же идею. Он выступает против мысли Рерига о доминирующей роли консорциума предпринимателей, ведущих дальнюю торговлю, и считает, что именно сеньоры внесли свой вклад в образование городов. Город, по словам Райн-

ке, возникает не просто от скрещения торговых путей, но в результате сознательного волеизъявления определенных лиц. Кто же мог совершить эту работу? Строителями городов, согласно Райнке, были сельские жители окрестного района и именно они переселялись в города вместе со своими семьями и имуществом. Над этими сельскими жителями стояла направляющая инстанция в лице городского сеньора, который ставил своего служащего — локатора для производства работ и жаловал новому поселению права Божьего мира. Непосредственное планирование и строительство проходило под руководством «техников» из числа низшей знати, которые состояли на службе у князей. Суммируя свои «Размышления и фантазии», Райнке утверждает, что создание городов было «великим общим делом», в котором наряду с предпринимателями-горожанами активно участвовали и низшая знать (дворянство) и образованные клирики<sup>19</sup>

Таким образом, если для Планитца процесс основания города оказывается результатом борьбы новых социальных групп против сеньориальной власти (недаром К. Крэшель подчеркивал оказанное на Планитца влияние К. Маркса и его учения о классах и классовой борьбе), то в представлениях Райнке города возникают в акте «дружественного единения» самых разнообразных общественных слоев.

Средневековый город противостоял деревне, противостоял и в хозяйственном, и в административно-правовом отношении. И все же противопоставление города деревне и сеньории не было абсолютным. Аграрные отношения доминировали даже в позднее Средневековье, когда 80% населения Германии еще жило в деревнях, и соответственно они накладывали свою печать на городские порядки. Города должны были отвоевать себе место в аграрно-сеньориальном мире и этот процесс обособления города из аграрно-сеньориальной среды был относительно медленным и постепенным.

Ф. Л. Гансхоф рассматривает судьбы фландрских городов XII в., когда они уже были крупными центрами текстильного производства, однако их связь с графской властью отнюдь еще не была разорвана. В организации суда и управления между городом и остальной территорией графства (*castellania*) долгое время не было принципиального различия, хотя города и осознавали свое исключительное место. Города имели особые привилегии, коммунальные земли, гильдии и особую судебную организацию, но представлявшие эти города во вне зажиточные граждане (*meliores*) мыслились лишь как чисто частно-правовая организация. Только в ходе событий 1127—1128 гг. города становятся юридическими

лицами, но пока еще их права осмысляются как правовая защита, которую граф Фландрии жаловал своим ленникам, и в дальнейшем граф не только назначал городских эшевенот — судей, но и контролировал осуществление ими их функций как судебных, так и административных.

Связь города с окружающей его аграрно-сеньориальной средой проявлялась не только в административно-правовой сфере, изучением которой ограничивается Гансхоф. Говоря о предпосылках становления города, Э. Эннен подчеркивает «параллелизм» развития виков и крупной земельной собственности: возмраставшее население создавало избыток сельскохозяйственной продукции и становилось потенциальным потребителем ремесленных товаров. Без этого экономического подъема деревни, по-видимому, образование городов было бы невозможно.

Параллелизм развития города и деревни исследуется и Г. Миттайсом в работе, которая внешне, по своему заголовку, посвящена довольно частной, специальной проблеме — известному принципу средневековой городской жизни, который был сформулирован Якобом Гриммом в XIX в.: Городской воздух делает свободным. Статья эта, однако, имеет гораздо большее значение, обнаруживая ряд характерных для современной исторической мысли особенностей<sup>20</sup>

Для исследователей конца XIX и начала XX в., отмечает Миттайс, проблема состояла только в том, чтобы выяснить, откуда произошла сформулированная Гриммом «аксиома»: из Англии, как думал К. Гегель, или из Фландрии и Франции, как предполагал Г. Бруннер. Эта тенденция проистекала из идеи о «континуитете права и культуры в том смысле, что наличные формы сохраняли свое постоянство, менялся же только носитель этих форм». Теперь наука допустила возможность параллельных образований: «одинаковые социальные состояния, носящие почти закономерный характер, с необходимостью должны приводить к возникновению одинаковых правовых норм». Миттайс характеризует эту перемену как переход правовой науки от изучения юридических понятий к выяснению правовых интересов; поэтому нет необходимости искать одну какую-нибудь причину освободительных тенденций (будь то право убежища или даже воздействие городских свобод) — решение проблемы лежит в общей, социологически осмысляемой данности. Задача современного медиевистического исследования, как формулирует Миттайс, это прорыв через формальную замкнутость юриспруденции; современный историк права должен стремиться не объяснить, а понять. Иными словами, цель изучения средневековых правовых институтов состоит не в



том, чтобы построить формально-логическую схему их происхождения из других правовых институтов, их «филиационно-генетический ряд», но в том, чтобы осмыслить их функциональную связь с социальной действительностью той эпохи, которой они принадлежали.

В соответствии с этим принципом Миттайс и исследует аксиому Гримма «Городской воздух делает свободным». Разгадку ее он ищет в коренной противоположности античного раба и зависимого человека — кнехта Средневековья. В то время как античный раб не обладал правом личности, за кнехтом уже в каролингскую эпоху признавалось это право. Если его господин по какой-то причине не предъявлял притязаний на осуществление своей власти над зависимым человеком, кнехт становился свободным. В частности, власть господина прекращалась, если кнехт вступал в сферу действия иммунитетных привилегий третьего лица. Именно поэтому город, с самого начала принадлежавший к сфере действия сеньориального бана-иммунитета, и мог осуществить освобождение кнехта.

Х. Миттайс резко расходился с Г. Бруннером, видевшем источник аксиомы Гримма в нормах германского вещного права, согласно которому, использование чужой движимости в течение года и дня ведет к установлению собственнических прав пользователя. Миттайс считает неправомерным перенесение норм вещного права на сферу личного права. При этом он показывает, что в ранних городских установлениях не существовало никакого «срока давности», дававшего свободу: кнехт с момента своего появления на городской (иммунитетной) территории исключался из-под власти своего прежнего сеньора и оказывался под защитой городского права таким образом, что господину приходилось доказывать свои права на беглого кнехта. Лишь позднее был установлен определенный срок, по истечении которого зависимый человек становился свободным; срок этот далеко не всегда равнялся году и дню, но колебался от шести недель до 10 лет, как это было установлено, например, в Регенсбурге. Установление определенного срока для приобретения кнехтом свободы Миттайс расценивает как компромисс между городом и сеньором. В признании определенного компромисса между сеньором и горожанами Х. Миттайс сближается с Ф.Л. Гансхофом, который также подчеркивал наличие компромисса между графом и фландрскими городами, в результате чего коллегия городских эше-венов получила правовое признание, но должна была осуществлять свои функции все же под контролем графа.

Миттайс считает, что развитие аксиомы «о городском воздухе» прошло через несколько этапов: оно начиналось со вступления беглого кнехта в сферу действия чужого иммунитета; затем он

получал возможность защищаться от притязаний своего сеньора на тех же правах, что и любой другой горожанин (*sicut burgensis*), и лишь позднее, с образованием корпоративно организованного бюргерства, свобода новопоселенца становится гарантированной. Однако, подчеркивает Миттайс, это стало возможным потому, что городской сеньор был заинтересован в свободе городского населения. Установление гарантированной свободы для кнехта, находящего пристанище на городской территории, хронологически совпадает и по своей социальной природе принадлежит к тому же кругу явлений, что и освобождение крестьян, свобода распашки и некоторые иные явления классического Средневековья, ознаменовавшие общую свободу поселения.

Таким образом, если такие историки, как Рериг и Планитц, подчеркивали в первую очередь своеобразие города в окружающей его аграрно-сеньориальной системе, то Миттайс идет по противоположному пути: он выделяет то, что является общим для аграрно-сеньориального мира и обнаруживает черты этого общего в городской жизни и в городском праве, от чего городское своеобразие сходит на нет и между городскими свободами и свободой крестьянской распашки целинных и лесных угодий практически ставится знак равенства.

## ХОЗЯЙСТВО. ОБЩЕСТВО. СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТРАСТЫ. САМОСОЗНАНИЕ

Материалы, собранные в третьем томе антологии, посвящены функционированию уже сложившегося города. Их авторы поднимают проблемы, определившие направления изучения европейского города в западной историографии 70—80-х годов: облик и типы городов, социальная структура их населения, городские средние и маргинальные слои, миграционные процессы, функциональные взаимосвязи города и округа, типы урбанизации, особенности городского менталитета.

Нельзя отрицать, пишет во введении к тому К. Хаазе, что хозяйство — это то, что прежде всего определяет и обосновывает существование средневекового города. Вместе с тем, город — это также и специфическая социальная структура, которая делает возможным особый тип хозяйствования, определяет масштабы и формы организации хозяйственной жизни. Хозяйственная функция это также и то, что прежде всего определяло взаимоотношения городов между собой и с окружающим аграрно-сеньориальным миром; с другой стороны, именно хозяйственное и социальное состояние города в гораздо большей степени, чем правовое и

административное, зависело от характера его взаимосвязей с округой.

Написанные в разное время и по разному поводу одиннадцать статей этого тома объединяет общность принципа подхода их авторов к анализу города как хозяйственного, социального, культурного единства. Близки их авторы и в своих представлениях о средневековой урбанизации как динамичной системе хозяйственных и социальных взаимосвязей между городом и его ближней и дальней округой.

В своей совокупности материалы тома «освещают путь нового направления исследований» — новой социальной истории средневекового города от его истоков в 20—30-е годы до утверждения в историографии уже послевоенного периода. Становление новой концепции хозяйственной и социальной истории европейского города происходило в преодолении ограниченности и крайностей господствовавших школ, в полемике с различными разновидностями бюхеровской теории замкнутого городского хозяйства, с одной стороны, и модернизирующими в капиталистическом духе городскую экономику и социальную структуру теориями ее оппонентов — с другой.

Статьи, собранные в третьем томе антологии, написаны крупными немецкими историками и посвящены преимущественно городам Северной и Северо-Западной Германии. Это обстоятельство не снижает, однако, репрезентативности публикуемых материалов с точки зрения интересующей нас проблемы становления новой историографии города. Теоретические положения, выдвинутые их авторами, получили разработку и конкретизацию в последующих исследованиях историков-урбанистов, а содержащиеся в них конкретно-исторические наблюдения, сделанные на локально-региональном материале, до сих пор сохраняют свою ценность в качестве масштаба для сравнительного анализа и оценок.

Открывается антология статьей Хенриха Хаймпеля «На новых путях хозяйственной истории»<sup>21</sup> Выступая против бюхеровского тезиса об автаркии городского хозяйства, Хаймпель выдвинул концепцию существования в средние века уже с раннего периода городского хозяйства, основанного на обмене не только с непосредственной округой, но и дальнем, выходящем за пределы «земли» (территории) и даже страны. Дальняя торговля, причем не только предметами роскоши, но и товарами первой необходимости, подчеркивал Хаймпель вслед за Реригом, составляла характерную черту эпохи.

Исследуя участие городов, причем как крупных центров (Кёльн, Регенсбург, Франкфурт-на-Майне), так и мелких городов Фланд-

рии и Швейцарии, в дальней торговле зерном, сукном, скотом, Хаймпель приходит к выводу, что автаркия городского хозяйства не более, чем видимость, даже применительно к средним, мелким и совсем карликовым городам, которые включались в торговый поток или непосредственно, или через купечество более крупных центров. Причем, это определялось не только возникающими потребностями (например, в продовольствии), но и спекулятивными соображениями — на посреднической торговле зерном выросло, в частности, значение многих городков малоплодородной внутренней Швейцарии. Не только продовольствие, но и многие виды сырья ввозились издалека. «Ведущей силой и в малых городах был купец; под его сенью осуществлялось развитие ремесленного производства. Особенно явным это становится со второй половины XIV в. в связи с распространением производства бумагеи. Не следует, однако, представлять дело так, пишет Хаймпель, будто имело место разложение системы, вполне приемлемой как для раннего так и для высокого Средневековья.

Эпохи отличаются друг от друга не тем, что ситуация автаркичного городского хозяйства преобразуется в ситуацию господства дальней торговли, как утверждал К. Бюхер и его сторонники. Различие заключается в структуре и «силе» торговли — обмена как такового. Самообеспечение, сращенность города и его хинтерланда, с одной стороны, сплочение группы городов в единое целое, включая малые города, посредством дальней торговли, т.е. хозяйство, основанное на обращении, — с другой, как чистые типы сосуществуют и в раннюю эпоху. Любек и ганзейские города, основанные по сеньориальной и патрицианской инициативе, выступают как чистые центры дальней торговли, подобные их великим «прообразам» — Кёльну и Регенсбургу. Напротив, основанные территориальными князьями города Южной Германии с самого начала в большей степени ориентировались на ремесла и локальный рынок (например, Фрейбург в Брейсгау). В ходе хозяйственного подъема XIII в. эти города включаются в дальнюю торговлю, в то время как другие — типа Любека и Регенсбурга «оцехиваются» и постепенно, в XV в., «локализуются», срастаются с округой; третья группа городов, основанных местными князьями с целью использования конъюнктуры, не выходит за пределы карликового существования. Расцвет внутригерманской «индустрии» в XIV—XV вв. создает широкие возможности для включения их в дальнюю торговлю и выдвигает наряду с типом центрального ярмарочного центра, подобного Франкфурту-на-Майне, новый тип могущественного ремесленного центра, подобного Нюрнбергу, но этот последний имеет одно общее и с

«молодым» Любеком, и с «древним» Регенсбургом — господство купца и духа прибыли, но отнюдь не стремление к обеспечению «пропитанием».

Большое значение для последующего развития историографии города имел методологический вывод Хаймпеля о непригодности «универсальной схемы» средневекового города и необходимости изучения не абстрактного города, но его конкретных локальных и временных типов. Уже отличают, пишет он, торговые города (Брюгге) от ремесленных (Ипр), производящие (Флоренция) от потребляющих (Париж, Рим), выделяют экспортные индустриальные центры Тосканы и Фландрии, подразделяют города на большие, средние, малые и карликовые. Сам Хаймпель дает типологию городов, учитывающую функции дальней торговли. В этой связи он характеризует также специфические черты средневекового купечества и основную тенденцию его эволюции. Различие между ранним, высоким и поздним Средневековьем, с точки зрения обмена, пишет Хаймпель, заключается в типе купца, в раннее время, в XI—XII вв. плохо осведомленного о видах на сбыт, ставящего на карту все свое имущество и товары.

Внедрение письменности в делопроизводство после 1250 г. коренным образом изменило характер купеческой деятельности и ее организацию, сделало купца «оседлым», осведомленным, способным на большие спекуляции и борьбу за господство на рынке, позволило обратить часть имущества в городские ренты и недвижимость, но не изменило его сущности: он продолжал оставаться средневековым купцом, далеко не в полной мере ориентирующимся на рыночный механизм, сильно зависимым от мелких войн и стихийных бедствий и, наконец, «остающимся в духовном плену у своей эпохи».

Несколько ранее Хаймпеля (в 1928 г.) Рудольф Хэпке в статье, полемически также заостренной против концепции Бюхера, поставил вопрос о необходимости исследования интерлокальных и региональных хозяйственных связей средневекового города, ориентируя внимание будущих исследователей на средние и мелкие города, с одной стороны, и на хозяйственные взаимоотношения города и «земли» (Land), т.е. области, территории — с другой. Каждый город, считал Хэпке, принадлежит к определенной группе или системе, все элементы которой — отдельные города — обладают конкретными функциями (взаимно дополняя друг друга и завися друг от друга). Примером подобной «экономической общности», единства, базирующегося на разделении труда, Хэпке считает Любек и Гамбург: последний был гаванью первого, а Любек, в свою очередь, — главным поставщиком люнебургской

соли в районы побережья Балтики. В землях, богатых городами, подобное «двуединство» могло перерасти в хозяйственную общность большого числа городов. Так, к тесно связанным между собой трем главным фландрским городам Генту, Брюгге, Ипру тяготела «свита» более мелких городов. Внешним выражением существующих на протяжении столетий хозяйственных связей групп городов является сильно выраженный «дух солидарности». Сознание общности, единства дает о себе знать именно вне городских стен. Достаточно вспомнить, писал Хэпке, организованные, следующие одним маршрутом караваны купечества определенной области; их солидарность на чужеземных рынках. Показателен в этом отношении также и интерлокальный обмен «силами купечества» между городами Верхней Германии, между Любеком и городами Балтики, между еврейскими городскими общинами тех или иных групп городов. Таким образом, делает методический вывод Хэпке, изолированное изучение «отдельных городов» должно быть дополнено исследованием «группового города», локальная история — региональной. Задача будущих исследователей экономической истории средневекового города — изучение функциональных взаимоотношений города с местечками и городками области, земли, региона, формирующих в своей совокупности «экономический ландшафт»: «территориальную хозяйственную область», «экономический организм». Этот «организм» обладает самостоятельным значением и одновременно взаимодействует в силу складывающегося разделения труда, с городом, причем это взаимодействие «обоюдно необходимо».

Хэпке выделял три исторически возможных варианта хозяйственного взаимодействия между городом и территорией: 1. Экономическая область не знает городской жизни: процесс урбанизации либо еще не начался, либо находится на рудиментарной стадии. Такова земля фризов — богатая, имеющая большое хозяйственное значение область, достигшая этого положения без помощи «собственной» городской жизни. 2. Экономическая область с одним городом или несколькими большими и малыми городами, которые либо равноправны в своем сотрудничестве, либо экономически зависимы от «большого города», их центра, и выступают как места производства, как поставщики или пункты распределения второго ранга по отношению к «главному городу». Таковы экономические районы вокруг Бодензее, вокруг Франкфурта, семь городов Веттерау, фландрское сукноделие до 1308 г. 3. Экономическая область с одним доминирующим городом. Городское хозяйство выступает как «политика, утверждаемая любыми средствами». Примеры этого дают та же Фландрия, но более позднего периода, Северная Италия.

Хэпке (как и Хаймпелем) были предвосхищены многие из тех проблем, которые во всей полноте стали перед исследователями средневекового города позднее — уже в послевоенный период. Прежде всего, ими, по существу, был поставлен вопрос о локально-региональном методе, как методе системном, позволяющем проследить не только всю совокупность функциональных взаимосвязей между городом и сельским миром, но и механизм самого урбанизационного процесса в его динамике и типологических вариациях, также как и складывание иерархии различных звеньев городской сети, функциональное значение так называемых «малых» и «средних» городов и т.п.

Один из ранних опытов подобного локально-регионального исследования представляет публикуемая в антологии работа Г. Аммана, посвященная экспортному сукноделю европейского Северо-Запада. Амман прослеживает складывание и изменение на протяжении XII—XVI вв. хозяйственных связей между четырьмя «подгруппами» этой огромной зоны сукноделия, традиционно рассматривавшихся изолированно: Нидерландами, Северной Францией, Англией и немецкими землями. При всем разнообразии (с точки зрения производственных мощностей, рынков сбыта, их географии и т.п.) составляющих ее отдельных областей по отношению к «внешнему миру» — к остальной Европе и по своей основной хозяйственной функции, эта зона выступала как некая целостность. Она была многократно и прочно скреплена благодаря рынкам сырья (английская шерсть и северофранцузская вайда), постоянному обмену технологическим опытом (миграции мастеров и рабочих), межгородским объединениям купечества для сбыта сукна. Под покровом «единой хозяйственной устремленности» скрывалось пестрое многообразие городов, округов, земель; каждый город сумел вместе с тем найти свой путь, свою специализацию и утвердить свое имя на дальнем рынке. В целом, сукноделие европейского Северо-Запада, по подсчетам Аммана, было представлено на европейских рынках и в областях хозяйственной активности европейского купечества (в Северной Африке, Ближнем Востоке) более чем 150 крупными городами<sup>22</sup>

Нередко близко соседствующие сукнодельческие центры, со значительным числом жителей каждый, обусловили в этой части Европы самую высокую плотность населения, также как и огромную концентрацию материальных и культурных ценностей, средоточие самой высокой к северу от Альп хозяйственной энергии и социальной активности на протяжении всего Средневековья.

Смелым «прорывом» в направлении нового форшунга в области социальной истории стало исследование Хорста Йехта, относя-

щеся к 1925 г. В нем ставились и решались две взаимосвязанные группы вопросов: во-первых, в какой мере социальная структура городского населения определялась особенностями хозяйственного развития города, структурой его хозяйства; во-вторых, каково «многообразие форм социологической структуры». Иехт обращал внимание исследователей на «теснейшую взаимосвязь и взаимодействие» хозяйственных, социальных и политических структур. В конечном счете, писал он, решающим с точки зрения своеобразия городской общественной структуры являются не частности ремесленной организации и не тип городского управления, но «тенденция» (равнодействующая? — Авт.), которая обеспечивает существование городской общины благодаря взаимодействию различных сил. Именно эта мысль о важности изучения города как целостности, как системы, в которой сталкиваются и взаимодействуют многообразные «силы» — от хозяйственных и социальных до социально-психологических и «ментальных» являлась одной из наиболее продуктивных и перспективных этого оригинального пионерского и далеко не беспросветного исследования<sup>23</sup>

Проблема взаимодействия «хозяйственного» и «социального» в городском развитии позднего Средневековья находится в центре исследования и Эрнста Пица. При этом его интересуют как внутренние, так и внешние (город — округа) аспекты этого взаимодействия. Пиц стремится проследить, как хозяйственное и политическое развитие региона в целом отразилось на особенностях социальной структуры ганзейского города и ее динамике. Пиц развивает тезис Г. Райнке о ганзейском городе, как особом типе города Средневековья<sup>24</sup>

Он выступает против преувеличения уровня социальной дифференциации и обнищания основной массы городского населения в ганзейско-нижнегерманском регионе. Для подобных утверждений недостаточно свидетельств только цифрового материала, необходимо комплексное исследование источников разного типа и сравнительный анализ с социальным развитием городов иных регионов.

Бросающийся в глаза высокий процент мало или совсем неимущих сам по себе ни о чем не говорит, поскольку статистические источники в силу своей специфики умалчивают о возможных доходах, правовом статусе лиц, подлежащих обложению, реальной ценности малых налоговых сумм и т.п. Так, согласно любекским завещательным актам, вклады на постройку капелл со стороны малоимущих — не такое уж редкое явление; гамбургские поденщики (1518 г.), проживавшие в «каморах» и «будках», были,



вероятно, не совсем бедными, поскольку подлежали имущественному обложению и даже повинности по охране городских стен.

Важно также иметь в виду, что в условиях хозяйственного роста, когда даже поденщик мог создать накопления, число неимущих должно было быть весьма незначительным. Так обстояло дело еще и в первой половине XV в., несмотря на тенденцию к обнищанию средних слоев. Дифференциация углубилась во второй половине XV в. в условиях сокращения народонаселения и уменьшения торговли. Она замедлилась в XVI в. в связи с оживлением дальней торговли, укреплением вновь положения средних слоев, сокращением предпосылок для социальной напряженности. Подобная динамика присуща социальной структуре городов всего ганзейского региона. Сопоставление с центрами экспортного производства в Брабанте и Фландрии XIII—XIV вв., торгово-промышленными городами Верхней Германии XV—XVI вв. и Италии XIV—XV вв. приводит Пица к выводу об относительной «сбалансированности» социального положения в городах области Ганзы и Нижней Германии.

Подобное положение дел, считает Пиц, «соответствовало мелкоотварной структуре» ремесленного производства ганзейских городов, лишь от случая к случаю работавшего на экспорт и ориентированного главным образом на обеспечение предметами первой необходимости и нужды торговли. Раздаточная система, ведущая к глубокой социальной дифференциации, не утвердилась в ганзейских городах. Можно говорить лишь о тенденциях, не более того, в некоторых отраслях, таких как кораблестроение, пивоварение, бочарное дело. Одна из причин подобной ситуации, по мнению Пица, — в подавлении ремесленного производства морской дальней торговлей, составляющей основу хозяйственной жизни ганзейского региона. Избыточные средства вкладывались здесь преимущественно в посредническую торговлю и морские предприятия. Другая причина, препятствовавшая развитию разделения труда в ремесленном производстве и концентрации капитала, связана с сильным конкурентным давлением крестьянских ремесел и ремесленного производства сеньориальных городков «земли — Land». К тому же, в этом регионе, где городской образ жизни был укоренен достаточно поздно, купеческая и ремесленная деятельность никогда не воспринималась как исключительно городская монополия. XV—XVI вв. — период расцвета крестьянского и сеньориального предпринимательства в регионе. Это, с одной стороны, открывало безработным подмастерьям возможность выгодного трудоустройства, а с другой — сильно препятствовало (с конца XV в.) созданию свободной рабочей силы, что, в свою

очередь, благоприятствовало (при прочих равных условиях) росту заработной платы городских подмастерьев и поденщиков, и, в конечном счете, добавим от себя, вело к консервации в этом регионе средневековых структур и феодальных отношений — парадокс, не замеченный традиционной историографией, однозначно рассматривающей крупный торговый капитал как социально созидательную силу.

Специфика политического, хозяйственного и социального развития региона, считает Пиц, должна учитываться и при решении вопроса о причинах и характере волнений, сотрясавших ганзейские города в XV—XVI столетиях. Эти волнения — отражение не столько внутренней социальной «несбалансированности» (как принято считать), сколько структурных изменений в ганзейском регионе в целом в связи с переходом (с XIV в.) от свободной торговли к системе государственного протекционизма, а также в связи с усилением государственности в соседних с Ганзой землях и странах. В этой ситуации политического давления извне правящие купеческие слои города отходят в своей деятельности от традиционного принципа «общей пользы» — отождествления своих сословных деловых интересов с интересами бюргерской общины в целом. Показательно, что главная тема конфликтов между советом и общиной, бюргерством, повторяющаяся с XIV в., — вопросы внешней политики и налогового обложения, рост военных расходов, восстановление «старинного доброго порядка».

Пицем, одним из первых, пожалуй, в западной историографии, был поставлен вопрос о типологическом разнообразии такого городского института как цех, гильдия\*. Структура цехов вендских ганзейских городов XIV—XV вв., считает он, резко отличалась от общепринятого представления о ней, сложившегося на мате-

---

\* В советской историографии эта проблема была поставлена В.В. Стоклицкой-Терешкович (Проблема многообразия средневекового цеха на Западе и на Руси//Средние века. М., 1951. Вып. 3. С. 74—102). «Цех — общераспространенное явление в Европе в XI—XV веках и повсюду обладает рядом общих черт. Но наряду с общими чертами, свойственными всем цехам, имеются и черты глубокого различия в организации, компетенции и функциях цехов. Это ясно вытекает из сравнения цехов разных стран, городов и отраслей промышленности. Неправильно представлять себе цеховую организацию всех стран, городов и отраслей промышленности по типу немецкой цеховой организации, наиболее исследованной и известной». Причины многообразия цеха В.В. Стоклицкая-Терешкович связывает с «характером экономической и политической среды, в которой они складываются», с характером государственной власти и ее структурой.

риале, например, нижнерейнско-нидерландского региона. Цехи ганзейских городов — прежде всего политические группировки, но отнюдь не союзы, спаянные единством хозяйственных интересов. Вокруг старинного профессионального ядра, как правило, группировались представители других, не обязательно родственных специальностей. Именно стремление к политической власти играло здесь определяющую роль при создании ремесленных гильдий. Причины этого своеобразия прежде всего следует искать в специфике социальной структуры и происхождения ганзейско-нижне-немецких городов.

Работа Э. Пица примечательна также и тем, что автор ее в числе прочего обращает внимание и на такую принципиальную проблему, как соотношение «идеального» и «материального» факторов в историческом развитии — тема, ставшая сегодня одной из центральных в медиевистике. При оценке социальных явлений городской жизни, пишет Пиц, не следует игнорировать действие и более общих факторов «эпохи в целом», а именно — проходящего через все позднее Средневековье, вплоть до Реформации, противоречия между официальной, аристократической церковностью, поддерживаемой городскими советами, и народной религиозностью с присущим ей протестом против излишества и роскоши, богатства, «приобретенных несправедливыми путями». «Своеобразие этой религиозности создало социальные факторы, для которых экономическое (хозяйство) — лишь условия их появления, но реализацию которых экономическая история объяснить не может. Именно ей — этой народной религиозности, следует приписывать то, что выступление Лютера получило столь сильный и «внезапный резонанс». Хотя проведение Реформации в ганзейских городах связано преимущественно с инициативой средних и низших слоев городского населения, склонных к тому же к анабаптизму и иконоборчеству, было бы заблуждением приписывать религиозные споры в городах исключительно социально-экономическим причинам. Церковная реформа сама способствовала созданию новой социальной действительности как в церковной сфере, так и в сфере городского управления, культуры, народонаселения.

Таким образом, пересмотр традиционной концепции средневекового города не ограничивался исключительно проблемами его социальной и хозяйственной структуры. В последние годы в дискуссиях урбанистов появляется новый аспект и, соответственно, новое исследовательское поле — городское самосознание, социально-психологические представления отдельных групп городского населения, в частности купечества, особенно крупного, связанного с дальней торговлей. Это не случайно — именно в этой

группе городского населения традиционная историография, и немецкая прежде всего, видела прообраз буржуа и капиталистического предпринимателя.

В качестве неперенных и определяющих элементов купеческого самосознания обычно называют стремление к прибыли, экономическую расчетливость, рационализм. Эти категории в своей объективной сущности давно изучены, но только в рамках дискуссий о возникновении капитализма. Что же касается средневекового купечества, то ему в этих свойствах было отказано. Согласно В. Зомбарту, товарный обмен в средние века был ничтожен и купеческая деятельность профессией не являлась. Именно критика этого тезиса долго господствовавшей в историографии концепции В. Зомбарта стала для Х. Хаймпеля, Р. Хэпке, Х. Йехта одним из исходных пунктов становления новой социальной истории города.

Различные периоды Средневековья, писал Х. Хаймпель, отличаются типом купеческой деятельности. Но при всем совершенствовании и усложнении ее организации в позднее Средневековье само купечество оставалось «в духовном плену у своей эпохи». Почти шестьдесят лет спустя ровесник Хаймпеля Эрих Машке посвятил этой проблеме уже специальное исследование<sup>25</sup>

Правда, среди тех, кто, как считает Машке, «подвиг» его к рассмотрению профессионального самосознания средневекового купечества, имя Хаймпеля отсутствует. В длинном перечне названы имена французских и итальянских, также как и немецких историков, исследования которых как бы маркируют путь становления одного из ведущих направлений современной медиевистики. Этот ряд открывает Ж. Ле Гофф своей работой «Купцы и банкиры Средневековья» (1956), затем следует А. Сапори — «Купцы» (1941), «Итальянский купец в средние века» (1952), — выступивший с развернутой критикой В. Зомбарта, И. Ренуар «Итальянские деловые люди» (1949), фон Ропп «Купеческая жизнь во времена Ганзы» (1907), Ф. Рериг «Хозяйственные силы Средневековья» (1959), А. фон Брандт «Дух и политика в истории Любека» (1954).

Стремление средневекового купечества к прибыли, доходам в принципе было безграничным, как и возможности к обогащению. Мы сталкиваемся, пишет Машке, с различной силой проявления этого стремления, но также и с ограничениями, вытекающими из экономических соображений, и обусловленных психологически. Неумная жажда прибыли уживалась вместе с тем в сознании купцов с чувством меры, которое воспринималось современниками как одна из «прекрасных добродетелей» и нередко сочеталась со стремлением оградить себя от убытков — со стремлением к «безопасности». Поскольку стремление к прибыли было определя-

ющим мотивом купеческой деятельности, то нажитое богатство, как следствие реализации этого стремления, стало мерилом социальной ценности, которым и руководствовался купец, определяя круг своего общения и выбирая компаньонов. Богатство (или его отсутствие) — самое верное, с точки зрения купца, свидетельство социальной ценности.

Почти с той же силой, как и стремление к прибыли, обнаруживает себя в размышлениях и высказываниях средневековых купцов рационализм. Практичность, здравый смысл, как результат жизненного опыта — одно из наиболее почитаемых средневековыми купцами свойств и достоинств. Наиболее сильное выражение купеческий рационализм находит в ведении бухгалтерских книг, о пользе которых в источниках говорится очень много. Умение считать, склонность к точному числовому выражению обнаруживает себя также в хрониках, вышедших из-под пера хронистов-купцов (Джованни Виллани, Якоба Аурие, Буркарда Цинка). Столь же важным, как счет, было умение писать, особенно письма. Уже Рериг указывал на структурные изменения в средневековой торговле в связи с внедрением письменности в сферу обмена.

Необходимость точно знать конъюнктуру на отдаленных рынках, предусмотреть возможные варианты ее развития чрезвычайно обострили у средневекового купца чувство времени. Кто хотел быть первым, должен был обладать даром предвидения и «чувством» времени — сознанием того, что «время наступило». Наглядным выражением этого является возведение в XIV в. на средства городских общин башен с часами в итальянских торговых городах. Периодическое посещение ярмарок вводит в жизнь средневекового купца строго соблюдаемый временной ритм. Наконец, продуктом рационалистической установки был также «утилитаризм» — сознание «пользы», которой определялись взаимоотношения с окружающими, приобретение навыков счета и письма. Утилитаристское обоснование подводилось и под мораль: следует остерегаться дурных привычек, пишет флорентийский купец, так как они приносят только убыток.

Стремлением к прибыли и экономической расчетливости не исчерпывалась специфика самосознания средневекового купца; ему были присущи такие свойства, как чувство «опасности», «неустойчивости», «риска», «страха», «усилия», «старания», «работы». Понимание риска, опасности и стремление избежать их, обезопасить себя — две взаимно уравновешивающиеся тенденции в сознании средневекового купечества, пишет Машке; многочисленные свидетельства тому дают правовые формы морской торговли.

Представления купца, сформированные его профессией, укладывались вместе с тем в русло христианской веры. Подобно тому как «все счастье от Бога», так и коммерческий успех в конечном счете зависит от высших сил: купцу должно «повезти», он должен иметь «счастье» (Glück). Причем «Glück» — отнюдь не «фортуна» в том смысле, как ее понимала Античность и воспринимало Средневековье вплоть до эпохи Ренессанса, но предопределенный Богом удачный результат личных усилий. Сознание риска и желание безопасности, пропитывающие психологию средневекового купца, толкали его к поискам заступничества у Бога и святых, выражением чего являются вводные формулы — инвокации (от лат. *invoco* — призывать, взывать) торговых соглашений, с этим связана и практика пожертвований как отдельными купцами, так и целыми компаниями в пользу бедных.

На практике была возможна и другая линия поведения, подчиненная исключительно интересам прибыли, причем настолько, что купец входил в конфликт с верой и заповедями церкви (церковь запрещала торговлю с «неверными» — арабо-турецкими купцами — рабами, оружием, хлебом, деревом).

Несравнимо сложнее для сознания средневекового купечества, чем яркие и крайние случаи нарушения заповедей церкви, была та «широкая зона безопасности» и «конфликта сознания», которая создавалась предписаниями и требованиями канонического права и схоластической литературы относительно процента и «справедливой» цены. Канонические запреты взимания процента, восходящие к XII в. — периоду аграрного общества, не соответствовали потребностям развивавшегося денежного и кредитного хозяйства. Их нарушение в той или иной завуалированной форме (повышение суммы капитала, вексельного курса и т.п.) было практикой, не говоря уже о спекулятивных операциях в сфере торговли. Отсюда и специфический для профессиональной психологии средневекового купца «конфликт сознания»: материальная прибыль — собственно профессиональная цель, нажитое имущество — свидетельство успеха и достигнутого социального положения, но именно это приводит купца к конфликту с церковным законом и его христианским сознанием. Этот конфликт красноречиво отражают многие завещательные документы. К числу ценностей, которыми должен был руководствоваться в своем поведении средневековый купец, относились добрая слава, честность, добропорядочность, причем это распространялось также и на его окружение, дружеские связи. Утверждаемые церковью как нормы христианского поведения, эти ценности не получали на практике широкой реализации, о чем свидетельствует

уже стремление купца оградить себя от надувательства, обмана и т.д.

Машке прослеживает отражение основных элементов и норм профессионального самосознания в системе, целях и методах обучения будущего купца. Овладение рациональным инструментарием купеческой профессии (в том числе обучение иностранным языкам), выработка трезвой утилитарной линии поведения, жесткость и твердость, делающие будущего купца способным к риску, связанному с его профессией, — таковы цели и принципы воспитания.

Таким образом, средневековое купечество, особенно связанное с дальней торговлей, выделялось из основной массы населения особым, профессиональным самосознанием, отдельные элементы которого, хотя и могли варьировать и проявляться с различной силой в отдельные периоды и в отдельных городах (купечество Генуи было несравнимо более индивидуалистично, чем купечество Венеции, «конфликт сознания» ярче выражен у итальянских купцов, в большей мере занимавшихся денежно-кредитными операциями, чем у немецкого ганзейского купечества или купечества Верхней Германии, и т.д.), но в целом они имели место с XIII в. в Средиземноморье, а с XIV в. — и по всей Европе. Предпосылкой этого являлось то, что в средневековой Европе, несмотря на все привилегии и государственные воздействия, господствовало хозяйство, основанное на свободном обмене, создававшее простор для расцвета индивидуальных стремлений к прибыли. В силу контактов на международном товарном и денежном рынках процесс формирования профессионального сознания купечества, утверждал Машке в своем исследовании, протекал в целом по одним и тем же линиям, хотя и проявлявшим себя в разной степени и в разных формах.

Не менее показательна с точки зрения становления новой социальной истории средневекового города и тема другого исследования Э. Машке, опубликованного в антологии, — «Низшие слои в средневековых городах Германии»<sup>26</sup>

Традиционно структура городского населения определялась прежде всего исключительно с правовых позиций. Это, конечно, не исключало вовсе социальной постановки вопроса, в частности, при объяснении происхождения патрициата; фиксировалась также и широкая имущественная, хозяйственная дифференциация. Но при всем том городское население подразделялось только на «патрициат» и «цеховых ремесленников», т.е. на категории, как правило, обладавшие бюргерским правом. Наряду с этим отмечалось существование многочисленного стоящего вне корпораций

слоя населения, которое, однако, как целое оставалось вне внимания исследователей. 60-е годы ознаменовались решительным поворотом в этой области форшунга. В Германии это было связано с деятельностью образованной по инициативе Эриха Машке и Юргена Зидова Рабочей группы по истории городов Юго-Западной Германии, приступившей к комплексной разработке проблемы социальной стратификации населения средневековых городов\*.

Это исследование Э. Машке, как и другие его работы обнаруживает одну из характерных черт новой социальной истории — ее открытость, ориентированность на близкие направления в исторической мысли других стран. В предисловии к публикации своей работы Э. Машке говорит о той «апробации», которую этот материал прошел не только на специальной сессии Рабочей группы по истории городов Юго-Западной Германии (1966), но и на посвященном этой теме немецко-французском симпозиуме в Санкт-Клод (1962), в семинарах Филиппа Вольфа (Тулуза, 1967) и Мишеля Молла (Сорбонна, 1962—1963).

В своем исследовании Э. Машке руководствовался социологической теорией слоев. Согласно ей, под социальными слоями понимаются общественные группировки, присущие определенной социальной системе, прослеживаемые на протяжении всего существования данного общественного устройства, четко взаимно разграниченные и воспринимаемые на основании определенных, хотя и варьируемых, критериев и масштабов их общественной ценности как «высшие», «средние», «низшие». Применительно к данной конкретной теме это означает, что при классификации городского населения учитываются не только профессиональная деятельность и имущественное положение, но и широкий круг специфических «признаков статуса», от социокультурных, социально-психологических представлений, ценностных ориентиров до социальной топографии.

Аргументируя исследовательский интерес, в частности к низшим слоям городского населения, Машке отмечает, что «количественная и качественная значимость этих слоев настолько велика, что без их изучения немыслимо полное и целостное пред-

---

\* III (Мемминген, ноябрь 1964 г.), V (Швабский Халле, ноябрь 1966 г.), VIII (Биберах, 1969 г.) сессии Рабочей группы были посвящены соответственно темам: «Патрициат и другие правящие слои», «Низшие слои городского населения», «Городские средние слои». Из последних публикаций Рабочей группы по данной теме см.: *Städtische Randgruppen und Minderheiten*/Hrsg. von Kirchgessner B., Reuter F. Sigmaringen, 1986.



ставление о средневековом городе и специфике его структуры». Хронологически его интересует период с XIII (когда завершается в целом формирование бюргерского общества и обнаруживает себя развитая система рангов общественной ценности, ориентированная сверху вниз и обязательная для тех, кто внизу) по XVI столетие.

Низшие слои составляли наиболее слабую в хозяйственном отношении часть городского населения, которая в то время пользовалась наименьшим общественным престижем. Эти слои не были четко отграничены: многочисленные «переходные формы» правового и экономического характера, с трудом поддающиеся разграничению, связывали их с выше расположенным на ценностной шкале социальным слоем. Но низшие слои не являлись однородными и внутренне. Они распадались на множество различных групп, отличавшихся определенными специфическими признаками и вместе с тем во многом совпадавших. Это — самостоятельные, владеющие бюргерским правом, но хозяйственно «слабые» ремесленники; работающие по найму (подмастерья, приказчики, лица, состоящие на городской службе), поденщики; ремесленники, стоящие вне цеха; беднота, нищие. Численность и соотношение между отдельными группами могли варьировать в зависимости от типа городской экономики, от того, что — торговля или ремесла составляли основу хозяйственной жизни города.

И вместе с тем, низшим слоям была свойственна тенденция к интеграции, наиболее выраженная у цеховых подмастерьев, но имевшая место также и у групп социальных низов (братств хромых и слепых во Франкфурте в 1480 г., в Страсбурге в 1411 г, объединения нищих в Цюрихе и Базеле, в Кёльне.

Анализируя цеховые статуты и постановления, а также документы, исходящие непосредственно от подмастерьев, их терминологию, в частности, изменения содержания терминов «Knecht» и «Gesellen», Машке прослеживает становление и рост коллективного самосознания этой, наиболее интегрированной внутренне, группы низшего слоя городского населения.

Одна из центральных проблем низших слоев — проблема бедности. Э. Машке обращает внимание на многозначность понятия «бедный» в средние века, а также на то, что по христианским представлениям, состояние бедности нравственно котирировалось выше, чем богатства, и воплощавшие идеал добровольной бедности удостоивались высшей социальной оценки.

Э. Машке ограничивает свое исследование рассмотрением тех слоев, которые стали или были причислены к бедным в силу обстоятельств жизни или личной судьбы.

Он прослеживает различие между получавшими подавание, милостыню — Almosen и нищими, теми, кто занимался попрошайничеством — Bettel. Если положение первых можно рассматривать как преходящее состояние, которое стремились преодолеть, то положение вторых было профессией, которой занимались продолжительное время и которая требовала определенной выучки с тем, чтобы вызвать наибольшее сострадание. Местные нищие, пишет Машке, прочно входили в структуру городского общества; в Аугсбурге в 1475 г. они подлежали поголовному обложению. Тот, кто рассматривал нищенство как профессию, мог иметь и имущество.

Глубокое общественное расслоение средневекового города и, в частности, широкий слой бедных, по мнению Машке, не только результат определенных экономических и социальных процессов именно позднего Средневековья. Оно было присуще средневековому городу во все времена. Уже в IX в. имеются свидетельства о их существовании во фризском Дарестадe. О сотнях бедных в период высокого Средневековья говорят многочисленные мероприятия городских властей по оказанию им помощи. Бедность — социальная константа средневекового города. Ее масштабы были обусловлены конъюнктурными колебаниями. Из-за отсутствия достаточных хозяйственных запасов, нестабильности жизненных условий в целом природные циклы, определяющие урожайность, играли решающую роль в изменении численности городской бедноты, считает Э. Машке. В позднее Средневековье к этим факторам присоединился новый феномен — увеличение бедных слоев населения за счет притока переселенцев.

В позднее Средневековье и в период Реформации отношение к бедности приобретает новые нюансы: острее воспринимается (уже со второй половины XV в.) различие между добровольной бедностью и бедностью как нежеланием работать. В конце XIV в. в ряде городов появляются специальные предписания, обязывающие нищих в период уборки урожая отправляться в провинцию. Реформация способствовала утверждению этой тенденции; упорядочивается также организация помощи бедным; нищенство преследуется, четко определяется численность «официально признанных» бедняков, получавших милостыню. Однако это мало затрагивает само явление бедности. Она по-прежнему остается центральной проблемой городских низших слоев. В целом, полагает Машке, создается впечатление, что низшие слои составляли существенную часть средневекового городского общества; что значительная часть городского населения принадлежала «именно к потребителям, а не к созидателям материальных ценностей».

## «БЮРГЕРСТВО» И «ФЕОДАЛЬНЫЙ МИР»

В центре внимания статьи одного из крупнейших немецких социальных историков О. Бруннера «Бюргерство» и «феодальный мир»\* принципиальная проблема — о месте средневекового города в общественной системе Средневековья. Статья полемическая, направленная как против тезиса об абсолютной, антагонистической противоположности «бюргерства» и «феодализма» (присущего историко-правовому направлению западной историографии), так и против стремления историков буржуазно-либерального толка к обоснованию исторического континуитета между городским средневековым бюргерством и классовой структурой государства Нового времени<sup>27</sup>

Принципиальное утверждение О. Бруннера, формулирующее одну из максим современного исследовательского мышления, заключается в том, что такие социальные образования прошлого как бюргерская община или «аристократическая вотчина» не могут быть поняты и правильно объяснены посредством языка понятийной системы, сконструированной под влиянием иной исторической ситуации, в данном случае — «революционной ситуации эпохи всемирно-исторического перелома 1789—1848 гг.» и характера государственности и общества Нового времени. Понятия «бюргер», «бюргерство», которыми оперирует традиционная историография, пишет Бруннер, — не что иное, как «окаменелости», отражающие социальную и политическую деятельность кануна Великой Французской революции и последующего периода вплоть до 1848 г. Они почерпнуты из словаря политической публицистики той эпохи и отражают сложный процесс разложения старинной сословной структуры и становления государственности Нового времени, претендующей на полный суверенитет и исключаящей привилегии каких-либо групп. Противопоставление «феодальный—бюргерский», которым отягощены эти понятия, не имеют ничего общего с «напряженностью», существовавшей в свое время между средневековым городским бюргерством и знатью. Напротив, они отражают соперничество между третьим сословием и знатью в эпоху абсолютизма, противоположность между наследственными притязаниями на власть и господством аристократии и рождающимся

---

\* Опубликованная впервые в 1956 г., она вполне могла бы быть поставлена в начале антологии, потому что многие развиваемые автором теоретические положения стали ведущими для европейской урбанистики послевоенного периода. С другой стороны, в данном издании К. Хаазе она в известном смысле выполняет функцию теоретического обобщения.

новым понятием государственного подданства, предполагающего равенство всех перед законом. Показательно, что под ударами революции во Франции, а в ближайшее к ней десятилетие под прямым или косвенным ее влиянием и в других странах пали не только сеньория, феодальное господство над крестьянами, но и корпорации, в том числе коммун, городские общины, цехи, сеньориальные и общинные союзы всех видов. Их место занимают государственные чиновники и новое коммунальное самоуправление.

Социальный переворот между 1789—1848 гг. воспринимают обычно как победу «бюргерства» — читай: буржуазии над «феодализмом». Но то, что называют бюргерством, в эту эпоху не может быть без оговорок отождествлено с городским бюргерством Средневековья. Для характеристики последнего недостаточно указания лишь на его хозяйственную функцию (занятие ремеслом, торговлей). В отличие от бюргерства начала XIX в., хозяйственная функция не являлась для него определяющей, главным социальным критерием, исключаящим все иные формы бытия и структуру устройства в целом. Акцентируя хозяйственный момент, выделяя его как определяющий и общий признак, не совершаем ли мы подмены с тем, чтобы стала ясна всемирно-историческая, основная тенденция развития к буржуазии? «Я опасаясь, — пишет Бруннер, — что таким образом будет утрачено историческое своеобразие групп, к которым тем или иным образом будет применен термин «бюргер» — равно как и своеобразие европейского городского бюргерства и бюргерской общины, начиная с высокого Средневековья вплоть до переворота начала XIX в.»

Что же касается проблемы соотношения средневекового городского бюргерства и его сеньориального окружения, правильное было бы, полагает Бруннер, говорить не о противоположности, но всего лишь о различии (хотя и принципиальном), поскольку оба феномена связаны генетически и обусловлены общими предпосылками. Проследивая органическое родство средневекового города с окружающим его сеньориальным миром последовательно в социальной (преимущественно), политической, социально-психологической сферах, Бруннер приходит к выводу, что город с его бюргерством представлял собой хотя и специфическую, но всего лишь разновидность, один из элементов общей структуры господства, базирующейся на «отношениях верности».

Город органически входит в эту структуру господства. Он хотя и выделяется, но с помощью форм, которые сами принадлежат этому миру «локальных (частных) властей». С этой точки зрения, считает Бруннер, город можно было бы определить, пользуясь

терминологией французских социальных историков, как «коллективную сеньорию» или лучше — как «сеньорию сообщества» (нем. *Genossenschaftlichen Herrschaft*).

Бруннер обращает внимание на феодальный характер механизма включения города в господствующую структуру. Во-первых, через «сеньориальное господство над городом». Обычно в специальной литературе о городских сеньорах речь идет лишь в связи с проблемами самоуправления и автономии. Но специально вопрос о сеньориальном господстве над городом в функциональном значении и о типических формах этого господства не рассматривался даже в таких фундаментальных трудах по городскому устройству, как книги Планитца и Кайзера. Место, которое город занимал в системе господства, в значительной мере определялось силой или слабостью его сеньора — тем, принадлежал ли город королю, императору, князю, духовному или светскому сеньору. Но во всех случаях, сеньориальная власть над городом суть форма особых отношений, принадлежащая к узкой сфере специфических отношений покровительства.

Во-вторых, город сам мог осуществлять сеньориальную власть. Значительное число, например, немецких городов владело зависимыми деревнями, господствовало над сельской местностью. Город выступал здесь как поземельный или судебный сеньор, как территориальная власть — это полностью зависело от места города в структуре власти в целом территории или империи. В деревнях многих городов имела место личная зависимость крестьян или стремление к ее учреждению, в то время как в зоне городской округи действовал принцип «Городской воздух делает свободным». Правда, не все города стремились к обретению прав сеньориального господства. Подобные приобретения диктовались в значительной степени соображениями защиты, особенно в тех случаях, когда городской сеньор не был достаточно могущественным. Так обстояло дело во многих имперских городах, в чешско-моравских и венгерских землях в позднее Средневековье, где города создавали защитные пояса из зависимых деревень. Сеньориальное господство над контадо послужило также исходным пунктом развития итальянских городов-государств. Далеко не случайно, что итальянские коммуны беспощадно подавляли в XIII—XIV вв. коммунальное движение в стремившихся к самоуправлению деревнях.

Наконец, в-третьих, имело место как бы «обратное движение», когда сеньориально-крестьянское окружение вторгалось в городскую сферу. Свидетельство тому — иммунитетные зоны, где действовала сеньориальная власть иного типа (бург, собор, городской монастырь, владения церковных учреждений, отдельные дворы,

дома). Эта структура столь же давнего происхождения, что и сама община, и не противоречит сущности города и бюргерства, также как и порождаемые ею конфликты между «аристократическим господством» и городом не были абсолютными. Городское бюргерство к северу от Альп резче выделялось на фоне крестьянско-сеньориального окружения, чем в городах к югу от них, и прежде всего в Италии, где аристократический характер города был выражен сильнее.

О. Бруннер прослеживает черты сходства между бюргерством и крестьянским трудовым поведенческим идеалом: в основе его лежали одни и те же христианские принципы; он отмечает сеньориальные «корни» («службы», которой были обязаны зависимые своему господину) происхождения некоторых цехов.

Обращаясь к анализу структуры и функционирования ведущих слоев городского бюргерства, рассматриваемого традиционной историографией как предтечи буржуазии и буржуазного образа жизни, Бруннер особенно подчеркивает их подверженность вертикальной (присущей феодальной знати) социальной динамике и тягу к аноблированию — обретению рыцарского, аристократического статуса; характеризует специфические особенности этого процесса в городах разных европейских регионов и стран — в Германии, Франции, Италии. Одновременно он предостерегает от переоценки «сближения» высших слоев городского бюргерства с сеньориальной знатью. Речь идет все же о процессе индивидуального социального возвышения, не затрагивающем правовых и социальных основ существующих структур и не снимающем существенных социальных и социально-психологических, культурных различий между бюргерством и сеньориальным миром в целом.

Рыцарство отнюдь не рассматривало патрициат городов как равный себе. Рыцарь — прежде всего воин; своим поведенческим идеалом и мировосприятием, сформированным рыцарско-придворной культурой, он отличался от бюргера, в массе своей цехового ремесленника и торговца. Но между этими крайними полюсами стояли, с одной стороны, сельское мелкое дворянство, а с другой — городской патрициат. Рыцарь, аристократ — воин, но и бюргер должен быть им, если он хочет утвердить себя в окружающем мире. Аристократ, знатный, не только воин, но еще и господин, владеющий совокупностью сеньориальных прав, а также политик, с точки зрения его положения по отношению к правительству земли и деятельности в системе княжеского управления.

Совокупностью подобных свойств обладал и городской патрициат. С XII в. рыцари составляли массу наемных отрядов или выступали в роли их организаторов и предводителей (кондотьеры),

но известны и городские бюргеры, избравшие этот род деятельности. Рыцарские воинские предприятия и бюргерские финансовые операции и сделки с политическими силами были самым надежным источником богатств и концентрации власти.

Если рассматривать рыцарско-придворную культуру с присущими ей понятиями доблести, поведенческим идеалом как высшую форму светской культуры, пишет О. Бруннер, то легко заметить причастность к ней с самого начала высшего слоя горожан — так называемых «бюргеров-рыцарей». С середины XII в. известны турниры бюргеров Валансьена; из среды городских рыцарей-бюргеров вышли в значительной степени немецкие стихотворные хроники XIII в. Тогда же засвидетельствовано знание в городах рыцарской поэзии, даже старинной; не отличались принципиально своим составом и библиотеки обеих групп. Аристократический поведенческий идеал оказывал влияние на повседневную городскую жизнь. Уже Бруно Куске, пишет О. Бруннер, хорошо показал, что именно рыцарский поведенческий идеал, который был живуч и в среде городской знати, стал предпосылкой кредитного хозяйства, фундаментом коммерческой надежности, благопристойности. Наконец, гуманизм — он не случайно возник в «аристократическо-меркантильном мире» итальянского города, оказав затем воздействие равным образом и на городской высший слой и на знать. Но наличие множества факторов, связывающих патрициат и знать, не снимает все же «принципиального различия» между ними, которое О. Бруннер, как уже упоминалось, квалифицирует как различие двух антагонистических социально-политических сил, «принадлежащих одной и той же системе». Миру сельской сеньории, пишет он, противостоит автономный город как бюргерская община. Это состояние сохраняется в принципе до «великого перелома» в начале XIX в.

\* \* \*

Завершая рассмотрение материалов урбанистических исследований 20—60-х годов, представленных в «дармштадской» антологии, мы можем отметить как один из важнейших их итогов прежде всего введение в изучение европейского средневекового города социального и социоэкономического «измерений». В ходе этих исследований был поставлен вопрос о роли экономических и социальных структур, о важности изучения городских региональ-

ных и областных хозяйственных систем, функциональных взаимосвязей между городом и сельским миром и отдельными звеньями самой городской сети. Именно в постановке всех этих проблем непреходящее значение работ Р. Хэпке, Х. Хаймпеля, Х. Йехта как и их современников — бельгийца А. Пиренна и француза Ж. Лефевра.

Немецкими социальными историками 50—60-х годов были уточнены подходы к выработке дефиниции средневекового города, отвергнут формально-логический метод ее конструирования, показаны непродуктивность «идеальной модели» и важность учета при определении городского характера поселения конкретно-исторических характеристик, разнообразных факторов: хозяйства, права, топографии, статистики, официальной терминологии. Одним из важнейших результатов их исследований явилось складывание представления о городе как специфической среде обитания — целостной и динамичной, творчески преобразующей и сплачивающей разнородные элементы, сосуществовавшие в той или иной форме в догородской Европе и сохранявшиеся бок о бок с городами в окружающем их аграрном мире.

Достижением урбанистических исследований первых послевоенных десятилетий является также пересмотр традиционного, восходящего к Байерле и Пиренну, Реригу и Планитцу, представления о факторах и силах, участвовавших в процессе становления средневекового города, акцентировка, наряду с купеческим и ремесленным элементом, также роли сеньориального фактора (В. Шлезингер, Э. Кайзер, Г. Райнке, К. Хаазе и др.). Если Рериг и Планитц подчеркивали в первую очередь своеобразие города в окружавшей его аграрно-сеньориальной системе, то их оппоненты в этом вопросе, напротив, выделяли (подчас абсолютизируя, подобно Х. Миттайсу и О. Бруннеру) прежде всего то, что является общим для аграрно-сеньориального мира.

Наконец, и это особенно важно подчеркнуть в связи с рассматриваемой нами проблемой исследовательского сознания, становление новой концепции социальной истории европейского средневекового города сопровождалась становлением и нового общего принципа подхода к его изучению как к хозяйственной и социокультурной целостности. Тенденция к такому восприятию городского феномена дает о себе знать практически во всех материалах «дармштадского» сборника, но особенно сильно — в работах 60-х годов (К. Хаазе, Э. Машке, О. Бруннера).



## ПРЕДГОРОДСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ И РАННИЕ ГОРОДА В СВЕТЕ АРХЕОЛОГИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Остановимся на археологическом изучении европейского средневекового города и тех корректив, которые археологический материал вносит в представления о генезисе города и его ранней истории, также как и в трактовку некоторых теоретических положений и представлений, в частности, касающихся урбанизационного процесса в восточных областях Центральной Европы и за Эльбой, в землях западных славян, в Юго-Восточной Европе. Хочу обратить внимание читателя на те далеко еще не оцененные в полной мере, во всяком случае в отечественной историографии, эпистемологические возможности, которые таит в себе массовый материал археологии Средневековья, как и в целом эта линия междисциплинарных исследований городского развития в Европе.

Традиционно изучение европейского средневекового города начиналось с XI в., когда он выступает в большинстве стран европейского континента уже сформировавшимся учреждением. Проблема генезиса городского строя приобретала в связи с этим несколько умозрительный характер: шел спор о континуитете античных форм в городской жизни Средневековья при том, что судьбы городских поселений VI—X вв. практически были неизвестны; велась дискуссия о том, что послужило эмбрионом города (сельская община, монастырский посад, временный поселок купцов или нечто иное), но за неимением конкретных данных решение предлагалось на основе ретроспективного метода, исходя из более поздних свидетельств и аналогий.

Развитие средневековой археологии в самостоятельную дисциплину, широкий фронт археологических работ, развернувшихся в послевоенный период особенно в Центральной и Восточной Европе, Скандинавских странах позволил привлечь новые материалы, важные для исследования предыстории и ранней истории городов, почти не освещенной в письменных источниках, которые только и были доступны историкам XIX и первой половины XX столетия. Изменилось и само отношение к письменным источникам. Была осознана важность выяснения того, как Средневековье осознавало само себя: какое содержание люди Средневековья вкладывали в те термины, которыми они пользовались. В приложении к истории города задача заключалась в том, чтобы, не навязывая источникам готовые (античные или нового времени) понятия «город», «деревня» или же «полис», «муниципий», выяснить, что скрывалось за употребительными в эту эпоху терминами: «civitas», «burgus», «wik» и тому подобное.

Исследования, развернувшиеся в этом направлении, обнаружили существование особого типа поселений, которые еще не являлись сформировавшимися городами, но уже и не могли рассматриваться как чисто аграрные агломерации. Выявились многообразные переходные формы — предгородские поселения, ранние города, иными словами, различные ступени и стадии в процессе образования города. Усложнение картины генезиса средневекового города вместе с тем поставило под сомнение некоторые теоретические положения и представления. Во-первых, оно наглядно обнаружило ограниченность господствовавшего в западной медиэвистике чисто юридического определения понятия города как поселения, защищенного особым городским правом. Археологический материал дал обоснование той критике, которой уже с начала века подвергалась эта концепция со стороны социальных историков. Независимо от субъективной воли исследователей, он заставлял ставить акценты не на правовой, а на экономической стороне городской жизни. Во-вторых, становилась очевидной неудовлетворенность любого монокаузального объяснения генезиса городского строя, будь то рыночная теория или общинная или любая иная теория, предлагавшая однозначное решение проблемы. Все острее осознавалась необходимость изменения ракурса подхода к его рассмотрению и выработки метода, который учитывал бы действие не одного какого-то фактора, а всю совокупную ситуацию, создавшуюся после переселения народов и падения Римской империи, обеспечивавшей до поры до времени варварскую периферию необходимыми ремесленными изделиями. В-третьих, с очевидностью обнаружилась несостоятельность традиционной периодизации урбанизационного процесса в некоторых европейских регионах, и прежде всего в восточных областях Центральной Европы, за Эльбой, в землях западных славян, в Юго-Восточной Европе. Накопление новых материалов пролило свет на формы городского развития в этих регионах в период, предшествующий «немецкой колонизации» XII—XIII вв.

Это особенно важно подчеркнуть, так как рождение в послевоенный период археологии славянского средневекового города открыло новые страницы в истории европейской урбанизации. Традиционно история городов в славянских землях рассматривалась почти исключительно в контексте распространения германского городского права и его классификации (типологии) в бассейне Балтийского моря, в Польше, Чехии, Словакии и т.д.

В послевоенной медиэвистике акценты сместились. На первый план вышли острые вопросы о соотношении местных традиций

и германского хозяйственного и правового влияния, о континуитете автохтонных, старинных городских форм и «основанных» городов XIII—XIV вв., равно как и проблема рецепции немецкого городского права на новых землях. В самом общем виде эти направления развития исследований были обозначены уже в работах ранних социальных историков, в частности Х. Обина и В. Эбеля (которые К. Хаазе включил в свою антологию). Но в полной мере они развернулись уже в 70-е годы<sup>28</sup>

Развитие средневековой археологии как особой дисциплины означало очень много для урбанистических исследований в самих славянских странах. Были не только раздвинуты их границы, в отдельных случаях именно урбанистическая археология стала той средой, где раньше всего была осознана важность целостного, социокультурного подхода к городской истории.

Один из примеров тому дает Чехословакия. Координирующим центром археологических исследований чешского Средневековья здесь с середины 60-х и особенно в 70—80-е годы стал Пражский археологический институт, развернувший стационарное изучение Пражского града, а также филиалы института (в Пльзене, Мосте) и кооперирующиеся с ним для широкомасштабных археологических работ местные музеи в Градце Кралове, Пардубицах, Кутной Горе, Таборе, Бероуне, Розтоках, Бенешове и других городах.

К развертыванию массовых и систематических археологических исследований в известной мере подтолкнула начавшаяся с середины 60-х годов реконструкция и новая застройка старинных городских кварталов, некогда составлявших ядро агломерации и входивших в зону действия городского права (*Weichbild*). В этом же направлении действовали также открытия археологии в области городской истории в западных странах (Франция, Австрия) и в восточноевропейских — в Польше и Венгрии. Одним из важнейших результатов этих исследований было определение круга специфических проблем городской истории, которые не могли быть решены удовлетворительно без участия археологов. Речь шла прежде всего о городской топографии и ее изменениях в ходе развития городского организма (изначальная застройка, время основания, застройка округи, функции отдельных городских округов, кварталов). Только археологи могли дать окончательный ответ на вопрос о конкретном облике городских агломераций, характере и качестве застройки в период, непосредственно предшествовавший появлению «основанных городов», а также ко времени их готической застройки, не говоря уже о том, что только археологи могли пролить свет на то, «с какого времени вообще можно говорить о городе как таковом».

Археология чешского Средневековья с самого начала была ориентирована на кооперацию с социальными историками и экономической историей в уточнении структуры социального целого, этапов социально-правового развития, также как и экономического характера предгородских поселений и хозяйственной жизни уже сложившихся городов. Она развивалась в тесном рабочем контакте с археологией славянских древностей, много сделавшей для исследования процесса славянской протоколонизации в Западной Европе, характера селищной структуры в Чехии к началу раннего Средневековья и ее последующих изменений.

Работы археологов-урбанистов с самого начала привлекли внимание историков, культурологов, специалистов по урбанизму. И это было нечто большее, чем просто дань времени. Для чешской исторической науки, особенно медиевистики, сильно пострадавшей после подавления Пражской весны 1968 г., программа исследований, выдвинутая Пражским институтом археологии, стала центром притяжения и аккумуляции творческих сил и базой для разработки новых методов изучения истории Чехии доиндустриальной эпохи. Первые обобщающие итоги многолетних археологических исследований городского развития в средневековой Чехии были подведены в материалах чехословацкой делегации на V Международном конгрессе славянской археологии (Киев, 1985 г.) и в докладе профессора М. Рихтера, возглавлявшего тогда Институт археологии в Праге<sup>29</sup>

Если до 1975 г. главное внимание археологов было направлено на выявление раннесредневековых агломераций, предшествовавших так называемым локационным («новым») городам высокого Средневековья, на реконструкцию в целом раннегородских селищных типов, то в последующий период на первый план вышли другие вопросы и проблемы. Прежде всего, это проблема континуитета раннесредневековых городищ и городов высокого Средневековья и связанная с этим проблематика так называемых «селищ» — агломераций около княжеств административных градов (в подградье). Далее — изучение начальной стадии как локационных городов, так и небольших городских поселений, выступающих в письменных источниках под разными правовыми наименованиями (оппида, фора и т.п.)<sup>30</sup>

Одним из главных итогов изучения селищной структуры стало доказательство того, что чешские города высокого Средневековья возникли как естественные хозяйственные центры регионов. Их появлению предшествовало длительное местное развитие, уплотнение селищной структуры, распространение местных рынков. В этом отношении, в частности, показательны результаты анализа

характера изменения в системе поселений в окрестностях пражской предлокационной агломерации и «основанного» города в первой фазе его существования. Выяснилось, что изменился только тип сельских поселений, расположенных в непосредственной близости от городской агломерации, которые реорганизовались в деревни, в то время как селищная макроструктура в целом оставалась прежней.

В «древнейший» (до начала XIII в.) период правления Пржемысловичей важнейшими, с точки зрения городского развития, были княжеские грады — центры административно-территориального управления, систематическое возведение которых начинается с конца X в. Города высокого Средневековья, как правило, уже новые образования, расположенные в ареале градов или по соседству с ними, но продолжающие местное, предшествующее их появлению развитие. Об этом свидетельствуют материалы системного обследования долокационных агломераций в Литомаржице, Градце-Кралоуе, Жатеце, Стара-Пльзене и других городах. Наиболее обширная раннегородская агломерация реконструирована в окрестностях Пражского Града — ее ядра, основанного, вероятно, в 870—790 гг. в густонаселенной с активной хозяйственной жизнью области. Уже однозначно доказано, утверждают М. Рихтер и З. Сметанка, что древнейшее звено поселения и околный город размещались у подножия Града на левом берегу Влтавы. Только с XI в. центр заселения перемещается на правый берег. Кульминация развития пражской раннегородской агломерации и образование компактной структуры заселения на территории позднейшего Старе Мьяста археологически датируется серединой XII—XIII в.

В ядре агломерации вокруг рыночной площади в конце первой половины XIII в. складывается самый ранний пражский город высокого Средневековья. Установлено, что большинство известных пражских домов романской постройки относится только к началу XIII в. Их дислокация косвенно свидетельствует о существовании застройки, в ядре своем уже организованной вдоль стабильных уличных линий, образовавшихся в процессе постепенного слияния первоначальных участков поселения.

В древнейших этапах развития Праги, как показывает археологическое изучение, нашли концентрированное выражение основные черты и этапы развития от селищных агломераций «раннегородского типа» около княжеских градов до средневековых городов. В Праге, благодаря ее ведущему положению, процесс этот реализовался наиболее полно, в более развитых формах и раньше по времени, чем в других местах.

Одним из широко распространенных типов раннегородских предлокационных поселений в Чехии были также рынки, выставшие на торговых путях вне сферы влияния градов и вне связи с ними. Письменные источники фиксируют такие поселения только для XII в., однако археологический материал позволяет возводить их истоки к более раннему времени.

При определенных обстоятельствах такие поселения также могли послужить исходным пунктом для развития нового, локационного города. Подобный путь генезиса обнаруживает, в частности, археологическое изучение г. Моста. Он развился как продолжение торгового поселения, сложившегося на левом берегу р. Билины и принадлежавшего феодальному роду. В 30-е годы XIII в. по распоряжению короля это поселение было перенесено на правый берег и получило городские привилегии.

Город был создан под королевским градом, сооруженным в то же самое время. Он рос быстро. Уже в середине XIII в. городская территория вышла за пределы первоначальной маркировки. В конце XIII в. в своих новых пределах она была обнесена стеной. Своеобразную модель развития от предгородской агломерации к «правовому» городу дает также Дечин. Сначала это селение, развившееся неподалеку от княжеского града, у брода через р. Лабу (до сих пор носящее название Старый город). В 60—70-е годы XV в. к югу от града, а затем к северу от него, в части, более выгодной по расположению, возникли два города. В XIV в. первое городское поселение было перенесено на территорию второго.

По мнению М. Рихтера, частая в локационный период трансурбанизация — выбор нового места для городского поселения — диктовалась не только перспективами роста для города, но также и потребностями обеспечения существующей структуры отношений феодальной собственности.

Королям было важно основывать города именно в ареалах градов, находившихся в их непосредственном домениальном владении. Новый город оставался часто довольно долго лишь одним из звеньев существовавшей селищной агломерации. Пример тому — Градец-Кралове; только через три четверти столетия после его основания к городу были присоединены в качестве предместий другие звенья изначальной, долокационной агломерации. Также и в ареале пражского Старого города еще в середине и во второй половине XIII в. существовали два города с самостоятельным управлением, а на левом берегу вырастал третий пражский город. За пределами этих городов находились другие звенья изначальной агломерации, составлявшие собственность феодалов и церкви.

Тем не менее, для значительного числа менее крупных и важных ранних городов процесс преобразования, начавшийся в XIII в. и продолжавшийся до начала XIV в., не вышел за пределы правовой и (со временем) социально-политической сферы и не сопровождался существенной перестройкой селищной культуры (например, Стара-Пльзень, Млада-Болеслав и др.).

Археологическое изучение становления новых городов позволило освободиться от многих мифов традиционной историографии, представлявшей «основанные» города как вполне сложившиеся урбанистически с самого начала. Археологические материалы свидетельствуют о продолжительном периоде, о нестабильности положения, слабой выраженности урбанистических черт у новых городов в начале их истории.

Сегодня уж нет сомнений в том, что существенным, а возможно и преобладающим, составным элементом застройки, независимо от масштаба и значения города, были землянки. Они появляются в предлокационный период и сохраняются еще в начале XIV в., непосредственно предшествуя возведению каменных домов, иногда становясь их составной частью, иногда теряя свою прикладную функцию. Об этом свидетельствуют результаты археологического изучения Праги, Моста, Дечина, Хрудима и многих других менее значительных чешских городов.

Не подтверждают археологи и другое распространенное априорное представление о скорости и однородности застройки городских комплексов «с самого их начала». Об упорядочивании ее можно говорить лишь с XIV в., считают археологи. Не ранее рубежа XIII—XIV вв. начинает складываться городской облик и образ жизни: первые мостовые, стабильные линии улиц, решение санитарных проблем (мусорные ямы), водоснабжения (колодцы).

В первой фазе своего существования «основанные» города не имели серьезных укреплений, довольствуясь фортификациями из земляных валов и деревянного частокола. Только со временем появляются и церковные постройки. Относительно заметные изменения в материальной культуре также можно наблюдать лишь с конца XIII в. Но и в это время, судя по археологическим находкам, ее характерной чертой был «устойчивый симбиоз новых этнических вливаний с традиционной местной культурой». В целом же, «основанные» города в первой фазе своей истории, как и предлокационные городские поселения, обнаруживают много черт, характерных для деревень, откуда происходила и большая часть их обитателей.

Один из важнейших итогов исследований чешских археологов заключается в определении точной топографии предгородских и

раннегородских поселений, ее изменений в ходе становления «правового» города. Речь идет не только о реконструкции важных городских построек, отдельных округов, но и об уяснении на основании археологического материала конкретного вида и качества городской застройки и городского образа жизни, материальной культуры в ранний период, до стабилизации городских планов и появления массового каменного домостроительства. Однако не менее важным представляется и стремление археологов-урбанистов рассматривать особенности урбанизации XII—XIV вв. в чешских землях в контексте общих и региональных социально-экономических системных процессов, изменений структуры класса феодалов и форм организации его господства.

Не ограничиваясь реконструкцией генезиса отдельных крупных городских агломераций, археологи развернули в 80-е годы фронтальное изучение многочисленных мелких феодально зависимых городков, рыночных мест, порой неизвестных письменным источникам (Градишко-на-Давле, Сизимово-Устя). Археологический материал фиксирует их важные функции как локальных экономических центров, очагов и распространителей хозяйственного подъема XIII в., как фактора, стимулирующего развитие товарного производства и обмена в сельскохозяйственной округе. Они уплотнили, пишет З. Сметанка, редкосотканную и неравномерную городскую сеть, основа которой была создана крупными городами, завершив тем самым в основном урбанизацию страны\*.

Дополнительный свет на функционирование городской сети в Чехии и на взаимоотношение города и аграрно-сеньориального мира должно пролить и развернувшееся в последнее десятилетие обследование резиденций мелких и средних феодалов, усадеб XII—XIII вв., городских крепостей XIII—XIV вв., монастырей, также как и структуры заселения ближней и дальней городской округи — окрестных деревень.

Общим выводом археологического изучения чешского городского развития высокого Средневековья является констатация того, что в Чехии город, как и в других европейских регионах, развивается из разных корней (ремесленно-земледельческие поселения вблизи «градов» — бургов, старинные торговые поселки, «основания») и проходит вместе с феодальным обществом ряд этапов, которые находят отражение в различных урбанистических, селищных экономико-социальных типах.

---

\* См. Очерк III. С. 191—226.



Аналогичные стадии и закономерности градообразовательного процесса реконструируют и словацкие археологи. Систематические раскопки, ведущиеся на территории Словакии с 1950 г., показали, что развитие городов здесь началось также задолго до колонизации (немецкой, венгерской, польской) и образования «правового» города. Последнему предшествовал длительный процесс развития «зародышевых» городов, как результат внутренних хозяйственных и социальных перемен в регионе<sup>31</sup>

Континуитет раннегородского поселения и города высокого Средневековья, подчас с явлениями трансурбанизации (причем весьма примечательной: сохранение за новым поселением старого имени, несмотря на изменение как его географического положения, так и этнического состава жителей; один из примеров тому — Старый Любек) хорошо прослеживается также и в землях других славянских народов, в частности, у прибалтийских славян.

Как показывают исследования польского историка и археолога Л. Лециевича, в VI—VIII вв. на месте Щецина существовало аграрное поселение, которое с середины VIII в. начинает приобретать новые черты, становясь зародышем будущего города. Здесь возникает окруженный валом бург, который в IX—X вв. густо застраивается жилищами горожан. Хотя жители Щецина занимались и ремеслом, Лециевич подчеркивает, что образование поселения городского типа здесь связано с интенсификацией сельскохозяйственного производства.

Напротив, Волин уже в IX в. представлял собой «полностью развитый город» с интенсивным ремесленным производством, о чем свидетельствуют изделия местных стеклоделов, находки частей токарного станка, следы судостроения. Город имел регулярную планировку и был окружен S-образной крепостной стеной. В X—XI вв. Волин оставался ремесленным и торговым центром, но в середине XI столетия он пережил серьезные хозяйственные потрясения, от которых не сумел оправиться, хотя еще и в XII в. играл известную роль. Л. Лециевич сравнивает судьбы Щецина и Волина: по его мнению, Волин возник в зоне открытых поселений, где лишь позднее стали расти раннефеодальные бургы. С подчинением этой территории раннефеодальному государству Пястов независимые бургы сходят на нет. В отличие от Волина включение Щецина в раннефеодальную систему содействовало лишь укреплению его значения: гораздо менее Волина связанный с внешней торговлей, он легче нашел себе место в рамках новой государственной организации<sup>32</sup>.

Польские историки, в частности В. Хензель, выделяют несколько стадий в развитии городских поселений на территории Польши. Прежде всего это городские «протоэмбрионы», сложившиеся в начале нашей эры. В V в. они переживают упадок, как полагает Хензель, в результате гуннского вторжения. Вопрос о масштабах упадка остается еще спорным. С VII—VIII вв. начинается рост «городских эмбрионов» в Южной Польше, связанных с моравскими поселениями городского типа. В Центральной и Северной Польше городская жизнь зарождается несколько позднее (Хензель датирует начало Познани серединой IX столетия), а в X в. эти предгородские центры переживают упадок. Со второй половины X и в XI в. ремесленные посады получают укрепления, «превращаясь» в города средневекового типа. Касаясь вопроса о социальной природе раннего польского города Хензель замечает, что здесь имела место связь между развитием ремесленного производства и созданием политических и религиозных центров<sup>33</sup>

Каков хозяйственный облик предгородских и раннегородских образований в славянских, в частности, чешских землях? Спасательные (т.е. перед новой застройкой) раскопки в окрестностях Будече и Либице, Литомержице, Градца-Кралоуе, Жатеца, Стара-Пльзени и особенно Пражского Града свидетельствуют прежде всего о том, что группы поселений, складывающихся в их близи (уже со второй половины IX в.), проходят длительный путь развития. К X в. они уже имели ремесленно-земледельческий характер. Их начальная функция состояла в том, чтобы обеспечить предметами первой необходимости и продовольствием высший социальный слой, обитавший в Граде. На рынок поступали лишь излишки того, что поставлялось в Град. О том, что производственные возможности их ремесленников не исчерпывались этими поставками, свидетельствует и археологический материал, и письменные источники. Археологически зафиксировано развитие кузнечного, гончарного, косторезного, бронзолитейного, металлургического производства. В тех поселениях, которые были расположены на границе с округой, преобладало земледелие. Структура хозяйственной жизни, как подчеркивает М. Рихтер, создавала предпосылки для развития торгового обмена с округой и между жителями самих агломераций. На рубеже XII—XIII вв. меняется и внешний облик этих поселений: возникает систематическая, характерная для городской, застройка. На это же время приходится и строительство большинства костелов как в самих поселках, так и в усадьбах знати.

В XII в. археологи констатируют ситуацию, возникновение которой уже нельзя объяснить только потребностями администра-

тивной системы градов, скорее общими процессами: расширением внутренней колонизации, углублением разделения труда, развитием обмена, ориентировавшего производство на потребности рынка и способствовавшего социальной перегруппировке населения в агломерациях подградья. Несмотря на разложение княжеской системы управления в течение первой половины XIII в., поселения подградья, особенно те, что территориально и функционально были связаны с рынком, сохраняли и развивали свои экономические контакты и «играли по существу уже роль, аналогичную позднейшим городским центрам».

Одним из проявлений урбанистического развития в XIII в. стало, как уже отмечалось, «основание» массы мелких городков и рыночных поселений как бы на «пустом месте». Они не отличались устойчивостью, но их городские функции были довольно сильно выражены с самого начала. Об этом свидетельствуют материалы археологического изучения мест их расположения, в частности, исследованных М. Рихтером двух поселений такого типа. Одно из них — «Градишка-на-Давле». Основанное где-то в середине XIII в. по соседству с бенедиктинским монастырем, оно было разрушено в результате военных событий 1278 г. Городок имел укрепления; расположение жилищ (земляных) свидетельствует о единой системе межевания участков (парцелл) и наличии рыночной площади. Археологические находки говорят о ремесленном производстве и роли торговли в жизни Градишка. Однако М. Рихтер не исключает, что своим появлением поселение обязано также добыче золота в окрестностях. Другой городок, Ждяр-на-Сазаве, также был основан близ монастыря цистерцианцев (около середины XIII в.), а через 20 лет перенесен на другое место. В письменных источниках он фигурирует как рынок (*fozum*). Дома (столбовой конструкции) группировались вдоль рынка (или расширенной улицы).

Таким образом, археологический чешский материал также свидетельствует о значительном месте аграрно-домениальных учреждений в качестве предшественников средневекового торгово-ремесленного в своей сущности города, о четкой грани между сельской общиной и городом, об активности «замка» — града в становлении городов, а также и о том, что создание у западных славян подлинных городов (XII—XIII вв.) явилось результатом длительного исторического процесса «физического расчленения» города и деревни.

## «ГОРОДСКИЕ ЯДРА»: ТЕРМИНОЛОГИЯ; НАУЧНЫЕ ДЕФИНИЦИИ

Раннесредневековые «города» (как показывают археологические раскопки на местах их расположения повсеместно в Европе) не были городами в полном смысле слова. Поэтому их именуют обычно городами-эмбрионами (эмбриональными городами) или городскими ядрами. Они были промежуточной формой поселения, из которой еще только предстояло вырасти подлинному городу Средневековья. Их хозяйственной доминантой оставалась аграрная сфера, ремесло и торговля захватывали только небольшую часть их жителей. В этом отношении показательна фиксируемая современными исследователями эволюция термина *burg—burgus*, который в германском языке обозначал первоначально неукрепленную общину, а в латинском (со II в. н.э.) стал прилагаться к маленькому укреплению. В меровингской Галлии бургами называли пригороды (этому соответствовал *wik* в Германии IX в.); перенесенный в Германию термин *burgus* стал прилагаться в XII в. уже не к пригороду, а к самому городу.

В западноевропейской историографии долго господствовало представление, сформулированное Х. Планитцем, о различии между укреплением, которое обозначается латинским термином *civitas*, и купеческим поселением, именуемым в источниках *vicus* или *wik*. В. Шлезингер внес некоторые существенные поправки в концепцию Планитца: по его мнению, словом *civitas* или *burg* именовались (во всяком случае, с VIII в.) не просто укрепление, но сложный комплекс, включавший в себя и крепость, и рынок, что позволяет называть его городом. В отличие от этого, термином *wik* в северных районах обозначалось открытое купеческое поселение при бурге, своего рода посад, тогда как на юге *wik* вообще не являлся техническим термином, имевшим строгое значение. Против взглядов Х. Планитца и В. Шлезингера выступил в 70-х годах Г. Кэблер<sup>34</sup>. Он показал, что термин *wik* отнюдь не имел значение «купеческое поселение». Слово *civitas* и его раннесредневековые синонимы (*burg*, *arx*, *castellum*) обозначало поселение, характерной чертой которого был не рынок, но крепостные стены. Латинский термин *vicus* и сохранившийся в области саксонского племени его эквивалент *wik* имели синонимами *dorf*, *wilare*, или *gazza*, т.е. означали деревню, независимо от того, была ли она хутором или селом. Купцы могли поселяться в вике и названия многих средневековых городских поселений действительно оканчиваются на «вик», но это не значит, что вик мыслился современниками как специфически купеческое поселение. В сознании

человека раннего Средневековья существовала лишь оппозиция крепость—деревня, но не оппозиция крепость—купеческое поселение.

В отличие от Кэблера, Г. Людат в опубликованном в те же 70-е годы исследовании о понятии «город» в восточноевропейском ареале, исходит из концепции Шлезингера, полагая, что до 1200 г. термином бург обозначался весь городской комплекс, тогда как после 1200 г. он был перенесен на крепость, а к городскому поселению в собственном смысле стали прилагать термины *wik*, *tal*, и особенно *stat*, имевший первоначальное значение «место» (*locus*)<sup>35</sup>. Изучение славянской терминологии до XIII в. осложнено скудностью источников; в XIII и XIV вв. можно видеть различие в употреблении названий между западными славянами (полабы, поляки, сорбы, чехи, словенцы), у которых наблюдается то же разграничение, что и в немецкой терминологии — обозначение «город» сохраняется за крепостью, а собственно городское поселение получает название «место» (*locus*), — и восточными славянами, у которых град-город обозначает весь комплекс городского поселения (кроме украинцев, у которых слово «место» заимствовано, видимо, из польского). Людат рассматривает терминологическое расхождение слов «город» и «место» как аналогию расхождения *burg* и *stat* и считает это результатом немецкой колонизации западнославянских территорий.

Если эти наблюдения правильны и оппозиция понятий *burg*—*stat* и соответственно город—место проявляется в европейском самосознании не ранее 1200 г., то выходит, что в Западной Европе раннего Средневековья не существовало специального понятия для обозначения торгово-ремесленного поселения, отличного от крепости—бурга. Но следует ли абсолютизировать средневековое самосознание и, приравниваясь к нему, говорить о безгородском периоде V—X вв.? Результаты современных археологических исследований в западнославянских землях (и не только там, но и на территории Венгерского королевства и южных славян) предостерегают от этого. Кроме того, чтобы решить этот вопрос, нельзя ограничиваться накоплением и истолкованием только археологического и лингвистического материала — необходимо также отдавать себе отчет в том, что мы понимаем под городом вообще и специально — под раннесредневековым европейским городом.

Американский историк-медиевист Д. Николас, посвятивший исследование проблеме происхождения средневекового города и особенно раннесредневековым «зародышевым» городам, выделяет два основных критерия, определяющих город как институт средне-

векового общества: наличие постоянного поселения, а не только рыночного места («колонии бродячих купцов» — А. Пиренн) и иных нестабильных форм; обособление от окружающей территории в экономическом, правовом, топографическом плане. Это последнее — отделение от деревни с помощью стен, на расстоянии мили от которых прекращала свое действие юрисдикция магистратов — Николас считает символом более глубокого отделения города от деревни, которое складывается из экономических и правовых моментов. Вместе с тем, Николас полагает, что одних экономических или одних правовых моментов недостаточно для того, чтобы вычленить город из окружающего его аграрного мира: обе системы особенностей дополняют друг друга. Одновременно он подчеркивает, что установление рыночного права с рыночным судом и рыночным миром, выступая как «революционный акт» создания города, отражает сложившиеся экономические особенности поселения нового типа<sup>36</sup>

Оригинальная методика выработки дефиниции города на основе анализа его «топографических функций» была предложена в свое время Д. Денеке.

Денеке полагает, что не создание общего определения должно быть исходным моментом исторического анализа городов, — общезначимая дефиниция понятия «город» вообще невозможна — но, напротив, нужно идти индуктивным путем, отправляясь от конкретных явлений и процессов, свойственных «поселениям центрального характера», как Денеке предпочитает называть города. Каждое поселение обладает не только индивидуальными чертами (топографическое положение, хозяйственная и социальная структура и т.п.), но и состоит в территориальных и функциональных отношениях с окрестными поселениями. Иначе говоря, оно занимает определенное иерархическое положение в сети поселений. Определение иерархического места того или иного поселения зависит от меры «избытка его функций», т.е. от степени, в которой оно создает и предлагает вовне известные функции, блага и службы сверх нужных для него самого; «избыток в предложении функций, благ и служб, обусловленный особым социальным и хозяйственным складом, и находит свое выражение в понятии центральный характер поселения»<sup>37</sup>

Денеке предлагает классификацию функций и учреждений поселений центрального характера, выделяя среди них десять категорий: политические и административные, правовые, оборонительные и стратегические, культовые, культурные, благотворительные, функции аграрного управления, ремесленные, торговые, коммуникационные.

В соответствии с этой классификацией Денеке составляет таблицу иерархических признаков для поселений центрального характера в Средневековье и раннее Новое время. Каждая категория функций и учреждений может быть представлена с разной степенью интенсивности, что Денеке передает при помощи системы ступеней (до четырех). Так, для категории ремесленных функций он выделяет следующие ступени: ограничение допуска некоторых ремесленников; цеховая организация; право бана в пределах мили для некоторых ремесел (пивовары, ткачи и пр.), право бана охватывает и соседние города. Для категории торговых функций им выделены: еженедельный рынок; обязательность продажи только на рынке; право бана в пределах мили для мелочных торговцев; ежегодный рынок, фактории, стапельное право; ярмарка, собственная монетная чеканка.

С помощью такой таблицы может быть дана характеристика иерархического положения каждого поселения, причем следует учитывать, что некоторые из них выполняли разнообразные центральные функции, тогда как в других доминировала одна какая-то функция. Особенно продуктивной такая методика может оказаться для изучения изменений в уровне развития поселений в том или ином районе.

## ПЕРЕСМОТР ТЕОРИИ А. ПИРЕННА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГОРОДОВ

Один из крупнейших и авторитетнейших европейских историков-урбанистов начала века А. Пиренн (1862 — 1935), на работах которого воспитано было не одно поколение историков, считал предтечей развитого средневекового города поселение «путешествующих» купцов, занятых дальней торговлей — одноуличный вик, создававшийся под охраной сильной крепости<sup>38</sup>. Подчеркивая аграрные черты городов-эмбрионов и незначительный размах в них ремесел и торговли, современные медиевисты, по сути, отказываются от этой торговой концепции происхождения города. Исследования 70—80-х годов, в том числе и археологические, показывают, что социальный слой купцов не явился неизвестно откуда: он вырос из полуаграрной среды в окружении городов-эмбрионов. Торговля, отмечает в этой связи, в частности В. Шлезингер, действительно являлась одним из важнейших факторов в формировании новых городских поселений, но это была не дальняя торговля на большие расстояния, а локальные рынки, обслуживающие потребности непо-

средственню самого населения города и жителей близлежащей округи.

Оппоненты А. Пиренна, критикуя его школу за недооценку роли аграрного развития и внутренней торговли в процессе становления европейского средневекового города, как правило, все же признают правильность его теории в целом по отношению к Фландрии, на материале которой (и прежде всего ее самого большого города — Гента) теория эта базируется. Дэвид Николас, американский медиевист, известный своими исследованиями фландрских средневековых городов, выступает с пересмотром концепции Пиренна в самих ее основах, касающихся генезиса фландрских городов и характера их развития на начальном этапе своей истории<sup>39</sup>

Согласно А. Пиренну, средневековые города на северо-западе Европы возникают после норманнских набегов (X в.). Предтечами их были поселения путешествующих купцов, занимавшихся торговлей в европейском масштабе предметами роскоши, предназначенными для обитателей крепостей, под охраной которых эти поселения возникали. Основой дальнейшего развития городов являлась экспортная торговля сукном, которую вела верхушка купечества. Процветание городов определило, со своей стороны, раннее развитие фламандской агрикультуры: города предоставили крестьянам емкий рынок сбыта, что позволило последним избавиться от сервильных повинностей. Процветанию фландрских городов в XI—XII вв. способствовала также «дальновидная», по выражению Пиренна, политика фландрских графов и следовавших их примеру сеньоров, которые основывали в своих доменах города и сельскохозяйственные бургады.

Эта стройная концепция, однако, полагает Николас, мало что дает для объяснения происхождения городских функций (коммерческих, ремесленных, финансовых или административных) — того, что выделяет город из аграрной стихии. Какие потребности, какие силы вызвали город к жизни, обусловили рост агломераций, превращение одних в крупные города и прозябание других на второстепенных ролях? Ответ на эти вопросы Д. Николас считает необходимым искать в исторически сложившихся структурах заселения и хозяйственной жизни Фландрии, в особенностях историко-географического положения и экономического развития отдельных ее зон, областей и агломераций. Большие возможности для изучения этих процессов видит Николас в анализе топонимического материала и методе картографирования. Николас реконструирует территорию первого этапа расселения германцев в восточных областях Фландрии (так называемая Германская



Фландрия) — до 900 г., затем с 900 г. по 1000 г.; в 1000—1100, 1150—1226 гг. и с 1226 г. Уже к 900 г. зона сплошной заселенности охватывала дистрикты восточных и центральных провинций страны. В хозяйственном отношении это были прежде всего плодородные, пригодные для зернового хозяйства долины крупных рек, но также и прибрежные польдеры и поросшие вереском песчаные пустоши в стороне от основных водных артерий — районы пастбищного скотоводческого хозяйства и раннего сукноделия. Сопоставление Николасом карты размещения «ядер древнего расселения» с картой фландрских городов, обнаружило: во-первых, что старинные агломерации, давшие начало фландрским городам, возникают в зонах высокой уже к X в. плотности заселения; во-вторых, что будущие крупные береговые города развиваются, как правило, ниже зоны зерновых культур, на границе с менее плодородными районами. Вполне вероятно, что эти последние приобретали здесь необходимое им зерно, которое городской порт получал с верховьев, предлагая, со своей стороны, ремесленное сырье — шерсть и кожи.

Будущие большие города Фландрии (Гент и Брюгге, прежде всего) «обнаруживаются», таким образом, в структуре заселения задолго до X в. Не отличающиеся еще от деревень, эти агломерации, как правило, очень велики по площади. Наблюдение за процессом внутренней колонизации обнаруживает их постепенное превращение в ядра формирования городских агломераций. Новые поселения, как показывает также Николас, в X—XI вв. возникают, как правило, либо около этих изначальных ядер или между ними.

Рост поселений около ядра Брюгге и Гента (а со второй половины XI в. также вокруг Ипра) наблюдается непрерывно на всем протяжении X—XIII вв., даже в период общего замедления процесса внутренней колонизации в 1151—1226 гг. Благодаря своему положению в структуре изначального расселения первые большие агломерации располагали значительными сырьевыми и продовольственными ресурсами, что позволяло им блокировать рост новых городов. Показательно, что в округах Брюгге и Гента не сложилось ни одной крупной агломерации, а из вновь основанных городов Юго-Западной Фландрии лишь один Ипр имел блестящее будущее.

Процесс внутренней колонизации Фландрии в X—XIII вв., приходит к выводу Д. Николас, представлял собой по существу развитие и расширение «изначально сложившихся структур» и именно это, по его мнению, имело «важные последствия для истории зарождения городских функций». Но ставя вопрос таким

образом, Д. Николас вступает в полемику уже не только с А. Пиренном, но и с теми современными историками (Э. Эннен, Г. Фуркен, Р. Фосье и др.), которые связывают зарождение и развитие средневекового урбанизма так или иначе с подъемом агрикультуры. Выведение урбанизма из «излишков продукции сельскохозяйственного производства в регионе», по мнению Николаса, слишком упрощенное, поверхностное объяснение. Увеличение продукции аграрного производства в конце эпохи Каролингов несомненно внесло вклад в развитие агломераций, но только тех, полагает Д. Николас, которые «уже получили географический импульс». Фландрские города действительно зарождаются в зоне процветающей агрикультуры. Но одного этого еще не достаточно, чтобы предгородские ядра развились в подлинные города. Необходим был дополнительный импульс со стороны «коммерции и промышленности». Показательно, что развитие получили только старинные агломерации, сложившиеся на стыке зон с «разной хозяйственной ориентацией». Поселения же, оказавшиеся в центре хлеборобных областей, остались на положении второстепенных. Их функции, не найдя приложения, не получили развития. Один из характерных примеров тому — позже основанные города Юго-Западной Фландрии.

Односторонен и поверхностен, по мнению Д. Николаса, и другой традиционный тезис — о первостепенной важности городов для подъема аграрной экономики Фландрии. Он справедлив, пожалуй, лишь в том смысле, что именно крупные старинные агломерации Восточной Фландрии, плотно заселенной уже к концу XI в., стимулировали на всем протяжении XII в. освоение плодородных земель Юго-Западной Фландрии и польдеров на северо-западе и северо-востоке страны. Собственно, на обеспечение их продовольствием и сырьем эти районы и были с тех пор ориентированы. Относительное равновесие между городской и сельской экономикой во Фландрии продолжалось недолго. Крупные города — Гент и Брюгге уже с конца XII в. под давлением демографического роста, как в самих городах, так и в зонах их притяжения, обратились к экспорту зерна из Северной Франции (Гент) и Германии (Брюгге). Это было проще и дешевле, чем освоение немногих оставшихся пригодных для зерновых земель, расположенных в стороне от крупных рек. Шерсть Фландрия экспортировала уже с конца XI в.: расширение пахотных земель, происходившее за счет пастбищ, наносило ущерб скотоводству. Благодаря ключевому положению в системе коммуникаций, давно и хорошо налаженной практике транспортирования грузов, стапельному праву купечество крупных фландрских городов и преж-

де всего Гента монополизировало (конец XII — середина XIII в.) всю торговлю зерном. Закупая дешевое северо-французское зерно, гентские купцы перепродавали его (по более низким ценам, чем местное) на внутреннем рынке. Подрывая тем самым хозяйство фламандских крестьян, они ставили их перед необходимостью обратиться к другому виду деятельности — ткачеству. Таким образом с этого времени города превращаются в фактор подавления национальной агрикультуры. Так был поставлен под сомнение еще один распространенный стереотип — о безусловной прогрессивности города.

Гент, как считает Николас, дает наиболее «чистый» пример генезиса города, вырастающего из «варварского» поселения (в отличие от Брюгге, в дальнейшем развитии которого «внешний фактор» играл действительно большую роль, и Ипра — более позднего образования). Он сложился на стыке песчаной зоны и прибрежной равнины и представлял собой естественный пункт для реализации продукции процветающей агрикультуры Восточной Фландрии. Это прослеживается в топографии города и ее эволюции. В основе Гента лежит несколько топографических ядер (а не одно — графская крепость, как считал А. Пиренн). Наиболее раннее и главное из них располагалось в излучине Лиса и представляло поселение кожевников. В этом Николас видит подтверждение своей гипотезы о преобладании пастбищного скотоводческого хозяйства в областях к северу от города. Рост агломерации на начальном этапе осуществлялся вдоль ее главной продовольственной и транспортной артерии — Лиса. Снабжение пищевыми продуктами и необходимым сырьем собственного населения, перепродажа зерна в области, где его производилось недостаточно, было главной и специфической функцией предгородского ядра (то же характерно для раннего Брюгге и Ипра). Именно вдоль Лиса, но выше по течению от графского замка (более позднего образования) и вне его укреплений располагались продовольственные рынки — главные рынки города, а позднее — самые аристократические кварталы. Таким образом, не обеспечение обитателей замка предметами роскоши (как полагала школа Пиренна), а именно обеспечение частью горожан прежде всего пищевыми продуктами другой их части составляет главную хозяйственную функцию и характерную черту изначальной городской активности и неперемненное условие «самовозобновления» городского организма. Рынок сбыта, предлагаемый сеньориальной крепостью, расположенной близ городского ядра, как и аристократией в целом, утверждает Николас, был заведомо недостаточен для того, чтобы активизировать рост такого города как Гент.

«Индустрия», экспортное сукноделие начинает определять развитие города много позже, когда гентское купечество обратило часть капиталов, аккумулированных в торговле продовольственными товарами, в сферу ремесла. Это нашло отражение и в городской топографии: показательно, что суконные рынки и кварталы ткачей располагались в основном на периферии старинной агломерации — вдоль Шельды, главной артерии с конца XI в. ввоза шерсти. Они были инкорпорированы в пределах городских укреплений лишь в 1254 г. — полтора столетия спустя после возведения стен вокруг старинного поселения вдоль Лиса. В центральной части города текстильное производство представлено слабо — феномен, вызывающий удивление, если считать, следуя Пиренну, что оно было укоренено настолько, что считалось «традиционным». Напротив, центр города — средоточие торговой активности, ориентированной на обеспечение города продовольствием и сыром. Исследуя происхождение крупных состояний в Генте в период расцвета экспортного сукноделия, Николас приходит к выводу, что и в это время ведущей, с точки зрения формирования капиталов, все же была коммерческая деятельность, связанная с обеспечением города продовольствием: 2/3 богатых гентцев и в 1327 г. извлекали свои доходы именно из снабжения города продовольствием. Это были, как правило, откупщики зерна. Бюргеры, владевшие откупными на шерсть и сукно, не принадлежали к числу самых богатых горожан.

Таким образом, исследование Д. Николасом генезиса городов Восточной Фландрии дает еще одно, причем весьма весомое, подтверждение тому, что мы уже имели возможность наблюдать выше в других европейских регионах (в частности, западнославянских): средневековый город — результат главным образом внутренних процессов развития области, исторической территории, региона. Зарождение и ранние формы проявления его обусловлены прежде всего обменом местными изделиями собственного производства и только впоследствии дальняя и транзитная торговля также становятся источником процветания города. Становление города — длительный процесс развития поселения как центра местного обмена.

Поиск нового материала, новых путей, подходов, решений — характерная черта медиевистических исследований последних десятилетий, посвященных городу. Однако поиск этот, как уже отмечалось в другой связи, оборачивается все же нередко скорее конкретизацией истории отдельных городов, чем построением истории городской жизни, хотя бы в пределах одного ареала. Исследование Д. Николаса, освещению концепции которого было

уделено большое внимание, занимает особое место в ряду современных работ по городу именно как одна из немногих пока попыток моделирования городской истории «целиком» и при этом в одном из важнейших ареалов средневековой Европы — по своему «эталонному» для традиционной историографии. В творчестве же самого историка оно сыграло роль своего рода «базиса» (что методологически также показательно для «новой» урбанистики) для последующего целостного, социокультурного анализа городской цивилизации северо-запада Европы.

В своей критике с позиций системного подхода пиренновской концепции изучения городской истории американский историк имел предшественника, о существовании которого, едва ли подозревал. Им был российский ученый, урбанист Н.П. Оттокар, речь о котором пойдет ниже.

## ВКЛАД РОССИЙСКОЙ НАУКИ

До сих пор, рассматривая историю становления урбанистики как дисциплины новой социальной истории, характеризуя ее исследовательский инструментарий, общие концепции подхода к изучению средневекового города и ее открытия на этом пути, мы имели в виду процессы исключительно в западной науке и оперировали преимущественно материалами исследований, посвященных городам и урбанизационным процессам в Западной и Центральной Европе, в западнославянских странах.

Что привносит в это новое знание о европейском средневековом городе российская историческая мысль, так же как и само городское развитие на Руси в эту эпоху? Это масштабный и серьезный вопрос, требующий специального разностороннего анализа. Отдавая себе вполне отчет в этом и не претендуя на какие-либо глобальные выводы, я считаю тем не менее важным и возможным обратить здесь внимание на отдельные имена и некоторые линии развития в современной отечественной урбанистике, в частности в области изучения древнерусского города: в общем контексте нашего анализа становления новых познавательных основ современной урбанистики они обретают особое звучание, убеждая в мысли о единстве тенденций глобальных цивилизационных процессов и развития мировой науки.

\* \* \*

Николай Петрович Оттокар (1883—1957) — это имя мало что говорит нынешнему поколению наших историков. Н.П. Оттокар

известен лишь узкому кругу специалистов как урбанист и профессор Флорентийского университета<sup>40</sup>. Но мало кто знает, что Италия — вторая родина Н.П. Оттокара, выпускника Петроградского университета, ученика И.М. Гревса, сокурсника и друга Л.П. Карсавина. О творческом сотрудничестве и единстве взглядов обоих ученых на предмет истории и подходы к ее изучению говорят слова признательности, высказанные Карсавиным Оттокару в предисловии к своей программной работе «Основы средневековой религиозности»<sup>41</sup>.

В этом убеждаешься также при первом же знакомстве с монографией Н.П. Оттокара «Опыты по истории французских городов в средние века», которую он успел завершить на родине (в ноябре 1918 г.), но которая увидела свет уже в его отсутствие (в 1919 г.). Она была опубликована по решению Совета Пермского университета и открывала собой серию университетских «Записок»<sup>42</sup>.

Пять французских городов — Камбрэ, Нуайон, Бовэ, Суассон и Санлис в эпоху «коммунальных революций» XI—XIII вв. находятся здесь в центре внимания Н.П. Оттокара. Но то, что его интересует — это не перипетии борьбы с городским сеньором «за свободу и самостоятельность» сами по себе. Подлинная цель его исследования — уяснение в каждом конкретном случае особенностей становления города как «публично-правовой целостности» и формирования в ходе этого процесса «городской ассоциативности» как «способности к коллективному действию и коллективной солидарности».

Конституирование города, как стремится показать Оттокар, — длительный и сложный процесс, в котором участвуют различные силы и элементы, сеньориально-феодалные в том числе. Этот процесс не сводим к действию коммунальной хартии. Реальные результаты и истинный смысл «коммунальных свобод» и «хартий» могут быть адекватно оценены лишь в том случае, «если будут поставлены в связь со всей жизненной обстановкой, со всею реальной конъюнктурой» — с историей становления города и его институций, реальных отношений с сеньором и сеньориальными властями. При таком подходе обнаруживается, и Оттокар акцентирует на этом внимание, что то, что обычно выдвигается на передний план, как главное событие городской истории: борьба с сеньором «за свободу» — всего лишь одна из линий городской жизни и при этом не всегда доминирующая. Городское самоуправление, утверждает Оттокар, в той или иной степени и форме «рождается и существует независимо от этих “коммун” (в специфическом смысле) и *conjuratio* (клятвенного союза); не с ними рождается и не с ними погибает».

Таков лейтмотив конкретно-исторического исследования Н.П. Оттокара. Для того, чтобы оценить его новаторство достаточно вспомнить об укорененности в историографии начала века, особенно французской, концепции средневекового бюргерства (восходящей к О. Тьерри и Ф. Гизо) как предтечи буржуазии и абсолютно враждебной феодальному миру. В ее контексте «коммунальные революции» трактовались как «прорыв» горожан к «свободе», политической независимости, по силе и исторической значимости, предвосхищавший буржуазную революцию конца XVIII столетия. Исследование Н.П. Оттокара в этом пункте было направлено также и против традиции изучения средневекового города исключительно как центра торговли, господствовавшей на рубеже XIX—XX вв. в немецкой исторической науке, и против входившей «в моду» торговой теории происхождения городов А. Пиренна.

Резко критикуя эту теорию А. Пиренна, Оттокар вместе с тем высоко оценивал как плодотворную, с точки зрения познания исторического прошлого, постановку им вопроса о необходимости изучения мира представлений и духовных потребностей «средневекового» торгового человека.

В ходе критики вотчинной теории К. Нича утвердилось убеждение, разделявшееся Г. Беловым, Койттенем, затем Ф. Реригом, Х. Планитцем, как и А. Пиренном, что единственной движущей силой на различных этапах городского развития были «свободные» купцы, что, естественно, исключало какое-либо позитивное воздействие на становление городского права и институтов со стороны сеньора и составлявшего его администрацию феодального элемента (министерялы, скабины). Конститутивным фактором городского развития, согласно этой концепции, объявлялся принцип «свободы», реализовавшийся в ходе борьбы жителей торгово-ремесленных поселков (сложившихся у стен крепостей) с их сеньорами.

Этим априорным схемам Н.П. Оттокар противопоставляет исследование, выводы которого были определены (пользуясь его же формулировкой) «всею совокупностью впечатлений от источников», а «нивелирующей предвзятости шаблона» — глубокое изучение «индивидуальности» каждого города, конкретной истории его становления и многообразия путей этого становления. Иными словами, ставился вопрос о необходимости выработки типологического подхода и важности сравнительно-исторического анализа — о том, что стало одним из основных принципов исследовательского подхода западной медиевистической урбанистики 60—70-х годов. Однако исследовательская концепция

Н.П. Оттокара этим не исчерпывается. Он идет дальше, выдвигая задачу изучения города как динамичной «публично-правовой» и социокультурной целостности. Именно при таком ракурсе анализа, как стремится показать Оттокар в своей книге, становится очевидной органическая сращенность города, особенно в ранний период его истории, с сеньориально-феодалным миром и роль политико-административного фактора в его становлении как корпоративной общности.

«Не следует, — пишет Оттокар, — противопоставлять скабинов и юратов, как это делает Рейнеке, по мнению которого, скабины должны были «выражать сеньориальные интересы в противовес коммунальным». Формально, конечно, скабины были органами епископской власти. Но дело не в этом. В течение долгого времени они были естественными представителями городского мира, и именно через них совершилось постепенное обобществление городской жизни. Так была достигнута значительная степень «самоуправления». Вот почему эту магистратуру в известном смысле можно даже назвать «коммунальной» (в широком значении этого понятия). Но термины «коммуна» и «коммунальный» я предпочитаю употреблять только тогда, когда в городе уже определенно выступает сплоченная, солидарная, организованная ассоциация горожан. Органами этой ассоциации в Камбрэ становятся юраты. Они являются теперь главными носителями общественных тенденций горожан. Но от этого скабины не становятся в существе своем сеньориальными агентами. Только пути и способы воздействия городского элемента становятся разнообразнее. В одном юраты заменяют собою скабинов, в другом действуют наряду с ними и через их голову производят новые захваты и завоевания, в третьем — подкрепляют их своим участием и своей поддержкой. Но наряду с этим, и сами скабины подвергаются некоторой «коммунизации». Юраты и скабины, при всем своем формальном различии, не разные по природе учреждения, а лишь отражение различных моментов в истории городского самоуправления. Сосуществование их свидетельствует не о дуализме, а о жизненной полноте постепенно слагающегося городского строя, вобравшего в себя все исторические пережитки и наслоения» (С. 81).

Эта цитата из очерка о Камбрэ показательна для понимания в целом концепции Н.П. Оттокара о роли сеньориального элемента в становлении городов. Она тем более интересна для нас, что содержит точку зрения по одной из ключевых проблем, интенсивно разрабатываемых в современной медиевистике<sup>43</sup>

Н.П. Оттокар не оперирует понятием «тотальная история» и редко употребляет термин «исторический синтез», но те принципы исторического анализа, которые он отстаивает, позволяют говорить о его причастности к тому интеллектуальному движению в мировой науке, которое получило сегодня название «Новой соци-



альной истории» и истоки которого на Западе, как мы видели, восходят к началу нынешнего столетия.

Н.П. Оттокар выступает против представлений об истории, как «прямом» выражении «каких-то постоянных органических тенденций или потребностей», «определенных исторических явлений». «Нельзя не признать, — пишет он, — что «расшифровывание» исторической действительности при таких понятиях есть дело весьма простое и легкое. Забывают, что путь от внутренней потребности или тенденции к внешней действительности, во всяком случае, не такой прямой и простой путь. Забывают, как бесконечно многообразны в данной исторической действительности реальные условия и мотивы, как они перебивают и ломают друг друга, как неповторяема и единственна каждая данная ситуация... Историческая действительность жива и подвижна; каждый миг создает в ней новые сочетания, новые неповторимые осуществления. И первое требование к историку — не насиловать эту тонкую и живую ткань неизбежно-грубыми прикосновениями своей человеческой, материализующей психики» (С. 58).

Но понять своеобразие каждой исторической ситуации, по Оттокару, это значит — понять ценностные ориентиры и «язык» эпохи. Понять то, как сами современники видели и воспринимали действительность, какой смысл вкладывали, в данном случае, в частности, горожане, в такое понятие как «коммуна».

«Между тем мы совершаем дальнейшую ошибку, — пишет Оттокар в этой связи, — мы и людям того времени, авторам литературных и исторических источников приписываем наши представления. Мы предполагаем, будто и они воспринимали «коммунальные движения» как одно одинаковое и постоянное явление и будто у них к этому «явлению» было свое определенное и единое отношение» (С. 89).

Оттокар приводит пример, весьма выразительный и по существу рассматриваемой проблемы, и с точки зрения понимания ее им самим. Речь идет о широко распространенной в историографии того времени оценке Гиберы Ножанского как «противника коммунального движения». Эта оценка, полагает Оттокар, — результат не только «невнимательного изучения текста Гиберы, но и «ложной посылки», «будто то, что историки называют коммунальным движением, воспринималось современниками, как что-то единое, определенное, поддающееся общей и неизменной оценке». Ограниченность исследователей в данном случае, по мнению Н.П. Оттокара, связана с игнорированием как контекста сочинения в целом этого автора, так и особенностей его мышления: «Отношение Гиберы к трагедии Ланской коммуны не сводится к той или иной

оценке собственно «коммуны». «Не «коммуна» стоит в центре его внимания. Главное — преступная алчность епископа и просегес (знати), а отчасти и короля, их вероломство и предательство, а потом жестокая или дикая расправа горожан. Главное — человеческие пороки и преступления и проистекшие отсюда беды. В этом центр тяжести. Об этом, а не о «коммунах» он думал, когда описывал трагические события 1111-го года. Только к этому отношению у него определенное и постоянное. В остальном оценки его колеблются, в зависимости от контекста, от той или иной связи мыслей».

Исследование Н.П. Оттокара — одна из первых работ, в которой со всей остротой была поставлена проблема изучения топографической структуры ранних городов и ее терминологии. Обращая внимание на текучесть последней, изменения ее содержания — региональные и временные, Н.П. Оттокар говорит об опасности механического перенесения на раннюю историю города понятий, сложившихся в условиях позднего Средневековья. Один из примеров подобных «бездумных манипуляций», считает он, подмена французским термином «faubourg» (пригород) латинского «suburbium», который в текстах, относящихся к епископальным городам Северной Франции, имеет, как доказывает Оттокар, иной; расширительный смысл — «городские окрестности». Н.П. Оттокаром были обозначены по существу и проблемы будущих терминологических дебатов и исследований, в том числе и таких типов агломераций, которые выступают в источниках как «burgum» («определенное поселение», «бургада», «слобода», в трактовке Оттокара) и интерес к которым в европейской науке вспыхнул с особой силой в 80-х годах в связи с обращением западных урбанистов к проблеме «малых городов».

Таким образом, «Опыты из истории французских городов в средние века» Н.П. Оттокара, как мы пытались показать, есть нечто большее, чем только конкретно-историческое исследование, хотя и по одной из ключевых тем европейской городской истории. Надо сказать, что и сам автор понимал свою книгу как произведение «программное» — как «методологическое введение в историю французских городов». Но только ли городов?

В сущности, как показывает особенно заключительный раздел монографии Н.П. Оттокара, речь здесь идет о фундаментальных проблемах исторической науки — медиевистики, о ее познавательных возможностях. Это — призыв к обновлению истории, к реконструкции на новых, научных, основах европейской истории и истории средневекового города как ее части. Парадоксально, что этот призыв оказался созвучным прежде всего тем мощным силам

обновления медиевистики, которые вызревали в недрах той самой французской историографии, которую Оттокар в свое время подверг столь беспощадной, уничижительной критике. Но именно во Франции спустя полвека заявила о себе медиевистическая урбанистика как самостоятельная дисциплина и была предпринята в русле Новой социальной истории первая в европейской науке попытка синтезирующей реконструкции национальной городской истории, базой для которой стали материалы массового конкретно-исторического изучения (на протяжении более сорока лет) «городской Франции»<sup>44</sup>

Все это дает пищу для размышлений о судьбах и путях развития научной мысли. Случайно ли, в силу каких причин и обстоятельств именно в предвоенной Франции впервые получило (в трудах М. Блока и Л. Февра) свое полное и последовательное концептуальное выражение то интеллектуальное движение за обновление истории, симптомы которого в начале века ясно различимы в исторической науке практически всех ведущих европейских стран и мотором которого затем на протяжении всей второй половины нынешнего столетия являлась французская «Школа Анналов»?

В завершение рассмотрения концепции Н.П. Оттокара приводим отрывок из заключительной части «Опытов по истории французских городов в Средние века».

Я не касаюсь в этой книге вопроса о «происхождении городских учреждений». Не потому, чтобы эта проблема представлялась мне «неразрешимой» при данном состоянии источников. Я считаю с а м у ю п о с т а н о в к у в о п р о с а беспредметной и призрачной. Дело вовсе не в том, что нам почему либо не удастся установить «филиацию исторических институтов» или отыскать в прошлом «корни» данного «исторического явления». Дело в ложности самой задачи. Дело в том, что мы оперируем при этом фиктивными и грубыми представлениями. Ибо самое это разложение исторической действительности на ряды «институтов» или «явлений» есть не более, как бессильная, человеческая попытка оторвать и зафиксировать частичные аспекты текучей исторической массы, неразрывно связанные с этой массой и только в ней понятные и живые. Я отнюдь не склонен отрицать самую возможность исторического синтеза. Я думаю только, что обобщающее построение на такой фиктивной основе не может не быть призрачным и бесплодным.

Известная синтетическая попытка Пиренна\* лишь постольку ценна, верна и плодотворна, поскольку она име-

---

\* См. *Revue historique*. — P., 1893, — № 53; 1895, — № 57. Я говорю здесь, конечно, не о содержании указанных статей Пиренна в целом, а лишь о заключающейся в них попытке обобщающего построения.

ет в виду определить идеальные «цели» городского развития в связи с более или менее абстрактными потребностями средневекового «торгового человека». Она лишена всякого значения, поскольку она обращена к реальной почве исторической действительности, поскольку она стремится на деле проследить филиацию реальных форм исторической жизни. Первая задача, при всей ограниченности своего исторического значения, все же, по своему, законна и правдива. Вторая — при полной фиктивности своих методологических предпосылок фатально обречена на неудачу.

Читатель поймет после сказанного, почему я не считаю нужным вдаваться в критический разбор обобщающей теории талантливой бельгийской историк по существу. Я позволю себе только остановиться на некоторых реальных предпосылках этой теории, существенно затрудняющих, на мой взгляд, правильное отношение к вопросам ранней городской истории Франции. Я имею в виду слишком реальное и слишком определенно-дуалистическое противопоставление в жизни раннего города старинных сеньориальных миров и пришлого торгового люда. Как в отношении топографическом, так и в отношении реально-бытовом и персонально-юридическом, Пиренн и с х о д и т из противопоставления этих двух отличных друг от друга миров в городах раннего Средневековья. Городская жизнь и городское право родились будто бы лишь в одном из этих миров в купеческой колонии внешнего *portus*\* или «субурбия», лишь впоследствии старый домениальный мир (*castrum, civitas*) приобщился к этому новому праву купеческой колонии. Это воззрение, несомненно, обоснованное в применении к новым городам, возникшим лишь в X—XI вв. на торговых путях нынешней Бельгии\*, оказывается совершенно неверным для старых римских, епископальных центров северной Франции. Здесь, прежде всего, совершенно неприложимо обычное толкование термина «*suburbium*», на частом употреблении которого в источниках эпохи, главным образом, и основывается преувеличенное представление о роли купеческих пригородов. На примере целого ряда городов мы могли убедиться в том, что отождествление понятий «*suburbium*» и «*faubourg commercial*» представляет собою совершенное недоразумение, основанное на обычной беззаботности французских «городских историков» в обращении с топографическим (да и только топографическим?) материалом. Прибавлю еще, что это общераспространенное понимание топографических терминов, опровергается на каждом шагу словоупотреблением известнейших литературных и исторических источников X—XII вв. В «Анналах» Флоцаара мы постоянно встречаемся с неопределенно-широким пониманием субурбия, как обнимающего все то, что «под городом», близ города, в окрестностях города. В таком же смысле употребляет этот термин и

---

\* См. мастерскую характеристику этого процесса зарождения новых городов у Пиренна в указанных статьях, а также в *Histoire de Belgique*. I. P. 159—171 и в *Les anciennes démocraties des Pays-Bas*. (P., 1910). P. 17.

Гибер Ножанский. Это особенно явственно в главе VI книги III «De vita sua», где пустынное место, среди полей, в окрестностях города обозначено, как находящееся «*infra suburbium civitatis*», или в главе XI книги III, где рассказывается о том, как после выступления в поход обитателей Лана «*rustica manus et Suburbani*» разграбили дома опустевшего города. Правда, автор изданной Пиренном «Истории убийства Карла Доброго» употребляет обыкновенно термин «*suburbium*» в более узком смысле, обозначая им, действительно выросшее под стенами «*castrum*» Брюгге городское поселение. Но такое словоупотребление, как и вообще более определенное различие сеньориальной твердыни (*castrum*) и окружающего, собственно городского поселения, связано со своеобразными историческими условиями молодых городов Бельгии\* и не находит себе никакого соответствия в обстановке древних городских и епископальных центров старой Франции\*\*.

Здесь антитеза «*urbs-suburbium*» имеет совсем другое значение. И если «*suburbium*» употребляется в неопределенно-широком смысле, обозначая окрестности города вообще, то, с другой стороны, и термин «*urbs*» (или «*civitas*») отнюдь не связан с узкими пределами старого римского центра. Он охватывает широкое представление о «мире города», связанном в одно целое множеством реальных и бытовых отношений. На почве старой городской культуры никогда не могла заглухнуть мысль о «городской жизни», как о чем-то отличном и связующем. Конечно, у писателей X и XI веков, с идеей «города» ассоциировалось нечто большее, чем только «*juxtaposition de pieces de rapport*»... В игнорировании традиционного представления о городе — основной порок теории Пиренна. Старинный центр городского общежития для него — пустое место. Отсюда и преуве-

---

\* Характерно, что такое же различие «*castrum*», с одной стороны, и «*villa*» или «*burgum*» (однако все же не «*suburbium*») — с другой, мы находим у бельгийца Гислеберта из Монса, и именно в применении к молодым городам областей Намюра, Льежа и Эно... На французской почве мы встречаем также различие, главным образом, в обстановке замковых бургад и руральных поселений.

Надо все же заметить, что и в применении к бельгийским городам указанное значение терминов (*castrum*, *suburbium* и т.п.), а также указанное противопоставление двух элементов в составе города, отнюдь не является чем-то неизменным и постоянным. В той же «Истории убийства Карла Доброго» термин «*castrum*» иногда употребляется не в узко-топографическом смысле, а охватывает целые городские миры (как «*urbs*» или «*civitas*» во Франции). В этом же смысле мы встречаем его в древнейшей «*Keure*» Гента, Брюгге и др. городов... Особенно интересен § 19, в котором не только «*castrum*» употреблен в широком значении «города», но и «*suburbium*» имеет знакомый нам смысл «внегородского пространства» или «окрестностей»...

\*\* В отношении французских городов маститый историк Бельгии всецело полагается на весьма сомнительные, как мы видели, топографические концепции «городских историков Франции». Сам же он, вообще говоря, довольно поверхностно ориентируется в условиях французской городской действительности и нередко допускает, в угоду своей дуалистической теории, полнейшие извращения смысла исторических свидетельств...

личная оценка творческой роли новых пригородных поселений, и резкое противопоставление их старому миру.

Этой теории реального дуализма и исторической беспочвенности я хотел бы противопоставить (по крайней мере, по отношению к старым муниципальным и епископальным центрам северной Франции) представление об исконной обособленности и объединенности городского мира. Выдвигаемой мною реальной целостности городского поселения должна соответствовать и некоторая правовая объединенность его под властью верховного сеньора города «Городские историки» Франции как будто игнорируют и доминирующее положение этого высшего сеньора города, и крупную организующую роль поддерживаемого им объединения\*. На отрицании всяких объединяющих и «образующих» моментов в недрах старого городского центра основывается и пиренновское дуалистическое понимание раннего города, выдвигающее исключительную творческую роль «купеческого пригорода»\*\*. Я со своей стороны нисколько не склонен отрицать великое животворящее значение торгового элемента и его специфических потребностей в развитии городского права. Я полагаю только, что целостное восприятие города как некоего обособленного и объединенного мира, было основным реальным и правовым условием городского развития.

В широкое, объединяющее понятие города раннего средневековья я включаю и древний римский муниципальный центр, и выросшие и вырастающие вокруг него и тесно связанные с ним купеческие по преимуществу пригороды. Последние не называются обыкновенно ни бургами, ни тем более субурбиями. Они чаще всего поглощаются целиком понятием «urbs». Они не должны быть смешиваемы с окрестными бургами, которые в большинстве случаев сохраняют некоторое самостоятельное существование и не участвуют в образовании средневекового города. Конечно, а priori нельзя отрицать возможности и иных каких-нибудь взаимоотношений. Может быть, в некоторых случаях средневековый город, действительно, образуется из соединения старого городского или сеньориального центра с самостоятельно существующим и от него независимым бургом. Может быть, в исключительных случаях этот бург

---

\* Я говорю «игнорируют», а не «отрицают» потому, что не нахожу в работах французских историков даже сколько-нибудь ясной постановки этой проблемы... Можно было бы еще понять отрицательное решение проблемы. Но нельзя примириться с той беззаботностью и безответственностью, которая позволяет «городским историкам» Франции совершенно обходиться без отчетливой постановки этих вопросов при построении истории города.

\*\* Идея обособленности и объединенности городского мира отнюдь не чужда Пиренну. Но он имеет в виду не территориально-правовое единство города, а специфическую обособленность и объединенность купеческого элемента. Ошибка его в том, что единство города в отношении Tonlieu или регламентаций публичного торгового и промыслов он рассматривает как результат этого персонально-специфического объединения купеческого класса. В действительности, это лишь одно из проявлений общего территориально-правового единства города...

окажется даже «колыбелью» городского развития, и от него будут исходить все организующие и объединяющие тенденции. Но утверждать это в каждом отдельном случае можно лишь после самого тщательного изучения показаний источников во всем своеобразии их исторического и реальнотопографического контекста. И прежде всего здесь необходима отчетливая постановка вопросов и ясное различие всех представляющихся возможностей. Здесь больше всего следует опасаться той беззаботности и приблизительности мысли, которая обличает в сущности глубокое непонимание всей трудности и важности проблемы.

Освобождение идеи «коммунальности» от всей системы сросшихся с нею исторических понятий и затвердевших юридических формул представляется мне существенною потребностью французской «городской истории». Коммуна не есть определенная форма городской конституции. В понятие «коммунального» входит единство признаков ассоциативности, способности к коллективному действию и коллективной солидарности. Только эта сторона, только этот момент в жизни городского мира определяется признаком коммунальности. Этот признак не предрешает ни характера городской конституции, ни пределов политической автономии данного городского мира, ни объема его прав и вольностей. Все это от коммунальности с а м о й п о с е б е нисколько не зависит.

Вопросы о наличии «коммуны» в данном городе и о составе постановлений ее хартии приобретают в глазах историков слишком преувеличенное и всеобъемлющее значение. К появлению коммунальной ассоциации и к содержанию так называемой коммунальной хартии стараются свести всю сложность и полноту внутреннего роста города. От этого все наше восприятие городской действительности становится до крайности упрощенным и скудным. История французских городов должна быть освобождена от этого гипноза коммунальных хартий. Историческая значимость этих хартий бесконечно варьируется от случая к случаю. З н а ч е н и е и х к а к п а м я т н и к о в в н у т р е н н е г о у к л а д а г о р о д а весьма различно. Коммунальность есть лишь один из моментов общественной жизни города, весьма существенный и веский, но не охватывающий непременно всех данных и всех мотивов его внутреннего развития. Далеко не каждая коммунальная хартия может быть признана поэтому конституционным источником города. Многие из них содержат в сущности лишь общее признание ассоциативной связи населения и потенциальной способности его к коллективному действию. Лишь э т а с т о р о н а общественной жизни города находит себе в этих случаях выражение. Вот почему использование коммунальных хартий в качестве памятников внутреннего строя города требует особой осторожности.

Единое понимание всех вообще коммунальных хартий, как актов, по назначению своему и характеру однородных и непременно находящихся в одинаковой плоскости — я считаю источником величайших заблуждений в истории французских городов. На ложном и нивелирующем понимании значения коммунальных хартий основана и та великая и бес-

плодная путаница, которая сложилась вокруг вопроса о взаимной связи различных городских «прав» и «конституций». Создалась обширная ученая литература о «филиации» коммунальных конституций — целый мир признаков, в котором уже несколько десятилетий живет французская «городская историография»... Все совершенствуется «научная генеалогия» коммунальных хартий, и все далее отодвигается задача изучения реальной городской действительности. Ибо вся эта призрачная ученость не имеет ничего общего с действительным исследованием истории французских городов. Немыслимо изолировать какой бы то ни было текст от всей совокупности окружающих мотивов и условий. Понять источник — значит уловить его специфическую направленность, поставить его на свое место в контексте данной исторической ситуации. Точно так же и исторический смысл отдельных заимствований коммунальных хартий может быть действительно осознан лишь при внимательном, индивидуально-синтетическом изучении данного случая.

Настоящая работа представляет собою в сущности лишь «методологическое» введение в историю французских городов. Я особенно настаивал бы не столько на конкретных выводах и утверждениях этих «Опытов», сколько на о б щ е м о т н о ш е н и и к затрагиваемым здесь вопросам. Я стремился освободиться от обычных внешних подходов и словесных предвзятостей, которые больше всего мешают историку уловить подлинную связь и сущность данных исторических отношений. Я стремился преодолеть то неизбежно вырастающее между историком и изучаемой им действительностью средостение, которое складывается из привычных предпосылок, подходов, интересов и точек зрения. И если на конкретном материале изученных мною городов мне удалось хоть сколько-нибудь оправдать эти наклонности к «раскрепощению» и «дематериализации» исторических представлений, тогда основная цель моих «Опытов» может быть признана достигнутой.

Вокруг французской «городской истории» сложился определенный круг понятий, интересов и мысленных навыков. От историка к историку переходят все те же приемы и все те же слова. Они отрываются в конце концов от данных исторической действительности, и получают в сознании ученого какое-то самостоятельное бытие. Они становятся на место живого ощущения истории. Научное сознание историка по крайности механизмуется. Круг доступных ему образов и концепций становится чрезвычайно ограниченным. Происходит страшное оскудение исторической мысли. Французская «городская историография» в сущности вращается в каком-то призрачном и тесном мире беспочвенных ассоциаций и чисто внешних словесных представлений. Из конкретной исторической действительности она в сущности не черпает никакого материала для своих исследований и построений. Тот круг концепций, который мы находим в монографиях по отдельным городам Франции, не носит никаких индивидуальных следов соприкосновения именно с данной, а не любой иной, городской действительностью. Не заметно даже попытки распознать и осмыслить своеобразие данной исторической ситуации, связать историю данного



городского мира в одно живое индивидуальное целое. Отсутствует всякая способность к синтетическому чувству исторической действительности. Благодаря этому конкретный исторический материал остается в сущности непонятым и неиспользованным. Ибо сам по себе исторический материал ничего не говорит и ничего не значит. Он становится живым и понятным только тогда, когда он попадает на свое место — в контексте данной исторической «направленности». В поисках этой направленности я вижу главную и непрерывную задачу исторического исследования. Без этого мы можем получить лишь видимость истории.

В моих попытках индивидуально-синтетического построения истории отдельных городов найдется, может быть, немало промахов и заблуждений. Кое-что может оказаться натянутым, кое-что неверным. Однако каковы бы ни были реальные результаты этих опытов, я все же позволю себе утверждать, что по замыслу и отношению к задаче этот мой путь «городской истории» есть единственно исторический путь. Так можно, конечно, получить и «неверную историю», но только так можно получить историю истинную. Может быть мне не далась история Камбрэ или Санлиса. Но я, по крайней мере, сделал попытку к синтезированию ее индивидуального облика. Таких попыток я до сих пор не находил. Несмотря на большое количество работ в этой области, я все-таки осмеливаюсь утверждать, что к действительному исследованию французских городов до сих пор еще не приступлено. Ибо те «*generalites litteraires*», которыми всецело удовлетворяется научная пытливость французских «городских историков», не требуют даже никакой освоенности с конкретным историческим материалом. Они испытывают лишь самое легкое и внешнее его прикосновение. Для них он нем и безжизнен. Нельзя не признать, что задача историка при таких условиях до крайности упрощается. «Писать историю» в наше время положительно становится нетрудно. Невольно вспоминаются шуточные слова одного из величайших современных нам носителей французского гения: «*Les sciences sont bienfaisantes; elles empechent les hommes de penser*»\* (с. 244—258).

Но обратимся снова к отечественной исторической науке, на этот раз к современному ее этапу. Изучение города и урбанизации как специфического феномена истории средневековой Руси, на первый взгляд, не составляет в ней отдельной дисциплины. У нас практически нет специализированных научных центров, крайне мало стабильных исследовательских коллективов именно историков-урбанистов. Не получила широкого распространения практика коллективных научных проектов, посвященных тем или иным аспектам и проблемам городской истории Средневековья, как это

---

\* Науки благотворны; они освобождают людей от необходимости думать.

имеет место, скажем, во Франции, Италии или в Германии. Все это, однако, есть не столько свидетельство недостаточного интереса историков к изучению города, сколько, скорее, отражение специфики самого этого интереса.

Действительно, медиевисты-русисты обращаются к городской тематике, как правило, в связи с общими проблемами отечественной истории — формирования и развития государственности, феодальных отношений, в связи с анализом событий политической истории или социально-экономического развития отдельных земель и территорий, в связи, наконец, с историей культуры, чаще всего — изобразительного искусства или архитектуры и т.д. Возможно, что эта направленность исследовательского интереса в какой-то мере обусловлена и тем положением, которое занимали сами города в социально-политической структуре средневековой Руси. Будучи ее органическим составным элементом, они, как известно, вместе с тем не обладали особым правом, статусом независимой корпоративной общности, подобной той, что имела место в средние века в Западной Европе.

Тем не менее, мы не можем посетовать на отсутствие ярких и глубоких исследований, посвященных и единичным городам и городскому развитию отдельных земель и территорий как в раннее Средневековье, так и на его исходе. Что же касается урбанистики как дисциплины, то развитие ее осуществляется в нашей науке уже не одно десятилетие, наиболее интенсивно в русле археологии восточно-славянского Средневековья. На это особенно важно обратить внимание в контексте тех процессов, которые происходят сегодня в области урбанистических исследований и о которых шла речь выше.

В отличие от стран Западной Европы, где формирование археологии Средневековья и городской археологии как ее составной части приходится преимущественно на послевоенный период, в России начало ее развития восходит к первым десятилетиям нынешнего столетия. Уже в 20-е годы была начата работа по локализации сети поселений, упоминаемых «Повестью временных лет» и письменными памятниками XI—XIII вв. Тогда же были предприняты и первые попытки археологических исследований на больших площадях (в частности, на месте Старой Ладogi Н. Репниковым в 1919 г.). Показательно, что одним из первых центров исследований истории Древней Руси в Советской России стала именно Российская академия истории материальной культуры (ГАИМК, позднее ИИМК), основанная в 1919 г. на базе Археологического русского общества.

Становление археологии Средневековья как комплексной науки, ее связей с историей и этнографией, фольклористикой, историей культуры, нумизматикой, палеографией и т.д. приходится, собственно, также на 20—30-е годы. В этой области оказались сконцентрированы лучшие научные силы и были подготовлены кадры специалистов отечественной истории (А.А. Спирин, А.В. Арциховский, М.К. Каргер, Б.А. Рыбаков, В.И. Равдоникас, Н.Н. Воронин, П.Н. Третьяков и др.). Уже в предвоенные годы была осознана важность изучения древнерусских городов — их происхождения, сил, участвовавших в их образовании, городских функций, в целом — процесса градообразования на Руси в домонгольский период; заложены основы изучения хозяйственной жизни города, его материальной культуры и повседневной жизни, топографической и социальной структуры, но то, что особенно бросается в глаза и что имело важное значение с точки зрения перспектив развития, так это ясно выраженная тенденция общеметодологической направленности исследований — ориентация на массовый материал, на реконструкцию в целом селищной структуры и ее эволюции, системы, типологии, иерархии поселений, включая сельские. Уже тогда была осознана продуктивность соединения специфически археологических методов анализа материала с исследованием топонимики, терминологии агломераций письменных источников, с историко-географическим подходом — словом, все то, что составило позже, в 60-е годы одну из принципиальных познавательных основ археологии Средневековья как новой дисциплины западной медиевистики, а в нашей стране, начиная с 50-х годов, стало отправной точкой историко-археологического изучения древнерусских городов.

Поступательное движение в этом направлении в послевоенный период нашло выражение в складывании к середине 50-х годов специализации археолого-исторических исследований города. Наряду с традиционным интересом к материальной культуре и хозяйственной жизни (ремесла, денежно-весовые системы и др.), организации управления, профессиональным объединениям в городах (Б.А. Рыбаков, М.Н. Тихомиров, А.В. Арциховский, В.Л. Янин, Б.А. Колчин, В.В. Седов и др.), развернулось изучение средневекового урбанизма: городского зодчества (Н.Н. Воронин, М.К. Каргер, Б.А. Рыбаков, А.Л. Монгайт и др.), военно-оборонительного строительства (П.В. Раппопорт). Тогда же были обобщены и первые результаты изучения городской средневековой цивилизации<sup>45</sup> К 60-м годам изучение города сформировалось в одно из ведущих направлений отечественной археологии Средневековья.

Это положение сохраняется до сих пор; и сегодня археология — та область, где практически осуществляется развитие отечественной медиевистической урбанистики, как современной полидисциплинарной науки.

Археологические исследования Древней Руси и последующих периодов русской средневековой истории дали богатый материал для разработки принципиальных проблем как истории уже сложившегося города, так и в целом процесса градообразования в восточнославянских землях, его факторах, движущих силах, стадиях, специфике форм и их динамике. Это стало возможным благодаря расширению границ самой городской истории в результате изучения и реконструкции ее подготовительной, протогородской, и ранней стадий.

Археология раннесредневекового города, базирующаяся на современных методах полевых исследований, новых методиках лабораторного анализа, использующая в своих интерпретациях материалы и подходы смежных дисциплин, создала исследовательскую основу для общих синтезирующих выводов и сравнительно-исторических оценок городского развития не только в восточнославянском, но и шире — в общеевропейском ареале. Прежде всего это относится к проблемам происхождения города и его ранней истории.

С этой точки зрения, внимания заслуживает фундаментальный обобщающий труд, изданный в серии «Археология СССР», суммирующий важнейшие результаты археологического изучения истории Древней Руси, так же как и его теоретические интерпретации, касающиеся прежде всего проблем становления города и средневековой урбанизации<sup>46</sup> В работе над ним участвовали ведущие отечественные специалисты по археологии и истории древнерусского города. Полезным дополнением к этому обобщающему труду, с точки зрения интересующих нас проблем, являются также материалы V Международного конгресса славянской археологии (Киев, сентябрь 1985), посвященного славянскому средневековому городу<sup>47</sup>

Не ставя здесь целью всесторонний детальный анализ материалов названных изданий, мы хотим обратить внимание лишь на некоторые принципиальные моменты развиваемой в них общей концепции градообразования на Руси, приобретающие особый интерес в контексте данной работы и в свете того, что уже известно науке сегодня о городском развитии в странах средневековой Европы в целом.

Прежде всего — это отказ от традиционных клише при определении факторов процесса градообразования и содержания поня-

тия «город», будь то те или иные модификации «торговой» теории А. Пиренна или автоматически распространяемой на период X—XIII вв. традиционной характеристики уже сложившегося города высокого Средневековья как «центра развитого ремесла и торговли». Образование городов на Руси, как показывает археологический материал, — длительный процесс, насчитывавший не одно столетие прото- и раннегородской истории<sup>48</sup> Соответственно, иерархия функций, осуществлявшихся городом, как особым типом поселения, не оставалась неизменной. Являясь местом средоточения ремесел и торговли древнерусский город был одновременно и административно-хозяйственным центром большой сельской округи (волости), и ее военно-политическим ядром, и, благодаря обязательному наличию церкви, центром идеологического воздействия. Именно эта «полифункциональность», отвечавшая потребностям древнерусской государственности и формирующегося феодального общества, выделяла город из массы сельских поселений. Таким образом, как считают археологи, содержание понятия «древнерусский город» — «значительно шире» традиционного определения города, как торгово-ремесленного поселения с формирующейся посадской общиной<sup>49</sup>

Археологи фиксируют «заметное место» специализированных, «сложных» ремесел и торговли в хозяйственной жизни прото- и раннесредневековых городов, включение многих из них в международный обмен, но одновременно подчеркивают они и фактическое превалирование административно-военных и хозяйственных функций этих агломераций и их важную роль как в превращении многих протогородов в ранние города, так и в их последующем развитии. Лишь со временем, с середины XII—XIII в., ремесленное производство постепенно начинает определять развитие городской экономики, а сами города — «выполнять роль внутриэкономических рынков своих округ»<sup>50</sup> Это обстоятельство, по мнению, в частности, авторов коллективного труда о древнерусских городах, отражает «специфику» процесса градообразования в Древней Руси, ведущая роль в котором принадлежала изначально «военно-родовой и превращавшейся в феодальную знати окрестных территорий»<sup>51</sup> Купцы и ремесленники появились в городах «следом за феодалами или вместе с ними».

Феодалы (а не крестьяне округи), согласно этой концепции, были первыми потребителями изделий ремесленников и товаров купцов, и городами на Руси становились прежде всего те агломерации, где «сосредоточивался, перераспределялся и перерабатывался (при посредстве купцов и ремесленников) прибавоч-

ный продукт», полученный в виде общественных взносов, даней, судебных пошлин, военных контрибуций, земельной ренты. Именно он составлял собственно «экономический базис» развития городского ремесла и торговли, поэтому рост и значение городов в раннюю эпоху непосредственно зависели от их места в социально-политической структуре формировавшейся древнерусской государственности, от размеров и плотности населения их округи — волости.

Вплоть до середины XII в. большинство древнерусских ремесленников работало на заказ, используя сырье заказчиков — князей, бояр, дружинников, духовенства. Переход к работе на рынок происходил постепенно и сначала в крупнейших центрах, что подтверждается «археологически уловимым» движением изделий городских ремесленников в деревню; «только тогда ремесленное население городов обретает определенную экономическую независимость и устойчивость».

Такова концепция в целом. В этой концепции привлекает прежде всего стремление подчеркнуть сложность процесса градообразования — сложность его социального пейзажа, имеющего мало общего с расхожими априорными схемами и клише. «Ни ремесленные поселки, в чистом виде до сих пор не обнаруженные археологами, ни торговые рядки, не известные письменным источникам ранее XV в., ни рядовые сельские поселения ни в одном достоверном случае не оказались подосновой возникновения какого-либо древнерусского города X—XI вв. Всегда в роли будущего городского ядра выступает укрепленное поселение, организующее вокруг себя относительно значительные территории»<sup>52</sup> Нельзя не заметить также и определенное «созвучие» (при всем своеобразии исторического и социально-политического развития Руси) того, что археологи выделяют как «специфику» древнерусского города, с тем, что современная медиевистическая урбанистика фиксирует в раннегородской истории Западной Европы. Как уже отмечалось выше, французские историки Ж. Дюби и П. Тубер одними из первых в современной историографии обратили внимание на связь урбанизационного процесса с активностью формирующегося сеньориального, феодального класса (т.н. движение *incastellamento* — возведения укрепленных замков, как центров феодальных поместий) и сложением системы его господства. Именно положение в системе власти, административные функции, статус центра сеньории — то, что по мнению этих исследователей, выделяло город и в глазах современников и по существу его функций из округи, по отношению к которой он выступал на первых порах, по образному выражению Ж. Дюби, как «охраняющий паразит».

Так же как и их западные коллеги, отечественные археологи-урбанисты едины в признании множественности путей (корней) генезиса городов на Руси: племенные и межплеменные центры, укрепленный стан, погост или центр волости, порубежная крепость и др. Хотя происхождение каждого города имело свою специфику, обусловленную местными особенностями и исторической ситуацией, это, однако, не меняло его сущности как центрального административно-хозяйственного пункта, «в котором с обширной сельской округи перерабатывалась и перераспределялась большая часть произведенного там прибавочного продукта»<sup>53</sup> Не меняло это и характера общих факторов и сил градообразования, которые исследователи древнерусского города (как медиевисты на Западе) усматривают в подъеме агрикультуры и развития общественного разделения труда, в трансформации социально-политических отношений в связи с процессом феодализации.

Первые города (IX в., первая половина X — середина XII в.), как показывают археологические исследования, получают развитие в регионах с развитой агрикультурой и высокой плотностью населения. Это — основные области расселения восточного славянства, где сформировались важнейшие древнерусские княжества (Киевское, Черниговское, Переяславское, Волынское). Но и следующая волна градообразования, с середины XII в. охватившая другие регионы, в том числе и лесной зоны, по существу, была связана с процессами того же порядка — внутренней колонизацией, укреплением феодальной политической власти на местах, развитием вотчинного хозяйства (княжеского, церковного, боярского).

Расширение границ ранней истории средневекового города, учет разнообразных факторов и сил, причастных к его возникновению и развитию, заставляет задуматься об источниках аккумуляции изначальных городских состояний и элементах, участвовавших в формировании новой, городской социальной общности, в том числе и ее ведущих слоев. Для традиционной историографии, оперировавшей пиренновской концепцией происхождения средневекового города, вопрос этот, как известно, проблемы не составлял. Само собой разумелось, что именно дальняя торговля и экспортные ремесла были той базой, на которой сформировалось городское «сословие» и сложились городские богатства. Но материалы, в частности, на сегодня глубже изученных городов средневековой Франции, показывают, что их подъем был сопряжен с обогащением прежде всего тех, кто владел землей в самом городе и его округе, причем, не только аллодами, но и фьефами

и различными видами аренды. Именно доходы от эксплуатации земельной собственности, ренты, спекуляции землей, наряду с ростовщическими операциями, были главным источником богатств ведущих городских фамилий, в частности в Генте, где, по выражению французского историка-медиевиста А. Шедвиля, городские держания очень рано «выскользнули из сеньориальной системы», став аллодиальной, наследственной собственностью могущественных «*vinge hereditarii*». Они, также как клирики и рыцари других городов (например, Руана), активно участвовали в спекуляциях зерном. Скупали по низким ценам десятины у монастырей, перепродавая затем зерно столь дорого, что это вызывало негодование городских низов. Купцы, конечно, имелись в городах, но они, как считает тот же Шедвиль, не определяли состояния рынка пищевых продуктов, самого важного для города еще и в начале XII в., а их положение и возможности разбогатеть во многом зависели от связей в среде городских «грандов». В большей части городов Франции купцы составляли меньшинство по сравнению с другими элементами, участвовавшими в формировании высшего слоя городского общества: клириками, особенно многочисленными в епископских центрах, и рыцарями, процент которых возрастал по мере продвижению к Югу. Очень редки были и города, ремесленное процветание которых зависело от «динамизма» торговцев сукном. Подобная ситуация, по мнению Шедвиля, имела место еще и в первые десятилетия XII в.<sup>54</sup>

Трудно переоценить вклад отечественной археологии в изучении и этой, одной из центральных проблем средневековой городской истории, причем не только ранней. В этой связи необходимо выделить особо и прежде всего исследования Новгорода Великого, в которые вложило душу и творческую энергию не одно поколение ученых.

Уникальность новгородской археологической экспедиции, которой сначала на протяжении многих лет руководил А.В. Арциховский, а сегодня возглавляет В.Л. Янин, заключается в возможности сопоставления и корректировки всей совокупности материальных находок с данными массового письменного источника «местного» же происхождения — новгородскими берестяными грамотами. Иными словами, речь идет о возможности фундированного и на сопоставимой основе социоэкономического и социокультурного синтезирующего изучения.

Открытие берестяных грамот, как отмечает В.Л. Янин, позволило персонифицировать открытые археологами городские усадебные комплексы и получить их социальные характеристики;



определить характер соседских связей и преемственность владельческих прав, хозяйственный облик усадеб и на этой основе — реконструировать заново социально-политическую структуру города и шире — процесс его становления как специфической хозяйственной, социально-политической целостности и роль в процессе рождения и развития средневекового города феодальной собственности<sup>55</sup>

Переосмысление на базе новых данных социальной структуры Новгорода подрывает в принципе традиционные представления (восходящие, по сути, к той же пиренновской концепции) о происхождении этой мощной торговой эмпории и социальных силах, определивших ее экономическое и политическое возвышение и процветание. Специфическая особенность новгородских боярских усадеб, как показывают современные исследования, в их характере хозяйственного комплекса, где господские хоромы соседствуют с ремесленными мастерскими, которыми, собственно, и была произведена основная масса добытых археологами материальных свидетельств новгородского ремесленного производства. В.Л. Янин обращает внимание на их месторасположение — именно на «демократическом» посаде, традиционно рассматриваемом как место проживания исключительно ремесленного населения. Объединенные в кланы, восходящие к общему предку, боярские роды являлись собственниками значительной части городской земли и как таковые в своей совокупности образовывали городскую корпорацию. В.Л. Янин подчеркивает противоречивую двойственность, амбивалентность хозяйственной структуры клана. Состоявший из ряда разных усадеб, он обнаруживает «две линии» — «к автаркии» и одновременно — «к рынку». К автаркии — в силу имевшей место разнообразной ремесленной специализации ремесленных мастерских отдельных усадеб; рыночная же ориентация хозяйства вытекала из наличия избыточного продукта (как ремесла, так и сельскохозяйственной и промысловой деятельности), с одной стороны, и потребности в иноземном сырье — с другой.

Комплексное археологическое изучение фиксирует появление этой социально-экономической системы, базирующейся на корпоративной феодальной земельной собственности, уже в X—XI вв., то есть как подчеркивает В.Л. Янин, задолго до появления («не раньше начала XII в.») вотчинного землевладения в новгородской земле. Оно же указывает на «поразительную» стабильность социальных и хозяйственных характеристик этой системы, «одинаковых в X—XI и в XII—XV вв.»: «Они были городскими центрами переработки сельскохозяйственного продукта и

ремесла; сырьевая база последнего связана также с использованием такого продукта или с результатами его реализации на зарубежных рынках»<sup>56</sup>

Выступающее как городская корпоративная общность, новгородское боярство обладало правом и возможностью сбора ренты с подвластных земель — важнейшего источника (наряду с тесно связанной с этой прерогативой ростовщической практикой) обогащения.

Результаты новейших историко-археологических исследований Новгорода, касающиеся, в частности, возникновения и специфики его социально-политической структуры, заставляют задуматься о «подоснове» могущества современных ему близких по типу западноевропейских городов, управление которыми также находилось в руках «коллективного сеньора» — патрициата.

Прежде всего это, конечно, ближайший сосед и торговый партнер Новгорода — ганзейский Любек, но также и господствовавшие в Средиземноморье и на Адриатике Венеция и Дубровник. Современная урбанистика располагает, как мы пытались показать выше (в предшествующих очерках), уже достаточно обширным сопоставимым материалом для сравнительно-исторического анализа в целом в рамках средневековой Европы. Думается, что исследование хозяйственно, социально и политически близких городских форм, независимо от их географического места расположения, таит в себе еще немало открытий, способных обогатить наши представления о становлении и природе средневековой урбанизации и помочь отрешиться от многих стереотипов, так или иначе дающих о себе знать.

Так, в частности, уже и сейчас представляется поспешным, поверхностным распространенное категорическое противопоставление русских раннефеодальных городов западноевропейским и одновременно столь же прямолинейное сближение их с «городами среднеазиатскими», «восточными». Во-первых, как показывают зарубежные исследования, западноевропейские города на первой стадии своей истории (где-то до середины XII в.) были весьма далеки даже в регионах ранней урбанизации от того хрестоматийного образа, «центра ремесла и торговли», которым руководствуются обычно, проводя сопоставление. Во-вторых, историко-археологическое изучение урбанизационных процессов в славянских странах убедительно показывает, что там, как и на Западе, шло не параллельное развитие некоего прообраза «будущих» общественных отношений, но сложный и специфический процесс внутри самой феодальной (или феодализирующейся) системы. Речь идет, по выражению Ж. Ле Гоффа, о «городской ткани»,

вписанной в ее «пространство и функционирование», которая при том обнаруживает повсеместно, наряду со специфически-региональными чертами (ритмы урбанизации, формы урбанизма, степень самостоятельности городских общин и т.п.), бросающиеся в глаза общие характеристики<sup>58</sup> В раскрытии этой специфической сложности происхождения и социальной природы европейского средневекового города, как составной части современной ему общественно-экономической системы, в констатации многообразия и одновременно общности его конкретно-исторических форм заключается, на мой взгляд, одно из важнейших достижений урбанистических исследований 70—80-х годов как за рубежом, так и в нашей стране. Это последнее особенно важно как еще одно подтверждение единства тенденций мировой науки — единства, заявляющего о себе вопреки всем барьерам — будь то идеология или фантомы «национальных» историографий.

### Примечания

<sup>1</sup> Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1986. С. 11.

<sup>2</sup> Die Stadt des Mittelalters//Hrsg. von Haase C. Darmstadt, 1972—1976. Bd 1—3; Haase C. Vorwort//Ibid. Bd 1. S.VIII-6.

<sup>3</sup> Петрушевский Д. Возникновение городского строя средних веков: Очерк теорий//Белов Г. фон. Городской строй и городская жизнь средневековой Германии. М., 1912. С. IXVII.

<sup>4</sup> Weber M. Die Stadt: Begriff u. Kategorien (1921)//Die Stadt des Mittelalters... Bd 1. S.34—59.

<sup>5</sup> Vercauteren F. Die Spätantike Civitas im frühen Mittelalter (1961)//Ibid. S.122—138.

<sup>6</sup> Haase C. Stadtbegriff und Stadtentstehungsschichten in Westfalen: Überlegungen zu einer Karte der Stadtentstehungsschichten (1958) // Ibid. S.60—94.

<sup>7</sup> Rörig F. Die Stadt in der deutschen Geschichte (1952)//Ibid. S.7—33.

<sup>8</sup> Ennen E. Die Stadt zwischen Mittelalter und Gegenwart (1965)//Ibid. S.416—436.

- <sup>9</sup> *Ammann H.* Wie Gross war die mittelalterliche Stadt (1965)//Ibid. S.408—415.
- <sup>10</sup> *Frölich K.* Das Verfassungstopographische Bild der mittelalterlichen Stadt im Lichte der neueren Forschung (1953)//Ibid. S.274—330.
- <sup>11</sup> *Kroeschell K.* Stadtrecht und Stadtrechtsgeschichte (1963)//Ibid. Bd 2. S.281—299.
- <sup>12</sup> *Ebel W.* Lübisches Recht im Ostseeraum (1967//Ibid. S.255—280.
- <sup>13</sup> *Ennen E.* Das Städtewesen Nordwestdeutschlands von der fränkischen bis zur salischen Zeit (1964)//Ibid. Bd 1. S.139—195.
- <sup>14</sup> *Schlesinger W.* Über mitteleuropäische Städtelandschaften der Frühzeit (1957)//Ibid. S.239—273.
- <sup>15</sup> *Ganshof L.* Einwohnergenossenschaft und Graf in den fländrischen Städten während des 12. Jahrhunderts (1957)//Ibid. Bd 2. S.203—225.
- <sup>16</sup> *Vogel W.* Wik-Orte und Wikinger: Eine Studie zu den Anfängen des germ. Städtewesen (1935)//Ibid. Bd 1. S.196—238.
- <sup>17</sup> См.: *Ennen E.* Die europäischen Stadt des Mittelalters Göttingen, 1972. S.46—104.
- <sup>18</sup> *Haase C.* Die mittelalterliche Stadt als Festung...//Die Stadt des Mittelalters. Bd 1. S.387.
- <sup>19</sup> *Reinke H.* Über Stadtgründungen und Phantasien (1957)//Ibid. S.331—363.
- <sup>20</sup> *Mitteis H.* Über den Rechtsgrund des Satzes «Stadtluft macht frei» (1952)//Die Stadt des Mittelalters. Bd. 2. S.182—203.
- <sup>21</sup> *Heimpel H.* Auf neuen Wegen der Wirtschaftsgeschichte (1933)//Ibid. Bd 3. S.9—32.
- <sup>22</sup> *Ammann H.* Deutschland und die Tuchindustrie Nordwesteuropa im Mittelalter (1957)//Ibid. S.55—137.
- <sup>23</sup> *Jecht H.* Studien zur gesellschaftlichen Struktur der mittelalterlichen Städte (1925)//Ibid. S.217—256.
- <sup>24</sup> *Pitz E.* Wirtschaftliche und soziale Probleme der gewerblichen Entwicklung im 15/16. Jahrhundert nach hansisch-niederdeutschen Quellen (1966)//Ibid. S.137—177.
- <sup>25</sup> *Maschke E.* Das Berufsbewusstsein des mittelalterlichen Fernkaufmanns (1964)//Die Stadt des Mittelalters. Bd 3. S.177—216.
- <sup>26</sup> *Maschke E.* Die Unterschichten der mittelalterlichen Städte Deutschlands//Ibid. S.345—454.
- <sup>27</sup> *Brunner O.* «Bürgertum» und «Feudalwelt» in der europäischen Sozialgeschichte (1956)//Ibid. S.480—502.
- <sup>28</sup> *Aubin H.* Die deutschen Stadtrechtslandschaften des Ostens (1934)//Die Stadt des Mittelalters. Bd 2. S.226—254; *Ebel W.* Op. cit. S.244—280.
- <sup>29</sup> См.: Археологические изучения памятников VI—XV вв. в Чехии, 1975—1985. — Прага, 1985. С.3—4, 31—62; *Richter M.* Predmluva//Stredoveka

archeologie a studium počatku mest. — Pr., 1978. S.7; *Puxner M.* Главные тенденции развития городов XII—XIII вв. в Чехии//Труды V Международного конгресса славянской археологии. Киев, 18—25 сент. 1985 г. М., 1987. Т.1. С.37—42.

<sup>30</sup> *Сметанка З.* Археологические исследования средневековой Чехии//Археологическое изучение памятников VI—XV вв. в Чехии... С.38; *Richter M.* České středověké město ve světle archaologických výzkumů//Archeol. rozhledy. — Pr., 1975. — 27. S.245—258; См.: *Richter M., Drda M.* Sezimovo Usti (Alttabor) und Tabor//Mitteilungen d. Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Wien, 1931. 89. S.1—21; *Richter M.* Der archaologische Beitrag zur Kleinstadtforschung in Böhmen//Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter. Göttingen, 1974. T.2. S.237—257.

<sup>31</sup> См.: *Historicke studie.* Bratislava, 1974. T.19.

<sup>32</sup> См.: *Leciejewicz L.* Die Entstehung der Stadt Szczecin in Rahmen der frühen Stadtentwicklung an der südlichen Stadt im Mittelalter. Göttingen, 1972. T.2. S.209—230; См. также: *Лециевич Л.* Западнославянский город — структурные преобразования в XI—XII вв.//Труды V Международного конгресса славянской археологии. Т.1. С.118—126.

<sup>33</sup> *Hensel W.* Untersuchungen über die Anfänge der Städte in Polen//Vor— und Frühformen... S.176—199.

<sup>34</sup> *Köbler G.* Civitas und vicus, burg, stat, dorf und wik//Vor— und Frühformen... Т.1. S.61—76.

<sup>35</sup> *Ludat H.* Zum Stadtbegriff im osteuropäischen Bereich//Ibid. S.77—91.

<sup>36</sup> *Nicholas D.M.* Medieval urban origine in Northern continental Europe: State of research and some tentative conclusions//Studies in medieval and Renaissance History. Lincoln, 1969. Vol.6. P.55—114.

<sup>37</sup> *Denecke D.* Der geographische Stadtbegriff und die räumlich — funktionale Betrachtungsweise bei Siedlungstypen mit zentraler Bedeutung in Anwendung auf historische Siedlungsepochen//Vor— und Frühformen... Т.1. S.33—55.

<sup>38</sup> *Pirenne A.* Les villes et les institutions urbaines. Paris, Bruxelles, 1939. Vol.1—2. Русск. пер., *Пиренн А.* Средневековые города и возрождение торговли. М., 1941.

<sup>39</sup> *Nicholas D.M.* Town and countryside: Social, economical and political tensions in fourteenthcetury Flanders. Brugge, 1971; *Idem.* Structures du peuplement fonctions urbaines et formation du capital dans la Flandre médiévale//Annales: Economies. Sociétés. Civilisations. P. 1978. A.33, N3. P.501—526.

<sup>40</sup> См.: *Ottokar N.* Studi comunali e fiorentini. — Firenze, 1948. XX; *Idem.* Il commune di Firenze alla fine del Dugento. Torino, 1962.

<sup>41</sup> См.: *Каревин Л.П.* Основы средневековой религиозности в XII—XIII веках, преимущественно в Италии. 1915. С.XVI.

<sup>42</sup> *Оттокар Н.П.* Опыты по истории французских городов в средние века. Пермь, 1919.

<sup>43</sup> См. об этом: *Duby G.* France rurale: France urbaine: confrontation//Histoire de la France urbaine. Т.1. P.11—35; *Le Goff I.* L'apogée de la France

urbaine médiévale 1150—1330//Ibid. T.2 P.143—180; 189—263. *Schulz K.* Die Ministerialität als Problem der Stadtgeschichte: Einige allgemeine Bemerkungen, erläutert am Beispiel der Stadt Worms//Rheinische Vierteljahrsblätter, Bonn, 1968. Jg. 32, H.1/4. S.184—219. См. также: Libertés urbaines et Libertés rurales en Italie, XI—XIV-e siècles. Brûxelle, 1968.

<sup>44</sup> Histoire de la France urbaine. P., 1980. T.1—2.

<sup>45</sup> История культуры Древней Руси. М.; Л., 1948. T.1—2.

<sup>46</sup> Археология СССР: Древняя Русь: Город, замок, село. М., 1985.

<sup>47</sup> Куза А.В., Рыбаков Б.А., Раппопорт П.А., Колчин Б.А., Кирпичников А.Н., Медведев А.Ф., Янин В.Л., Чернецов А.В., Кирьянова Н.А., Даркевич В.П. Труды V Международного конгресса славянской археологии, Киев, 18—25 сентября 1985. — М., 1987. T.1, вып.1. См.: Пленарные доклады: Седов В.В. Начало городов на Руси; Баран В.Д. Раннесредневековые древности славян Юго-Восточной Европы (проблемы сложения, периодизации, социальной структуры); Рыбаков Б.А. Городское язычество Древней Руси; Янин В.Л. Новгород Великий: проблемы социальной структуры города X—XI вв. Толочко П.П. Древний Киев.

<sup>48</sup> См.: Седов В.В. Начало городов на Руси. С.13.; Он же. Восточные славяне в VI—XIII вв. М., 1982. С.236—247. См. также: Куза А.В. Древнерусские города//Древняя Русь. С.43, 45, 57.

<sup>49</sup> Янин В.Л. Новгород — проблемы социальной структуры города X—XI вв. С.89—92.

<sup>50</sup> Куза А.В. Древнерусские города. С.57, 58. См. также: Седов В.В. Начало городов на Руси. С.18.

<sup>51</sup> Куза А.В. Древнерусские города. С.56—58, 60.

<sup>52</sup> Куза А.В. Древнерусские города. С.55.

<sup>53</sup> Седов В.В. Начало городов на Руси. С.17, 18.

<sup>54</sup> См.: Chédeville A. L'essor urbain et les hommes, la naissance de la bourgeoisie//Histoire de la France urbaine. T.2. P.137—139.

<sup>55</sup> Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1952 г.). М., 1954; Он же. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953—1954). М., 1958; Арциховский А.В., Янин В.Л. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1962—1976 гг.). М., 1978; Янин В.Л. Я послал тебе бересту... М., 1975; Он же. Очерки комплексного источниковедения. М., 1977; Он же. Новгородская феодальная вотчина, М., 1981; Он же. Археологический комментарий к Русской Правле//Новгородский сборник: 50 лет раскопок Новгорода. М., 1982; Янин В.Л., Алешковский М.Х. Происхождение Новгорода//История СССР. М., 1971. №2; Янин В.Л., Колчин Б.А. Итоги и перспективы новгородской археологии//Археологическое изучение Новгорода. М., 1978. Янин В.Л. Социально-политическая структура Новгорода в свете археологических исследований//Новгородский исторический сборник... М., 1982. С.79—95; Колчин Б.А., Хорошев А.С., Янин В.Л. Усадьба новгородского художника XII в. М., 1981; Носов Е.Н. Новгород и новгородская округа IX—X вв. в свете новейших археологических данных (к вопросу о возникновении Новгорода)//Новгород. ист. сб. Л., 1984. Вып.2 (12). С.18—38; История и культура Древ-

нерусского города. М., 1989.; Янин В.Л. Новгород: Проблемы социальной структуры города X—XI вв.//Труды V Международного конгресса славянской археологии. С.86—93; Куза А.В. Древнерусские города. С.63—66.

<sup>56</sup> Янин В.Л. Новгород: Проблемы социальной структуры города X—XI вв. С.88—92.

<sup>57</sup> Куза А.В. Древнерусские города. С.45.

<sup>58</sup> Chédeville A. De la cité à la ville 1000—1150//Histoire de la France urbaine. T.2. P.31—188; Le Goff J. L'apogée de la France urbaine médiévale 1150—1330//Ibid. T.2 P.189—263; 18, 19; см. также предыдущие разделы: Труды V Международного конгресса славянской археологии. Т.1. Вып.1.

## НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

### КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ В ПЕРСПЕКТИВЕ ИСТОРИКО- ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Историческая демография (или демографическая история, как ее нередко называют) — молодая область научного знания. Даже во Франции, на своей родине, она насчитывает немногим более 40 лет. Демография средневекового города еще моложе. Первый специальный коллоквиум был проведен в Ницце лишь в 1970 г.

«Историко-демографическое исследование никогда не является самоцелью. Напротив, оно — неиссякаемый источник вдохновения, стимулирующий историческое воображение», — пишет один из теоретиков и энтузиастов исторической демографии Артур Имхоф<sup>1</sup>. И это — не фраза. За этими словами кроется широкое признание историками методологической важности и больших возможностей историко-демографического анализа в процессе исторического познания, в том числе и Средневековья. Об этом же свидетельствуют оценки вклада демографии в создание нового образа истории, принадлежащие видным французским медиевистам: «Историческая демография, — по определению одного из ее «отцов» Жака Дюпакье, — образует прочный базис для обновления как демографического, так и исторического анализа»; «за последние 25 лет историческая демография помогла истории, по выражению П. Губера, — стать подлинно социальной»; «историческая демография может поставить себе в заслугу, — пишет Пьер Шоню, — то, что она подвела нас к сути истории»<sup>2</sup>.

Действительно, историческая демография с ее интересом к таким ранее не учитываемым историками факторам исторической



эволюции, как движение народонаселения, демографическое поведение различных социальных групп, форм семьи, массовые представления о семье, браке, деторождениях, смерти и т.д. внесла свой вклад в изживание той схематизированной, лишенной жизни монокартины западноевропейского Средневековья, которая формировалась не в последнюю очередь под влиянием изолированных, односторонних исследований будь то социальных, экономических процессов или политической истории. Но речь не только об этом.

Историко-демографический анализ, по самой природе его предмета неотъемлемый от общего контекста хозяйственных, экономических, политических, социокультурных, экологических, медицинских явлений и сторон общественной жизни, открывает широкие возможности для исторического синтеза — реконструкции изучаемой эпохи в ее целостности. Он вносит свой специфический вклад в уяснение стереотипов механизмов мышления и поведения, которые в этом обществе действовали, на которых это общество зиждилось и благодаря которым, при всех различиях их проявления в разных социальных средах — крестьянской, сеньориальной, городской, обеспечивалось единство и своеобразие и картины мира, и данной общественно-экономической системы в целом, также как и ее отличие от других.

С этой точки зрения, важность историко-демографического изучения города трудно переоценить. Оно проливает дополнительный свет на природу средневекового города как неотъемлемого и вместе с тем своеобразного явления феодальной общественно-экономической и социокультурной системы. Но как раз именно эта сторона историко-демографических исследований, базирующихся на городском материале, на практике зачастую и не получает осмысления. Интерес историков к демографическому феномену как таковому нередко заслоняет целое — город как социокультурный организм, о состоянии, движении и изменениях которого собственно и сигнализируют демографические процессы.

Обращаясь здесь к анализу материалов отдельных историко-демографических исследований, я стремлюсь прежде всего обратить внимание на те перспективы, которые они открывают для понимания социокультурной природы средневекового города и его положения в феодальном мире, дать представление в целом об источниковых возможностях историко-демографических городских исследований. При этом вне рассмотрения остается специальная проблема метода и методик, требующая самостоятельного анализа.

Наиболее предпочитаемый историками-демографами период — с 1650 по 1850 гг.: от систематической регистрации в церковных книгах рождений, браков, смертей до учреждения статистической службы. Что касается историков-медиевистов, то они в своих демографических исследованиях в поисках материалов вынуждены обращаться к источникам разного типа. Так, широкий размах исследования демографических процессов в средиземноморских, в частности, итальянских и южнофранцузских городах, не в последнюю очередь опирается на богатый фонд серийного актового материала, которым начиная с XI в. оформлялось в этих городах владение наследственным имуществом, патримонием. Этот тип документа, по образному выражению итальянского медиевиста Дж. Виоланте, стал «своеобразной формой сохранения памяти о предках» и одновременно основой для реконструкции родословных высших слоев городского населения. Историки-демографы к северу от Альп работают преимущественно с источниками другого типа — описями поочажного и поголовного обложения, списками бюргеров, зафиксированными в городских книгах, завещательными актами и т.п. Соответственно и круг основных вопросов, решаемых исследователями, иной: численность городского населения, его плотность, миграционные процессы, семейные структуры. Но в обоих случаях современное урбанистическое историко-демографическое исследование предполагает привлечение по возможности серийных источников, также как и сочетание различных их типов, включая нарративные и литературные памятники («дневники», домашние хроники) и разнообразные городские документы, содержащие оценку людских ресурсов городов (постановления верховных властей, договоры и т.п.).

**Городское население и его движение.** Историко-демографический подход открывает большие возможности для моделирования различных аспектов городской жизни (внутри и вовне) — динамики ее движения, внутренних и внешних взаимосвязей, функционально-иерархических соотношений в пределах городской «сети» области, региона, страны. Одна из ранних попыток анализа такого рода принадлежит немецкому медиевисту Х. Райнке «Проблема народонаселения ганзейских городов»<sup>3</sup> Исследование это имеет ярко выраженную критическую направленность против распространенного в историографии тех лет (и далеко не изжитого еще и сегодня) приема определения значимости того или иного города, исходя исключительно из формальной оценки численности его жителей. Это поверхностно и недостаточно, считал Райнке. Им был поставлен вопрос о важности учета совокупного действия

разнообразных дополнительных факторов, влияний, взаимосвязей, «порой трудноуловимых и плохо поддающихся учету». К их числу Райнке относил этнический состав жителей, миграции, сложившиеся исторически политическое положение и функции города в системе того или иного политического или государственного образования, хозяйственную и социальную структуру, военные возможности города и т.д. Учет уже хотя бы части этих факторов приводит порой к неожиданным открытиям. Так, сопоставление данных о людских резервах и финансовых возможностях, содержащихся в договорах ганзейских городов за сто лет (1362—1470 гг.) и в имперском матрикуле вормского рейхстага 1521 г. показало, что в Империи ганзейские города, уступая формально многим имперским городам по численности своих жителей, вместе с тем считались более способными к поставке именно людской военной силы, чем денежных средств.

Вместе с тем, ни численность населения, ни вес отдельных городов нельзя рассматривать как нечто раз и навсегда данное, застывшее, ибо ни одно статистическое рассмотрение не совпадает абсолютно с постоянно изменяющейся реальностью. Один из важнейших компонентов этой реальности — постоянное движение городского населения прежде всего в силу экобиологических причин. «Неслыханно высокой» рождаемости в средневековом городе соответствовала «неслыханно высокая» смертность. Особенно велика была она среди рожениц и младенцев в первые недели жизни. Многие мужчины переживали двух-трех жен. Лишь немногие доживали до 70-летнего возраста; 60-летние и даже 50-летние считались «старцами». Большинство избираемых в городские советы ганзейских городов едва достигало 30 лет. Поражает вымирание цветущих и многолюдных фамилий за очень короткое время (нередко уже на уровне внуков). И это — в «нормальные» годы. Но Средневековье, особенно раннее и классического периода, — также эпоха массовых эпидемий. Ущерб, нанесенный Черной смертью в 1347 г. и последующими эпидемиями чумы населению ганзейских городов, Х. Райнке оценивает от половины до двух третей населения; от 25 до 33% — в 1358 г. и в последующие периоды ее новых волн, продолжавшихся, постепенно ослабевая, с перерывами до XVIII в.

Х. Райнке приходит к выводу, ставшему для исследователей последних десятилетий уже аксиоматичным: «Ни один город, — пишет он, — не смог бы поддерживать численность своего населения за счет “внутренних” ресурсов, то есть — за счет естественного воспроизводства. Город с его высокой смертностью был ориентирован на постоянный приток новых жителей из сельской

округи. Здесь были более здоровые условия жизни и эпидемии не опустошали деревни так, как скученные города». Таким образом, и это важно подчеркнуть, демографический подход к изучению города открывал новый ракурс в проблеме город — «сельский мир». Х. Райнке исследует этот уровень взаимодействия на материалах Любека, Гамбурга, Люнебурга и приходит к выводу: увеличение населения немецких городов вообще и ганзейских, в частности, во все времена основывалось почти исключительно на иммиграции. Почти полное обновление состава населения после массовых эпидемий происходило благодаря «могучему притоку иммигрантов»; не старожилы, но вновь пришедшие определяли картину городского населения, особенно областей Ганзы.

В этой связи Райнке был поставлен вопрос о специфике свидетельств такого типа источников, как бюргерские книги (фиксирующие численность и состав городских жителей), на которых традиционно основывались исчисления горожан. Эти книги, как показывает Райнке, отражают движение не населения города в целом, как считали историки XIX в., но только притока иммигрантов в ганзейском регионе — его повсеместное усиление до и в первой четверти XV в., замедление, а в некоторых местах и сильное сокращение в последующие годы, взлет после больших эпидемий и в периоды войн. Бюргерские книги помогают также понять, в каком качестве и объеме вновь прибывшие входили в жизнь городской общины: как ратманы, купцы, представители бюргерской оппозиции и т.д.

Не ограничиваясь этими констатациями, Х. Райнке тогда же впервые поставил вопрос о «качественной» структуре, если так можно выразиться, иммиграционного потока в города. Он установил, в частности, что иммиграция в ганзейские города исходила не только из ближней округи, но и из отдаленных внутренних областей и в целом была ориентирована «с Запада на Восток». Показательно, что иммигрантский поток отнюдь не всегда исходил непосредственно из деревень: часты случаи, когда переселенцы устремлялись сначала в близлежащий малый город, а затем — уже в «большой». Так, например, поток переселенцев из Веккеде (Вестфалия) шел через Варль, Зоэст и оттуда уже — в Любек и Штральзунд, затем — Данциг и Таллинн. Но у истоков миграционного потока, подчеркивает Райнке, все равно находится сельская местность. Не подвергая сомнению этот принципиально важный вывод, тем не менее нельзя не дооценивать и функциональную роль в этом урбанизационном по сути процессе и малых городов — проблеме, которая сегодня все больше и больше привлекает внимание исследователей.

Х. Райнке был поставлен также вопрос о зависимости между масштабом города и характером иммиграционного потока: чем сильнее город был втянут в систему дальней торговли, тем выше было число переселенцев из наиболее отдаленных внутренних провинций и городков и тем выше был социальный статус именно этих переселенцев издалека. В этой связи Райнке отмечает численную стабильность групп новых бюргеров в Гамбурге, не принадлежащих к цехам (с 1370 по 1500 гг. — неизменно от 55 до 60 человек) и связанных с торговлей, мореходством, нецеховым экспортным производством. Купеческое население ганзейских городов остается количественно стабильным даже в периоды демографического спада в XV в. Напротив, ремесленное сокращается не только относительно, но и абсолютно. Соответственно падает и его политическое влияние. Таким образом, демографический анализ движения городского населения в целом и изменения состава отдельных его социoproфессиональных групп открывает перспективы для более глубокого понимания социальной подосновы и политических процессов в городах.

Исследуя иммиграционный поток в города, Х. Райнке обращает внимание на его связь также с изменениями в структуре расселения в регионе и с движением внутренней и восточной колонизации немецкого крестьянства. До Черной смерти и серии последующих эпидемий чумы крестьянство ганзейского региона имело еще достаточно сил и для внутренней колонизации «на Восток», и для возрождения городов. Но затем существенно сократившийся из-за эпидемий избыток крестьянских сыновей и рабочих рук поглощался уже исключительно городами. Это привело к упадку восточной колонизации и прекращению почти на столетие — внутренней. «Города позднего Средневековья росли за счет колонизационного движения сельского населения — явления, действовавшего столетия. Черная смерть и необходимость нового наполнения городов нанесли немецкому восточному предпринятию удар перед самым его завершением».

Историко-демографическое исследование предполагает также постановку вопроса о профессиональной структуре городского населения и соотношениях между различными его группами: купечеством, ремесленниками, промысловиками, лицами, занятыми во вспомогательных службах, и т.д. Особенность социoproфессиональной структуры городов ганзейского региона была обусловлена господствующим положением торговли, особенно в приморских центрах, и динамизмом хозяйственной жизни в целом. Характерно, что одаренные сыновья ремесленников поступали здесь в обучение к купцам и делали карьеру в торговле. Показательно

также отсутствие непреодолимого барьера между двумя видами деятельности — ремеслом и торговлей, и широкая горизонтальная мобильность: переход от одной профессии к другой был обычным состоянием для бюргеров ганзейских городов. Купечество ганзейских городов пополнялось не только за счет разбогатевших ремесленников, но и «в значительной части», как показал Райнке, за счет «пришлого этнического элемента — капитанов», как правило, фризов или голландцев, становившихся бюргерами тех городов, купечеству которого они служили.

Наблюдения над профессиональной и имущественной структурой населения и демографическими процессами стали базой для типологической характеристики городского развития в ганзейском регионе. Специфическим для него является «город дальней торговли», хозяйственная жизнь которого определялась по преимуществу морскими операциями. В идеальной своей чистоте он представлен Любеком, но таковыми являлись также Росток и Штральзунд, Данциг и Эльбинг, Рига и Ревель. Смешанный тип представляли Брауншвейг, Люнебург, Гамбург, Висмар, соединявшие, подобно Аугсбургу, дальнюю торговлю с экспортными ремеслами. Но сходство с Аугсбургом на этом и кончается: сравнение имущественных структур (Гамбурга, конец XIV — середина XV в., и Аугсбурга, 1475 г.) и численных соотношений высших, средних и низших слоев городского населения обнаруживает принципиальные различия. Основу имущественной структуры Гамбурга составляли сильно дифференцированные средние слои, тогда как в Аугсбурге они не превышали и 10% от общей численности населения, основная масса которого принадлежала к бедноте — 62%.

Методологически и с точки зрения конкретно-исторических результатов пионерское исследование Х. Райнке может быть с полным правом отнесено к числу тех работ рубежа 40—50-х годов, которые, по выражению А. Имхофа, способствовали превращению демографии из того, что называли «историей народонаселения», в самостоятельную научную дисциплину — «историческую демографию». Он сформулировал и пытался реализовать в исследовании один из основных принципов будущей дисциплины, согласно которому задача историка состоит не в комбинировании количественных данных, но в выяснении взаимосвязей, определяющих конкретные демографические характеристики изучаемого общества; что научная интерпретация демографического материала невозможна без учета специфики локальных условий — особенностей исторического, экологического, географического, медицинского, хозяйственно-социального, этнического развития го-

рода и региона в целом — подход, открывавший перспективу движения к «глобальной» истории.

**Силовые линии миграций. Город в этнополитических процессах.** Интенсивные демографические исследования в 70—80-е годы, в частности, французских городов, позволили выявить долгосрочные тенденции движения городского населения, точки подъема и спада, начиная с середины XIII в., когда появляется необходимый статистический материал: ведь XIII в. — время начала переписей, появления собственных имен, фамилий, названий улиц. Исследователи выявили факторы, воздействовавшие на эти процессы, что имело результатом пересмотр ряда традиционных представлений.

Так, принято считать, что катастрофическое, резкое снижение городского населения имело место именно в середине XIV в. и было следствием эпидемий чумы — Черной смерти, прежде всего. Историко-демографический анализ выявил более сложный комплекс зависимостей и давнюю подспудно протекавшую динамику в этом направлении: фактически признаки спада фиксируются уже приблизительно с середины 20-х — начала 30-х годов. Эта тенденция развивалась постепенно и была связана с обострением, под влиянием серии неурожайных лет, проблемы снабжения продовольствием — одной из самых важных для средневекового города и особенно тяжелой в условиях его перенаселения. В некоторых городах от голода погибло больше людей, чем потом от эпидемии чумы. В Ницце еще до начала ее исчезло 40% домохозяйств, в Перигоре — 63%. Рост населения Парижа достиг своего максимума в 1315—1330 гг., после чего начался резкий спад; в Лилле высокая смертность была спровоцирована голодом 1316—1317 гг., в Реймсе — эпидемиями 1318—1320 гг.

В Безансоне спад начался с 1320 г. и достиг апогея в 1330—1340 гг. Изучение движения народонаселения города выявило параллельно и другие черты городской жизни, обычно ускользающие от исследовательского внимания. В частности, обострение продовольственной проблемы тяжелее всего сказывалось на населении относительно крупных, региональных центров, столицы, что выразилось, например, в обезлюдении предместий, возникших в период демографического подъема XIII в. В то же время сельские бурги и мелкие провинциальные города в этот период трудностей с обеспечением продуктами первой необходимости по-видимому не испытывали и рост их населения продолжался и до 1340 г.

Широкий размах в 70—80-е годы получило также изучение проблемы миграций и в этом контексте — обновления и мобиль-

ности городского населения. Выяснилось, что оно было подвержено этим процессам в большей степени, чем обычно считали, и в силу причин, о которых вообще не подозревали. Они были обусловлены в целом более низкой рождаемостью и низкой продолжительностью жизни в городах. Феномен, зафиксированный ранее Х. Райнке для региона Ганзы, выступает в свете этих исследований как общеевропейский. Городские семьи, особенно по их мужской линии, в массе исчезали быстро, причем вымирание (часто на протяжении двух-трех поколений) городских линияжей хорошо прослеживается не только в крупных центрах, но и в сельских бургах, провинциальных городках (как, например в XIV в. в провинции Лионне).

Способствовали этому, конечно, и эпидемии (в Реймсе, например, с 1360 г. до конца столетия исчезла большая часть аристократических семей: свирепствовавшая чума поразила здесь в первую очередь детей, то есть продолжателей фамилии). В этом же направлении действовали войны и голодовки, эмиграция (по политическим и религиозным мотивам — особенно с XV—XVI вв.), экономическая конъюнктура, изменения во внутрирегиональной и общеевропейской хозяйственной жизни. Но каковы бы ни были причины, главное — фиксируемое историками-демографами постоянное обновление городского населения за счет иммигрантского потока, его движение. Иммиграция — феномен, присущий всем типам средневекового города, жизненно необходимый, обусловленный комплексом разнообразных факторов. Он фиксируется во многих городах с самого раннего времени. Именно иммиграция, полагает, например, Фавье, сыграла главную роль в демографическом росте Парижа в XIII в.; и в последующие столетия процесс обновления фиксируется во всех социопрофессиональных группах населения столицы.

Исходя из анализа городских патронимов, включающих топографические обозначения, а также прямых указаний в городских книгах о том, откуда родом новопришелец, реконструируют историки-демографы происхождение новых городских семей и таким образом направление и радиус действия миграционного потока. Такого рода исследования, как мы это уже имели возможность отметить, характеризует труды Х. Райнке, также обнаруживают прямую зависимость между степенью удаленности мест рождения новых горожан, радиусом действия миграционного потока, хозяйственной значимости города и, таким образом, силой его притягательности и притяжения: чем больше город, тем шире радиус притока иммигрантов. В крупные торговые и ремесленные центры, портовые города они направлялись из ближайшей округи и из



областей, с которыми эти города связывала дальняя и экспортная торговля.

Таким образом, благодаря изучению демографических процессов, был получен один из надежных критериев определения как сравнительной значимости городов так и их роста. Так, например, в Монбризоне, маленьком городке области Форез, 40% вновь прибывших в 1220—1260 гг. происходило из местности, расположенной менее, чем в 10 км от города и 38% — из деревень в радиусе 10—20 км. В 1260—1340 гг. 4/5 иммигрантских семей было родом из местностей, расположенных в 30 км от города. В 1300—1349 гг. 2/3 иммигрантов происходили из местностей уже в радиусе 40 км от Монбризона. В Реймсе в 1304—1328 гг. 50% новопришельцев (более 600 патронимов) прибыло из селений в радиусе менее 13 км от города, тогда как остальные указывают на местности, удаленные более чем на 30 км.

Но важно и то, что основная масса пришельцев во всех исследуемых случаях состояла из крестьян. Это одно из убедительных свидетельств тесной привязанности средневекового города прежде всего к его округе и крестьянского происхождения его жителей. Города были населены в массе недавно урбанизированными крестьянами. Именно эту особенность состава городского населения имел в виду Ж. Ле Гофф, говоря, что «средневековая городская Франция в значительной своей части не что иное, как «сельская Франция в городе»<sup>4</sup>

К переселению в королевские, вольные или имперские города, обладавшие собственным правом, широкими привилегиями, крестьян толкало и стремление выйти из-под гнета личной зависимости и более широкие возможности для социального и хозяйственного возвышения. Но действовал и чисто демографический фактор: превышение рождаемости над смертностью в сельской местности создавало постоянное давление избыточного населения, которое было не в состоянии обеспечить себя средствами существования на месте в условиях измельчения и дробления крестьянского надела (в тех областях, где существовала практика наследственных разделов) и роста безземельных (особенно там, где действовало право майората, когда наследовал только старший из сыновей). Положение обострялось в неурожайные годы, в периоды войн и эпидемий и связанных с ними опустошений и массовых голодовок.

В позднее Средневековье традиционная миграция населения между городом и сельской округой получила новые дополнительные импульсы. Они исходили от старинных городских агломераций, переживавших в результате изменения направлений европейской хозяйственной и политической жизни стремительный

подъем. Население их в среднем возросло более чем в два раза: таковы, например, в Средиземноморье Палермо, Неаполь, Рим, Флоренция, Болонья, Севилья, Лиссабон; в Западной Европе — Париж, Марсель, Лион, Лондон, Брюссель, Антверпен, Брюгге, Гамбург, Копенгаген, Стокгольм. В этом же направлении действовало и укрепление внутривнутрирегиональных и межобластных хозяйственных связей и обмена, формирование европейского рынка, процессы первоначального накопления, также как и складывание территориальной государственности, вызвавшие широкое распространение (особенно в Центральной и Восточной Европе, на Балканах) специфического типа городских поселений — так называемых малых городов.

По мере ослабления с XVI в. пандемий сокращались и, наконец, прекратились полностью миграции из областей густонаселенных в области, пережившие высокую смертность. Они уступили место массовым переселениям по политическим и религиозным причинам. На это время приходится мощный эмиграционный поток еврейского населения, начало которому было дано его изгнанием из испанских (1492 г.) и португальских (1496 г.) городов. Беженцы направлялись в города Южной Франции, арагонские владения в Нижней Италии, в городские центры мелких княжеств центральных и северных ее областей, правители которых были толерантны в вопросах веры. Другие искали прибежища в атлантических гаванях на побережье Франции и Нидерландов, в Лондоне, Гамбурге, образуя там обособленные кварталы.

Широкие миграционные процессы породили Реформация и Контрреформация: переселение анабаптистских общин в 20-е годы XVI в. из Верхней Германии в моравские города, нидерландских меннонитов в прибрежные города Северо-Западной Германии, в 40-е годы — нидерландских кальвинистов сначала в Восточную Фрисландию, в ближние рейнские города (Аахен, Кёльн, Везель), а затем — во Франкфурт-на-Майне, в города Нижнего Рейна, Саксоно-Тюрингского района. Революционные события в Нидерландах и последующие войны дали толчок отливу населения из городов Валлонии и Фламандии, лютеран — из Северных Нидерландов в Германию. В этом потоке особенно много было купечества. Многочисленная диаспора нидерландского купечества сложилась на Иберийском побережье, в Венеции, Ливорно. На волне эмиграций появлялись — «основывались», по инициативе правителей земель, принимавших беженцев, новые города-убежища (так возник Гетеборг, Альтона в предместье Гамбурга и др.)<sup>5</sup>. Османская агрессия дала толчок эмиграции христианского и ретороманского населения балканских городов. Наконец, мощный

импульс миграционным процессам был дан развитием европейской экспансии за океан, в Америку.

Историко-демографические исследования последних десятилетий позволили, таким образом, реконструировать основные силовые линии миграций в средневековой Европе, их связи с городским развитием и их воздействие на урбанизационные процессы. Они высветили роль городов как своеобразной «несущей конструкции» в системах связей разных уровней — внутри- и межрегиональных, общеевропейских. Но не только это. Изучение этнического состава городских мигрантов выявило и другую их важную, еще не оцененную в полной мере, функцию своеобразных «тиглей»: ведь именно здесь, в городах прежде всего, в процессе сложных этнических смешений и влияний выкристаллизовывались как специфические черты европейской общности, так и национальное своеобразие отдельных европейских областей и регионов.

С точки зрения этой ведущей роли города в этнополитических процессах средневековой Европы показателен, например, материал историко-демографического изучения городов Прованса в XIV—XV вв. В Арле, где в XIV в. население обновлялось в среднем на 13% в десятилетие, 60% иммигрантов прибывало из области между Роной и Дюрансой (Прованс); долины Роны и Соны поставляли лишь 10%, а северофранцузские области — 20% иммигрантов. В XV в. степень обновления арлезианского населения увеличилась в два раза — 24% в год, а сама иммиграция приобрела савойско-французский характер: общая доля французов составляла теперь 95%, итальянцы и другие жители Средиземноморья — 5%. Так Арль превратился «в один из наиболее французских» городов Прованса. В Эксе, столице графства Прованс, в XIV—XV вв. преобладала ближняя иммиграция (Нижний Прованс, Южные Альпы). С XV в. доля дальнейшей иммиграции неуклонно возрастает также с явным усилением французского элемента в ущерб итальянскому (Пьемонт, Ломбардия, Генуя). В иммиграционном потоке в Авиньон основная роль принадлежала дальним регионам: иммигранты прибывали из Фландрии, Северной Франции (прежде всего из Парижа), Западной и Юго-Западной Франции. В целом французский элемент составлял более половины новых граждан. Доля итальянцев была около 20% (XIV в.), после отъезда пап она сокращается, составив в XV в. всего лишь 5%.

Интеграция разных элементов иммиграции в городской среде осуществлялась с разной степенью интенсивности. Как показывают исследования городов того же Прованса, наиболее быстро происходило слияние на уровне высших городских слоев: в Авиньоне пришлый и местный элемент и олигархия слились в составе

20 семей. В Эксе обновление городской верхушки осуществлялось в большей мере за счет иммигрантов, чем вследствие социального возвышения групп местного населения<sup>6</sup>

Характерно, что связи с родной местностью не обрывались и после того, как иммигрант укоренялся на новом месте жительства. Напротив, они подчас укреплялись и приобретали дополнительную хозяйственную значимость. Интересный в этом отношении материал дают также исследования французской урбанистки и демографа Арлетты Нададь, реконструировавшей происхождение и генеалогии ряда купеческих и крупных ремесленных фамилий в Перигоре XIV—XV вв.<sup>7</sup> Сопоставляя географию их коммерческих операций с данными о месте крещения и таким образом происхождения основателей этих фамилий, она установила, что наибольшая часть торговой клиентуры этих семей приходилась на местности в 25, 30 и 50 км от Перигора, откуда, собственно, были родом их основатели и где сами семьи имели многочисленные земельные приобретения и ренты. Как показывает Нададь, связи с родиной сохранялись и тогда, когда она вообще находилась в другом регионе, как это было у семьи менял Туарелей, происходивших из Тосканы.

**Городские домохозяйства, брачная практика горожан.** Наш анализ возможностей, открываемых исторической демографией для понимания природы и внутренней специфики средневекового европейского города, был бы существенно обеднен, если бы мы обошли молчанием пионерское исследование Д. Херлихи и К. Клапиш-Зубер «Тосканцы и их семьи: исследование Флорентийского кадастра 1427 г.»<sup>8</sup> Оно заслуживает внимания прежде всего как один из первых опытов моделирования городской жизни на основе анализа внутренних, коренящихся в биологической и социальной природе человека и человеческого социума структур ее организации, то есть исходя из глубоко скрытых мотивов и пружин биологического (демографического) поведения людей и их социально-психологических представлений. Вместе с тем, монография Д. Херлихи и К. Клапиш-Зубер — одно из ярких свидетельств уровня современных медиевистических (и урбанистических в том числе) исследований — их методологических установок и исследовательского инструментария, также как и возможностей, открывающихся благодаря историко-демографическим подходам, для решения задачи исторического плюридисциплинарного синтеза. Именно в этом, на мой взгляд, заключается непреходящее значение этого труда и собственно важность рассмотрения его в контексте нашего исследования.

Книга Д. Херлихи и К. Клапиш-Зубер представляет собой «коллективный» труд не потому, что часть ее глав написана одним, в другая — иным автором. Он является коллективным в прямом смысле слова, так как создан учеными, придерживающимися одной и той же исследовательской ориентации. Но он является коллективным также и потому, что уникальный массовый источник, положенный в его основу, потребовал для своей обработки усилий интернационального коллектива ученых, не только историков в прямом и традиционном смысле слова, но и архивистов, лингвистов, картографов, математиков, привлечения специалистов крупных исследовательских вычислительных центров Франции и США. По инициативе Д. Херлихи, поддержанной в свое время крупными французскими историками Ф. Бродезем, Э. Леруа-Лядюри и Ф. Вольфом, была предпринята (впервые в истории медиевистики) попытка глобального обсчета (с помощью ЭВМ) статистического материала переписи населения, проведенной в 1427 г. Флорентийской коммуной на подвластной ей территории. Эта работа, потребовавшая ряда лет (1966—1973), — детище Центра исторических исследований, VI секции Практической школы высших исследований, Американского совета научных обществ, а также научных центров Висконсинского университета и университета в Стэнфорде (Калифорния). Авторы стремились систематизировать материалы Кадастра 1427 г. (60 тыс. домохозяйств, более 260 тыс. человек, с указанием оценок движимого имущества и патримония, рода хозяйственной деятельности и пр.), во-первых, с учетом географического, хозяйственного и социального развития этого региона; во-вторых, с учетом особенностей распределения и движения тосканского населения на протяжении предшествующего составлению Кадастра десятилетия и почти до конца XV в.; в-третьих, с учетом распределения имуществ, социальной структуры и хозяйственной активности тосканцев, а также, в-четвертых, — в общем контексте социально-психологических представлений присущей городской культуре той эпохи ментальности.

Соответственно выстроена и структура исследования. В первой его части характеризуется предыстория фискальной реформы 1427 г. и сама эта реформа, вводившая прямое налоговое обложение. Вторая часть — «Эпоха» вводит перепись (точнее ее анализ) в длительный временной контекст (с 1300 по 1550 гг.), позволяющий выявить основные направления и критические точки социальной и демографической динамики тосканского общества, деформированной к моменту реформы тяжелыми эпидемиями чумы и порожденной ими социальной напряженностью. Третья и четвертая части — «Население и распределение имущества», «Демо-

графическое поведение и социальная среда» представляют своего рода «зондаж» на материале Кадастра глубинных демографических структур тосканского общества. Заключительная часть книги («Представления о семье») посвящена характеристике средневековой тосканской семьи и родственных структур с точки зрения запечатленных уже в письменных и литературных свидетельствах представлений о них самих современников.

Включение в исследование этого последнего аспекта рассмотрения истории тосканской средневековой семьи (кстати, присутствующего и в главах других частей) очень показательно с точки зрения тех новых тенденций развития исследовательского мышления, которые в 70-е годы, когда собственно и разворачивалась работа над Кадастром, заявили о себе во всей полноте. Речь идет о критике абсолютизации анализа систем и структур, статистического метода в ущерб познанию собственно антропологических аспектов исторического прошлого — внутренних, коренящихся в социально-психологических представлениях людей, их ценностных ориентациях, автоматизмах сознания (ментальность), пружин человеческого поведения и поступков. В этом отношении монографическое исследование Д. Херлихи и К. Клапиш-Зубер заслуживает особого внимания как одна из первых масштабных попыток «скорректировать» два уровня наблюдения — «извне», то есть объективной реальности такой, какой она выступает на «поверхности» истории, и «изнутри» — того, как сами действующие лица — тосканцы XV в. представляли свою семейную жизнь и самих себя в этой жизни. Такая постановка вопроса, в свою очередь, в ряде случаев позволяла уяснить сложные связи взаимозависимости между двумя уровнями исторической реальности: «материальной» и «идеальной» и таким образом получить синтезированный, «глобальный» (целостный) срез действительности — реальной городской жизни XV в.

Конкретно-исторически, с точки зрения интересующей нас проблемы подходов к изучению средневекового города, это исследование как бы облекает в плоть и кровь многие ставшие уже традиционными для современной урбанистики темы и аспекты изучения городской истории, вводя их в нетрадиционные, «непривычные» контексты, как это имеет место, например, с одной из ключевых проблем: город — сельская округа. В исследовании Херлихи и Клапиш последние сопоставляются на уровне одной из основных социальных микроструктур средневекового общества — семьи; половозрастного состава населения, специфики его динамики и взаимосвязанных с этим движением особенностей хозяйственной жизни и социальных отношений в городе и его

ближайшей округе (контадо). Новый смысл, благодаря такому подходу, обретают и обычно не вызывавшие у историков особых раздумий такие термины официальных, в частности фискальных, документов, как «очаг», «домохозяйство», «дом», как правило априорно идентифицируемые с современной семьей и присущей ей структурой.

Домохозяйство, семья, как ее представляло Средневековье, основная единица налогообложения в средневековом городе и в контадо, но это также и основная социальная единица. В его рамках частично или полностью реализовывались наиболее существенные функции — от продолжения рода до производства и потребления. Домохозяйство и супружеская семья — тождественны ли эти понятия? Для историков XIX в., как, впрочем, и много позже, такого вопроса не существовало: семья Средневековья, тем более семья городская, мыслилась уже как малая супружеская семья современного типа. Сравнительные историко-демографические исследования обнаружили иную реальность — неожиданно многообразную, сложную, имеющую мало общего с тем, как ее обычно представляли. Выяснилось, что форма и структура домохозяйств были подвержены изменениям, обусловленным многими факторами.

Теоретически состав домохозяйственной группы определялся принятой в обществе системой кровнородственной преемственности и правилами, определяющими место проживания молодой супружеской пары. В Тоскане господствовал патрилинейный принцип филиации (родственной преемственности). Обусловленные им равные права сыновей на отцовское наследство (дочери, наделенные приданым, после замужества входили в родственную группу мужа) стимулировали тенденцию к проживанию братьев в отцовском доме. Но им и не запрещалось селиться отдельно и требовать выдела. Таким образом, в идеале композиция домохозяйства — домохозяйственной семейной группы могла включать родителей индивида, дядю по отцу, его детей, собственное потомство индивида, женатых братьев, незамужнюю сестру. Однако в реальной жизни эта система родства редко достигала своего полного выражения в домохозяйстве. Д. Херлихи и К. Клапиш-Зубер констатируют широкие вариации средних размеров «очага» — в городах, как правило, они были ниже (3,9 человека), чем в деревнях (4,74 человека); они еще больше понижались в главном городе провинции и торгово-промышленном центре — во Флоренции (3,8 человека) и возрастали в городах аграрного типа (3—4 человека); они достигали 4—5 человек — в бургардах (небольших городках) и поднимались до 6 человек в контадо.

Но размеры домохозяйств варьировали в широкой амплитуде и пропорционально имущественному положению их глав: чем выше ставка налогообложения, тем больше средняя цифра численности его обитателей: 2/3 флорентийских очагов (налоговая ставка 400 флоринов) насчитывали в среднем 3 человека. Домохозяйство в среднем из 6 человек присуще очагам с оценкой имущества свыше 3200 флоринов. Херлихи и Клапиш-Зубер констатируют довольно большой процент очагов, включавших более двух поколений (11,3% во Флоренции, 13—21% — в других городах). Показательно, что этот процент возрастал по мере уменьшения размеров и изменения характера поселений (в контадо Флоренции, например, он составлял 26,3%). Домохозяйственная группа в Тоскане XV в., как показало исследование Кадастра, чаще всего представляет собой супружескую семью, которая, однако, в одном случае из семи включает родственника по восходящей линии или, что гораздо реже, одного по нисходящей. Кроме того, в одном случае из шести встречается «усеченная» супружеская ячейка — вдовец (вдова), бобыль, дети-сироты братьев, живших вместе, объединения лиц, не связанных узами родства. Пропорция изолированных, «усеченных» домохозяйств, в том числе и очагов, возглавляемых вдовами, в городе выше, чем в сельской местности. Город привлекал к себе одиноких, пожилых женщин, вдов, надеющихся обрести здесь убежище, место в услужении и т.д. С этим Д. Херлихи связывает, в частности, рост городского женского населения, начиная именно с категории 45-летних; показательно, что рост мужской генерации начинает сокращаться тоже с 45-летних из-за уменьшения притока в город не в последнюю очередь иммигрантов этого возраста.

Этим маленьким домохозяйствам противостояла массивная группа многоячейных, сложных домохозяйств, в рамках которых сосуществовало несколько женатых пар со своими семьями. При этом двухсемейные объединения составляли 14,8% случаев, трехсемейные и более — 3,8%. Три очага из пяти, насчитывавшие две супружеские семьи (11,3% общего числа), принадлежали явно к линияжному однокоренному типу семьи: родители и их женатый сын. «Патриархальная» семья (несколько женатых сыновей, подчиненных авторитету отца) составляла 2,1% сложных домохозяйств; 5,3% (5% от общего числа очагов) образовывали объединения женатых братьев. Показательно, что сложные домохозяйства, типа объединения братьев, во Флоренции, например, были часты в семьях, облагавшихся по высшей налоговой ставке, тогда как у бедноты и ремесленников (средней зажиточности) большой роли не играли. В контадо состав и степень сложности



домохозяйства определялись не столько имущественным положением, сколько социальным статусом крестьянской семьи и соответствующими ему поземельными отношениями. Но в любом случае — «большой дом» в Тоскане XV в. — неременная принадлежность определенной социальной среды, главным образом городского патрициата и крестьянства, имеющего землю.

Историко-демографический анализ выявил социальные характеристики и такой категории городских переписей, как «глава домохозяйства». Это были, как правило, люди старшего возраста, в среднем 48—52 года. Хотя большая часть очагов возглавлялась, особенно в сельской местности, женатыми, брак не открывал автоматически путь к семейному авторитету. Сопоставление частоты браков у мужчин по возрастным группам с их шансами на хозяйственную автономию показывает, что почти 2/3 молодых женатых мужчин в деревне и около половины в городе подчинялись авторитету главы очага. Это положение зависимости устранилось медленно: почти 20% 40-летних женатых крестьян находились в зависимости от отца, и дело здесь не только в более раннем возрасте вступления в брак крестьян и более высоком проценте браков в деревне. Решающая роль принадлежала социальному фактору: город открывал молодому человеку больше возможностей для завоевания экономической самостоятельности и выделения из отцовской семьи, чем деревня. Брак и обзаведение самостоятельным хозяйством в Тоскане XV в. не совпадали, особенно в сельской округе, точно также, как домохозяйство не совпадало с супружеской семьей.

Таким образом, исследование Херлихи и Клапиш-Зубер внесло серьезные коррективы в априорное, унаследованное от историографии XIX столетия представление о постепенном уменьшении домохозяйственной группы — стяжении ее вокруг супружеской пары и ее детей и одновременном дистанцировании от сети отношений, основанных на родстве, соседстве, дружеских связях. Пример Тосканы обнаруживает множество типов семей, вызванных к жизни процессами внутреннего развития региона и тосканского городского общества. Бок о бок с семьями богатых горожан, интегрированных в сложную сеть родства и соседских связей, находятся семьи крестьян, наделенных землей, сросшихся с ней и заботящихся об укреплении солидарности группы, которая ее обрабатывает. Им противостоит масса городской бедноты, мелких крестьян, держателей разрозненных парцелл, всегда нуждающихся и находящихся под угрозой нищеты. У первых — формы домохозяйства сложные, семейные группы обширные и прочные, у вторых — простые, более узкие, нестабильные.

**Мужчины, женщины, дети. Демографическое поведение.** Историко-демографический анализ ориентирован на нетрадиционные, не привлекавшие прежде внимания историков города аспекты сопоставления города и сельской местности, как, например, половозрастная структура населения, демографическое поведение — возраст вступления в брак и рождения первого ребенка и т.п. Тем самым обретает конкретность содержание и воздействие того процесса, который называют урбанизацией.

Анализ Кадастра показывает, что города Тосканы — большие и малые — отличались от деревень особенно высокой долей подростков и лиц зрелого возраста и, соответственно, более низкой долей стариков. Среди городов особенно резко выделялась Флоренция с чрезвычайно высокой численностью детей в противовес группе стариков. Это связывают обычно с высоким уровнем рождаемости в столице. Но дело не только в этом; как полагают исследователи Кадастра, именно во Флоренции концентрировалась основная масса богатых фамилий Тосканы: 70% ее жителей, имеющих более 800 флоринов имущества (по оценкам переписи), жили во Флоренции и составляли более трети (35,3%) ее населения, а их дети — 41,3% этой возрастной группы. Что же касается бедноты, то она в равных имущественных категориях имела меньше детей, чем в деревне. В целом же, как показывает картографический анализ материалов Кадастра, молодое население было сосредоточено преимущественно в центральной и западной частях тосканской территории. И это совпадает с распространением испальдины (в частности в центре флорентийской области) и мощным влиянием самой Флоренции. Ни Флоренция, ни Пиза не были закрыты и для иммиграции как из ближайших, так и (еще больше) из дальних деревень: увеличение во Флоренции группы лиц молодого зрелого возраста в известной мере результат притока в город на заработки молодежи. Напротив, в зонах «отхода» (Кьянти, Казентино, пизанские холмы, низовье долины Арно) наблюдается отток молодых и увеличение численности людей пожилого возраста.

В каком возрасте тосканцы становились родителями? У горожанок средний возраст рождения первых детей расположен в интервале между 20 и 34 годами; у крестьянок — между 21 и 38 годами (из-за более позднего вступления в брак). Во Флоренции мужчины становились отцами между 30 и 50 годами, в деревне — между 28 и 49 годами. Таким образом, урбанизация связывается с более юным возрастом молодых матерей и более зрелым — отцов. Соответственно, в городе — наибольшая разница между родителями (во Флоренции — 13 лет).

Монография Д. Херлихи и К. Клапиш-Зубер представляет собой, как уже отмечалось, опыт сочетаний количественного и социокультурного методов анализа и соответственно разных типов источников. Статистический материал обнажает социальную подоснову свидетельств нарративных памятников, открывает возможность для более глубокого и тонкого их прочтения. Этот метод «взаимокоррекции» свидетельств «разного уровня» — объективного и субъективного — об изучаемом историческом феномене наиболее последовательно используется авторами в заключительных главах книги: «Детство и юность», «Зрелость и старость». Сравнительные количественные характеристики демографического поведения различных секторов тосканского общества дополняются и углубляются контурами «суммарного портрета» тосканцев XIV—XV в., «фотографией» повседневной жизни, отображенной в свидетельствах литературных памятников эпохи, трактатах, руководствах, проповедях и т.п. Но не только статистический материал позволяет углубить свидетельства письменных источников; и эти последние, отражая социально-психологические установки, ценностные ориентации современников, предупреждают исследователя от абсолютизации цифровых данных и предлагают возможно более приближенные к реальным отношениям пути их интерпретации.

Это, в частности, характерно для анализа возрастной структуры тосканского населения. До конца XIV в. общественная жизнь такого города, как Флоренция, не побуждала своих сограждан к точному исчислению возраста. Они довольствовались суммарными классификациями: дети, юноши, старики. Но в последние три десятилетия ситуация начинает меняться. Указание точного числа лет становится, например, одним из обязательных требований к претенденту на коммунальную должность. Чем руководствовались тосканцы, определяя свой возраст и какова была степень точности этого возрастного контура? Первые регистры о крещении, позволяющие при надобности найти дату рождения, появляются в конце XIV в., тогда же входит в обычай у горожан, как правило из высших и средних зажиточных слоев, датировать рождение каждого из детей в домашних книгах. Но наряду с этой потребностью расположить себя в потоке времени, действовала и иная система, исходившая из морально-оценочного критерия и наделявшая каждый из «возрастов жизни» определенной ценностной характеристикой, менявшейся при переходе от одной возрастной группы к другой. Все это вносило путаницу в возрастные подразделения. Согласно Кадастру, например, из 264210 душ светского населения 259 человек составляли 39-летние, 253 — люди сорока одного года и 11200 — сорокалетние.

Одна из задач, которую решают Д. Херлихи и К. Клапиш-Зубер, исследуя возрастную структуру населения Тосканы, как раз и заключается в выявлении тех подсознательных мотивов, которыми руководствовались современники Кадастра, определяя свой возраст. Реальная возрастная структура искажалась, помимо самих условий составления Кадастра, приблизительностью указаний на возраст («около 50 лет», «пять или шесть лет», «больше 90») с сильным преувеличением на 10, 15, 20 лет. Это явление касалось женщин, а также деревни — больше, чем города. Понятие точности приходит постепенно, и в эпоху Кадастра, отмечают авторы, цифровые возрастные данные еще очень условны. В ходе XV в. точность оценки постепенно нарастает: в 1470 г. на пять тысяч жителей флорентийского контадо приходится лишь один «стоletний», на сто тысяч — 19 старцев, в 1488—1490 гг. — ни одного долгожителя. Это указывает, считает Д. Херлихи, скорее на большую точность определения возраста, чем на уменьшение продолжительности жизни. Сильной была также тенденция к «округлению» возраста. В частности, молодые мужчины стремились указать возраст, максимально близкий тридцати или на два-три года больше. Смысл этого проясняется, если учесть, что именно в 30 лет открывались возможности для замещения ряда должностей высшей коммунальной администрации. Реакцией на такого рода мошенничества было постановление 1429 г., предписывавшее мужчинам указывать дату рождения. Очень распространенным было «состаривание» в мужских возрастных группах от 20 и 30 лет, а также в группе зрелого возраста (это характерно и для женщин их ровесниц) — причем сразу не меньше, чем на пять лет, с тем чтобы сразу достичь возраста, кратного пяти или десяти. После шестидесяти возрасты стариков сразу взлетают на пять, десять лет. Никто из них не фиксировал правильно свою старость. Авторы установили, что это «округление» возраста отражает в целом уровень арифметической культуры тосканского общества, где числовое выражение соседствовало с символическим. Вместе с тем «округление» возраста обнаруживает позитивную корреляцию с возрастной группой и имущественным положением (особенно в городе).

Монография Д. Херлихи и К. Клапиш-Зубер занимает особое место в современных историко-демографических исследованиях Средневековья в целом, и города в частности, и в силу уникальности и масштабности источника, составляющего его основу, и в силу оригинальности подходов к анализу демографических процессов и демографического массового поведения в городской и сельской средах, сочетающих сравнительно-исторический, количественный и культурантропологический принципы, так и в силу

широты поднятых и рассматриваемых проблем и аспектов, касающихся структур и функционирования семьи и отношений родства в Европе позднего Средневековья. Вместе с тем, сегодня это исследование уже не одиноко. Культурантропологические аспекты исторической демографии особенно плодотворно разрабатываются в последние полтора десятилетия не только за рубежом, но и в отечественной науке<sup>9</sup>

\* \* \*

Открытый историками-демографами в ходе этих изысканий абсолютно новый, неведомый прежде пласт конкретно-исторической действительности заложил основы для пересмотра и переоценки многих стереотипов и представлений традиционной историографии, касающихся роли отношений родства, их форм и функций в средневековом обществе, также как ролевых функций и реального положения объединяемых ими индивидов — мужчин и женщин, детей и стариков, в том числе и в сфере городской жизни, о чем пойдет речь ниже.

С точки зрения общей интересующей нас проблемы «становления Новой социальной истории европейского средневекового города» здесь важно подчеркнуть следующее. Введение в изучение города «демографического» измерения явилось одним из решающих моментов в формировании медиевистической урбанистики и шире — исторической науки в целом именно как социально-исторической дисциплины. Обращение к историко-демографическому анализу, как мы пытались показать, принципиально расширило и обогатило ее источниковую базу, тематику, исследовательский инструментарий. Вскрыло важность изучения городских социальных микроструктур и микрогрупп. Наполнило «живым» человеческим содержанием, вдохнуло жизнь в такие абстрактные термины и категории, как «бюргер», «бюргерство», «средневековый горожанин», показало, в каком возрасте он заводил семью, вступал в должность, как воспринимал юность и старость и т.п.

Одновременно был обозначен и новый круг методически ключевых сегодня проблем, в частности касающихся взаимосвязи микро- и макроистории — истории семьи, повседневности, материальной жизни и системных хозяйственных, социокультурных, политических процессов. Наконец, историко-демографические исследования высветили фактическую — активную и специфическую роль города и урбанизации в движении народонаселения в средневековой Европе. Они заставили задуматься о значении города и городского развития в формировании структур власти и

господства, о их воздействии на социальную динамику, в частности (и в том числе) ведущих господствующих слоев феодального общества в целом, также как и о характере участия города в этносоциальных и этнополитических процессах высокого Средневековья и раннего Нового времени.

### **ГОРОДСКАЯ СЕМЬЯ: РАЗЛОЖЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ИЛИ СВОЕОБРАЗИЕ РАЗВИТИЯ?**

**История семьи как тема новой социальной истории.** Вплоть до конца 50-х годов семья как специфическая микрогруппа доиндустриальных обществ, ее функционирование, эволюция не привлекала внимания историков-медиевистов, как и историков вообще. Ситуация коренным образом изменилась с 60-х годов. Этому несомненно способствовали кризис института семьи в современном обществе, со всей остротой заявивший о себе в эти годы. Но не менее важны были и процессы, происходившие и в самой исторической науке — изменение представлений о «предмете» истории, расширение ее исследовательских горизонтов. С конца 60-х — в 70-е годы история европейской семьи оказалась в центре внимания специализированных историко-демографических научных центров и творческих групп, связанная с ней проблематика завоевала прочные позиции в культурантропологических исследованиях. История семьи — признанная тема Новой социальной истории.

Это область, где разворачивается отработка методов плюридисциплинарных исследований, где перекрещиваются интересы специалистов самых разных направлений — от историков культуры, религии, права, до демографов, искусствоведов, этнологов, что соответствует многообразию проблем, возникающих при социокультурном подходе к ее изучению. Значение обращения историков-медиевистов к исследованию средневековой семьи трудно переоценить. Это важно для понимания специфики средневековой общественной структуры в целом и присущих ей конкретных внутренних взаимосвязей, в частности тех, которые имелись в ту эпоху между семьей, отношениями феодальной собственности и власти, структурами господства и подчинения.

Среди работ о средневековой семье немало таких, в которых широко привлекаются материалы городских по своему происхождению источников — списки налогового обложения, описи имущества, завещания, семейные хроники, дневники и т.п. Как пра-

вило, это локальные исследования, авторы которых пытаются в зависимости от возможностей своего материала реконструировать структуру городской семьи, ее численный состав, выявить демографические характеристики (плодовитость, смертность, брачный возраст, стратегия брачных альянсов и др.), хозяйственное, политическое функционирование семейных коллективов. Но лишь в немногих из этих работ имеют место попытки осмыслить конкретный материал с точки зрения специфики собственно городской семьи<sup>10</sup> Более того, сама постановка вопроса обнаруживает зачастую не столько намерение исследователя понять городскую семью в ее своеобразии, сколько воздействие на него современных социологических теорий и исследований, посвященных семейным структурам средневековой знати.

Конечно, сегодня уже не встретишь прямой трактовки средневековой городской семьи как прообраза буржуазии, что было в традиции историографии почти вплоть до середины нынешнего столетия. В то же время даже в работах, близких по методологическим принципам «Новой исторической науке», девиз которой — «понять Средневековье в его собственных категориях и представлениях», город до сих пор все же зачастую однозначно трактуется как среда, разлагающая «традиционные семейные структуры». Мысль эта в свое время была высказана М. Блоком (подчеркивавшим, однако, важность отношений родства в среде как сельской феодальной аристократии, так и городского патрициата)<sup>11</sup> Воспринятое последующим поколением медиевистов, это положение получило своеобразное истолкование и развитие в работах некоторых историков, в частности опубликованных в свое время в материалах римского коллоквиума «Семья и родня», организованного по инициативе Коллеж де Франс и Практической школы высших исследований. Речь идет об исследованиях Дж. Виоланте и П. Коммарозано, рассматривающих эволюцию семейных отношений в итальянских коммунах XII — XIV вв.; Ш. де Ронсьера, М. Луцатто и Г. Розетти, посвященных характеристике нобильских и купеческих семей Флоренции, Пизы и ряда других итальянских городов XIV—XV веков<sup>12</sup>

Своеобразной точкой отсчета при оценке характера городской семьи и ее эволюции служат у историков лучше изученные формы семьи и отношений родства феодальной знати. Ориентируясь как на образец на аристократический линияж в его классическом выражении (преимущество поколений по мужской линии, нераздельное владение наследственным имуществом — патримонием), исследователи говорят о «разрыхлении семейных структур» в условиях городского хозяйства (в противовес их жесткости в среде

феодалной аристократии), о «разложении» сложных семейных коллективов и господствующем положении малой, супружеской семьи. При этом внимание концентрируется почти исключительно на патрицианских, нобильских фамилиях, лучше обеспеченных источниками. При таком подходе неизбежно утрачивается целостность картины, а сам город, хотя бы того авторы или нет, предстает принципиально противостоящим феодальному окружению (как то и утверждала буржуазно-либеральная историография еще в XIX в.).

Только целостный подход к проблеме открывает возможность для адекватной оценки функций института семьи и тенденций его развития в средневековом городе. Важно уяснить значимость, формы, принципы организации традиционных отношений родства в целом в городской среде и для разных социальных групп и классов городского населения — не только для нобилитета и патрициата, но и для разных слоев купечества, ремесленников и социальных низов. При этом важно так же ясно представлять себе роль семьи и отношений родства в целом в средневековом обществе.

**Семья и отношения родства — базовая микроструктура средневекового общества.** То обстоятельство, что «нетрадиционный» для историков вопрос о средневековой семье оказывается тесно связанным с одной из центральных методологических проблем современной медиевистики — о природе средневекового города и его месте в системе феодализма, далеко не случайно. Семья — одна из базовых микроструктур средневекового общества. В ее рамках, особенно в раннее Средневековье, и в крестьянской среде, обеспечивалось не только «производство самого человека», продолжение рода, но и производство средств существования<sup>13</sup>. Но если на уровне производящих, эксплуатируемых, угнетенных масс феодального общества семья сплошь и рядом функционировала как первичная и основная производственная ячейка, то в среде господствующего класса — феодальной знати, а также городского нобилитета семья была формой, посредством которой реализовывались отношения феодальной собственности и господства. Через семью прежде всего включался человек Средневековья в общественную жизнь; семья была хранительницей традиций: передатчиком памяти поколений и социально-психологических представлений, формировавших систему ценностей и кодекс социального поведения индивида. Именно поэтому изучение семьи открывает дополнительные возможности для освещения кардинальных проблем западноевропейского Средневековья — отношений собственности, социальных и политических структур, демографических процессов, духовной жизни так же как и пони-



мания специфики такого сложного его феномена, как город. Из этого очевидно, что для уяснения особенностей средневековой городской семьи недостаточно формального соотнесения ее с семейными структурами феодальной знати. Необходимо учитывать также более широкий контекст развития и функций семьи в феодальной Европе.

Начать с того, что Средневековье не знало понятия «семья» в современном обыденном его значении как супружеской пары с ее несовершеннолетними детьми («предоставленной собственной судьбе»). Термин, которым в современных языках обозначают семью, мог подразумевать в ту эпоху совокупность как широкого круга родственников (родню, кровнородственную группу), так и совместно проживавших людей, не обязательно связанных родством. Именно в этом смысле использовались чаще всего латинские термины «parentes», «parentela»; франц. «parente», «lignage», «amis», «amis charnels»; нем. «Sippe», «Magschaft», «Freunde», «Freundschaft»; старо-верхненем. «friunt», средне-верхненем. «vriunt». Современное понимание семьи вытесняет эти средневековые представления относительно поздно — в Англии и Франции с XVIII в.; примерно с этого же времени (рубеж XVII—XVIII вв.) — в Германии, где, как калька с французского, получает распространение сам термин «Familie» (вначале также зачастую еще в смысле широкой домохозяйственной общности).

В средние века лат. «familia» широко употреблялось для обозначения совокупности личностнозависимых лиц («familia regalis», «familia Dei, ecclesia»). Подразумевая отношения зависимости, термин «familia», если и употреблялся для обозначения малой семьи, то также чаще всего у крестьян. Столь же далеки от обозначения семьи в узком смысле слова термины немецкого правового языка «Haus», «Domus», подразумевающие прежде всего семейно-хозяйственную, «овеществленную» сферу или аристократическую династию. Многозначность понятия «семья» отражает характерную реальность западноевропейского Средневековья в этой сфере социальных связей, а именно — присущее ему специфическое соотношение между родственной группой и малой, супружеской семьей.

Современные исследователи констатируют разложение в целом к середине X в. архаических патриархальных кланов, во всяком случае, на юге и западе европейского континента, и упрочение в ходе его малой супружеской семьи. Начавшийся еще в период поздней Античности процесс этот протекал медленно, становясь порой попятным. Такой источник как пенитенциалии (руководства для священников в их общении с паствой) свидетельствуют о

чрезвычайной устойчивости германских и кельтских представлений о семейных обычаях и нравах на протяжении всего раннего Средневековья. Частой практикой были повторные браки, особенно в среде высшей аристократии. Добрачные связи, конкубинат, — явление, присущее западному Средневековью на всем протяжении его истории. Кодификация семейных отношений протекала медленно: даже в IX—X вв. достаточным условием для создания семьи считалось «брачное согласие» (помолвка). Внедрение церковной модели брака (основным элементом которой становится церковное венчание) началось во Франции с XII в., а в других странах, в Италии, например, она была реализована в полной мере лишь к началу Нового времени.

Малая супружеская семья была не только внутренне непрочной, но хозяйственно и социально недостаточной в условиях аграрной экономики и феодальной социально-политической структуры. Она дополнялась более обширными семейными группами и родственными объединениями, как бы растворяясь в них. С одной стороны, это домашняя община, домохозяйство; с другой — родственные коллективы ( в которые домохозяйства включались как один из составных элементов), спаянные узами крови и брачными союзами. Современные исследователи вскрывают фундаментальную роль традиционных отношений кровного родства — «сородичей» также и в феодальном обществе. В этом смысле это общество, по выражению А. Гэро-Жалабэр, сопоставимо с примитивными<sup>14</sup>. Хотя на феодальном Западе признавалась законность индивидуального владения, но на практике влияние семейной группы распространялось и на имущество. Во многих земельных актах отчуждения, относящихся к X—XII вв., преамбулы говорят о полной свободе распоряжения имуществом и вместе с тем сплошь и рядом упоминают о согласии лиц различной степени родства на его продажу или раздел; одобрение близких при этом было обязательным<sup>15</sup>.

Феодальной Европе присущи многообразные типы сложных домохозяйств, «многоячейных» или «нераздельных», включавших две или более супружеских семей (патриархальная, корневая семья, объединение братьев).

Одним из итогов современных историко-демографических исследований состава и структуры домохозяйств является как раз констатация регионального и локального многообразия их типов в средневековой Европе. П. Ласлет, Ж. Фландрен считают, что тип простого домохозяйства наиболее характерен для европейского северо-западного региона, тогда как различные виды сложных семей особенно часты в Центральной, Восточной и Южной Евро-

пе, что не исключает и здесь районов с преобладанием домохозяйств простого типа (Лангедок, Прованс, Лациум). Общность семейного имущества, хотя и обусловленная разными причинами и преследовавшая разные цели, была распространена и в среде господ, и у зависимых крестьян. Низкий уровень агрикультуры, нехватка инвентаря и тяглого скота, сеньориальный и фискальный гнет, частые голодовки и эпидемии, порождавшие дефицит рабочих рук, в конкретной ситуации могли предписывать необходимость в более широкой, чем супружеская ячейка, семейной кооперации (не следует, конечно, игнорировать и родовые традиции, особенно устойчивые в крестьянской среде, тем более в раннее Средневековье и в малоразвитых районах).

Важным итогом современных исследований средневековой семьи является также констатация сложности ее динамики, которая не укладывается в единую и непрерывную линию постепенного высвобождения индивида из-под контроля семейной группы. На это обратил внимание еще М. Блок: "Право распоряжения имуществом у варваров кажется более свободным от ограничений, чем соответствующее право XI в. Утверждение феодальных отношений сопровождалось сплочением родственных связей: времена были беспокойные, публичная власть бессильной и человек искал защиты и помощи у сородичей"<sup>16</sup> Ужесточение с конца X—XII в. до этого относительно рыхлых семейных структур и возникновение обширных аристократических линияжей с агнатической преемственностью (то есть с приоритетом родственников по мужской линии) и нераздельным семейным владением — патримонием констатируют также и историки 70—80-х годов, ставящие, однако, этот процесс в иную причинно-следственную взаимосвязь<sup>17</sup> Но при всех различиях в объяснении причин этого явления исследователи единодушны в признании качественно новой природы этих сложных семейных структур, так же как и переломного характера эпохи, на которую приходится процесс их создания.

Аристократический линияж — не пережиток родового строя, а элемент уже феодальной общественной системы. От первобытного клана его отличали и меньший масштаб родственной группы, и четкие экономические связи, и развитое семейное сознание, находившее выражение в генеалогиях и родовом имени. Иной была и его функция: иерархическая структура, принцип нераздельности патримония, практика брачных альянсов — все это было подчинено укреплению земельной собственности как основы феодального господства и консолидации иерархических отношений власти. Аналогично, и образование многоячейных, сложных крестьянских домохозяйств ставится современными исследователями во взаимо-

связь не с пережитками позднеантичных или германских родовых отношений, но с реальностью уже феодального общества (хозяйственная конъюнктура, демографические процессы, изменения в формах феодальной эксплуатации и др.).

**Какие же нюансы вносит в эту картину город?** Современное состояние исследований собственно городской семьи (прежде всего к югу от Альп) открывает возможность для некоторых обобщений по этим вопросам. Прежде всего обращает на себя внимание то, что город, провозгласивший коммунальные свободы, отменивший сеньориальные притязания в сфере заключения брака и наследования, одновременно в вопросах, связанных с преемственностью семейного имущества, его отчуждением и т.п., *следовал общим нормам феодального права*, которыми руководствовалась также и сельская земельная аристократия с XI в.: приоритет родственников по мужской линии (агнатов) во всех операциях, связанных с недвижимостью, также как и стремление сохранить его в рамках патриархальной семейной группы, составляли главный принцип семейного законодательства с конца XII в., во всяком случае, у североитальянских коммун. Городу был присущ и свойственный сельской земельной аристократии агнатический принцип передачи по наследству патроната над церковными учреждениями и связанных с ними должностей, родовых укрепленных башен, возводившихся, как правило, также сообща<sup>18</sup>. При этом речь шла не о механическом перенесении традиционных для феодальной знати норм наследования (что можно было бы ожидать, принимая во внимание социальный состав раннеитальянских коммун, в которых феодалы-землевладельцы играли важную роль), но об их адаптации с учетом потребностей городской хозяйственной жизни в целом (а не только нобилитета).

Городское законодательство усилило действие этих норм, очистив от противоречий и расширив социальную сферу их приложения; это было достигнуто, в частности, за счет введения новой системы брачных ассигнований, нормативной для всех социальных слоев горожан. Дело в том, что до XIII в. в Италии сохранялась широко практиковавшаяся в аристократических семьях германская система брачных ассигнований, обеспечивавшая за женой право на треть или четверть имущества умершего супруга, что ущемляло интересы родственной группы мужа и сыновей. Городское законодательство, отменив это право, ограничило наследственные притязания жены заимствованным из позднеантичного права (в его юстиниановой интерпретации) «брачным даром» (лат. *antifactum*), сумма которого должна была быть пропорциональна

размерам приданого и в целом не превышать установленного максимума. Это, в свою очередь, повлекло изменение системы наделения приданым, на этот раз с учетом интересов родственной группы жены. В XIII—XIV вв. в итальянских городах распространяется практика выделения приданого только в денежной форме и в сумме, обусловленной брачным договором. Дочери, получившие такое приданое, исключались из числа наследников отцовского патримония. Исследование П. Каммарозано, затрагивающее этот правовой аспект проблемы городской семьи, обнаруживает одновременно сложность ее структуры в одном из главных пунктов — соотношении между родственной группой и малой супружеской семьей, причем хозяйственные возможности последней представляются весьма далекими от самостоятельности. Нельзя не заметить, однако, что городское законодательство, перестраивая систему брачных ассигнований с учетом интересов агнатов и таким образом в ущерб супружеской ячейке, вместе с тем объективно создавало почву для развития и иных тенденций. Так, уравнивание в размерах приданого жены и «брачного дара» мужа объективно открывало путь к созданию общесемейного имущественного фонда, а для каждого из супругов — права на распоряжение той частью имущества, которое было привнесено им в соответствии с брачным договором. Это, в свою очередь, свидетельствует о складывании в городской среде условий для зарождения иной, нетрадиционной формы брака — брака-контракта.

Стремления городского законодательства поддержать и укрепить хозяйственный авторитет родственной группы, спланивавшейся на агнатической основе, имели под собой вполне реальную экономическую и политическую почву, отвечая интересам прежде всего городского нобилитета. Включение феодалов-земледельцев в средиземноморских городах в сферу деятельности, чуждую «настоящим» рыцарям, в торговлю, ростовщичество, эксплуатацию городских доходных статей и т.п., конечно не могло не повлечь за собой изменений в присущей феодальному классу организации семейных отношений, однако вряд ли характер этих изменений может быть однозначно определен как «разрыхление» или «ослабление» <sup>19</sup>линьяжных связей

**Линьяжи городских нобилей и патрициата.** Точнее, видимо, было бы говорить об их трансформации, степень и конкретные формы которой, конечно, зависели во многом от типа хозяйства и особенностей политического управления городом, характера исторического развития региона в целом и т.п. Так, Д. Хьюдже, исследовавшая семейные структуры населения Генуи XI—XIV вв.,

показывает, что специфика этого города-порта, ориентированного почти исключительно на дальнюю торговлю, отнюдь не ослабила линьяжных связей. Напротив, стремление закрепить ключевые позиции в заморской торговле и в политической жизни города, острота социальных противоречий заставили генуэзскую консуларскую знать — этих потомков мелких лигурийских феодалов, «осознавших в X—XI вв. выгоды городской жизни», интенсифицировать свою семейную организацию. По мере того как генуэзские нобили усиливали контроль над важнейшими городскими рынками, районами порта, городскими воротами, их родственно-семейные связи становились все более ярко выражено патрилинейными, а патримониальная основа родственных групп все более прочной.

Генуэзский аристократический линьяж начала XII в. представлял собой совокупность родственных семей (до пяти поколений) — сонаследников, возводивших свое происхождение к общему предку, носивших общее имя и дислоцировавшихся в одном и том же дистрикте, название которого составляло дополнительный детерминатив для членов линьяжной группы.

Фамильные дистрикты нобилитета, в свою очередь, формировали городскую топографию. Линьяж возводил в своем квартале укрепленную башню, иногда несколько, курию для сбора старейшин семейной группы; дома, бани, лавки, сдававшиеся купцам и ремесленникам и использовавшиеся линьяжем для собственных нужд; церковь. Тот, кто не имел отношения к линьяжу, но жил в дистрикте, так или иначе втягивался в его орбиту через клиентельные, консортиальные и соседские связи. «Главный дом», курия, башня возводившаяся сообща главами домохозяйств, составляли общую собственность линьяжа. Глава линьяжа (иногда их бывало несколько) — старший брат или старший сын проживал в «главном доме». Аристократический городской линьяж имел свои «малые» центры притяжения — домашние сообщества, организованные по строго патриархальному принципу. Под контролем отца (или, если его не было в живых, старшего брата) сын входил в семейное дело. Отец подыскивал ему жену и осуществлял управление приданым. При эмансипации сыну выделялась доля (небольшая) в семейном деле, а иногда — и в семейном имуществе. Раздел производился женатыми братьями после смерти отца, однако чаще всего он был частичным: поместье, основной капитал оставались в совместном владении, нередко сохранялось и совместное проживание братьев. При всех разделах сохранялось также хозяйственное, моральное, политическое единение семейного коллектива, противостоящего гомогенной группой внешнему миру<sup>20</sup>

Фамильная сплоченность — черта, присущая консуларской знати не только Генуи. Тесно спаянные родственные группы («роды», «линьяжи») аристократии, возводящие свои генеалогии к норманской, а иногда и к византийской эпохе, прослеживает на материале XII—XIII вв. в другом крупнейшем центре морской торговли (Бари на Адриатическом побережье Южной Италии и в Барлетте — торговом центре Апулии) М.Л. Абрамсон. Их внутренняя организация обнаруживает черты, аналогичные генуэзским аристократическим линиям: совместные деловые операции и совместное распоряжение недвижимостью (чаще — ее частью: «главным домом», поместьем, основным капиталом), совладение торговыми предприятиями и хозяйственными строениями; возведение на общий счет крепостной башни и церкви; родовое имя; монополизация высших должностей в коммунальном управлении и в церковной иерархии<sup>21</sup>.

Главное направление активности родственных коллективов городского нобилитета было связано с коммуной, ее военной, дипломатической деятельностью. Итальянская медиевистка Г. Розетти, исследовавшая хозяйственную структуру «домусов» консуларской знати в Пизе, обратила внимание на то, что к приобретению такого имущества как замки, а также сеньориальных прав стремились в основном те «домусы», которые, хотя и принадлежали к сторонникам коммуны, но политически более активны были в графстве. Основной смысл создания и укрепления аристократических родственных сообществ, по крайней мере на раннем этапе коммунального развития, как показывают исследования, заключался в сохранении тех привилегий (экономических и политических), которыми владели изначально семейные ядра этих городских фамильных сообществ. Но констатируя это обстоятельство, не следует, видимо, игнорировать и экономический момент: интересы кредитного дела и дальней торговли, в которую также были втянуты пизанские нобили и в организации которой фамильная солидарность играла одну из центральных ролей<sup>22</sup>.

В отличие от сельской аристократии, земельный патримоний городских нобилей был, как правило, более скромным, располагался в непосредственной близости от города и далеко не всегда составлял единый комплекс. К тому же часть наследственного патримония, оставшаяся в нераздельном владении, почти всегда была меньше индивидуальной собственности семей, составлявших линияж, и ее размеры практически оставались неизменными на протяжении многих лет. Это симптоматично как свидетельство различия в целевых установках родственного союза у городской знати и линияжа сельской аристократии.

**Купеческие «роды». Семейные компании. Консортерии.** Прочность и важность отношений родства обнаруживает себя и на другом социальном уровне городского общества, генетически не связанном ни с феодальной семейной аристократией, ни с нобилитетом. Купеческие «линьяжи» (итал. — *casati*) так же как и патрицианско-купеческие «роды» (*Geschlechter*) в городах к северу от Альп, — не простое заимствование, как часто считают, престижной формы организации отношений родства осознавшим свое могущество бюргерским сословием, не только подражание родовитой знати (что, конечно, имело место, особенно в позднее Средневековье). Восприятие «линьяжа» купечеством в не меньшей, если не в большей, мере было обусловлено эффективностью подобной формы семейных отношений в условиях городской действительности, пронизанной конкурентной борьбой и политическим соперничеством. Семейная солидарность — важнейший инструмент реализации как политического и экономического господства городского нобилитета, так и хозяйственных и политических устремлений высших слоев купечества<sup>23</sup>

Нередко при оценке купеческих родов акцентируют внимание на «краткости» их родословных, непродолжительности совместного проживания, нераздельного пользования наследственным имуществом, ведения «общего» коммерческого предприятия и т.п., делая на этом основании вывод о «прогрессирующем распаде» родственных коллективов и «индивидуализации» малой семьи в купеческой среде.

Такой позиции придерживается, в частности, Ш. Ронсьер, автор интересного исследования, воссоздающего генеалогию и структуру флорентийской купеческой фамилии XIV в. Велутти. Бесспорно, генеалогии купеческих семей короче аристократических и не уходят (или не возводятся) «в глубь веков». Городское купечество и не могло иметь тогда «древних» корней: так, основатель семьи Велутти, например, появился во Флоренции не ранее 1244 г. Но, непродолжительные по восходящей линии, эти роды внушительно обширны по своим боковым ответвлениям. И это хорошо показано Ронсьером. Генеалогия тех же Велутти, согласно свидетельству их домашней хроники, на которой базирует свои генеалогические выкладки Ронсьер, в 1370 г. охватывала три поколения, включая 17 прямых линий и свыше 160 боковых (в целом 490 человек и 92 домохозяйства).

Не следует абсолютизировать и принцип совместного проживания, о чем свидетельствует история тех же Велутти. Действительно, совместное проживание братьев имело место только в начале истории этой семьи, когда ее основатель с четырьмя сыновьями



пришел во Флоренцию. После женитьбы двое из братьев выстроили себе дом-башню неподалеку от отцовского; в следующем поколении отселились племянники, возведя новый фамильный дом рядом с домом деда. Важно, однако, то, что, несмотря на все разделы, в XIV в. уже многочисленные Велутти, жившие бок о бок во многих домах, группировавшихся вокруг «родового дворца», господствовали над целым кварталом, где находились и фамильная церковь, и «родовые» могилы<sup>24</sup>

Таким образом, суть проблемы, видимо, не в степени «древности» купеческих родословных, сконструированных домашними хронистами, но в той реальной значимости, которой обладали отношения родства и в этой социальной среде. «Индивидуализация» отдельных, супружеских семей в процессе дробления купеческого рода являлась также весьма относительной и не имела ничего общего с независимым положением современной «малой» семьи. Раздел, во всяком случае в крупной купеческой семье (так же как и в нобильской), никогда не был абсолютным и не сопровождался прекращением хозяйственного сотрудничества, ослаблением уз родственной солидарности, изменением места проживания, как и не приводил к ликвидации общего дела и совладения недвижимостью.

Относительно быстрый распад семьи, положившей начало генеалогии купеческой фамилии, — явление, неизбежное в условиях города. Компания сонаследников, возможность воздействия на ход дел, которая автоматически открывалась для широкого круга лиц — старших мужских представителей всех поколений, оправдывала себя (и это хорошо показано исследованием Ронсьера) лишь до известного предела. Специфика коммерческого дела требовала мобильности, быстрого принятия решений. Словом — более гибких форм ассоциации. Вместе с тем, из этого совсем не следует, что городское хозяйство «ослабляло» значение родственной солидарности как таковой и в купеческой среде. В обществе хозяйственно и социально нестабильном, где смертность была очень высока, семейные и более широкие родственные связи обеспечивали преемственность в делах, кредит и его безопасность. Они открывали также возможность для своеобразного «разделения труда»: дальние деловые поездки, мореходство становились функцией одних (чаще более молодых, неженатых), а руководство делом, контора, кредиты — других (отцов, дядей, старших братьев) членов родственного коллектива<sup>25</sup>

Потребности торгово-финансовой деятельности порождали иные, более гибкие, чем классический линияж сельской феодальной аристократии, формы родственной солидарности, базировавшие-

ся не только и не столько на нераздельности наследственного владения, сколько на договорной основе. Таковы, в частности, паевые родственные компании, хорошо известные в период классического Средневековья не только в средиземноморских городах, но и к северу от Альп. Достаточно вспомнить компании XIV—XVI вв. купечества верхненемецких городов — Футтеров, Ремов, Вельзеров, Дисбахов, Штрёмеров и многих других, в основе которых лежали договоры между отцом и сыновьями, родными и двоюродными братьями, троюродными братьями и племянниками. В области Ганзы широко распространены были базировавшиеся на семейно-договорной основе краткосрочные торговые ассоциации. Распоряжения дяди о передаче племяннику (сыну брата или сестры) своего имущества, денежных сумм — частое явление в завещательной практике, в частности любекских бюргеров в XIII—XIV вв. Компании этого типа предполагали известную хозяйственную автономию членов родственной группы, возможность, наряду с ведением общего дела, сотрудничества с иными объединениями, так же как и включения в состав родственной хозяйственной ассоциации неродственников. Эта форма объединения — так называемая консортерия, товарищество, часто встречающаяся и вне городской среды.

Формы *консортерии* были многообразны. Дж. Виоланте выделяет три типа ее, широко распространившиеся в Италии с XI в. — объединения на договорной основе ответвлений одной и той же семьи; группы родственных семей с семьями, не состоявшими с ними в родстве; между отдельными представителями родственной группы и посторонним «линьжем». Консортерия могла сохранять старинное семейное имя (в первом случае) или принять абсолютно новое (в третьем случае)<sup>26</sup>

Многообразие типов консортерии (и реальной практики, стоящей за этим термином) породило широкую дискуссию о правомерности отнесения консортерии к сфере семейных отношений. Коммерческое, деловое или родственное, семейное объединение? — так обычно ставится вопрос. Ж. Дюби и К.-Ф. Вернер обратили внимание на другой аспект этой проблемы. Почему, ставят они вопрос, латинские термины *consortes* (совладельцы), *consortium* (соучастие), не имеющие по существу прямого «семейного смысла», на протяжении долгого времени служили для выражения сугубо родственных уз? По мнению Ж. Дюби, это происходило потому, что консортерия (как и *domus*) отвечала внутреннему смыслу кровнородственных отношений, включавших, наряду с «идеей крови», также и идею «сотрапезничества», «сожительства» — совместного проживания. Консортерия как метафора

семьи вторгается в сферу семейных отношений именно в тот момент, когда возникает потребность в их укреплении.

Она была призвана предотвратить ослабление кровнородственной группы в результате патримониальных разделов, считает также Дж. Виоланте, подчеркивающий, что консортерия распоряжалась прежде всего экономически, политически и юридически важным семейным имущественным ядром (башни, замки, приходы, церкви, сеньориальные права, общий нераздельный капитал). Таким образом, *консортерия* — одна из разновидностей «*ритуального*» родства, широко распространенного в средневековом обществе. Она не только не свидетельствовала об умалении значения семейно-родственных отношений, но освященная их высоким авторитетом, напротив, была призвана подчеркнуть их социальную значимость.

Свидетельством того, что внедрение договорного начала в хозяйственные контакты между членами семейного союза не умаляло авторитет родственной группы, является и практика материальной взаимопомощи (дяди — племянникам; завешание денежных сумм сиротам, обедневшим родственникам, бесприданницам). Иерархия авторитета: отец — дядя — старший брат ощутима нередко даже на уровне отдаленных степеней родства, особенно когда возникал вопрос о продаже части наследственного имущества или заключении брачного союза. Известный аугсбургский купец Лука Рем, основавший после смерти отца компанию на паях со своим старшим братом, был вынужден назвать ее, в соответствии с правилами первородства, именем своего старшего брата: «Эндрю Рем и компания». Оно фигурирует на первом месте и в названии новой компании «Эндрю и Лука Ремы». Преимущественное положение старшего брата отражалось и в его вмешательстве в матримониальные планы братьев и в потенциальные функции опекунства затем по отношению к их семьям<sup>27</sup>. Даже в период глубокой хозяйственной дисперсии фамилии Велутти, как следует из исследования де Ронсьера, заключение брака кем-нибудь из ее членов оставалось в большей степени общесемейным, чем индивидуальным делом. И это не должно удивлять. В среде высшего купечества, стремившегося к аноблированию, брачная стратегия была важным инструментом увеличения социального престижа и расширения сферы политического влияния. Браки связывали Велутти более чем с 30 нобильскими линиями и обеспечивали им включение в ряды финансовой аристократической элиты.

Родственная солидарность — важный фактор и в политической жизни города. Монополизация отдельными семьями (не только патрицианско-купеческими, но в отдельных городах и богатых ремесленников) на протяжении поколений почетных и важных

должностей и служб в сфере городского судопроизводства и управления — явление, прослеживаемое в городской Европе в Средневековье практически повсеместно. Оно присуще не только крупным экспортным и торговым центрам, но и относительно небольшим городам. В северонемецком Хёкстере, например, насчитывавшем в 1482—1517 гг. около 2500 жителей (450—500 домохозяйств), должности бургомистра и ратманов фактически не выходили за пределы трех патрицианско-купеческих фамильных союзов, связанных кровным родством, брачными альянсами и экономически наиболее влиятельных. Из 19 купцов, в 1506—1518 гг. занимавших должности ратманов, 12 — сыновья ратманов, трое — их зятья. На ратманские должности претендовали в Хёкстере и некоторые ремесленные семьи, но при избрании ремесленников в городской совет сильнее сказывались, видимо, все же цеховые, чем фамильные интересы: из 19 ремесленников, представленных в совете, лишь один — сын ратмана, другой — его зять<sup>28</sup>

**Супружеская семья.** Подчеркивая крепость и важность семьи и отношений родства в средневековом городе, опасно впасть и в другую крайность и игнорировать тенденцию (при всей ее относительности) к усилению значения супружеского семейного ядра прежде всего *в среде того же купечества*. Это находит выражение и в практике выделения женатых сыновей, вначале (XI—XII вв.) частичного и ограниченного, а со временем — все более полного; и в увеличении (в XII—XIII вв.) прав мужа и сыновей на имущество жены и матери.

Симптоматично в этом отношении и то фактическое влияние (в противоположность общей и правовой приниженности женщины), которым пользовалась в купеческих семьях замужняя женщина — мать. Именно на ней лежали обязанности по воспитанию младших детей (старшие приобщались к делу под руководством отца), и ведение домохозяйства во время продолжительных деловых поездок мужа. В случае вдовства, как правило, раннего, она нередко выступала в качестве фактического опекуна детей и, таким образом, главы коммерческого предприятия, управителя семейным имуществом и патримонием мужа. Так, Маргарет Рунтингер, супруга крупного регенсбургского купца Маттеуса Рунтингера, вела во время отсутствия супруга бухгалтерские книги, занималась финансовыми операциями, совершала деловые поездки. В дальнейшем в связи с преклонным возрастом супруга она взяла на себя полностью управление фирмой.

Д. Херлихи считает, что высокий авторитет супруги и матери в купеческом домохозяйстве во многом был обусловлен также спе-

цифкой брачности в городской среде, а именно большим возрастным разрывом между супругами (возраст вступления в первый брак для мужчин составлял в среднем 29 лет, для женщин — 18—22 года). Большинство флорентийских мужчин ко времени их отцовства уже проходили кульминационную возрастную точку. Дела, политика оставляли мало времени и возможностей, чтобы вникать в жизнь домохозяев и в воспитание детей. К тому же лишь немногие из отцов доживали до юношеского возраста своих сыновей. Таким образом, домохозяйство, воспитание детей (особенно при отсутствии женатого старшего брата или дяди) входили в сферу практически исключительно женщин — матерей, жен<sup>29</sup> Город вырабатывает особый тип женщины — домохозяйки-правительницы.

Влияние матери усиливало влияние ее семьи. Часты случаи, когда именно дядя по матери (или ее отец) вводил в «дело» сироту-племянника (внука). Этот феномен хорошо известен в классическое Средневековье в аристократической среде и обусловлен он здесь более высоким социальным происхождением жен. Этот механизм действовал также и в городской среде, особенно в позднее Средневековье. Так, французский историк-демограф Д. Рише показывает, что приобщение купеческих верхов к престижным судебским и административным должностям осуществлялось во французских городах начала XVI в. в основном через матерей, супруг, теток, то есть — через женскую линию<sup>30</sup>

Меньше заботясь о привитии детям ценностных представлений отцовского «рода», матери внушали им иное видение семьи, сознание ценности и смысла отношений кровного, по матери, родства. Как отражение усиления супружеской индивидуальной семьи может рассматриваться и перегруппировка структуры связей родственной солидарности, фиксируемое с середины XIV в. исследователями в итальянских городах: «стяжение» семьи вокруг, с одной стороны, наиболее близких агнатов (дядя, братья, кузены), а с другой — родственников по линии бабки (по отцу), матери, супруги. Эти объединения были недолговечны и перестраивались в каждом новом поколении вокруг новых супружеских пар. Новые «центры» фамильной солидарности, как показывает Ш. Ронсьер, не вытесняли, однако, отцовской группы — «линьяжа», как основной формы ее политической, хозяйственной и социальной солидарности. Напротив, они усиливали его устойчивость, делали более гибким, более приспособленным к условиям постоянно меняющейся конъюнктуры. На это же указывает и Д. Херлихи. Он отмечает, что термин «parenti» в итальянских городах XV в. распространялся на ближайших родственников по крови и альянсу,

то есть на тех, которых прежде всего принимали в расчет в повседневных делах<sup>31</sup>.

Сужение семейной группы вокруг наиболее близких родственников — тенденция, свойственная семейным структурам не только средиземноморского города. Завещательные акты любекских бюргеров (XIV в.) отражают стремление индивида к свободному распоряжению наследственным имуществом и приобретенной недвижимостью, которые еще в начале столетия рассматривались как исключительная принадлежность родственной группы. Одним из выражений этой тенденции является практика, когда завещатель в присутствии свидетелей, в числе которых были родственники (*avunculus, patruus, cognatus* и т.п.), объявлял, что та недвижимость, которую он завещает, приобретена им на его собственные средства и составляет его личное «движимое» имущество (*fahrende Habe*), которым он может распоряжаться по своему усмотрению<sup>32</sup>. Аналогичное развитие имело место в это же время (или даже несколько раньше) в сфере правового действия таких крупных торгово-промышленных центров, как Кёльн, Брауншвейг, Магдебург, Франкфурт<sup>33</sup>. Ограничение круга близких родственников при рассмотрении имущественных дел до третьего колена по нисходящей линии и до четвертого — по горизонтальной в городских судебных актах (у сельской аристократии — соответственно до 4-го и 8-го колена) фиксируется в XIII—XV вв. в польских землях<sup>34</sup>.

Наиболее экономически выражена была *супружеская семья в ремесленной среде*. Это определялось характером и условиями хозяйственной деятельности, относительно слабой укорененностью и одновременно большей мобильностью, присущими этому слою городского населения, постоянно пополнявшегося за счет переселенцев и в целом малообеспеченного. Узкоспециализированное производство, ориентированное на местный рынок, предъявляло высокие требования к профессиональной подготовке, но не испытывало потребности в больших и долгосрочных кредитах. Играла роль и отстраненность основной ремесленной массы, за исключением узкого круга цеховой верхушки, от проблем городского управления.

В этой среде по-иному строилась брачная политика и характер брака был иным. Специфика брачной политики горожан в целом во многом объясняется также особенностями демографических процессов в этой среде. Д. Херлихи и К. Клапиш-Зубер, исследовавшие брачную практику в городах и сельских областях Тосканы XV в., отмечали, что в городах часто женились в более позднем возрасте, чем в деревне и тому имелись экономические причины.

В городе семья для молодого человека, стремившегося к материальному благополучию и карьере, была скорее препятствием, чем поддержкой. Вступление в брак становилось возможным лишь после достижения требуемого уровня профессиональной подготовки и материального благополучия. Но и здесь имелись различия: стремившемуся к карьере купца, банкира, юриста требовалось больше времени, чем обычному рядовому ремесленнику, для обзаведения семьей, соответствующей его социальному статусу. Возраст вступления в первый брак мужчин из нобильских и богатых купеческих семей в среднем — 31—39 лет; 27 лет — у бедных и неимущих. В 25—26 лет женились в XII в. генуэзские ремесленники; в 38—40 лет — аутсбургские купцы в XIII—XIV вв. Хотя помолвка заключалась рано, но в брак вступали обычно после того, как мужчина проходил срок обучения профессии и получал звание мастера. Выделение женатого сына сопровождалось отчуждением ему части (а иногда и целиком) отцовского дела и имущества. Во главе дела мог находиться, как правило, только один мастер. Жесткой последовательности в наследовании мастерской отца, видимо, не существовало, во всяком случае, в немецких городах. Нередко отцовскую мастерскую наследовал самый младший, так как отец долго вел дело сам. Но случалось и так, что, передав сыну свою мастерскую, отец открывал новую, меньшую. Иногда отца уже не было в живых к тому времени, когда сын получал звание мастера. В Генуе XII в., по подсчетам Хьюджес, каждые 800 мужчин и 700 женщин из ремесленников не имели уже отцов ко времени вступления в брак. Фигура «патриарха», типичная для аристократической, патрицианской семьи, здесь редка.

Браки, как правило, заключались в одной профессиональной группе, или смежных (например, суконщики и красильщики) и чаще, чем в патрицианских семьях, — по свободному и взаимному волеизъявлению. Профессия мужа, приданое, «брачный» дар составляли хозяйственную основу молодой семьи. Ремесленное предприятие нередко было результатом совместной инициативы супругов (особенно в отраслях текстильного производства). Дух экономического партнерства, присущий браку в ремесленной среде, трансформировал и тактику наследования: при отсутствии детей муж часто завещал мастерскую жене; распространена была также практика, когда и жены завещали свое имущество мужьям<sup>35</sup>

Уже сам характер профессионального становления ремесленника вырывал его надолго из-под контроля семейной группы и связывал с чужими людьми (в патрицианско-купеческой среде подготовка

сыновей к семейному «делу», напротив, способствовала их раннему включению в систему широких родственных взаимосвязей).

Если интенсификация отношений родства среди городского купечества и патрициата диктовалась стремлением поддержать и укрепить свой хозяйственный и социальный статус в условиях конкурентной борьбы и политического соперничества, то ремесленная масса, исключенная из сферы политической активности и не имевшая глубоких «корней», ориентировалась в своих родственных связях на супружескую семью прежде всего. Однако вряд ли следует и в этом случае, с одной стороны, преуменьшать значение широкой семейной группы как таковой, а с другой — преувеличивать степень индивидуализации и независимости самой супружеской ячейки. *Сознание родственной преемственности было достаточно развито и у низших социальных групп горожан.* В Тоскане XIV—XV вв. это выражалось, в частности, в способе присвоения имени ребенку в семьях мелких ремесленников, включавшего два, нередко три компонента: собственное имя, полученное им при крещении, имя отцовское и деда. Широко был распространен также обычай присвоения старшему сыну в семье имени покойного деда (или отца), передававшегося, таким образом, из поколения в поколение<sup>36</sup>. Э. Машке, исследовавший списки членов братства нищих-слепых при монастыре кармелитов в Трире (XV в.) обратил внимание на большое число семейных пар среди неместных, пришедших издалека «братьев» (из Шпейера, Франкфурта-на-Одере и Франкфурта-на-Майне, Страссбурга, Базеля, Люцерна, Парижа, Метца и других городов), так же как и на состав этих семей: это — супружеская пара и их дети; но часто также — супружеская пара (с детьми или без детей), но с престарелыми родителями, или мужчина или женщина со своими родителями, с бабушкой или дедом<sup>37</sup>.

Развитие сознания принадлежности к «семье», пусть не столь обширной и разветвленной, как у высших, ведущих социальных слоев, было обусловлено той социальной и хозяйственной ролью, которую она играла и в ремесленной среде. Как известно, для того, чтобы начать собственное дело, ремесленник должен был пройти ученичество, поработать подмастерьем, приобрести необходимый минимум средств для его ведения. В обеспечении всех этих условий одно из важнейших мест принадлежало именно семейной группе. Достаточно вспомнить стереотипные предписания уставов немецких цехов, закрывавших доступ в свои ряды незаконнорожденным, сыновьям лиц, связанных с «позорящими» профессиями (цирюльник, ткач полотняных изделий, музыкант и др.). Так, кёльнский цех ювелиров принял в 1391 г. в свой состав мастера Иозе Холле



на основании рекомендательного письма, в котором старшины цеха ювелиров в Аугсбурге, его родном городе, уведомляли, что Холле — сын ныне покойного, но благочестивого и почтенного мастера Хайнриха Холле и происходит от законного брака. Наследственный, семейный характер профессии — одно из основных условий приема новых мастеров в цех, особенно в позднее Средневековье. Цех мясников в Хёкстере требовал (1500 г.) от вновь поступавшего свидетельства о том, что этой профессией занимался кто-либо из его родственников — отец, отчим, тесть или, если речь шла о женившемся на вдове, ее покойный муж. Цехи освобождали сыновей мастеров от вступительного взноса или сводили его к минимуму. В том же цехе мясников Хёкстера вступительный взнос для сыновей мастеров составлял 16 гульденов, для посторонних — 40! Семейный характер профессии учитывался нередко и при приеме в ученики.

Таким образом, семья обуславливала профессиональную преемственность и социальный статус. Создается впечатление, однако, что по сравнению с купечеством, особенно его высшим слоем, влияние семейной группы на судьбы молодого поколения было здесь все же менее интенсивным. Происхождение из одной и той же семьи не влекло за собой с необходимостью в равной мере благоприятных шансов для всех детей в их последующей самостоятельной жизни, так же как и передача мастерской одному из сыновей еще не служила сама по себе залогом его делового процветания, как об этом свидетельствуют, в частности, судьбы четырех сыновей кузнечных дел мастера Якоба Клейншмидта из Хёкстера. Наследовал его мастерскую второй сын, проработавший с отцом до самой его смерти в 1510 г., но из нищеты он выбраться не смог так же, как и его отец. Старший сын в 1498 г. завел собственное дело, специализируясь на тонких кузнечных работах. К 1510 г. он стал одним из богатейших бюргеров и вскоре — первым ратманом от цеха кузнецов. Третий брат, работавший также самостоятельно с 1494 г., такого благополучия не достиг; четвертый — мастерской не имел и работал по найму<sup>38</sup>

Недостаточность родственной, семейной солидарности на этом социальном уровне городского ремесленного населения восполнялась прочностью территориально-соседских и даже, как показывают исследования, земляческих связей (очень эффективных в Генуе, Любеке и других городах, подверженных мощным иммиграционным процессам), в то время как хозяйственная самостоятельность и кажущаяся изолированность супружеской семьи нарушались и ограничивались торгово-ремесленными корпорациями.

сыновей к семейному «делу», напротив, способствовала их раннему включению в систему широких родственных взаимосвязей).

Если интенсификация отношений родства среди городского купечества и патрициата диктовалась стремлением поддержать и укрепить свой хозяйственный и социальный статус в условиях конкурентной борьбы и политического соперничества, то ремесленная масса, исключенная из сферы политической активности и не имевшая глубоких «корней», ориентировалась в своих родственных связях на супружескую семью прежде всего. Однако вряд ли следует и в этом случае, с одной стороны, преуменьшать значение широкой семейной группы как таковой, а с другой — преувеличивать степень индивидуализации и независимости самой супружеской ячейки. *Сознание родственной преемственности было достаточно развито и у низших социальных групп горожан.* В Тоскане XIV—XV вв. это выражалось, в частности, в способе присвоения имени ребенку в семьях мелких ремесленников, включавшего два, нередко три компонента: собственное имя, полученное им при крещении, имя отцовское и деда. Широко был распространен также обычай присвоения старшему сыну в семье имени покойного деда (или отца), передававшегося, таким образом, из поколения в поколение<sup>36</sup>. Э. Машке, исследовавший списки членов братства нищих-слепых при монастыре кармелитов в Трире (XV в.) обратил внимание на большое число семейных пар среди неместных, пришедших издалека «братьев» (из Шпейера, Франкфурта-на-Одере и Франкфурта-на-Майне, Страссбурга, Базеля, Люцерна, Парижа, Метца и других городов), так же как и на состав этих семей: это — супружеская пара и их дети; но часто также — супружеская пара (с детьми или без детей), но с престарелыми родителями, или мужчина или женщина со своими родителями, с бабушкой или дедом<sup>37</sup>.

Развитие сознания принадлежности к «семье», пусть не столь обширной и разветвленной, как у высших, ведущих социальных слоев, было обусловлено той социальной и хозяйственной ролью, которую она играла и в ремесленной среде. Как известно, для того, чтобы начать собственное дело, ремесленник должен был пройти ученичество, поработать подмастерьем, приобрести необходимый минимум средств для его ведения. В обеспечении всех этих условий одно из важнейших мест принадлежало именно семейной группе. Достаточно вспомнить стереотипные предписания уставов немецких цехов, закрывавших доступ в свои ряды незаконнорожденным, сыновьям лиц, связанных с «позорящими» профессиями (цирюльник, ткач полотняных изделий, музыкант и др.). Так, кёльнский цех ювелиров принял в 1391 г. в свой состав мастера Иозе Холле

на основании рекомендательного письма, в котором старшины цеха ювелиров в Аугсбурге, его родном городе, уведомляли, что Холле — сын ныне покойного, но благочестивого и почтенного мастера Хайнриха Холле и происходит от законного брака. Наследственный, семейный характер профессии — одно из основных условий приема новых мастеров в цех, особенно в позднее Средневековье. Цех мясников в Хёкстере требовал (1500 г.) от вновь поступавшего свидетельства о том, что этой профессией занимался кто-либо из его родственников — отец, отчим, тесть или, если речь шла о женившемся на вдове, ее покойный муж. Цехи освобождали сыновей мастеров от вступительного взноса или сводили его к минимуму. В том же цехе мясников Хёкстера вступительный взнос для сыновей мастеров составлял 16 гульденов, для посторонних — 40! Семейный характер профессии учитывался нередко и при приеме в ученики.

Таким образом, семья обуславливала профессиональную преемственность и социальный статус. Создается впечатление, однако, что по сравнению с купечеством, особенно его высшим слоем, влияние семейной группы на судьбы молодого поколения было здесь все же менее интенсивным. Происхождение из одной и той же семьи не влекло за собой с необходимостью в равной мере благоприятных шансов для всех детей в их последующей самостоятельной жизни, так же как и передача мастерской одному из сыновей еще не служила сама по себе залогом его делового процветания, как об этом свидетельствуют, в частности, судьбы четырех сыновей кузнечных дел мастера Якоба Клейншмидта из Хёкстера. Наследовал его мастерскую второй сын, проработавший с отцом до самой его смерти в 1510 г., но из нищеты он выбраться не смог так же, как и его отец. Старший сын в 1498 г. завел собственное дело, специализируясь на тонких кузнечных работах. К 1510 г. он стал одним из богатейших бюргеров и вскоре — первым ратманом от цеха кузнецов. Третий брат, работавший также самостоятельно с 1494 г., такого благополучия не достиг; четвертый — мастерской не имел и работал по найму<sup>38</sup>

Недостаточность родственной, семейной солидарности на этом социальном уровне городского ремесленного населения восполнялась прочностью территориально-соседских и даже, как показывают исследования, земляческих связей (очень эффективных в Генуе, Любеке и других городах, подверженных мощным иммиграционным процессам), в то время как хозяйственная самостоятельность и кажущаяся изолированность супружеской семьи нарушались и ограничивались торгово-ремесленными корпорациями.

**Супружеская семья, как домашняя община.** Но не только это обстоятельство препятствует отождествлению супружеской семьи средневекового городского ремесленника с современной малой семьей. Так же как и в крестьянской среде в ту эпоху, она представляла собой преимущественно домашнюю общину — домохозяство. Наряду с мастером, его женой и их детьми, как отмечалось выше, в состав ее входил кто-нибудь из овдовевших или утративших работоспособность родителей (чаще мужа), обедневших или одиноких родственников (незамужние сестра мужа, племянница, тетка). Это были желанные дополнительные рабочие руки для разнообразных дел — по дому и связанных с хозяйством (вспомним, что сельские занятия составляли тогда неотъемлемый элемент городской жизни). Но этим состав семейной общины не исчерпывался: ученики, подмастерья, работники в тех хозяйствах, где они имелись, где их нанимали, также жили в доме мастера, подчиняясь единому хозяйственному ритму и общему домашнему распорядку; питались с ним за одним столом, получали от него одежду.

Таким образом, семья городского ремесленника представляла собой коллектив, связанный не только узами брака и кровного родства, но и совместным производством. В этом органическом единстве домохозяства, как места проживания семьи и одновременно сферы производственной деятельности, заключается отличительная черта семейной структуры в ремесленной среде городского населения. Уменьшение размеров домохозяства, сведение его к одной супружеской ячейке или, напротив, укрупнение (многоячейные, расширенные домохозяства), что могло определяться, как показывают исследования, комплексом разнородных причин, мало что меняло в его природе как домашней общины. Эта семейная структура функционировала, не изменяя своей сущности, на протяжении столетий. Она входит в полосу кризиса по мере разложения средневекового ремесленного производства, обострения противоречий между мастерами и подмастерьями, углубления социальной и имущественной дифференциации самостоятельных мастеров, распространения раннекапиталистических форм организации производства.

**Городская семья в завещательных актах.** Одна из трудностей изучения городской семьи сопряжена с выбором источников, открывающих возможность на массовом материале выявить формы семейных структур, тенденции их эволюции и тот социокультурный контекст, в котором собственно и реализовались функции семьи.

С этой точки зрения особого внимания заслуживает такой тип источников, как бюргерские завещательные акты. Они достаточно широко сегодня используются историками-демографами для количественных исследований семьи: определение «семейного коэффициента» — числа детей на семью, частоты повторных браков, количества «одиноких очагов» (вдов, вдовцов) и т.п. Но в данном случае мне хотелось бы обратить внимание на те возможности, которые завещательные акты открывают для уяснения функций городской семьи, «семейного сознания» и глубинных социально-экономических и социокультурных факторов его определявших. Эти размышления порождены, в частности, завещаниями любекских бюргеров. Публикация их была начата еще в прошлом веке и продолжена (в форме регест) уже после второй мировой войны крупным немецким историком городской культуры медиевистом А. фон Брандтом.

Несмотря на хронологически весьма неравномерное распределение документов по отдельным годам (от одного до ста), они проливают свет на многие стороны демографического и социокультурного развития одного из крупнейших городов средневековой Европы, главы ганзейского союза Любека XIII—XV вв. Выразительные данные содержат они относительно организации родственной преемственности, состава семейной единицы, ее взаимоотношений с родственной группой, интенсивности отношений родства в целом. Но не только, косвенно они дают также и основания для уяснения роли и характера земельной собственности в средневековом городе типа Любека — порта, торговой метрополии с патрицианским управлением. Они раскрывают взаимосвязь между формами семьи, практикой организации родственной преемственности и спецификой отношений собственности в городской среде.

Вопрос об источнике изначальной аккумуляции богатств этого города и его патрицианской и купеческой верхушки не так прост, как принято считать. Анализ поземельных отношений позволяет полагать, что именно владение земельной собственностью прежде всего определяло социальный статус бюргера Любека XIII в. Согласно указу Генриха Льва относительно городского совета, членами рата могли быть только те, кто владел земельной собственностью в пределах городских стен, но не те, кто «обеспечивал себе пропитание занятием ремеслами». Ратманам — землевладельцам и ростовщикам — принадлежала верховная собственность на торговые и ремесленные помещения. И именно их политическое (и военное) имущество, оформленное путем ряда пактов в конце XIII в. в Ганзу, положило основание привилегированной ганзей-

ской торговле. Не любекские купцы превратились в землевладельцев (это было позже), а наоборот, любекские «роды», пользуясь своим могуществом земельных собственников, создали широкую транзитную торговлю. Широкий обмен, денежные операции — все это не могло не иметь обратного влияния на город: его социальную структуру, право и поземельные отношения, обращение земли. Все это так или иначе находит отражение в практике наследования, представлениях о родственной преемственности, в действиях по обеспечению экономических основ семейной группы и т.п. В XIII в. распоряжение недвижимостью жестко было ограничено семейными структурами. Имущественная связь внутри родовой группы была крепче, чем внутри семьи супружеской. Имущество мужа и жены не сливалось; без согласия жены муж не мог распоряжаться ее недвижимостью. В случае смерти жены при бездетном браке половина ее приданого возвращалась ее родне. Раннее любекское право (начало XIII в.) ограничивало выход земли из родовой собственности: без согласия родственников (наследников) запрещалась продажа, залоговые операции, пожертвования. И вплоть до XIV в. любекский testament — одностороннее, как правило индивидуальное распоряжение прежде всего и главным образом движимым имуществом. Вместе с тем, он позволяет проследить развитие интересной тенденции к индивидуализации земельной собственности, высвобождению ее (и супружеской семьи, о чем выше уже было сказано) из-под контроля родни. Выражением этого является широко распространенная практика формального «превращения», с согласия ближайших наследников и с санкции городского совета, недвижимости в «движимость», как собственности, приобретенной завещателем на свои собственные средства в течение жизни.

Массовость имеющихся в нашем распоряжении любекских завещательных актов все же далеко не достаточна для того, чтобы ответить на вопрос: какая из двух тенденций преобладала, но их свидетельства достаточно выразительны, чтобы ощутить всю сложность и противоречивость реальной действительности в этом вопросе еще и в середине — второй половине XIV столетия. Типичен с этой точки зрения, например, завещательный документ некоего Вихмана Друге (1460 г.). Здесь, с одной стороны, явно стремление сохранить нераздельность семейного имущества — патримония, что проявляется в выделении детям от первого брака лишь прав на ренту от земельной собственности завещателя и сверх того — денежной суммы. Вместе с тем, брату завещателя (в другом варианте документа — совместно с матерью) передается отцовское наследственное имущество в местечке Аттендорн и дом в Любеке,

объявленный, на случай возможных претензий наследников, «движимостью».

Крепость родственной группы в среде любекских ратманов обнаруживает себя в практике возведения часовен, обустройстве фамильных захоронений, проведении фамильных заупокойных месс, на которые завещаются специальные суммы наследникам. В хозяйственной сфере это проявляется в создании семейных торговых компаний, кратких мобильных объединений для проведения отдельных деловых операций и т.п.

Любекские завещания позволяют выделить и круг родственников, составляющих семейный клан — это прежде всего члены малой семьи — супруги и их дети; затем — братья (мужа), нередко являющиеся опекунами малолетних детей завещателя; сестры и их мужья, племянники и племянницы; мать-вдова, тетки, дядя по отцу, но также и по материнской линии; нередко также и двоюродные братья и сестры. Этот круг родственников фигурирует в качестве свидетелей при заключении сделок и оформлении завещательного акта; получателей денежных легат; претендентов на недвижимость, домашнюю утварь, оружие завещателя, на его паи в совместных с родственниками и посторонними семье лицами товариществах и компаниях.

При всей выраженности тенденции к закреплению за собой недвижимости (патримония), супружеская семья, как независимая хозяйственная единица еще и в XIV в., согласно любекским тестаментам, выглядит недостаточно самостоятельной. С этой точки зрения, показательна завещательная практика в отношении жен. Их вдовья доля состояла из приданого, обычно денежного, иногда в виде рент, дополнительных денежных сумм, платьев и украшений, подаренных мужем, части (иногда и всей) домашней утвари. Иногда им завещались пожизненные ренты из недвижимости супруга (при условии их отказа от повторного брака), гораздо реже — торговое имущество, нереализованные товары. В целом же центр тяжести материальной и хозяйственной жизни перемещался либо к детям, наследующим равными долями отцовский патримоний, либо к их опекуну — родственнику (дяде) из отцовской (реже — материнской) группы.

Завещательная практика любекских бюргеров подтверждает в целом то общее впечатление, которое складывается на массовом материале лучше изученных сегодня средиземноморских торговых центров о том, что городская семья при всей своей специфике в целом развивалась в общем русле традиционных для средневековой общественной структуры семейно-родственных отношений и связей. Там и здесь явно главное — важность отношений родства,

не менее значимых для горожанина, чем для крестьянина и феодалного сеньора.

\* \* \*

Итак, мы проследили характерные черты кровнородственных структур у разных социальных слоев средневекового города. Рассмотренный материал свидетельствует о том, что человеческие связи, основанные на общности крови, общности происхождения, свойстве, играли важную роль также и в городской сфере средневекового общества. Причем это не только не противоречило принципам городской хозяйственной жизни, но даже отвечало и мелкотоварному характеру ремесленного производства и относительно низкому уровню развития денежных и кредитных отношений. Сложностью и прочностью семейно-родственных отношений выделялись именно наиболее активные хозяйственно и политически ведущие слои городского населения — патрициат, нобилитет, крупное купечество, вовлеченные в дальнюю торговлю, экспортное производство, в сложную игру политических и дипломатических сил, далеко выходящую за пределы родного города.

Город несомненно благоприятствовал индивидуализации («приватизации») малой, супружеской семьи, хозяйственно наиболее выраженной, однако, лишь в среде рядовой массы горожан — ремесленников, мелких торговцев. Но даже и в этом случае речь может идти, насколько позволяет судить современное состояние исследований и наш материал, все же скорее лишь о тенденции в этом направлении, чем о ее реализации. То, что нам уже сегодня известно о городской семье, о ее формах, функционировании, роли — культурной, хозяйственной и социальной, политической — практически не оставляет места распространенным априорным представлениям (так или иначе дающим о себе знать в историографии до сих пор) о «разложении традиционных структур» в условиях городской жизни. Речь идет скорее об адаптации к городской среде присущих Средневековью принципов организации кровнородственной преемственности, стратегии брачных альянсов, цену которым бюргерство сознавало не хуже «какого-нибудь нормандского или фламандского барона»: патриции Гента любили повторять, что они располагают двумя силами, которые их защищают и поддерживают: это «их башни», укрепленные жилища, и «их родственники»<sup>39</sup> В родственной группе средневековый горожанин, как и сеньор, и крестьянин, находил основание своим моральным ценностям и поведению, ибо честь, которую он



стяжал, становилась достоянием группы, а бесчестье, которым он мог себя покрыть, падало также на всю группу. Право кровной мести, под знаком которого проходит вся феодальная эпоха, действовало и в городской сфере.

Европейскому городу в средние века были присущи не менее сложные (чем те, что имели место вне его стен) формы организации семейных отношений и родства: многоячейное патриархальное сообщество; фраттерия (совместное проживание братьев), индивидуальная супружеская семья в ее домохозяйственном обр-щении.

Это многообразие соответствовало сложности городской хозяйственной жизни и социально-политической организации и их потребностям, отвечало ценностным представлениям средневекового бюргерства. Типы семьи и родственных объединений, их соотношения варьировали в зависимости от эпохи и региона, типа города, социального и имущественного положения групп городского населения. Но суть дела при этом оставалась неизменной: в среде средневекового традиционного городского общества семья и отношения родства сохраняли свое значение одной из базовых социальных структур. Сложность их форм вполне соответствовала множественности выполняемых ими функций. Развитие средневековой городской семьи протекало (и в этом тоже заключалось ее своеобразие) как бы в постоянном противоборстве двух тенденций — к сплочению вокруг супружеского ядра и родственников (и тем самым к его индивидуализации) и одновременно — к сохранению родственного линияжа.

## МАЛЫЕ ГОРОДА КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФОРМА СРЕДНЕВЕКОВОЙ УРБАНИЗАЦИИ

**Постановка проблемы.** Малые города — тема, которая в последние полтора десятилетия превратилась в одну из актуальнейших в современной медиевистике. Однако наш материал — не историографическое исследование, поскольку историографии (в прямом смысле этого слова) малого города еще не существует. Можно говорить об «историографии» становления проблемы — проследить утверждение в медиевистике представления о важности ее изучения. Практически нет работ, содержащих концептуальное осмысление самого феномена малых городов. Основываясь на сравнительном анализе данных новейших исследований о городском развитии в средневековой Европе, в отдельных ее регионах и странах, мы рассматриваем ряд проблем, принципиально важ-

ных для понимания феномена малых городов, их специфики и их функций, роли в процессе градообразования и развития средневековой урбанизации, ее изменений во времени.

Будучи проблемой европейского городского развития в целом, малые города в то же время — явление, понимание природы которого имеет ключевое значение для оценки урбанистических процессов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы — в Польше, Чехии, Венгерском королевстве в Средневековье и раннее Новое время.

**Малые города — тема новой социальной истории.** В сущности, проблема малого города уже давно присутствует в медиэвистике. Она зародилась в начале нынешнего столетия одновременно с осознанием исследователями своеобразия средневекового города. Уже фон Белов акцентировал внимание на «бесчисленном множестве» локальных мелких очагов «промышленного производства», которые, как он полагал, отвечая общему относительно низкому уровню развития ремесла и обмена, составляли одновременно «и особенность, и источник силы» средневековой городской жизни, во всяком случае к востоку от Рейна<sup>40</sup>

Постановка вопроса о малых городах логически вытекала из осознания историками многообразия городских форм жизни в средневековой Европе и попыток их типологизирования. Выделение трех главных хозяйственных типов средневекового города, как и признание широкого спектра сопровождающих их переходных ступеней и форм, стало одним из важнейших достижений (как уже отмечалось в предшествующих разделах этой работы) социально-экономической истории рубежа и начала XX столетия: был открыт путь к изучению уже не города вообще, но его разновидностей, в том числе и «малых» форм как самостоятельного и заслуживающего внимания феномена. В классификации Х. Йехта малый город выступает практически в двух видах, противоположаемых крупным центрам дальней торговли и экспортных ремесел: как «аграрный город», наиболее распространенная повсеместно, по признанию Х. Йехта, форма городского поселения и как центр «промысловоремесленной деятельности с локальной ориентацией».

Сознание важности проблемы малого города выкристаллизовывалось в медиэвистике начала столетия и предвоенных десятилетий в полемике с теорией К. Бюхера и его последователей о замкнутом городском хозяйстве. С этой точки зрения, показательны рассматривавшиеся уже выше работы Р. Хепке (1928) и Х. Хеймпеля (1933), в которых был поставлен вопрос о структурных хозяйственных взаимосвязях в пределах исторической области, региона, и в этом

контексте — о функциональном взаимодействии городов, разных по масштабам и характеру экономической жизни. По существу, ими была подчеркнута значимость (причем на всех этапах средневековой истории) малых городов не только как носителей локального обмена, но и как звена в межлокальных хозяйственных связях крупных городов и территории в целом. Примерно в эти же годы появляются и первые специальные исследования Г. Аммана, раскрывавшие хозяйственное значение мелких швейцарских городов<sup>41</sup>. Устойчивый интерес к проблеме малого города проявляла в предвоенный период польская и венгерская историография, главным образом в связи с проблемой формирования национального бюргерства и буржуазии.

Вплоть до начала 60-х годов исследования по малым городам не выходили все же за описанные рамки традиционного «краеведения», и число их было невелико. Западная урбанистика еще прочно сохраняла унаследованное от правового подхода историографии XIX в. традиционное предубеждение к малым городам. Тем не менее, уже рубеж 50—60-х годов стал переломным также и в изучении малых городов. В этом смысле показательны работы западногерманского урбаниста Х. Штоба о так называемых неполноценных городах, преимущественно сеньориальных и вотчинных городках, наделенных ограниченными городскими правами и свободами, как формы городского развития в позднее Средневековье и французского историка М. Агюлона о малых городах Прованса<sup>42</sup>. Интерес к ним как бы возродился заново, но уже в ином историографическом контексте обновляющейся послевоенной медиевистики. Принципиальное расширение базы источников, в том числе за счет массового археологического материала, особенно по городам Центральной и Восточной Европы, Скандинавских стран; новые методы анализа письменных источников и новые ракурсы их рассмотрения; обращение к методикам смежных дисциплин, в том числе (и это особенно важно для изучения истории городов) к исторической географии и топографии, использование аэрофотосъемки и т.д. — такова «материальная» основа этого обновления.

Не менее важно, однако, изменение и самого принципа подхода к изучению Средневековья и отдельных его феноменов. В отношении средневекового города это выразилось, как уже отмечалось, в стремлении понять город в его функционировании и динамике и одновременно — в широком контексте хозяйственных, социальных, политических, культурных процессов в конкретной исторической области, регионе, стране. Нельзя не отметить известное влияние на этот общий процесс переориентации урбанистики

марксистских историков с их подходом к трактовке средневекового города как категории экономической, интересом к проблеме хозяйственного взаимодействия между городом и сельской округой, ремесленным и аграрным производством, акцентировкой важности изучения вотчинных городов, рынков, промысловых местечек<sup>43</sup>

С 60-х годов малые города становятся признанным объектом локальных и региональных исследований прежде всего в историографиях восточноевропейских стран. Важный вклад в изучение проблемы внесли восточногерманские историки, обратившиеся к малым городам в связи с проблематикой генезиса капитализма и социальных движений эпохи Реформации и Великой крестьянской войны; они выступили также инициаторами проведения одной из первых международных конференций по малым городам, показавшей насущность постановки общих проблем, связанных с ними, таких как понятие «малый город», его типология, особенности генезиса, функций и т.п.<sup>44</sup>

Таким образом, не будучи сама по себе абсолютно новой для урбанистики, проблема малого города, тем не менее, — проблема именно современного этапа ее развития, новый интерес к ней обусловлен иным, системно-функциональным подходом к изучению города, новым источниковедческим и методическим оснащением исторической науки и более глубоким осмыслением города как специфического и регионально многообразного феномена европейского Средневековья. Проблема малого города сегодня — комплексная проблема. Это прежде всего проблема средневекового урбанизма как такового — его специфики, изменений во времени и, конечно же, это проблема самого понятия город: его содержания, сравнительно-исторического изучения.

Вместе с тем, надо признать, что степень изученности малых городов на сегодня в целом все еще такова, что позволяет скорее осознать насущность постановки комплекса принципиальных, связанных с ними вопросов, чем ответить на них<sup>45</sup>

Одна из актуальных задач состоит в преодолении сложившихся стереотипов в их оценке, предубеждений, выработке подхода к их определению, уяснении их функций и значения в средневековом обществе. Об этом, собственно, и идет речь в этом разделе. Опираясь на материалы современных конкретно-исторических исследований, автор стремится прояснить ряд общих вопросов, важных для понимания роли малых городов не только в урбанизационных процессах в средневековой Европе, но и в ее хозяйственной и социальной жизни, организации власти и политического господства.

**Терминология. Критерии оценки. Дефиниция.** Первый вопрос и первая трудность, с которой мы сталкиваемся обращаясь к проблеме малого города, — его дефиниция. В сущности, то количественное определение, которым мы порой так свободно оперируем, достаточно произвольно, субъективно и фактически сводится к тавтологии: «малый» — значит «небольшой». Как точка отсчета и объект сопоставления, так или иначе присутствует некий обобщенный образ или признанных европейских средневековых метрополий, или — менее крупных, но достаточно значимых областных и региональных центров. Определение «малый» ассоциируется, правда, также с представлением о локальности масштабов хозяйственной деятельности, но, как бы то ни было, речь идет все же о понятии, сформированном под влиянием современных представлений и количественных критериев без учета особенностей, присущих средневековой урбанизации.

Каков же тот количественный формальный предел, с которого начинается в средневековой Европе малый город?

Широкие обобщения в данном случае едва ли возможны. Соотношение между городами по числу жителей, занимаемой площади, так же как, соответственно, и количественные критерии их классификации, варьировали в зависимости не только от страны, региона, области, но также и от хронологического периода. Если, например, агломерация в 5 тыс. жителей на территории Галлии раннего Средневековья заслуживает оценки «большая», то для XIII в. этот рубеж, по мнению Л. Женико, начинается уже с 10 тыс. человек, а в позднее Средневековье, как считает, например, П. Деспор, — с 15—20 тыс. человек. Таким образом, определение количественного предела, с которого «начинается» малый город, зависит от дифференциации городских поселений в целом в изучаемом ареале и в конкретный хронологический период. Во Франции XII—XIII вв. основная масса городов, развившихся из позднеантичных *civitates*, имела площадь в среднем от 5 до 30 га (за исключением Тулузы — 90 га, Меца — 70 га); были и совсем крошечные — от 1,5 до 3 га. В XII в. это Альби, Клермон, Нойон. Но в XIII в. они, согласно классификации Л. Женико, принадлежали уже к группе значительных центров с населением ок. 10 тыс. человек и площадью не менее 40 га<sup>46</sup>

Оценивая соотношение между городами по их площади и числу жителей в широком хронологическом диапазоне, следует считаться не только с фактором роста, но и с известной закономерностью развития форм средневековой урбанизации: а именно площадь городских поселений первой, ранней волны урбанизации (как «естественно» выросших, так и «основанных»), как правило, много

больше, чем площадь позже возникших городов. Эта особенность, впервые отмеченная К. Хаазе при картографировании и топографическом анализе городов средневековой Вестфалии, прослеживается в центральноевропейском ареале в целом и во Франции. Соответственно изменяется и «предел» площади, с которого начинались «малые» города. Так, в Вестфалии он колебался от 10 до 15 гектаров в период между 1180—1240 гг. и от 5 до 10 гектаров — в интервале с 1240 по 1350 г., но мог быть и еще меньше<sup>47</sup>

Французские урбанисты, руководствуясь таким критерием, как распространение с XIII в. нищенствующих орденов (этого «барометра уровня урбанизации», по выражению Ж. Ле Гоффа), выделяют в качестве нижней ступени городской иерархии город с одним монастырем ордена францисканцев, предпочитавших, в отличие от доминиканцев, именно небольшие города (верхняя ступень — 3 и более монастырей — как правило, в городах с населением ок. 10 тыс. человек). В Провансе начала XIV в., уже достаточно хорошо изученном демографически, такие города насчитывали обычно ок. 300 очагов, т.е. согласно подсчетам Э. Баратье, — 1500—1800 человек<sup>48</sup>. В аналогичных, примерно, цифровых показателях определяет малые размеры города и Д. Херлихи для Тосканы начала XV в., исходя из статистических данных флорентийского Кадастра 1427 г. Вместе с тем Д. Херлихи считает, что собственно водораздел между городским и сельским поселением проходит («если учитывать всю совокупность функциональных критериев») много ниже этого уровня, включая бургады городского типа с населением от 800 до 1000 жителей. Он выделяет также поселения в 700—800 человек как «функционально переходный» тип от деревни к малому городу. В целом городское население Тосканы было представлено в начале XV в. городом-гигантом Флоренцией (38 тыс. человек) и 20 «мелкими» центрами, концентрировавшими почти 27% городского населения всей области<sup>49</sup>

На Пиренейском полуострове уровень, с которого начинался малый город, был много ниже. В 1276 г. 238 городских поселений в области Сория (Испания) насчитывали по 160—200 жителей, в то время как ее главный город — Сория — 800 человек. Фуэрос некоторых пограничных городков называют по 36 (Виллафронтена, 1201 г.), 54 (Вилларенте, 1254 г.) человек мужского населения<sup>50</sup>. В Наварре середины XIV в. два самых небольших города, из числа исследованных И. Лакаррой, Пуэнте ла Реина и Яка (данные 1495 г.) насчитывали по 143 домохозяйства, приблизительно 500—800 человек (по подсчетам Лакарры).

Результаты исследования численности населения 50 городов Малой Польши, проведенного на основании различного типа

источников XIV—XVI вв. польскими и немецкими исследователями, позволяют составить представление о существовавших в этой исторической области соотношениях между размерами отдельных городов и, таким образом, об уровне, с которого здесь начинались мелкие городские поселения. Так, в 1330 г. на вершине городской пирамиды находился «большой город» Краков (ок. 12 тыс. жителей); затем следовали два «главных» города Бохня и Сандомир (2200—2500 жителей); еще четыре имели население от 1400 до 1800 человек, два других — от 1100 до 1200 человек; восемь городов насчитывали от 500 до 1000 жителей. Но имелись и еще более мелкие, в частности, монастырские городки в 200—300 жителей. Население ни одного из шляхетских городов не превышало 1200 человек<sup>51</sup>. Города в 100—200 домохозяйств (от 600 до 1000 жителей из расчета Т. Лалика по 6 человек на домохозяйство) были широко распространены в польских землях XIII—XV вв.<sup>52</sup>

В качестве критериев для определения размеров города в некоторых случаях могут выступать и иные показатели. В частности, в тех же славянских землях, в Силезии XIII—XIV вв., например, это — число деревень, входивших в подвластный городу административный округ (Weichbild): у мелких городов не было и десяти (для основной массы городов — в среднем 15—20 деревень); или площадь пахотных земель, которая у мелких городов, напротив, как правило, была больше, чем у крупных, и намного превосходила их собственные размеры<sup>53</sup>. Известным показателем может служить, как показывают современные исследования, и такой демографический фактор, как радиус притока иммигрантов. Для городка Монбризон в области Форез (Франция) он в 1220—1260 гг. не превышал 10 км в округе города. В другом скромном городе Фореза Сент-Аон-ле-Шатель 78% иммигрантов в 1252—1348 гг. происходило из деревень, расположенных в 20 км от городка. В нижнесаксонском Букстехуде 30% жителей, получивших право бюргерства в XIV—XV вв., были выходцами из зоны действия городского права. Рост города сопровождался увеличением радиуса притока новых жителей. Французские города с населением ок. 10 тыс., например, Аррас, Мец, Реймс, притягивали в XIII в. основную массу людей из области радиусом в 40 км<sup>54</sup>.

Примеры можно было бы умножить. В этом, однако, нет необходимости. Приведенный материал убедительно свидетельствует об относительности количественного понятия «малый» город, о трудности выработки (более того, явной непригодности по существу) любой абстрактной, общей для «всех» регионов количественной характеристики «малого» города, будь то численность жителей или общая площадь заселенного ими пространства. Это

тем более сложно, что речь идет, как мы могли убедиться, не о единичных случаях, но широко распространенном, в некоторых областях и землях — превалирующем виде городских поселений.

Мало что может прояснить и средневековая городская терминология, как латинская, так и языка повседневности. Средневековые почти до самого конца не знали специального термина для определения оппозиции «большой — малый город». Современники классифицировали города по внешнему признаку (наличие стен, например), роду занятий жителей (таковы фр. *villes champetres* — сельские города), объему и характеру городских прав и свобод (так, например, у западных славян официальный термин *civitas* был общепринят на протяжении многих столетий для всех городских агломераций, наделенных правом по магдебургскому образцу), рыночных привилегий (еженедельный торг, ярмарка), положению в системе территориального административного управления (в Бюртемберге XVI—XVII вв. городские поселения с уменьшительным официальным обозначением «*Stadtlein*», «*Stadtle*», «*Stadchen*», как правило, не обладали статусом административного центра в отличие от *Amtsflecken*), характеру налоговых платежей и обязанностей. С этой точки зрения термин «малый город» в современной литературе распространяется на широкий спектр поселений, далеко не всегда обладавших статусом города и городскими свободами в полном их объеме, — на «неполноценные города» по терминологии Х. Штоба, выступающие в источниках под разнообразными правовыми наименованиями<sup>55</sup>

На текучесть и многозначность средневековой терминологии часто обращают внимание исследователи, и городская терминология не составляет в этом отношении исключения. Более того, она, может быть, даже в еще большей степени сложна для анализа. Средневековые, по замечанию такого тонкого знатока его как Ж. Ле Гофф, не располагало ни дефиницией города, ни заслуживающим доверия их инвентарием. Если и имеется феномен, который бы был столь плохо освоен концептуально и терминологически Средневековьем, так это именно город. *Civitas*, *burgus*, *oppidum*, *villa*, *castrum*, *Stadt*, *ville* и др. — эти городские термины, как и другие, содержание которых варьирует в зависимости от типа источника, региона, времени, как правило, редко соответствуют объективным характеристикам агломерации. Но при всей своей текучести, требующей в каждом конкретном случае специального анализа, городская терминология все же не позволяет усомниться в существовании у людей той эпохи представлений об известной иерархии поселений городского типа как с точки зрения их формальных, внешних признаков, о чем уже говорилось, так и соци-



ально-юридического устройства, политического веса и благосостояния их жителей. Выразительные примеры тому дают, в частности, французские латинские памятники уже с XIII в. Оппозиция, если не «большой — малый», то, во всяком случае, «важный — второстепенный» находит отражение в языке и официальных документов, и хроник. Так, королевский ордонанс 1358 г. называет в числе подданных короны подлежащих обложению жителей «добрых городов и укрепленных сите» (*des bonnes villes et citez fermées*), т.е. наиболее богатых и влиятельных городов; «купеческих городов», «других городов, в которых имелись рынки», «замковые города», «города-бастиды», жители которых «богаты», «другие коммуны сельской местности». Хроника более прямолинейна и лаконична в своем противопоставлении французских городов этой же эпохи: «укрепленные сите», «добрые города» (т.е. города королевские) и «сельские, аграрные города».

В латинской терминологии актового материала из западнославянского ареала, в частности польского, прямая дифференциация между большим и малым городом возникает много позже XIII в. Латинский термин «*civitas*», как отмечалось выше, был общепринят долгое время для всех городов, обладавших правом по магдебургскому образцу. Но даже и в XIV—XV вв., когда в славянских странах появляется термин «местечко» как обозначение малого города, применение этого термина не становится строго обязательным, перемежаясь с распространенным общим детерминативом городского поселения — «место».

Тем не менее, при всей своей текучести средневековая терминология в строго конкретных случаях, видимо, все же может служить и служит известным ориентиром для выделения малых городов. Таковы, например, термины *forum*, *locus forensis*, *villae forensis*, *villae fori*, обозначавшие в польских актах XII—XIII вв. малые города, рыночные центры на местном праве; или *civitas forensis*, *civitas cum foro*, под которыми в королевских привилегиях XIV в. фигурировали частновладельческие города, чаще всего церковных диоцезов. Оформление статуса многих мелких городов XIII—XIV вв. на основе рыночного права в различных областях Восточной Европы нашло отражение в таких их наименованиях как польское *Tarczek*, многочисленные *Novy targ* в Прикарпатье, немецкое *Neumarkt*. Термины *forum*, *Markt* (в XII—XIII вв. часто в сочетании с термином *burg*) в австрийских землях служили распространенным обозначением, особенно в XIV—XV вв. и позднее, для малых городов, в том числе и тех, что имели городское право. Венгерские медиевисты считают возможным относить к категории малых городов поселения, выступающие в латинских

официальных источниках с середины XIV в. под общим термином *orpidum* (бургады). Терминологически они противопоставлялись в официальном языке эпохи деревне и свободным королевским городам, *civitates*, также как «*villa*» или «*posessio*».

Таким образом, классифицируя городские поселения, следует, видимо, в каждом конкретном случае учитывать не только совокупность известных количественных и терминологических показателей, но и иные — качественные характеристики.

**Хозяйство и образ жизни.** Можно ли выделить какие-то специфические характеристики хозяйственной жизни малых городов: например, нестабильность, аграрный характер? Вообще, допустимо ли говорить о некоем типе хозяйства, отличавшем именно малые города?

Об одном уже можно сказать вполне определенно: малые размеры города не предполагали обязательно его хозяйственной слабости. Конечно, во все периоды Средневековья и во всех европейских регионах можно отыскать немало противоположных примеров. Хозяйственно малоразвитые, прозябающие городские поселения особенно часты среди «основанных» городов — преимущественно тех из них, которые были возведены в ранг города по инициативе отдельных феодалов и даже крупных территориальных правителей, руководствовавшихся прежде всего, а подчас и исключительно, оборонительно-стратегическими соображениями. Таковы многочисленные городки-крепости в Юго-Западной Германии, ограниченность экономической жизни которых нашла отражение, в частности, в отсутствии (или в позднем появлении, незначительности размера) предместья — этого выразительного признака хозяйственной энергии и притягательной силы города. Например, Энген, основанный ок. 1251 г.: предместье его возникло лишь в XIV в. и представляло собой два ряда домов, вытянувшихся вдоль узкого горного склона. Иногда город, в силу малости своих размеров и хозяйственной неразвитости, так и не мог, подобно Тингену, воспользоваться своим рыночным правом. Аналогичные примеры можно найти в альпийских областях Швейцарии, Верхней Австрии, в пограничных областях провинций Юго-Западной Франции — Ажене, Перигё и Борделе XIII в.<sup>56</sup> Однако было бы ошибкой на этом основании делать слишком широкие обобщения. Те же самые области дают и иной материал, свидетельствующий о полнокровной хозяйственной жизни, несмотря на ее небольшие масштабы. Города-крепости, которым условия благоприятствовали, постепенно расширялись. Таков, например, Шемберг (основан в XIII в.) в округе Баллинген, расположенный в непосредственной

близости от двух дорог — местной (Баллинген — Тутлинген) и имперской (Тюбинген — Ротвейль). Это был таможенный пункт, но большинство его населения в XVI в. составляли ремесленники. Широкой известностью пользовался рынок другого городка этого же округа — Розенфельда: его посещали купцы из Шварцвальда, а ремесленники, в основном сукноделы, были богаты. Городок Альтенштайт как крепость утратил свое значение после Тридцатилетней войны, но зато стал развиваться в хозяйственном отношении. К концу XVI в. он представлял собой поселение с церковью, замком и 50 домохозяйствами в Верхнем городе; двумя мельницами, баней, маслобойней, четырьмя дубильными мастерскими — в Нижнем; здесь же находился рынок, посещавшийся крестьянами окрестных деревень.

В типологических классификациях буржуазной историографии начала столетия, в частности, Х. Йехта, как отмечалось, малый город в массе отождествлялся с аграрным типом хозяйства, выступая как самостоятельное поселение с очень узким радиусом хозяйственного воздействия. Определение «аграрный», «крестьянский», как синоним неполноценности городского развития, не изжито, пожалуй, особенно в зарубежной историографии, до сего дня. Вместе с тем, развитие современной медиевистической урбанистики вносит серьезные коррективы в это представление. Прежде всего, как теперь хорошо известно, средневековый город, независимо от своих размеров и масштабов хозяйственной жизни, никогда не порывал с аграрным производством и не утрачивал связи с деревней. Эти связи были взаимными и тесными. Деревня вторгалась в город в лице его жителей, в массе еще недавних крестьян; элементы сельского пейзажа — пашня, сады, виноградники были неотъемлемой частью внутригородского пространства; наконец, сам город проникал в деревню своими предместьями и контадо. Несомненно, деревенский облик подчас ярче выражен у небольших городов. Достаточно образно, например, уже упоминавшееся выше само название «сельские города», которое существовало для определенного их типа во Франции вплоть до XVII в. Особенно выразительны аграрные черты у так называемых «новых» малых городов в районах колонизации. В восточных областях Центральной Европы малые города, как уже отмечалось, выделялись именно обширностью своих сельскохозяйственных угодий, которыми они при освоении были наделены более щедро, чем ранее сформировавшиеся крупные центры. Их пашни намного превосходили территорию, отведенную под городскую застройку, и включали подчас угодья близлежащей деревни. С аналогичной практикой мы сталкиваемся и во французских бастидах<sup>57</sup>. Специ-

альная сельскохозяйственная зона (с загонами для скота) в верхней части поселения характерна и для горных городков Центральной Швейцарии, жители которых занимались товарным скотоводством. Владение землей — один из основных источников благосостояния «новых» малых (как и более крупных) городов в названных выше областях, особенно в начальный период их развития; и наиболее обеспеченные и уважаемые горожане были обязаны своим положением землевладению и сельскохозяйственным занятиям. Но и в XV в., например, в Тоскане, малые города, в том числе и «спонтанно» выросшие, отличались, как показывает комплексное исследование Херлихи и Клапиш, высоким процентом жителей, занятых в сельском хозяйстве.

Аграрная доминанта действительно присуща хозяйственной жизни многих и многих мелких городских центров к югу и к северу от Альп, в Западной и Центральной, Восточной Европе. Однако само по себе преобладание сельскохозяйственных занятий в экономической жизни таких городов не может все же рассматриваться ни как их специфический детерминатив, ни тем более как свидетельство недостаточности уровня урбанистического развития. Даже в таких больших городах, как Арль XV в. или Роман (Дофинэ) XVI в., большинство населения составляли пастухи, земледельцы и виноградары. В шести главных городах Тосканы, по свидетельству флорентийского Кадастра 1427 г., недвижимость — земля — составляла 2/3 городских имуществ, а торговля и ремесла занимали лишь второе место в занятиях горожан. Видимо, говоря о сельскохозяйственной ориентации экономической жизни многих городков, следует учитывать, что она могла быть обусловлена и особенностями местных природных условий и потребностями хозяйственного развития в целом данной области или региона, как это было, например, во французских провинциях центрального района Берри, Анжу, Мэн, Иль-де-Франс, Бургонь, где возделывание зерновых и виноградарство составляли в XII—XIII вв. основу хозяйственной жизни больших и малых городов<sup>58</sup>. Главное, что нуждается в уяснении в каждом конкретном случае — та степень и формы, в которых сельскохозяйственная продукция входила в товарное обращение. Следует учитывать, что оформление привилегированного, в том числе специфически городского, статуса многих небольших агломераций, в частности в областях Центральной и Восточной Европы, в западнославянском ареале, венгерских землях, где они особенно многочисленны, происходило на основе реально существующей, а иногда уже и закреплённой местным правом их роли как местных рынков или транзитных пунктов дальней торговли<sup>59</sup>. Примечательно, например, что хартия Людо-

вика VI об основании в 1123 г. в городке Этамп *forum novum* содержала привилегии, касающиеся торговли только вином и зерном. Рыночная площадь с крытыми рядами, зерновыми и продовольственными складами — красноречивый и специфически урбанистический элемент ряда бастид Гаскони, Гиени середины XIII—XIV вв.<sup>60</sup>

При благоприятной конъюнктуре мелкие аграрные городские центры могли стать и становились активными участниками региональной, а подчас и общеевропейской торговли зерном и вином, как это произошло, например, в областях Брешии и Савойи после 1320 г. в связи с активизацией торговых путей через Симплон и Сен-Готард; или в Бургиньоне, где оживлению их хозяйственной жизни способствовали потребности в продовольствии растущего Авиньона; они же стимулировали коммерческую конъюнктуру городков по Роне, в Форезе и Провансе. Аналогичные примеры дают и немецкие земли. Таковы исследованные Г. Вольфингом небольшие города Майнинген, Вазунген и Шмалькальден, которые благодаря ключевому в XIV — середине XVI в. положению на важной торговой магистрали, соединяющей Север и Юг Германии, включались в региональную торговлю сельскохозяйственными продуктами и полнокровно функционировали как центры еженедельного рынка и ярмарок: в Шмалькальдене (XIV в.) их было семь, в Вазунгене (начало XVI в.) — три, в Майнингене — восемь. Вазунген к тому же имел свою и строго обязательную для округа, меру измерения зерна<sup>61</sup>

Следствием порой весьма значительной товарности аграрного производства малых городов является ярко выраженная в ряде регионов его специализация. Таковы винодельческие швейцарские городки, бастиды Гаскони и Гиени (позднее специализировавшиеся также на производстве красителей для сукон); франконские городки XIV—XV вв., втянутые в надрегиональную торговлю скотом и вином; венгерские *oppida* XV в., которые исследователи подразделяют на две большие группы: винодельческие (задунайские области, Токайская долина, южные комитаты) и скотоводческие (Альфельд, области за Тиссой)<sup>62</sup>

Подобные примеры предостерегают, таким образом, от упрощенно-негативной характеристики мелких аграрных городских центров и недооценки их значения в системе средневековой урбанизации. Хотя и базирующееся на земледелии, скотоводстве или виноградарстве, хозяйство таких городов качественно отличалось от крестьянского своей принципиальной ориентацией на денежный обмен и подчас ярко выраженной специализацией. Непосредственно или через купцов, местных или приезжих скупщиков

(как, например, в винодельческих швейцарских городках XIV—XV вв.) сельскохозяйственная продукция, производимая жителями этих городков, поступала на рынок. Но торговали не только тем, что производили сами, но и продуктами и сырьем, скупленными у крестьян округи. Столь выраженное преобладание товарной и специализированной сельскохозяйственной продукции в операциях малых городов отдельных регионов порождает более общий вопрос: всегда ли и только ли уровнем развития ремесла может быть измерена степень средневековой урбанизации?

Высокий удельный вес сельскохозяйственных занятий в деятельности жителей малых городов не умаляет вместе с тем значимости ремесленного производства как для развития самих этих городов, так и для их округи. Одной из важнейших отраслей их неаграрного производства было мельничное дело. Право иметь мельницы и осуществлять помол город стремился завоевать и отстоять любым путем. Здесь сталкивались интересы и городского сеньора, и горожан, бюргеров, и крестьян округи. Водяные мельницы (а их могло быть много, около десятка, как, например, в маленькой венгерской Тоте) имели многообразное применение: от помола зерна до производства (валки) сукон и приведения в движение пил. Мельник — одна из наиболее престижных городских ремесленных профессий.

Малый город — центр местного производства таких предметов первой необходимости, как одежда и обувь, изготовлявшиеся городскими мастерами более искусно, чем сельскими. Портные, башмачники, ткачи, скорняки имелись практически в каждом городке. Здесь процветали отрасли, ориентированные на производство пищевых продуктов: мясники, пекари, булочники, колбасники, пивовары, виноделы, рыболовы столь же обязательны в малых городах, как портные или сапожники. Исследования польских историков показывают, что циркуляция именно продуктов первой необходимости (зерно, продовольственные товары), занимала центральное место в системе взаимодействия городков и сельской округи<sup>64</sup>

Бесспорно, среди ремесленных специальностей малого города немало таких, которые имели распространение и в деревнях. Но здесь производились и предлагались округе также и такие виды изделий, которых деревенское ремесло не знало или почти не знало: ножи, гвозди, канаты, повозки изготовлялись в швейцарском Пайерне; плотники, бочары, столяры, слесари, шорники, жестянщики, каретники, кошелечники — профессии, которые в польских землях, например, встречались чаще или даже исключительно в городах. Тосканский Сан-Джиминьяно в XIII в. сла-

вился производством изделий из стекла и металлообработкой, а маленький Колле в начале XV в. имел пятнадцать мастерских по производству бумаги<sup>65</sup>. Но и некоторые традиционные профессии в специфических условиях городского хозяйства нередко приобретали значение, выходящее за пределы местных потребностей и работы на заказчика. Таково, например, кузнечное дело в городках горных областей Швейцарии, тесно связанное с обслуживанием прежде всего транзита, за монопольное право заниматься которым горожане вели ожесточенную борьбу с округой.

Специфическая ориентация хозяйственной жизни малого города иногда могла вызвать чрезмерное развитие некоторых видов ремесел и занятий, как например, бочарного производства во французском винодельческом Мэне (центральный район) или гостиничного дела, фрагтовой службы и связанных с потребностями транзита — производства продуктов питания, кузнечного дела и т.п. — в швейцарских альпийских городах. В ряде случаев собственно промышленная специализация открывала и малым городам выход на отдаленные рынки. Таковы в XIII—XIV вв. суконодельческие фландрские, верхнелужицкие, швейцарские городки, а в XIV—XV вв. — мелкие текстильные центры в польских областях или в Швабии; франконский Шмалькальден с развитым производством железа и металлообработкой или вестфальские Линген, Вреден, Эверберг-Хаген (исследованные М. Эбрехтом) и северо-немецкий Букстехуде, включавшийся и прямо, и опосредованно, через более крупные города, в ганзейскую торговлю<sup>66</sup>.

Таким образом, относительно небольшие масштабы хозяйственной жизни малых городов не исключали ее интенсивности, подчас весьма значительной, и многообразия. Рыночные отношения и специализированное производство — эти важнейшие детерминативы средневековой городской жизни, достаточно выражены и на этом ее уровне.

**«Большие» и «малые» города.** Говоря о характере хозяйственной активности малых городов, нельзя обойти вопрос о чертах, отличающих их от большого города. Вопрос этот, непростой сам по себе, осложняется слабой изученностью малых городов. Вместе с тем очевидно, что ответ на него не менее хронологически и локально обусловлен, чем само подразделение городов на «малые» и «большие». Действительно, Г. Амман, например, приходит к выводу, что различия между «самыми крупными из малых городов» Западной Швейцарии, как, например, Пайерном (1500 жителей), и «большим» городом этой области — Лозанной (4000—4500 человек) в XV в. были чисто количественными: и там, и

здесь один тип ремесленной организации — братства, и то лишь у некоторых видов ремесел, с той разницей, что в Пайерне братства имелись у сапожников и портных, а в Лозанне — еще у лавочников и мясников, тот же характер хозяйственной активности с выходом на широкий региональный рынок и дальнюю торговлю, но при меньшем числе участников. Но вывод Аммана вряд ли подтвердится, если сопоставить тот же Пайерн с Шаффхаузенем, также относимым им к числу больших городов с XV в. Хотя источники называют в Пайерне не менее 15 видов ремесленных занятий, в том числе и таких узкоспециализированных, как ювелирное дело, изготовление ножей, гвоздей, но представлены они были 1—2, максимум — 4 мастерами. В Шаффхаузене 1411 г. мы находим более высокую организацию ремесла — 12 цехов, хозяйственно и политически влиятельных, не считая ремесленных специальностей, не организованных в цехи. При этом три цеха — кожевников, ткачей, кузнецов — работали на экспорт. Еще большие различия в уровне развития и организации ремесла обнаруживает сопоставление с Базелем (ок. 30 ремесленных специальностей, 27 цехов) или Цюрихом (20 цехов; более 20 отраслей)<sup>67</sup>

В целом, однако, вопрос о характере различий между товарным производством больших и малых городов вряд ли может быть прояснен путем формального, количественного сопоставления ремесленных специальностей или типа их корпоративной организации. Необходим более глубокий, качественный сравнительный анализ — внутренней структуры отдельных ремесел, соотношения мастеров различных специальностей, профессиональной иерархии в целом и т.д. Немногие исследования, так или иначе затрагивающие эти аспекты, свидетельствуют о сильной обусловленности степени сходства и различий между малыми и большими городами в этих вопросах общим направлением хозяйства в изучаемом регионе или области, типом и уровнем урбанизации. Так, В. Бачкай, например, приходит к выводу об отсутствии в венгерских землях качественных различий между *oppidum* и королевским большим городом в XV в. Иную картину находим мы в Тоскане конца XIV — начала XV в.

Историко-демографическое исследование Д. Херлихи и К. Клапиш-Зубер по материалам флорентийского Кадастра 1427 г. открывает редкую возможность для качественного сопоставления хозяйственных структур большого города и находящихся в его тени менее крупных и совсем небольших городов, в частности с точки зрения занятости населения и иерархии профессий. Флоренция, как и другие три «главных» города области (Пиза, Пистойя, Арреццо), не только предлагали своим жителям несравнимо большие



возможности для хозяйственной деятельности (24 направления против 11 в средних и мелких городах), но и обнаруживали качественно иную ее структуру в целом. Во Флоренции первые десять мест на вершине профессиональной пирамиды занимали те, кто был связан с банковскими операциями, экспортной торговлей (сукном и другими тканями, пряностями, зерном, продуктами питания, посудой, бумагой) и транспортными услугами, а также юристы, врачи, цирюльники. Далее следовали представители собственно ремесленных занятий. С известными вариациями, обусловленными специализацией городского хозяйства, повторяли эту структуру и другие «главные» города.

В мелких городах, напротив, на первом месте находились занятия, связанные с сельским хозяйством (почти 50% общего числа населения); затем следовали все виды торговой деятельности и, наконец, ремесленники — суконщики, кожевники, меховщики, булочники, мясники, люди, занятые в металлообрабатывающих специальностях и др., но почти полностью отсутствовала сфера услуг.

Проблема малого и большого города — не только проблема их взаимного соответствия и подобия, но и функционального взаимодействия. Малый город в орбите большого — важность изучения этого вопроса как части более широкой темы о межлокальных и региональных хозяйственных связях в эпоху Средневековья была осознана, как отмечено выше, уже медиевистикой предвоенного времени. Современные исследователи пытаются реконструировать модели такого взаимодействия. Одна из попыток была предпринята исследователем фландрских городов Д. Николасом. Он установил определенную зависимость между их величиной, радиусом хозяйственной активности и расстоянием, отделявшим города друг от друга\*. Важно, однако, что эти города, в число которых входили и относительно крупные центры кастеляний и совсем мелкие городки, не были всего лишь пассивными сателлитами и «жертвами» «трех гигантов» фландрского сукноделия, как это традиционно считалось, начиная с А. Пиренна. Несмотря на дискриминационную политику этих гигантов малые города жили полнокровной хозяйственной жизнью, также и в XIV в. — время наибольшего расцвета Гента, Брюгге и Ипра. Обладатели графских и королевских привилегий, мелкие города Фландрии имели специализиро-

---

\* Так, Гент (50 тыс. человек) в середине XIV в. был окаймлен пятью городами (от 3 до 5 тыс. населения), отстоящими от него на 30—40 км. Брюгге, равный по величине 3/5 Гента, был центром притяжения для множества более мелких городов (от 1500 до 3 тыс. населения), располагавшихся от него в радиусе 10—25 км. (См.: *Nicholas D.M. Structures du peuplement... p.524*)

ванное сукноделие, продукция которого находила сбыт не только на локальных рынках. Они проводили в отношении крестьянского сукноделия ту же политику дискриминации, что и большие города, отстаивая свое монопольное право на производство сукна и торговлю им на местном рынке и осуществляя подчас роль связующего звена между ним и главными центрами сукноделия (на рынках Гента, Брюгге и Ипра наиболее значительные из городов имели свои ряды). Хозяйственное притяжение, сочетающееся с правовой и политической зависимостью, и одновременно собственная монопольная зона хозяйственной активности — так выглядит сосуществование малых и больших городов, во всяком случае, в этом регионе.

Сходные черты обнаруживают в XVI в. и взаимоотношения между Ульмом, главой Швабского союза, и входившими в него менее крупными и совсем мелкими имперскими городами. Исследовавший этот вопрос западногерманский историк Г.-Э. Шпеккер отмечает наряду с сильным правовым и политическим влиянием Ульма тесные семейные связи, объединявшие бюргерство этих городов; постоянные хозяйственные контакты на уровне высшего городского слоя. Вместе с тем «малые» города Швабии (от 1000 до 5000 человек), которые казались таковыми лишь в сопоставлении с Ульмом (20 тыс. жителей), имели собственное развитое ремесленное производство, ориентированное на дальний рынок, с широко распространенной работой на скупщика, в роли которого выступали нередко бюргеры Ульма; в городках района Бодензее и верховьев Дуная процветало экспортное виноделие. Ульм, как показывает Шпеккер, вместе с зависимыми от него городами образовывал область, единую в хозяйственном (текстильное производство, прежде всего бумазеи) и культурном отношениях (в частности, в школе и гимназии Ульма получали образование дети патрициата и купечества из других городов Швабии). В свою очередь, малые города, благодаря финансовой и военной мощи, политическому влиянию Ульма смогли не только противостоять захватническим устремлениям местных князей, но и приобрести непропорционально высокое по сравнению с их собственными масштабами значение.

Многогранность проблемы хозяйственного взаимоотношения большого и малого города позволяют ощутить также результаты исследований современных венгерских медиевистов (Э. Фюгеди, А. Кубиньи, В. Бочкай и др.). Они показывают, что хозяйственно наиболее самостоятельными из небольших городов были те, которые сложились в отдалении от старинных королевских городских центров (в Альфёльде, за Тиссой). К концу XV в. примерно око-

до ста мелких городков в Венгерском королевстве имели право на устройство общевенгерских ежегодных ярмарок. Почти 60% их происходило вне сферы хозяйственного влияния больших городов (до 100 км). Вместе с тем в наиболее развитых областях, вблизи важных торговых путей малые города входили в хозяйственную орбиту больших городов, располагаясь в пределах их четырех- или восьмимильной зоны. Малые ярмарочные центры группировались здесь в радиусе 16—19, 32—38, 50—60 км от больших городов. Выполняя функции посредника между большим городом и деревенской округой, они одновременно служили промежуточным этапом в процессе урбанизации крестьянского элемента, устремлявшегося в города. В целом система «большой — малый» город обеспечивала в этой стране с относительно поздней и своеобразно формировавшейся урбанизацией возможность постоянного более или менее равномерно распределенного рынка для сельскохозяйственной продукции и ремесленного производства.

Аналогичную систему функционального взаимодействия малых и больших городов фиксируют исследования чешских урбанистов (Й. Яначек, Р. Новый). Мелкие чешские городки XIV—XV вв., в массе частновладельческие, в своих хозяйственных взаимосвязях были ориентированы не столько «по горизонтали» (друг на друга), сколько «по вертикали» на более крупные городские центры и, в конечном счете, через их посредничество или непосредственно — на большой, как правило, королевский город. Эта структура отражалась в специфической периодичности локальных торгов и ярмарок, либо предшествовавших ярмаркам в больших городах, либо следовавших вскоре после них. Это позволяло купцам-оптовикам запастись на местных рынках необходимым товаром — продуктами питания (зерно, вино, пиво), изделиями ремесленного производства, а также реализовать привезенное: соль, красители, продукцию металлообработки, железо и т.п.

Малые города окружали поясом (в радиусе 20—25 км) Прагу и другие (но уже на расстоянии 19—20 км) меньшие по значению и величине королевские города, как, например, Мост или Жатец. В Польше, где большие города отстояли друг от друга на 40—50 км, пространство между ними заполняли малые города, входящие в сферу непосредственного хозяйственного или политического воздействия большого города и располагавшиеся в радиусе 17 или 20/30 км (как, например, это было в округе Познани).

Скрепленная строгой периодичностью локальных еженедельных или ежедневных торгов, местных и областных ярмарок, эта

система обеспечивала стабильный товарооборот в пределах области и рынок для сельскохозяйственной продукции крестьянского и домениального хозяйств, городского производства, углубляя разделение труда между городом и округой, способствуя росту специализации.

Таким образом, как это следует из приведенного материала, малые города и местечки, даже оказываясь в сфере политического или хозяйственного воздействия более крупных городских центров, не утрачивали своей специфической хозяйственной функции местного рынка, доступного прежде всего для крестьян всех деревень округи. Но особенно возрастала экономическая роль малых городов в регионах с немногочисленными крупными городами и развитой агрикультурой, как, например, в Англии XIII—XIV вв. или французском Провансе и Венгерском королевстве в XV в. в условиях роста спроса на европейском рынке на продукцию сельскохозяйственного производства. Купечество малых городов не только распределяло товары и кредит в округе: их рынки и ярмарки, создававшие в своей совокупности постоянный рынок для продукции крестьянского и сеньориального хозяйства, усиливали товарообмен в пределах областей, внося свой вклад в формирование внутреннего рынка страны.

«Радиус и сила цивилизующего влияния малых городов, как будто, невелики, — писал в своей давней статье Л. М. Баткин (когда он интересовался еще социально-экономической историей), — но зато таких городов было много, подчас в десятке километров друг от друга. Словно тонкие кровеносные сосуды ветвились они густой паутиной вокруг основных торгово-промышленных артерий. Для неподвижной старины попросту не оставалось места»<sup>68</sup>. Хотя автор этих строк имел в виду малые города Италии, но его образная характеристика, как легко заметить, точно отражает самое существо этого феномена европейской урбанизации.

Проблема «большой — малый» город имеет, на мой взгляд, еще один заслуживающий внимания аспект, так сказать, «генетический». Часто небольшие размеры городов объясняют их более поздним появлением и тормозящим воздействием на них ранее возникших и процветающих региональных центров. Но всегда ли причина только в этом? Не дают ли о себе знать порой иные, более глубинные взаимосвязи, в частности, имеющие отношение к демографическим и хозяйственным процессам в регионе, к внутригородской специализации, к географическому, наконец, положению молодой агломерации?

Как показывает уже рассматривавшееся в другой связи исследование Д. Николаса, во Фландрии, например, в «большие» города

могли вырасти только те предгородские образования, которые, подобно Генту и Брюгге, сложились в областях с повышенной плотностью населения и были расположены на стыке зон с разной хозяйственной ориентацией: в данном случае, на агрикультуру и скотоводство. Снабжение продовольствием и сырьем собственного населения, занимавшегося кожевенным производством и сукноделением, и операции по перепродаже зерна из соседних областей составили их изначальную функцию, так же как и основу богатства и последующего промышленного процветания. Города же, возникшие не просто позже, но в центре слабонаселенных хлебоборных областей, остались в основном (подобно городам Юго-Западной Фландрии) мелкими и второстепенными, поскольку их торговоремесленные функции, не найдя приложения, не получили соответствующего развития.

Особенности хозяйственно-географического «месторасположения» помогают, с другой стороны, понять причину чрезвычайной устойчивости и процветания некоторых малых городов, которые, выйдя на историческую арену достаточно поздно, тем не менее смогли утвердить себя как городские центры, несмотря подчас, на могущественное соседство. Таков, в частности, северонемецкий ганзейский Букстехуде. Возникший в XIII в. на стыке плодородных нижненемецких маршей и скотоводческой области, расположенный на судоходном притоке Эльбы, открывавшем выход к морю, этот город быстро набрал силу, став не только одним из важных звеньев в транзитной торговле (зерном, шерстью, продуктами питания), но и хозяйственным центром обширной округи. Здесь рано оформились многочисленные и политически влиятельные ремесленные корпорации, сложилась собственная правовая традиция. Расположенный по соседству с Гамбургом, Букстехуде вплоть до XV в. успешно сопротивлялся мощному давлению с его стороны.

**«Новые» малые города XV—XVI вв.: симптом «угасания» или видоизменение форм средневекового урбанизма?** Концепция упадка города в позднее Средневековье имеет немало приверженцев в зарубежной медиевистике. Показателем уровня интереса к этой проблеме служит, в частности, то, что именно ей был посвящен один из пленарных докладов и специальная Секция на IX Международном конгрессе по экономической истории (Берн, 1986 г.).

В качестве одного из «ярких» симптомов «угасания» в XV—XVI вв. средневекового урбанизма (наряду с прогрессирующим ограничением городской автономии, трансформацией цехов и

коммунальных институтов, изменениями в социальной и имущественной структуре городского населения и т.п.) указывают обычно на малые города, распространение которых в названные столетия действительно приобрело характер массового явления.

«Временем малого города» называет, в частности, Х. Штооб период с 1300 по 1450 г. По его подсчетам, уже к началу эпидемии чумы (1330—1340 гг.) малые города (от 800 до 2000 жителей) и так называемые «карликовые и неполноценные» городские агломерации с числом жителей менее 800 человек составили ок. 66% городов от общего их числа, объединив свыше 60% городского населения Центральной Европы. Близкие этим соотношения фиксируют исследователи в Польше, Чехии, Словакии. В Тоскане начала XV в. основную массу городов составляли агломерации с населением до тысячи жителей, в которых, как уже отмечалось, проживало около 34% городского населения области в целом<sup>69</sup>

При оценке новых малых городов обычно подчеркивают домениальный характер их происхождения, связывая с этим их хозяйственную нестабильность, зачастую кратковременность существования, правовую неполноценность, как отражение все той же хозяйственной слабости и «неразвитости». Конечно, примеров этого более чем достаточно. Но взятые сами по себе, вне контекста системных процессов позднего Средневековья, примеры эти мало что дают для понимания природы феномена «новых» малых городов.

Не менее рискованно было бы возводить в ранг градообразующего фактора позднего Средневековья и инициативу локальных или территориальных феодальных властей даже там, где она особенно бросается в глаза: в Юго-Западной Германии, Саксонии и Тюрингии, Франконии и Гессене, области Миттельгебирге, чешско-моравских землях, в Польском и Венгерском королевствах.

В тех случаях, когда появляется возможность сопоставить распространение новых малых городов с конкретными, протекающими в данной области хозяйственными, социальными, политическими процессами, обнаруживается воздействие более глубоких и сложных взаимосвязей. Так, согласно данным исследования польского урбаниста Я. Веселовского, распространение новых малых городов в Великой Польше приходится на последние десятилетия XIV в. и приобретает массовый характер в 1400—1450 г. (17 новых городков каждые десять лет) — как раз тогда, когда эта историческая область вступает в новый этап экономического развития и оказывается в центре пересечения новых главных путей общеевропейской торговли массовым товаром, продуктами питания, прежде всего — зерном и мясом<sup>70</sup>. Новые городки — в мас-

се магнатские и шляхетские — центры доменов. Но одновременно зачастую — это этапы на пути дальних торговых транспортов. Это совпадает с тем, что мы уже знаем о росте в эту эпоху товарности домениального хозяйства, включении его в широкие рыночные отношения. Отсюда — особая заинтересованность феодальных собственников в возвышении правового статуса таких центров, в ограждении привилегиями, которые обеспечивали возможность свободной (от регламентации купеческих корпораций) торговли, активными участниками которой были и сами феодалы. Возможность относительно свободной торговли привлекала сюда и крестьян. Материалы исследований Я. Веселовского, Г. Самсоновича позволяют сделать вывод о том, что новые малые города располагались вдоль основных путей пересекавшего Великую Польшу европейского транзита и ее торговых контактов с соседними областями. Однако в массе своей, особенно в XV в., сосредотачивались эти городки на путях локального обмена. Важно также и то, что многие из них вели свое происхождение от поселений (приходские села, деревни), выполнявших функции городских и сезонных ярмарочных центров задолго до официального оформления их городского статуса.

Данные картографического анализа городской сети Великой Польши в эти же столетия проливают свет и на другое обстоятельство, важное для понимания феномена новых малых городов также и в других европейских регионах. На первой стадии своего распространения они заполняли лакуны внутри провинциальных городских систем, способствуя их уплотнению особенно в зонах, хозяйственно более развитых. В дальнейшем, малые города распространяются на соседние области, не знавшие или почти не знавшие урбанизации. Это сопровождалось установлением стабильных хозяйственных взаимосвязей между отдельными, до того замкнутыми на самих себе провинциальными городскими системами. Итогом было сложение к концу XVI в. достаточно плотной и в целом стабильной городской системы в этой области. На эту роль новых малых городов в оформлении региональных и областных городских систем и их взаимосвязей указывают также и материалы исследований французских медиевистов.

В этой связи возникает вопрос: всегда ли замедление ритма новых городских локаций, фиксируемое исследователями, в частности в тех же польских или немецких землях со второй половины XV—XVI в. может рассматриваться как проявление упадка городского развития? Не является ли замедление темпа урбанизации в некоторых случаях, напротив, показателем известной «насыщенности городами» данной страны, области и отсутствия в этот

период хозяйственной потребности в новых агломерациях? Характерно, что в той же Великой Польше редкие уже в XVI—XVII вв. новые городские локации появлялись преимущественно в пограничных районах и там, где прежде не было локальных рынков.

В контексте городской системы конкретной территории следует, видимо, оценивать и исчезновение части мелких городов. Несомненно, они больше были подвержены опасностям, связанным с войнами; в первую очередь становились жертвами изменения хозяйственной конъюнктуры и т.п. Исчезали прежде всего те из них, которые меньше были защищены в правовом отношении, слабо укоренены локально, в ком, наконец, исчезала потребность у их владельцев. Но как сказывались эти потери на состоянии и функционировании городской сети в целом? Там, где она сформировалась, как, например, в той же Великой Польше, (или в Саксонии, Вестфалии, Рейнской области, Швабии), исчезновение некоторого числа малых городов не вело обязательно к принципиальным изменениям, отражаясь в основном лишь на иерархии ее отдельных звеньев.

Проблема нестабильности положения многих новых малых городов позднего Средневековья имеет, однако, и другой аспект. В частности, не является ли эта нестабильность обратной стороной (или следствием?) их способности порой быстро адаптироваться к новым, иногда чрезвычайным условиям хозяйственной жизни, демографической ситуации, политической обстановке и, особенно, — к потребностям спроса?

Яркие примеры подобной адаптационной способности дает, в частности, история городской Франции, причем в самые черные периоды Столетней войны: это уже упоминавшиеся выше бурганды графства Бигорры, пиренейских княжеств, городки провинции Бурбоннэ, Бретани, поднявшиеся к активной торгово-промышленной деятельности в 20—50-е годы XV столетия благодаря своей позиции нейтралитета.

Становление новых малых городов в ряде областей и территорий явственно обнаруживает к тому же воздействие новых силовых линий и центров европейской хозяйственной жизни. Так, рост со второй половины XV в. мелких городков в Артуа и Шампани, расширении их сети в Швабии, Эльзасе, Хагенау было обусловлено импульсами, исходившими от новых европейских промышленных и финансовых центров — Лиона, Аугсбурга, Нюрнберга, Ульма. Сеть новых мелких городов в Верхней Германии, Западной Швейцарии была вызвана к жизни открытием новых путей европейской транзитной торговли через альпийские перевалы (Йохберг, Шплюген) и потребностями фрахтового обслуживания.



Появление новых малых городов в известной мере несомненно было связано также с глубинными процессами трансформации феодального способа производства и производственных отношений. Как уже отмечалось, позднее Средневековье было временем повсеместного ужесточения городских корпоративных структур и их монополии в хозяйственной жизни, «замыкания» цехов, но одновременно — и подъема предпринимательской активности. Особенно интенсивно этот процесс протекал в старинных метрополиях, крупных и средних городских центрах. Напротив, в новых, тем более мелких, городах давление традиции до поры до времени было слабее, а возможности использования новых технологий, освоения новых видов массовой продукции, расширения объема и рамок производства — больше. Пример тому — мелкие фландрские центры нового сукноделия или швабские городки, специализировавшиеся на производстве хлопчатобумажных тканей, шелковой нити.

Не случайно система раздач и рассеянная мануфактура рейнских и верхнегерманских центров экспортного производства наложились на ремесленное производство не только деревни, но и небольших городов как непосредственной округи, так и отдаленных областей. Это имело следствием (по данным Ирзиглера по Кельну и Г. Аммана по Нюрнбергу) развитие разделения труда в сфере промышленного производства между большими городами и локальными городскими центрами. Мелкие городки в ареале мощного хозяйственного воздействия экспортного центра специализировались на производстве полуфабрикатов (шерстяной или хлопчатобумажной пряжи, проволоки и т.д.), некоторых видов массовых изделий из металла (ножи, мечи, котлы, предметы домашней утвари), ходовых сортов грубых сукон, возделывании технических культур<sup>71</sup>. Полуфабрикаты получали окончательную отделку в мануфактурных мастерских городских предпринимателей; через них же поступала на дальние рынки основная масса изделий промышленного производства и сырье.

Однако, как уже отмечалось в другой связи, вовлечение ремесленного населения мелких городов в орбиту предпринимательской деятельности купечества крупных экспортных центров не лишало мелкие города самостоятельности. Как показывает история фландрского сукноделия или швабского производства хлопчатобумажных тканей, о чем говорилось уже выше, они жили полнокровной хозяйственной жизнью, имели собственную монопольную зону локальной активности и выход на дальний рынок. Вместе с крупным городом провинции, к которой они экономически тяготели, эти малые города образовывали хозяйственный и культурный «универсум».

В контексте региональной истории подчас в ином свете предстает и природа правовой «неполноценности» многих новых городов, на которую так любят ссылаться исследователи, связывающие новые малые города с «закатом» средневековой урбанизации и акцентирующие их политическую и хозяйственную несостоятельность. При более пристальном рассмотрении можно обнаружить, что эта политическая неполноценность отнюдь не всегда была адекватна реальной, порой весьма значительной, важности агломерации и фактически центральному характеру ее функции. Исследования, в частности бурговых городов, рыночных местечек и «вольных поселений» в некоторых землях Юго-Западной Германии XV—XVI вв. утверждают в мысли, что «правовая неполноценность» многих из них — отражение не столько вырождения средневекового урбанизма в эту эпоху, сколько стремления набирающей силу территориальной власти приспособить объективный процесс урбанизации в регионе к своим нуждам и интересам.

В этом отношении показательна ситуация, сложившаяся в графстве Арнсберг (Южная Вестфалия) с его системой бурговых городков, крепостей и «вольных поселений». Исследовавший этот регион видный немецкий ученый-урбанист В. Эбрехт показывает, что эта система строилась с ориентацией на хозяйственное освоение края и с учетом естественно сложившейся специализации отдельных районов (агрикультура, лесное хозяйство, горнорудный и плавильный промыслы) и локальных хозяйственных связей и центров, так же как и пролежавших неподалеку путей надрегионального обмена и европейского транзита<sup>72</sup>

Одновременно предусматривалось обеспечение потребностей территориальной власти: расширение территории господства, защита ее границ и важнейших жизненных центров, а также ограничение роста самостоятельности бюргерства. Первое достигалось возведением укрепленных городков с широкими рыночными и иными привилегиями в пограничных районах; строительством системы крепостей вблизи горных перевалов, речных переправ, в тесном соседстве, наконец, со спонтанно выросшими там поселениями с городскими функциями. Второе — дифференцированным наделением этих агломераций городскими правами, привилегиями, «свободами», которые предоставлялись таким образом, чтобы наиболее сильные и перспективные локальные центры оказывались обладателями только «свобод», что исключало, например, право проведения рынка, ярмарок, самостоятельного выбора судей и членов городского совета. Вся система «дарования» городских прав и привилегий в графстве фактически была ориентиро-

вана на то, чтобы не лишая локальные центры возможности хозяйственного роста, обеспечить монопольные права и центральное положение города-резиденции Арнсберга.

Пример бурговых городков и «вольных поселений» графства Арнсберг, так же как и разнообразных форм «неполноценных» городов в ряде других немецких территорий, позволяет утверждать, что под шапкой «негородских» правовых наименований выступали подчас агломерации, обладавшие широким спектром центральных городских функций. В массе это действительно центры доминиального и территориального управления, но также — и локальные центры хозяйственной жизни края: торговли зерном, скотом, салом, винами, ремесленными изделиями. Однако их правовой статус, возвышая административно, исключал, как правило, рост политической самостоятельности их жителей.

Таким образом, как показывает рассмотренный нами в данном разделе материал, феномен новых малых городов плохо укладывается в рамки однозначной негативной оценки их как симптома упадка средневекового урбанизма. То, что уже известно о их хозяйственной жизни, роли в становлении и функционировании провинциальных городских систем, о природе правовой «неполноценности» некоторых их типов и т.п. убеждает, что речь идет о специфической урбанизационной форме, пребывавшей в соответствии с хозяйственными, социальными, политическими реалиями европейской жизни той эпохи.

Во всяком случае, их связь с мощной экспансией рыночных отношений и товарного производства как на Западе, в «центре» европейского средневекового мира, так и в его «периферийных и полупериферийных зонах» (если воспользоваться терминологией Валлерстайна) бросается в глаза. Показательно, что максимум их распространения приходится на период формирования основ общеевропейского рынка и «европейской мировой хозяйственной системы»<sup>73</sup> В этом контексте новые малые города в равной мере и продукт, и носитель, и показатель интенсивности этого процесса, так же как и его региональной специфики. Думается, есть достаточно оснований полагать, что новые малые города, во всяком случае начиная с середины — второй половины XIV столетия, — суть одно из проявлений трансформации средневекового урбанизма в ответ на те структурные изменения, которые сопровождали переход от классического феодализма высокого Средневековья к новому, переломному этапу его истории и которые подготовили основы капиталистического развития. С этой точки зрения, новые малые города не столько симптом «угасания» средневекового урбанизма, сколько, пожалуй, одно из свидетельств «долгого Средне-

вековья», предостерегающее от односторонней модернизации истории XV—XVI и даже XVII столетий.

Переломные периоды европейской истории, пишет Ф. Бродель, так или иначе всегда отражались на городе, а моменты роста обнаруживали себя во взрыве урбанизации. Движение при этом было обоюдным: город настолько же порождал подъем, насколько сам был им порожден. Но даже если город не был единственной причиной подъема, он обращал его к своей выгоде<sup>74</sup>. Эта линия развития давно привлекает внимание историков-урбанистов. Однако преимущественный интерес к внутригородским процессам, при том, как правило, в единичных средних и крупных центрах, дальней торговли, экспортного производства заслоняет перед исследователями другой аспект проблемы — движение в целом средневековой урбанизации как специфического феномена, ее видоизменения во времени и ее региональные, конкретно-исторические особенности.

Именно это обстоятельство, на мой взгляд, прежде всего сказывается на трактовке новых малых городов. Но одновременно так или иначе дают о себе знать и стереотипы правового подхода к определению понятия средневекового города в целом, так же как и предпочтение, оказываемое исследователями количественным критериям (площадь, занимаемая городом, численность населения).

Вместе с тем, как убеждает рассмотренный нами материал, очевидно, что проблема «малого города» — это проблема городской системы в целом: присущего ей порога урбанизма (и урбанизации в функциональном смысле), иерархии ее отдельных звеньев и эволюции во времени. Но одновременно это также проблема конкретно-исторического развития области, территории, региона, страны, — происходивших там экономических изменений, социокультурных, демографических, политических процессов, — иными словами: тотальной (глобальной) истории — культурантропологического синтеза\*.

---

\* Мысль о важности изучения малых городов «широким фронтом» как общеевропейского феномена с целью как уточнения дефиниции самого понятия «город», так и выяснения в этом контексте их собственной специфики впервые была сформулирована в ходе дискуссий на Международном colloquium в Бордо (октябрь 1985 г.), организованном по инициативе Центра городских исследований университета Бордо III и Национального центра научных исследований. По мнению Ж.-П. Пуссу, одного из руководителей colloquium, эта работа должна разворачиваться по двум фундаментальным направлениям: хронологическом — реконструкция для каждого из основных исторических периодов (Средневековья, раннего Нового времени и современности), описи малых городов с указанием

Рассмотренный комплекс вопросов далеко не исчерпывает проблемы малого города. Для понимания его как феномена европейской средневековой урбанизации и городской цивилизации важно уяснение также таких сторон его жизнедеятельности, как, например, правовой статус малых городов и их взаимодействие с феодалами и государством, особенности корпоративной организации ремесленного производства, специфика социальной структуры и особенности микроструктур, типа семьи и т.д. И здесь малый город обнаруживает чрезвычайное разнообразие местных форм: от широкого спектра рыночных свобод и иных привилегий до городского самоуправления и привилегий, зафиксированных в городском праве; от резиденции территориальной светской или церковной власти, центра вотчинного управления до статуса коммуны и собственной экспансии против еще более мелких поселений и феодального замка; от личной зависимости и тяжелых форм сеньориальной эксплуатации, включая натуральные и отработочные повинности, до положения имперского города с развитым патрициатом.

Важен и такой типологический аспект темы, как особенности развития и функционирования малых городов в областях колонизации и в странах с глубокой городской традицией. В Англии, например, «новые» малые города, возникшие в ходе мощного процесса внутренней колонизации, свободные от традиций и тесно связанные с растущей деревней, стали двигателями прогресса, и именно здесь создались впоследствии наиболее благоприятные условия для формирования раннекапиталистических форм.

---

верхней и нижней граней численности населения и выделением хронологических и региональных вариаций; национальном, по странам — составление описей малых городов в этом случае должно учитывать их локальную региональную специфику<sup>75</sup> Одним из конкретных воплощений этой идеи стал исследовательский проект Центра городских исследований Лейчестерского университета «Экономические и социальные тенденции эволюции английских малых городов, 1600—1850 гг.», поддержанный историками-урбанистами Нидерландов, Германии, Франции, Бельгии и Швеции, выдвинувших в плане сравнительного анализа свои национальные программы изучения малых городов. Одна из их задач — базы серий данных о хозяйственной жизни и экономике малых городов, численности их населения, его занятиях и занятости, социoproфессиональной структуре, городских элитах, формах административного управления и других аспектах жизни малых агломераций и их изменениях в длительной временной перспективе. Это открывает возможность, по мнению инициаторов проекта, в частности, для выявления и уяснения характера изменений на уровне микро- и макроэкономики стран и отдельных регионов, подготовивших индустриальную революцию, и роли в этих процессах малых городов (см. Очерк I).

Изучение малых городов, тем более в плане сравнительного анализа, регионального и типологического, находится еще на начальной стадии. Вместе с тем некоторые общие линии феномена «малый город» обозначились уже достаточно рельефно, и об этом следует сказать в заключение.

Даже то, что мы знаем о малых городах, свидетельствует о том, что проблема малого города — проблема не индивидуальных городских судеб, но средневековой урбанизации в целом — ее специфики, особенностей локально-регионального развития, ее изменений во времени. Средневековый город как новый тип поселения, наделенный особыми экономическими, административными, культурными функциями, рождается из локальных потребностей, и малый город как стадия роста — неотъемлемый элемент процесса средневековой урбанизации с самого ее начала и ее носитель. Это — те рыночные и бурговые городки, которые с середины XII—XIII в. во множестве вырастают у стен крепостей, монастырей практически повсюду в Европе. Но это и те городки, которые под разнообразными правовыми наименованиями создавались в XIII—XVI вв. в ходе сложных процессов внутренней колонизации, расширения и упрочения феодального господства на локальном уровне, сопровождавшем переход к зрелому феодализму или формирование территориальной государственности и перестройки сеньориально-домениального хозяйства в период позднего Средневековья. Но от малого города как стадии роста следует отличать малый город как модель, тип урбанизации. В средние века в этом качестве малый город был присущ и отдельным регионам и целым европейским странам. Это — Италия (особенно Южная) и Испания, французские Прованс и Лангедок, Швейцария, альпийские районы Австрии и Юго-Западной Германии, где распространенность малых форм урбанизации не в последнюю очередь связана, видимо, со спецификой географических условий, экономического развития и типом хозяйства. В восточных областях Центральной Европы, западнославянских землях, преобладание малых городов было обусловлено сложным комплексом причин, в том числе и особенностями заселения и освоения этих территорий, демографических процессов, формирования домениальной системы и феодальной государственности. В некоторых странах Западной Европы малые города — массовый феномен XIV, и особенно XV—XVI вв. В частности, во Франции наибольшее распространение получили они в Бретани, Центральном районе, особенно в долине Луары. С развитием «нового» сукноделия, изменениями основных направлений международной торговли и экономическим возвышением новых областей страны

связывают эту волну урбанизации французские историки. Но малые города возникали и в старинных областях урбанизации, заполняя лакуны в городской сети, образовавшиеся в период Черной смерти.

Создается впечатление, что малые города активнее и динамичнее были в областях и странах с относительно немногочисленными крупными городами, как, например, в Англии или Юго-Восточной и Центральной Европе, где малые города преобладали, выполняя важные хозяйственные и культурные функции и где подчас крайние формы феодальной зависимости сильно деформировали их политико-правовое развитие. Но в зонах, достаточно урбанизированных и экономически ведущих, таких, как Фландрия или Северная Италия XIII—XIV вв., Швабия XV—XVI вв., они были полнее выражены экономически и в правовом отношении именно как города. Но как бы то ни было, малые города — не выражение слабости или недостаточности городского развития. Это полноправная форма средневековой урбанизации, объективно обусловленная социально-экономическими и политическими процессами средневекового общества в период развитого феодализма и, может быть, наиболее гибко реагирующая на его хозяйственные нужды. Во всяком случае, органическая интегрированность средневекового города в феодальную систему и потребность в нем этой последней особенно выразительна на уровне именно «малых» городов. Соответственно их судьбы и специфика функционирования в более поздний период не могут быть должным образом оценены без учета сложных процессов, сопровождавших разложение феодальных общественных отношений, создание предпосылок капиталистического развития и государственности Нового времени.

### Примечания

<sup>1</sup> *Imhof A.* Einführung in die historische Demographie. München: Beck, 1977. S.11.

<sup>2</sup> См.: *Imhof A.* Op. cit. S.12. См. также: *Бессмертный Ю.Л.* Жизнь и смерть в средние века: очерки демографической истории Франции. М., 1991. С.7—71. *Shuler Th.* Familie im Mittelalter//Die Familie in der Geschichte. Göttingen. 1982.

<sup>3</sup> *Reinke H.* Bevölkerungsproblem der Hansestädte, 1951//Die Stadt des Mittelalters. Bd 3. 1976. S.256—303.

- <sup>4</sup> См.: *Le Goff J. L'apogée de la France urbaine médiévale 1150— 1330 // Histoire de la France urbaine... T.2. P.18—19; 194—197.*
- <sup>5</sup> *Petri F. Heinz Stooß. Begriff der «Exulantenstadt» im Lichte der neueren Forschung: Zur Entstehung der frühneuzeitliche Festungen und Stadtbefestigungen in den nördlichen Niederlanden zwischen 1570 und 1680 // Civitatum communitas Köln; Wien, 1984. Teil 2. S.844—866.*
- <sup>6</sup> См.: *Тушина Г. М. Исследование демографических особенностей городов Прованса XIV—XV вв. в современной историографии (конец 70-х — начало 80-х гг.) // Демография западноевропейского средневековья... С.236—237, 239.*
- <sup>7</sup> *Higounet-Nadal A. Families patriciennes de Périgueux a la fin du Moyen Âge. P., 1983; Idem. Périgueux aux XIVe et XVe siècles: Etude de démographie historique. Bordeaux, 1978.*
- <sup>8</sup> *Herlihy D., Klapisch-Zuber Ch. Les Toscans et leurs familles: Une étude du «Cadasto» florentin de 1427. P., 1978. P.364—367.*
- <sup>9</sup> *Бессмертный Ю. Л. Жизнь и смерть в средние века...; Женщина, брак, семья. До начала Нового времени. М., 1993.*
- <sup>10</sup> В этой связи обращают на себя внимание работы английской медиевистки Д. Хьюджс, в которых предпринимается попытка реконструировать систему отношений родства и ее функционирование на разных социальных уровнях городского населения. См.: *Hughes D.-O. Urban growth and family structure in Medieval Genoa // Past and present. Oxford, 1975. N 66; Idem. Kinsmen and Neighbors in Medieval Genoa // The Medieval city. New Haven; L., 1978; См. также: Famille et parenté dans l'Occident médiéval. P., 1977; Rüthing H. Die Familie in einer deutschen Kleinstadt am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit // Familie zwischen Tradition und Moderne: Göttingen, 1981; Maschke E. Die Familie in der deutschen Stadt des späten Mittelalters. Heidelberg, 1980. См. также: Демография западноевропейского Средневековья в современной зарубежной историографии. С.195—217.*
- <sup>11</sup> См.: *Bloch M. La société féodale: La formation des liens de dépendance. P., 1939. P.191, 206, 216—217.*
- <sup>12</sup> *Violante C. Quelques caractéristiques des structures familiales en Lombardie, Emilie et Toscane aux XI-e siècles // Famille et parenté...; Cammarosano P. Les structures familiales dans les villes de l'Italie communale (XII-e — XIV-e siècles) // Ibid.; De la Roncière Ch.-M. Une Famille florentine au XIV-e siècle: Les Velluti // Ibid.; Rosetti G. Histoire familiale et structures sociales et politiques à Pise aux XI-e et XII-e siècles // Ibid.; Luzzato M. Familles nobles et familles marchandes à Pise et en Toscane dans le Bas Moyen Âge // Ibid.*
- <sup>13</sup> См.: *Бессмертный Ю. Л. Структура крестьянской семьи во франкской деревне IX в. // Средние века. М., 1980. Вып.43. С.32—38.*
- <sup>14</sup> *Guerreau-Jalabert A. Sur les structures de parenté dans l'Europe médiévale: (Note critique) // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations. P., 1981. N 6. P.1034.*
- <sup>15</sup> *Bloch M. Op. cit. P.194—195.*
- <sup>16</sup> *Bloch M. Op. cit. P.220.*



- <sup>17</sup> См.: *Duby G.* *Lingnage, noblesse et chevalerie* // *Annales: Économies. Sociétés. Civilisations.* P., 1972. N 4/5. P.803—824.
- <sup>18</sup> *Cammarosano P.* *Op. cit.* P.182; См.: *Bellomo M.* *Die Familie und ihre rechtliche Struktur in den italienischen Stadtkommunen des Mittelalters (12.-14. Jahrhundert)* // *Haus und Familie in der spätmittelalterlichen Stadt. Köln-Wien, 1982.* S.102—106, 112—126.
- <sup>19</sup> См.: *Bloch M.* *Op. cit.* P.216—217, 220.
- <sup>20</sup> См.: *Hughes D.-O.* *Op. cit.* P.9—11, 16, 19—20; см. также: *Cammarosano P.* *Op. cit.* P.182; *Ortalli Ch.* *La famille à Bologne au XIII-e siècle entre la réalité des groupes inférieurs et la mentalité des classes dominantes* // *Famille et parenté...* P.215.
- <sup>21</sup> *Абрамсон М. Л.* *Крупные города Апулии XII—XIII вв.: (Бари и Барлетта)* // *Средние века. М., 1985. Вып. 48. С.47—70.*
- <sup>22</sup> См.: *Rosetti G.* *Op. cit.* P.175—178.
- <sup>23</sup> *Herlihy D., Klapisch-Zuber Ch.* *Op. cit.* P.537—543.
- <sup>24</sup> *Roncier Ch.* *Op. cit.* P.230, 233, 234—237.
- <sup>25</sup> См.: *Herlihy D.* *Family and property in Renaissance Florence* // *The Medieval city. New Haven; L., 1978.* P.3—24.
- <sup>26</sup> См.: *Violante G.* *Op. cit.* P.118-121; см. также: *Diskussion* // *Famille et parenté. [ dans l'Occident médiéval]* P.195—204.
- <sup>27</sup> См.: *Schuler Th.* *Op. cit.* S. 35—36.
- <sup>28</sup> См.: *Rüthing H.* *Op. cit.* S.27—32; см.: *Maschke E.* *Op. cit.* S.65—85 и др.
- <sup>29</sup> См.: *Herlihy D.* *Viellir au Quattrocento* // *Annales: Économies. Sociétés. Civilisations.* P., 1969. N 6. P.1342—1344.
- <sup>30</sup> См.: *Richet D.* *Familiales Verhalten der Eliten in Paris in der 2. Hälfte des 16. Jh.* // *Quellen und Probleme.* S.44—45.
- <sup>31</sup> См.: *Roncière Ch.-D.* *Une famille florentine au XIV-e siècle...* P.246—247; *Herlihy D., Klapisch-Zuber Ch.* *Op. cit.* P.544.
- <sup>32</sup> См.: *Regesten der Lübecker Bürgertestamente des Mittelalters...* Bd 2, N 862, 864, 941 и др.
- <sup>33</sup> *Brandt A.* *Lübeck, Hanse, Nordeuropa: Gedächtnisschrift für Ahasver Brandt. Köln; Wien, 1979.* S. 349—350.
- <sup>34</sup> *Samsonowicz H.* *La Famille noble et la famille bourgeoise en Pologne aux XIII-e siècles* // *Famille et parenté...* P.309—317.
- <sup>35</sup> *Rüthing G.* *Op. cit.* S.33; *Regesten der Lübecker Bürgertestamente des Mittelalters.* T.1, N 3, 11, 23, 40, 84, 557, 571, 865, 867 и др.
- <sup>36</sup> См.: *Herlihy D., Klapisch-Zuber Ch.* *Op. cit.* P.552.
- <sup>37</sup> *Maschke E.* *Die Familie in der deutschen Stadt...* S.11—12.
- <sup>38</sup> *Rüthing H.* *Op. cit.* S.33.
- <sup>39</sup> *Bloch M.* *Op. cit.* P.191.

<sup>40</sup> Белов Г. Городской строй и городская жизнь средневековой Германии. М., 1912. С.10—11.

<sup>41</sup> Ammann H. Die schweizerische Kleinstadt in der mittelalterlichen Wirtschaft // Festschrift Walter Merz. Aarau, 1928; Idem. Die Bevölkerung der Westschweiz im ausgehenden Mittelalter // Festschrift Friedrich E. Welti. Aarau, 1937. Но главные работы Г. Аммана по данной теме приходится уже на послевоенные годы: Ammann H. Wirtschaft und Lebensraum einer aargauischen Kleinstadt im Mittelalter // Festschrift R. Bosch. Aarau, 1964; Idem. Über das Waadtländische Städtewesen im Mittelalter und über Landschaftliches Städtewesen in allgemeinen // Schweiz. Ztschr für Geschichte. Zürich, 1954. Jg. 4, N 1. S.1—87; Idem. Das schweizerische Städtewesen des Mittelalters in seiner wirtschaftlichen und sozialen Ausprägung // La ville/ Bruxelles, 1955. T.7. P. 483—529.

<sup>42</sup> См.: Stoob H. Minderstädte: Formen der Stadtentwicklung im Spätmittelalter // Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Wiesbaden, 1959. S.1—28; Agulhon M. La notion de la village en basse Provence vers la fin de l'Ancien régime // Bull. philol. et hist. P., 1965.

<sup>43</sup> См.: Косминский Е. А. Исследования по аграрной истории Англии XIII в. М., 1947. С.391—395. Он же. Были ли XIV—XV вв. временем упадка европейской экономики? // Средние века. М., 1957. Вып.10; Курбатов Г. Л. Выступление в дискуссии // La ville balkanique XV-e — XIX-e siècles. Sofia, 1970. P.193—195. Сванидзе А. А. Город и рынок в Швеции XIII—XV вв. М., 1980.

<sup>44</sup> Heitz G. Zur Rolle der kleinen mecklenburgischen Landstadt in der Periode des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus // Hansische Studien B., 1961. S.103—122; Wölfling G. Beziehungen der Kleinstädte des oberen Werratal zu ihren ländlichen Umgebung vom 15. bis zur Mitte des 16. Jh. // Europäische Stadtgeschichte im Mittelalter und früher Neuzeit. Weimar, 1979. S.259—298; Vetter K. Die soziale Struktur brandenburgischer Kleinstädte im 18. Jh. // Preussen in der deutschen Geschichte vor 1789. B., 1983. S.147—148; см. также: Ястребицкая А. Л. Международная конференция о роли малых городов Европы в Средние века и в начале Нового времени (Бауцен, 1984) // Вопросы истории. М., 1985. N 9. С.149—151.

<sup>45</sup> См.: Chevalier B. Debats // Les petites villes du Moyen-Âge à nos jours. P. 1987. P.483—487, 488, 490, 492—493.

<sup>46</sup> Genicot L. Le XIIIe siècle. P., 1968. P.128—130; Desport P. Les villes // La France médiévale / Ed. J. Favier. P., 1983. P.201—202; Le Goff J. L'apogée de la France urbaine médiévale // Histoire de la France urbaine. P., 1980. T.2. P.220, 300.

<sup>47</sup> Haase C. Die Entstehung der westfälischen Städte. Münster, 1958. S.38, 97, 65, 76; Le Goff J. Ordres mendiants et urbanisation dans la France médiévale // Annales: E. C. S. 1970. N 4. P.932; Stoob H. Forschungen zum Städtewesen in Europa. Köln, 1970. Bd 1. S.226—245.

<sup>48</sup> Le Goff J. L'apogée de la France urbaine médiévale... P.403; Idem. Ordres mendiants et urbanisation... P.932—935; Baratier E. La démographie Provençale du XIIIe siècle. P., 1961.

<sup>49</sup> Herlihy D., Klapisch-Zuber Ch. Op. cit. P.227—231.

<sup>50</sup> *Claud D.* Die Anfänge der Wiederbesiedlung Innerspaniens // Die Deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europäischen Geschichte. Sigmaringen, 1975. Bd 18. S.624.

<sup>51</sup> *Kühn W.* Die deutschrechtlichen Stadtgründungen in Kleinpolen // Die mittelalterliche Städtebildung im südöstlichen Europa. Köln; Wien, 1974. S.66—70.

<sup>52</sup> *Idem.* Westslawische Landesherren als Organisatoren der mittelalterlichen Ostsiedlung // Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters... S.241, 249; *Lalik T.* La genèse du réseau urbain Pologne médiévale /// P.97—98; *Samsonowicz H.* Późne średowiecze miast nadbałtyckich. Warszawa, 1968. P.73—108.

<sup>53</sup> *Menzel J.-J.* Stadt und Land in der schlesischen Weichbildverfassung // Die mittelalterliche Städtebildung im südöstlichen Europa... S. 20—23, 32—37.

<sup>54</sup> *Le Goff J.* L'apogée de la France urbaine médiévale... P.197; *Schindler M.* Buxtehude: Studien zur mittelalterlichen Geschichte einer Gründungsstadt. Wiesbaden, 1949. S.48.

<sup>55</sup> *Lalik T.* La genèse du réseau urbain en Pologne médiévale... P.113—117; *Le Goff J.* Ordres mendiants et urbanisation... P.939. *Chevalier B.* Les bonnes villes de France du XIV<sup>e</sup> au XVI<sup>e</sup> siècle. P., 1982. P.7—8; *Stoob H.* Forschungen zum Städtewesen in Europa. S.226—245; *Ehbrecht W.* Territorialwirtschaft und städtische Freiheit in der Grafschaft Arnberg // Zentralität als Problem... S.133—164.

<sup>56</sup> *Haase C.* Das mittelalterliche Stadt als Festung // Die Stadt des Mittelalters. Darmstadt, 1975. Bd 1. S.394—395, 398; *Raisch H.* Stadterweiterung und Vorstadt in historisch-geographischer Sicht, dargelegt am Beispiel einiger Kleinstädte // Stadt und Vorstadt. Stuttgart, 1969. S.80—84, 88—89; *Gutcas K.* Das österreichische Städtewesen im Mittelalter // Die mittelalterliche Städtebildung im Südöstlichen Europa. Köln; Wien, 1977. S.134—163.

<sup>57</sup> *Le Goff J.* L'apogée de la France urbaine médiévale... P.198; *Chevalier F.* Les bonnes villes de France du XIV<sup>e</sup> — XVI<sup>e</sup> siècle... 1985. P.7—8; *Menzel J.-J.* Op. cit., S.32—37; *Higounet Ch.* Zur Siedlungsgeschichte Südwestfrankreichs... S.680, 688—689; *Le Goff J.* L'apogée de la France urbaine médiévale... P.198—222.

<sup>58</sup> *Herlihy D., Klapisch-Zuber Ch.* Op. cit. P.246; *Duby G.* France rurale, France urbaine: Confrontation // Histoire de la France urbaine... T.1. P.18; *Herlihy D., Klapisch-Zuber Ch.* Op. cit. P.247; см.: *Boulet-Sautel M.* La formation de la ville médiévale dans les régions du Centre de la France // La ville. — P.368—369; *Devailly G.* Le Berry: du X<sup>e</sup> siècle au milieu du XIII<sup>e</sup> siècle. P., 1973.

<sup>59</sup> См.: *Kejř J.* Die Anfänge der Stadtverfassung und des Stadtrechts in den Böhmisches Ländern... S.451.

<sup>60</sup> См.: *Басовская Н. И.* Место городов-крепостей (бастил) в гасконской политике Англии конца XIII столетия // Вестник Моск. ун-та. Серия История. 1969. Вып.3. С.90—96; см. также: *Le Goff J.* L'apogée de la France urbaine médiévale... P.198; *Boulet-Sautel M.* Op. cit. P.368—369.

<sup>61</sup> *Le Goff J.* L'apogée de la France urbaine médiévale... P.410; *Wölfling G.* Op. cit. S.260.

<sup>62</sup> См.: Ермолаев В. А. Франконский город в крестьянской войне 1526 г. // СВ. 1654. Вып.5. С.111—138; Бачкай В. О характере и роли аграрных городов в венгерском государстве XV в. // СВ. 1973. Вып.36. С.66.

<sup>63</sup> См., напр., Stoob H. Stadtformen im spätem Mittelalter // Die Stadt... Gestalt und Wandel bis zum industriellen Zeitalter. Wien, 1985. S.153.

<sup>64</sup> Lalik T. Les fonctions des petits villes en Pologne... P.9—14.

<sup>65</sup> См.: Ammann H. Über das Waadtländische Städtewesen... S.67—80; Herlihy D., Klapisch-Zuber Ch. Op. cit. P.283—284.

<sup>66</sup> Boulet-Sautel M. Op. cit. P.367; Ammann H. Das schweizerische Städtewesen des Mittelalters... S.514—521; Nicholas D. M. Town and countryside... P.152—153; Ehbrecht W. Zur politischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung des mecklenburgischen Amtssitzes // Lingen, 975—1975. Lingen (Ems), 1975. S.43—54.

<sup>67</sup> Ammann H. Das schweizerische Städtewesen des Mittelalters... S.514—521.

<sup>68</sup> Баткин Л. М. Период городских коммун // История Италии. М., 1970. Т.1. С.260.

<sup>69</sup> De Maddalena A. Quelques remarques préliminaires sur la ville d'Ancien Regime et son declin (XIVe — XVIe siècles) // Wozu Geschichte und Wirtschaftsgeschichte? Bern, 1988. P.35—44; см. также: English towns in decline 1350 to 1800. 1986; Stoob H. Stadtformen im späten Mittelalter... S.153; Wiesiolowski J. Le réseau urbain en Grande-Pologne aux XIIIe — XVIe siècles. L'espace et la société // Acta Poloniae Historica. Warszawa, 1981. P.5—29; Lalik T. La genèse du réseau urbain en Pologne médiévale... P.97—98; Samsonowicz H. Późne średowiecze miast nadbałtyckich. Warszawa, 1968. P.73—108; Nový R. Poddanská městečka v předhusitských Čechách // Českosl. čas. hist. Praha, 1973. N 1. S.73—109.

<sup>70</sup> Wiesiolowski J. Op. cit. P.10—17; Samsonowicz H. Les foires en Pologne au XVe et XVIe siècles sur la toile de fond de la situation économique en Europe // Der Aussenhandel Ostmitteleuropas 1450—1650. Köln, 1971. P.246—259.

<sup>71</sup> Stromer W. von. Die Gründung der Baumwollindustrie in Mitteleuropa: Wirtschaftspolitik im Spätmittelalter. Stuttgart, 1978; Irsigler F. Stadt und Umland im Spätmittelalter: zur zentralitätsfordernden Kraft von Fernhandel und Exportgewerbe // Zentralität als Problem... S.1—14.

<sup>72</sup> Ehbrecht W. Territorialwirtschaft und städtische Freiheit in der Grafschaft Arnsberg // Zentralität als Problem... S.125—179; см. также: Ehbrecht W. Mittel- und Kleinstädte in der Territorial-Konzeption westfälischer Fürsten: Lippstadt als Modell // Jahrbuch für Regionalgeschichte. Weimar, 1987. T.14. S.104—140.

<sup>73</sup> См.: Wallerstein J. Le système du monde du XVe siècle à nos jours. Paris, 1980. Т.1: Capitalisme et économie-monde 1450—1640. P.7—18, 19—119.

<sup>74</sup> Бродель Ф. Структуры повседневности: Возможное и невозможное. М., 1986. С.509—592.

<sup>75</sup> См.: Les petites villes du Moyen-Âge à nos Jours... P.483—511.

## **УРБАНИСТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. КОМПОНЕНТЫ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ**

Средневековый город, центр экономической активности, есть также центр интенсивного культурного производства. И именно в этой области больше всего проявляется и его своеобразие и особенность положения в средневековом обществе. Город нес в себе особый образ жизни, складывавшийся в полном согласии с материальной и социальной практикой, миром воображения и вкусами его обитателей, с их представлениями о мире и о себе в этом мире. Он выработал свой образ, сконструировал свою систему представлений и свою идеологию. Но одновременно он был той средой и тем пространством, где средневековая культура достигла своего апогея, где она заявила о себе высочайшими художественными образцами, соединившими в себе идею церкви и устремления мирской жизни, новыми формами интеллектуальной деятельности, основанной «на идее науки», и новыми мирскими формами школьного образования как и первым опытом распространения грамотности среди простых людей, созданием университета и распространением книги как инструмента познания. Созидательная культурная мощь города была столь велика, что начиная с XIII в. культура, искусство, религия имеют уже «прежде всего городской облик».

Явивший себя средневековому миру на гребне его развития, город был одним из самых ярких симптомов этого развития и одновременно одним из важнейших его движителей. В констатации этой взаимосвязи и в постановке задачи ее всестороннего изучения заключается одно из высших достижений Новой исторической науки в области медиевистики и средневековой культуры в частности. Последовательное раскрытие системы социокуль-

турных взаимосвязей в городе составляет лейтмотив синтезирующего исследования Ж. Ле Гоффа «Апогей городской Франции 1150—1330». По тонкости и оригинальности анализа, точности и широте постановки проблем это, на мой взгляд, одна из лучших на сегодня работ такого типа. Французский материал в данном случае обладает особой доказательной силой, так как именно Франции и Западной Европе в целом принадлежало первое место в подъеме средневекового мира. Пионерское исследование Ж. Ле Гоффа, как и работы других французских историков-урбанистов направления Новой исторической науки, дают надежную основу для сравнительного анализа и лучшего понимания социокультурных процессов городского развития в высокое Средневековье и последующие столетия в других европейских регионах, в частности в Центральной и в Восточной Европе.

Этот очерк ни в коей мере не претендует на исчерпывающую характеристику средневековой городской культуры. Речь идет здесь лишь о генеральных линиях развития, ее основных характеристиках и компонентах, таких, как представления о времени, пространстве, труде, специфических чертах урбанистического образа жизни и урбанизма в средние века, а также о том, как эта специфика складывалась исторически. Таким образом, мы здесь как бы возвращаемся, но уже на ином, собственно историко-культурологическом, уровне анализа к проблемам генезиса средневекового города, его социальной структуре и т.п. Именно в контексте такого анализа освещаются в очерке и некоторые стороны и элементы городской материальной культуры и повседневной жизни. Отдельный раздел посвящен городскому интеллектуальному производству — школе, университету и его мастерам; новому для Средневековья социокультурному типу человека — интеллектуалам-профессионалам, так же как и новой культурной отрасли — производству книг.

Раскрывая каждую из этих тем, автор стремится, насколько позволяют рамки данной книги, к созданию целостной картины городской жизни как специфической единой социокультурной системы. И представления о времени, пространстве, космосе, и хозяйственная деятельность, и строительство укреплений, и организация внутригородского пространства, власти и управления, и социотопография рассматриваются как взаимосвязанные, тесно переплетающиеся феномены единой культуры. Основное внимание сфокусировано на ключевых моментах собственно городской культуры, общих проблем культуры Средневековья автор касается

лишь частично, в той мере, в какой это диктуется его изложением\*.

## ОВЛАДЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ И ПРОСТРАНСТВОМ

Основой и сердцевиной культурно-созидательной деятельности города является новое восприятие времени и пространства, реализовавшееся в урбанистическом образе жизни. Для того, чтобы оценить это новаторство в полной мере важно представлять себе, как люди средневекового Запада вообще осмыслили эти категории.

Вопрос этот отнюдь не праздный для историка культуры, хотя и непривычный для традиционной историографии. Действительно, вплоть до середины нынешнего столетия проблема пространства относилась историками исключительно к компетенции исторической географии, картографии, экологии, а единственная форма времени, которая их интересовала, это, по меткому выражению А.Я. Гуревича, — «время хронологических и синхронистических таблиц». Вне поля зрения историков долгое время оставались проблемы, волновавшие ученых других областей науки в связи с теорией относительности, с психологией восприятия и т.п., также как и наблюдения лингвистов, антропологов, историков искусств, говорящие о том, что категории времени и пространства имеют не только естественно-научную природу, но и социально-культурную.

Перелом в оценке историками значения изучения пространственно-временных структур исторического прошлого приходится на 60—70-е годы, когда в русле обновляющейся медиевистики утверждается концепция исследования Средневековья как самостоятельной эпохи со специфической системой социальных отношений и культурных представлений, а в практику исторических работ входит новое понятие культуры как всей совокупности творческой деятельности конкретного общества — от производства материальных благ до мифологии и художественных идеалов. Наиболее полно и последовательно это видение исторического прошлого, как отмечалось выше реализовалось в исследованиях историков французской «Школы Анналов» (М. Блока,

---

\* Интересующегося проблемами средневековой культуры читателя автор отсылает к материалам и библиографии специального учебного пособия «Средневековая Европа глазами историков и современников. Книга для чтения. Части I—V. Серия «Всемирная история и культура глазами современников и историков». М., Интерпракс, 1994.

Ж. Ле Гоффа, Ж. Дюби и др.) и их приверженцев в других странах. В отечественной историографии оно заявило о себе в исследованиях историков-медиевистов А. П. Каждана о византийской культуре и А. Я. Гуревича о категориях средневековой культуры<sup>2</sup>. На конкретно-историческом материале авторы раскрыли важность изучения историками «концептуального и чувственного инвентаря культуры» (А.Я. Гуревич) как необходимого условия адекватного истолкования подлинных стимулов социальной и интеллектуальной практики людей исторического прошлого, предостерегая от опасности приписывания не свойственных им мотивов поведения по аналогии с днем сегодняшним.

## ВРЕМЯ

**От церковной звонницы к городскому колоколу.** «Человек не рождается с «чувством времени», его временные и пространственные понятия всегда определены той культурой, которой он принадлежит» (А. Я. Гуревич).

В современном его восприятии время бесконечно и необратимо, оно мыслится как абстракция, как априорное понятие, скрывающее за собой объективную реальность, существующую в природе вне и помимо людей и их деятельности. Мы четко разграничиваем прошедшее, настоящее и будущее. Умеем хорошо измерять время с помощью совершенных технических устройств. Современному общественному сознанию в высшей степени присуще ощущение ценности времени, стремительности его течения. Но подобные представления о времени — достояние общества технически высокоразвитого, они имеют мало общего с тем, как переживалось и воспринималось время людьми так называемого аграрного общества, а ведь именно таким, наряду с первобытным миром и Античностью, являлось Средневековье. Нам, привыкшим жить «не сводя глаз с часов», трудно представить себе ту далекую эпоху, когда часы были редкостью, когда о движении дня и ночи человеку напоминали жаворонок и соловей, звезды и заря, цвет неба и ветер с гор, раскрывающиеся и смыкающиеся чашечки цветов — напоминали, конечно, с большим «приближением». В раннее Средневековье античное искусство строить солнечные и водяные (клепсидры) часы сохранилось только в Византии и в арабском мире. На Западе они были редкостью. И хроника особо отмечает, что арабский халиф Харун ар-Рашид прислал императору Карлу Великому (728—814) в Аахен водяные часы, устроенные довольно сложно.



Уже в древности создалось представление о том, что сутки разделялись на двадцать четыре часа. Считалось, что двенадцать часов принадлежит ночи и двенадцать — дню, который исчисляли от восхода солнца до заката («Не двенадцать ли часов во дне?» — сказал Иисус на пути в Вифанию для воскрешения Лазаря. — Иоанн, XI, 9). Дневные часы подразделяли на четыре части по «три часа» в каждой — на «тричасия». Подобно дневному, ночное время также еще в древности делили на четыре периода — «четыре ночные стражи» (Матф. XIV, 25); «вечер», «полночь», «пение петухов», «утро» (Марк, XIII, 35).

Длина ночных и дневных «часов», однако, оказывалась различной в зависимости от времени года. Сложность измерения времени и немногочисленность часов приводили к тому, что на практике точного отсчета времени не было. Время дня разделялось на ориентировочные периоды — утро, полдень, вечер — с нечеткими границами между ними. Его движение измеряли по продолжительности горения масла в лампаде или лучины. В конце IX в. при дворе англо-саксонского короля Альфреда засвидетельствовано применение свечи в качестве инструмента измерения времени. По длине неизбежно укорачивавшейся свечи измерял ночами протекавшее время и французский король Людовик IX (1214—1270). Этому обычаю следовал и Карл V в XIV в.; обращались к нему и во времена Шекспира. Не было не только точного, в современном понимании, отсчета времени, но и само представление о нем человека Средневековья было иным. Природное время, время, еще не оторванное от солнечного круговорота и связанных с ним явлений, господствовало в представлениях той эпохи вплоть до самого ее исхода, и герои шекспировской драмы живут еще в этом «естественном» времени:

*Джульетта*

Уж ты идешь? Еще не скоро день...  
То соловья, не жаворонка голос  
В твой боязливый слух вонзился звоном...  
Ночью всегда поет он на гранате...  
Поверь мне, милый, это соловей!

*Ромео*

Нет! Жаворонок это — вестник утра,  
Не соловей! Взгляни, любовь моя:  
Завистливые проблески уж ярко  
Край облаков востока золотят...  
Сгорели свечи ночи, день веселый  
Встал на дыбки на высях гор туманных...

*(Пер. Апаллона Григорьева)*

В средневековом доме не было потребности в часах как инструменте, организующем жизненный ритм, точно также как не было сознания самоценности времени как такового у его обитателей, особенно той их части, чьи интересы не выходили за пределы домохозяйства. Человек Средневековья, по выражению М. Блока, «в общем и целом индифферентен ко времени». Рутинная средневековой жизни, постоянное воспроизведение вчерашнего опыта, тесная связанность каждого человека с природным ритмом — все это приводило к тому, что время не ощущалось (в той степени как это свойственно современному общественному сознанию) как ценность. Его «не считали» — и за редкостью измерительных инструментов и потому, что создание товаров, которое предполагает рационально осмысленную затрату времени, еще не стало, как при капитализме, смыслом жизни. Время растекалось на церемонии и празднества, на медленные «хождения», паломничества в дальние страны, молитвы. Время утекало часто в ущерб человеку, но это была другая эпоха, которая не столько измеряла время, сколько жила в «естественном» времени, в органическом ощущении смены утра, полдня и вечера. Разумеется, сеньор мерил время крестьянина на барщине, но мерил не в часах, а, скажем, от зари до зари.

Первым и единственным (почти до XII века) учреждением Средневековья, которое пыталось организовать время, была церковь. На первый взгляд, церковное время, казалось, отличалось от «естественного» времени, противостояло ему. Церковь разделяла сутки не по природным явлениям, а в соответствии с задачами богослужения, ежедневно повторяющего свой круг. Следуя ветхозаветной традиции, она начинала отсчет от заутрени (к концу ночи, с рассветом), а затем с восходом солнца отмечала «первый час» (ок. 5—6 часов) и дальше последовательно «третий час» (утром, ок. 9 часов), «шестой» (приблизительно, в полдень, 12 часов), «девятый» (послеполуденный, ок. 15 часов), вечерню (заход солнца) и так называемую *completa hora* — «завершающий час», знаменовавший конец суточного богослужения. Однако названия служб (первый, третий, шестой, девятый «часы») не должны вводить нас в заблуждение — они отмечали не строго соизмеримые отрезки суток, но начало определенных этапов суточного богослужения, которые, в соответствии с временем природного цикла, по разному фиксировались зимой, весной или летом.

Но церковь сумела материализовать свой счет времени — она отбивала время, «вызывала» его на колокольных. Христианство, пишет Ж. Ле Гофф, благодаря изобретению колокола, дало Западу в VI—VII вв. новый способ обнаружения времени — акустический.

Это изобретение революционизировало церковную архитектуру и дало жизнь новому времени — времени церкви, клириков, монастырскому прежде всего. Канонические (церковные) «часы» при всем их внутреннем произволе оказывались внешней рамкой, подчинявшей себе природное время. Они приобретали иллюзию объективности, поднимаясь над субъективным опытом отдельного человека. Провозглашенное с колоколен время уже не принадлежало органически крестьянину или ремесленнику — это было навязанное извне время господствующего класса. Время обрело, таким образом, социальное содержание.

Конечно, время церкви определяло прежде всего время молитвы и церковного богослужения, но также и трудовых занятий — монастырской братии, конверсов в первую очередь. Вся жизнь обители, обрамленной сельскохозяйственными угодьями, и подвластной монастырю крестьянской округи регулировалась этим, церковным, временем. Жители окрестностей различали «колокол жатвы», «колокол тушения огней», «колокол выгона в луга» и т.п., подчиняя им ритм своих повседневных занятий и забот. Подчиненность крестьянской жизни церковному времени была настолько велика, что дала основание для фантастической, но по своему знаменательной этимологии слова «колокол» — лат. *campana*<sup>3</sup> Университетский магистр Жан де Гарланд утверждал в начале XIII в., что «часы (*campane*) получили свое название у живущих в полях (*in campro* — в деревне) крестьян, которые не умеют определять время иначе, как с помощью колоколов (*per campanas*).

Церковное время, соединившее в себе время молитв и время природное, легко было адоптировано сельским населением, но оно мало отвечало характеру и ритму трудовой практики и общественной жизни горожан. Труд и самостоятельных ремесленников, мастеров и подмастерьев, работающих по найму, и поденщиков требовал измерения во времени, но это время не было уже природным, но — «технологическим». И то, что заставляло горожан приходить в движение не было связано с фиксированными часами церковных служб и молитвы. Пожары, приближение неприятеля, собрание городской общины, восстание в защиту поправленных свобод или сотоварищей, заключенных в темницу по приказу враждебного цехам городского Совета, — вот на что должен был откликаться прежде всего колокол. Город нес с собой новый жизненный ритм, новые интересы и потребности, и горожанам важно было иметь звонницу в собственном исключительном распоряжении. Не в последнюю очередь это диктовалось потребностями организации трудового процесса прежде всего в работающих

на экспорт отраслях производства — сукноделии Фландрии и Италии, рейнских городов. Углубление разделения труда в рамках мастерской и между смежными профессиями и отраслями требовало тщательно структурированного и строгого измерения продолжительности рабочего дня.

Этот идеал нашел «свое воплощение» в монументальном сооружении «беффруа» (beffroi) — возвышающейся подобно собору над всеми городскими постройками, хорошо видной издали башни, возведенной из камня и с укрепленным на ее вершине колоколом. История городских коммун, история борьбы за привилегии начинается с борьбы за право сооружения беффруа как символа этой свободы и сплочения горожан. И характерно, что беффруа особенно часто встречаются именно на севере французского королевства — в приграничных епископских городах с развитым сукноделием и торговлей текстилем, стоявших у истоков так называемой «коммунальной революции». Уже в XI в. начинают они борьбу за высвобождение из-под церковной опеки, за самоуправление и за право иметь «свое» время. В 1188 г. король Филипп Август даровал жителям Турнэ право коммуны и разрешение соорудить беффруа, как говорилось в грамоте, «в подходящем для этого месте с тем, чтобы звонить в соответствии со своими добрыми намерениями и в интересах своих торговых дел в городе»<sup>4</sup>. Набатная башня и звонница — один из первых символов городского статуса. В «Коммунальной хартии» города Лаона, дарованной его жителям Филиппом Красивым в 1295—1296 гг., после их победоносного восстания против городского сеньора, говорилось: «мы жалуем вам... колокол, печать, коммунальный архив и другие вещи, причитающиеся коммуне»<sup>5</sup>.

Соответственно, поражение горожан могло привести к утрате беффруа как это произошло, например, в городе Камбрэ. К 1221 г. жители этого города уже владели «большими и малыми колоколами и башней, называемой беффруа». Однако, после неудачи в очередном военном конфликте с епископом-сеньором города, они лишились коммунальной башни: епископ приказал ее разрушить, а колокол, «по сигналу которого они собирались на свои сборища», разбить. Это сделано для того, говорилось, в постановлении, изданном епископом в 1227 г., чтобы горожане не могли больше предпринимать «кровавые восстания против своего господина»<sup>6</sup>.

На беффруа могло быть несколько колоколов и каждый имел свое предназначение. В Аббевиле один из колоколов, по прозвищу «Аппель эскевен», собирал на собрание членов городского магистрата — эшевен; другой — «Хидеузе» («Гнусный») оповещал

об экзекуциях и казнях, призывая горожан на площадь; третий отбивал время начала и конца рабочего дня в ремесленных мастерских.

Беффруа — не всегда изолированная постройка, специальная башня-звонница. Нередко он включался в ансамбль торгового подворья — рядов, например, суконщиков, как это было в Брюгге. Первый этап строительства этой 80-метровой башни был начат в 1248 г., следующий приходится на период с 1282 по 1296 гг., четвертый — на 1395 г.; венчающая его восьмигранная башенка была возведена в 1482 г. Иногда, в качестве беффруа использовалась башня сеньориального замка: перестроенный в XIII в. 47-метровый беффруа города Булонь-сюр-Мер в своей нижней части, относящейся к XI в., представлял собой старинный донжон графского замка. Беффруа, особенно в немецких землях, часто включали в ансамбль городской ратуши. Это практиковалось и во Франции. Натали Иегуне-Надаль описывает беффруа в Перигоре. Возведенный в 1328—1329 гг., он дополнил ансамбль ратуши, получив название «Башня консулата» Она имела шесть этажей, бойницы; колокола на ее верху оформляли своим боем муниципальную и политическую жизнь, подобно тому как звонницы аббатств Сен-Фрон и Сен-Силен призывали к божественной службе. В колокол били, «призывая почтенных людей на заседания совета и они были обязаны явиться тотчас же»<sup>7</sup> В нижних этажах беффруа при ратушах обычно помещался архив, а иногда и тюрьма. Но в городе могло и не быть специальной муниципальной звонницы. Функции ее выполняли церковные колокола, как это часто было например в Италии.

Колокол — один из важнейших элементов городской коммуникации и средневековый горожанин хорошо ориентировался в «знаковой системе», его ударов. «Если я бью в один край, гласила надпись на набате в Кёльне, — это восстание, пожар или убийство, но если я бью в оба края — значит избран новый совет». Третий удар «вечернего» колокола соответствовал наступлению темноты. Тому, кто собирался покинуть свое жилище, он предписывал взять с собой фонарь. После удара «вечернего» колокола следовало соблюдать порядок и тишину, нарушитель рисковал быть арестованным стражей и провести ночь в темнице, и к тому же уплатить штраф. В итальянской Падуе удар «ночного» колокола означал запрет переезжать через реку. Во многих итальянских и крупных немецких городах — в Нюрнберге, Кёльне, Регенсбурге и многих других городах Рейнской области — «ночной» колокол служил знаком к прекращению продажи спиртного. Отсюда его название: «Питейный колокол». В южных городах его прозвали «Винным

колоколом», а там, где, как например в Регенсбурге, излюбленным напитком было пиво — «Пивным колоколом». После удара ночного колокола в тавернях, трактирах обязаны были прекратить продажу спиртного, азартные игры и развлечения, не подавать еду и питье вновь пришедшим. В некоторых городах (Кёльне, Милане, Болонье, Павии иногда делали исключение для иностранцев)<sup>8</sup>

С XIII в. в ремесленных и торговых центрах Фландрии, Германии, Италии прочно входит в повседневную жизнь звук рабочего колокола, отбивающего время заключения торговых сделок и часы работы мастерских, прежде всего суконщиков, но также и бумажейщиков. Акустическое обозначение времени сохраняло свое значение в больших и малых городах на протяжении всего позднего Средневековья, в XIV—XVI вв. и даже в XVII столетии. В горном альпийском городке Фельдкирхе (в Форарлберге) специальный «кузнечный колокол» отмечал время обязательного окончания работы во всех кузнечных мастерских с тем, чтобы не нарушать покой соседей шумом, тем более в ночные часы. Во Фрайбурге-в-Брейсгау специальный «Чиншевый колокол» дважды на дню в период между днем св. Михаила (11 ноября) и Рождеством напоминал должникам о необходимости платить подати, чинш.. И еще в XV в. в Брауншвейге колокол на беффруа ратхауза сзывал членов рата на совет — восьмью ударами летом, девятью зимой.

Таким образом, хотя бюргеры еще и сохраняют церковную форму отсчета времени, но содержание самого времени становится иным: это время не общения с Богом, а время торговли и производства, общественных, городских дел. В средневековом понимании времени образуется серьезная брешь, она становится еще более глубокой с распространением механических, колесных часов.

**Механические часы. Чувство времени.** Когда появились механические часы — сказать трудно. В XIII в. они, во всяком случае, уже существовали. Упоминания о них имеются в записках французского архитектора Виллара Хоннекурта (1250). В 1288 г. механические часы были установлены в Вестминстере; их знает Данте.\*

Первые механические часы были башенными, с одной стрелкой, отмечавшей только часы. Маятника в них не было (его изобрел Галилей, а в применении к часовому механизму он известен лишь с конца Средневековья). В начале XIV в. итальянцы Джованни и Якопо Донди сделали часовой механизм, который был установлен мастером по имени Антонио на башне палаццо Капитано в Падуе. Итальянская хроника под 1335 г. упоминает

о первых механических часах с боем на церкви Сен-Готардо в Милане. Своим могучим колоколом, пишет хронист, они отбивают каждый час из двадцати четырех часов дня и ночи, что «очень полезно для всех людей». В 1350 г. такие часы появились на соборе в Вюрцбурге, в 1356 — на «Фрауенкирхе» в Нюрнберге. Обладание часами повышало престиж города. Их ставили не только на церковных колокольнях, но и на башнях ратхаузов: в 1402 г. в Аугсбурге часы с боем были установлены на колокольне Св. Ульриха и Афры, через два года — на башне ратхауза. В 1425 г., сообщает хроника, на башне ратхауза «к чести и удобству бюргеров» были сооружены часы с боем, стрелка которых указывала «каждый час и каждую половину часа, так что каждый мог видеть, где время располагается»<sup>9</sup>

Механические башенные часы подчас представляли собой подлинное художественное произведение, настоящий механический театр. Подивиться на них приезжали издалека. Самый известный пример таких часов — часы на Страсбургском соборе. Установлены они в 1352—1354 гг., в 1372 г. были снабжены колоколом, отбивавшем каждый час. Они показывали часы и части суток, отмечали праздники церковного календаря: Пасху и зависящие от нее праздники. В полдень перед фигурой Богоматери склонялись трое волхвов, а петух кукурекал и бил крыльями; специальный механизм приводил в движение маленькие цимбалы, отбивавшие время. К настоящему времени от страсбургских часов уцелел только петух.

Распространение практически во всех европейских странах механических часов знаменовало новый важный шаг в обмирщении времени. «Время мирское, время часов на беффруа утверждается перед лицом клерикального времени церковных звонниц». Механические часы со стрелкой делали возможным и новое визуальное восприятие времени, усиливая стремление к более точной его фиксации. Они становились и украшением города, когда с XIV в. стали уделять внимание их декоративности.

Впрочем, не следует слишком модернизировать характер перемен. Механические часы оставались еще, по образному выражению Ж. Ле Гоффа, «данниками естественного, природного времени», точка отсчета суток привязывалась обычно к такому непостоянному моменту как восход или заход солнца<sup>10</sup>. К тому же введение современного счета на часы не означало унификации самой системы отсчета времени суток, которая варьировала от города к городу. То, как это выглядело конкретно показывает в своем исследовании австрийский историк Г. Кюнель. В немецких землях, Швейцарии, Нидерландах, затем в Англии, — пишет

он, был распространен «половинный счет времени» и часы с циферблатом, разделенным на двенадцать часов. Время считали дважды по двенадцать часов, начиная каждую часть с полночи и, соответственно, — с полудня. В Чехии, Италии и во многих других местах были приняты часы с «полным циферблатом», включавшем все двадцать четыре часа, начинавшие отсчет времени с вечера. Своеобразная система существовала в Нюрнберге. Ночное и дневное время здесь, в соответствии с античной традицией, подразделяли на равное число часов. После захода солнца часы отбивали «Гарауз» (завершение части суток от нем. *Garaus* — «покончено», «разделаться с чем-кем») и через час — «первый час в ночь»; по истечении двенадцати часов опять отбивали «Гарауз», и следующий за этим час назывался уже «время на день». Исследуя продолжительность рабочего дня нюрнбергских каменщиков, немецкий историк-медиевист П. Фляйшман следующим образом конкретизирует «время Гарауз»: «в летние месяцы, — пишет он, — работа начиналась со звуком колокола «Гарауз», то есть ок. 5 часов утра и заканчивалась за два часа перед «Гарауз», к шести часам вечера»<sup>11</sup>

Таким образом, система отсчета времени суток механическими часами, принятая в средневековых городах, при всем кажущемся терминологическом совпадении, имела еще мало общего с современной, и историку это особенно важно иметь в виду при работе с источниками. Г. Кюнель, исследовавший с этой точки зрения дневниковые записи известного издателя Нюрнбергской хроники Ульмана Штромера, наглядно показывает сколь значительны несоответствия и сколь опасно прямое, некритическое следование темпоральным свидетельствам средневековых памятников. Так, под 12 февраля 1374 г. У. Штромер делает запись о рождении «в четыре часа дня» его дочери Эльц: в пересчете же на современную систему отсчета времени суток, это событие произошло за два часа до полудня, то есть в 10 часов утра. Когда же Штромер под 1377 г. сообщает о том, что 4 декабря «в ночь между 9 и 10 часами увидел свет» его сын Ульрих, то на самом деле он стал отцом между четырьмя и пятью часами. Соответственно, и другая дневниковая запись под 1393 г., содержащая фразу о «последних часах раннего утра» конкретизируется Кюнелем как «время между пятью и шестью часами утра».

Но то, о чем бесспорно свидетельствуют дневниковые записи Ульмана Штромера, так это о рождении «чувства времени», о стремлении к его точной фиксации как времени индивидуального.

Действительно, с XIV в. время начинают усиленно считать. С распространением в городах механических часов с боем в созна-



ние их обитателей прочно входит представление, которое до этого оставалось неопределенным и абстрактным, о разделении суток на двадцать четыре равных между собой часа. Позднее, видимо уже в XV в., входит в практику и новое понятие — минута. Почти через полвека после Штромера другой нюрнбержец, купец и предприниматель Эндрес Тухер, следующим детальнейшим образом описывает в своем дневнике под 17 июня 1433 г. солнечное затмение, свидетелем которого он был: «Большое солнечное затмение началось в Нюрнберге около 11 часов 17 минут, а около 12 часов 16 минут оно сделалось полным, так что стали видны звезды на небе и пришлось зажечь свет. Продолжалось это недолго, около семи минут»<sup>12</sup>.

Об индивидуализации времени свидетельствуют не только усилия городов иметь общественные часы (и зачастую не одни, а несколько), но и распространение портативных, карманных механизмов для измерения времени. Речь идет прежде всего о песочных часах. Они широко употреблялись в Европе с XIV в. Ориентированные на небольшие отрезки времени — четверть часа, половина, час — они позволяли измерять короткие интервалы «личного» времени. Их использовали также во время богослужения, для контроля за продолжительностью отдельных его этапов, при чтении проповеди. Песочные часы регулярно применяли на кораблях, где они были ориентированы на получасовые отрезки времени. С их помощью отсчитывались продолжительность вахты («восемь склянок», т.е. четыре часа) и время в пути. В музее немецкого города Вуппертала хранятся роскошные песочные часы, отлитые из толстого стекла, с гравировкой и циферблатом на внешней их стороне. Иссикающий ход песочных часов, их ориентированность на короткие отрезки времени ассоциировались в сознании средневекового человека с быстротекущим временем земной жизни и смертью.

В XV в. чрезвычайный спрос возникает на карманные солнечные часы, несмотря на то, что их употребление было ограничено погодными условиями. Основные их элементы составляли палочка, отбрасывающая тень, разделенная часовыми линиями плоскость, на которую она падала, отвес и компас для их ориентации. В торговом инвентарии нюрнбергского предпринимателя и купца Ханса Тухера за 1484 г. упоминается «не менее 255 дюжин» солнечных карманных часов на складе его фактории в Женеве. В Баварском национальном музее и в Иоханнеуме в австрийском Граце хранятся солнечные карманные часы императора Фридриха III, сделанные из серебра. Для массового потребителя в середине XV в. в Нюрнберге их мастерили из латуни.

Вместе с тем, в это столетие в домах городской патрицианской и интеллектуальной элиты, богатого купечества появляются «переносные», механические часы, хотя еще и не рассчитанные на ношение у пояса или на шею. В 1476 г. нюрнбергский купец Ханс Праун записал в своей расходной книге об уплате «мастеру Людвигу, слесарю», одного гульдена за «будильничек или часики». «Переносные» и настенные механические часы становятся частым объектом и в миниатюре XV в.

**«Продажа» и «присвоение» времени.** Средневековые исходило из принципа, что время суть творение Бога и Богу принадлежит. На основании этого церковь выступала против взимания процентов: кредитор, утверждали церковные писатели, требуя проценты, продавал то, что не было его собственностью — время. Но в XIV в. купцы и ремесленники осознали время как принадлежащую им ценность. Кредитные операции широко распространились и «продажа времени» сделалась будничным явлением. Меняльные конторы и выросшие на их основе «банки», занимавшиеся операциями по вкладам и займам, переводу денег по вексям и просто ростовщичеством, в XIV—XV вв. становятся важнейшим элементом хозяйственной жизни крупных торговых, ярмарочных и промышленных городских центров от Средиземноморья до европейского Северо-Запада, повергая в растерянность моралистов. В начале XVI в. вопрос о законности коммерческих операций и действий по извлечению прибыли «финансистов» из Толедо и их коллег в Брюгге и Антверпене стал даже предметом специального обсуждения профессорами—теологами Сорбонны. Они вынуждены были признать «моральной» прибыль, получаемую из обмена монет, приравняв ее к «справедливой плате, получаемой за товар», но они единодушно осудили вексельные операции, усмотрев в них разновидность ростовщичества.

Об осмыслении времени как ценности, о «присвоении» его хозяйственно активной частью городского населения свидетельствуют и цеховые установления относительно организации рабочего дня. В уставе цеха плотников немецкого города Франкфурта-на-Майне (1424, 1438 гг.) читаем: «Плотники должны утром начинать работу во-время и уходить вечером также во-время: не раньше, чем начнут звонить у св. Николая; днем же, когда часовой колокол пробьет 11, они прекращают работу и идут обедать, с тем, чтобы к 12 часам быть обратно»<sup>13</sup> Аналогичное положение записано и в уставе кровельщиков. Собственно говоря, в той или иной формулировке это требование соблюдения рабочего временного ритма является стереотипным для уставов всех ремесленных и купеческих корпораций.

Показательна и возникающая уже в XIV в. тенденция к удлинению рабочего дня. Старинные цеховые статуты строго ограничивали продолжительность рабочего времени. Он лимитировался природными рамками — работали от зари до зари. Работа при свечах категорически воспрещалась, за исключением самых темных зимних месяцев (так, страссбургский цех сукноделов разрешил стригальщикам работать вечерами лишь с 30 ноября по 24 декабря). Принято считать, и не без основания, что подобные ограничения диктовались, с одной стороны, заботой о качестве продукции, а с другой — самосохранением средневекового ремесла с его узким локальным рынком, стремлением предотвратить конкуренцию. Но, вместе с тем, не стоят ли за этими ограничениями также и связанные с христианской традицией представления о благом времени и дне, как благословенном Богом времени праведного труда (...кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью — спотыкается, потому что нет света с ним...» — Иоанн, XI, 9, 10)?

В XIV столетии впервые раздаются требования выйти за пределы рамок природного времени, работать после заката, используя искусственное освещение. Показательно, что эти требования исходили не только от преуспевающих мастеров, занимавшихся торгово-предпринимательскими операциями, но и от подмастерьев, рассчитывавших таким путем увеличить свое жалованье<sup>14</sup>. Упрочение бюргерства, таким образом, меняет представления о времени, ломает церковные принципы его оценки и исчисления. Время церкви сдавало свои позиции под натиском времени купцов-предпринимателей по мере превращения их во влиятельную общественную силу. Церковная звонница и городская башня с колесными часами, механически отбивающими время, противостояли друг другу как два феномена разных социальных систем. В 1456 г. увидел свет необычный календарь. Отпечатанный типографским способом, этот календарь был сделан математиком и астрономом, профессором Венского университета магистром Иоганном де Гамундиа. Примечателен же он тем, что в отличие от традиционных календарей, содержал изображение не крестьянских трудов, но занятий горожан: в конторе и лавке, в саду и в поле, в лесу на рубке деревьев и даже на «досуге» (господин на скамеечке перед деревянной ванной с купальщицей); указывал он и церковные праздники. Но главной особенностью календаря было то, что помимо астрономических сведений для каждого месяца, он еще сообщал и о количестве часов, приходящихся в каждом из них на дневное и ночное время. Это должно было помочь лучше организовать профессиональные занятия и дела по хозяйству, а также

распределить во времени свои обязательства. Календарь де Гамундиа, в отличие от тех, что ему предшествовали, утверждал мысль о изменяемости времени и важности рационального использования его человеком. Здесь, пусть пока еще и в тенденции, уже вполне различимы специфические компоненты современного представления о времени как о некоей субстанции, независимой от природных явлений, непрерывной и необратимой. Это прямой вызов традиции и одновременно разрыв с ней.

«Как и в делении времени дня, так и в измерении года Средневековые пользовались двумя взаимосвязанными и вместе с тем противоположными системами — природным и церковным временем. В основе природного времени года лежала античная традиция двенадцати месяцев, каждый из которых сопрягался с каким-нибудь особым видом деятельности; разделение это, следовательно, также не воспринималось как астрономическая абстракция, а как органическое явление, как своеобразное сочетание человека с окружающей его природной средой. Символика двенадцати месяцев — одна из излюбленных тем средневековых художников и скульпторов. В иллюстрациях рукописных книг и в орнаментальных украшениях храмов сохранились изображения человеческих трудов (целые циклы), где каждая сцена передает специфику того или иного месяца. На портале церкви св. Зенона в Вероне (XII в.) — один из лучших образцов таких циклов. Изображения очень четки и названия месяцев подписаны под каждым из них. Январь самый холодный месяц... Он представлен закутавшимся человеком, греющим руки над огнем. Февраль в Италии — пора пробуждения природы, и его символизирует крестьянин, подрезающий лозу. Март иллюстрирован странной фигурой, вероятнее всего олицетворяющей ветры: мужчина в плаще, дующий в два рога — один в левом, другой в правом уголке рта. Апрель — человек с цветами, аллегория весны. Май представлен всадником в доспехах: это месяц военных экспедиций, походов, вооруженных нападений. Июнь вновь возвращает нас к крестьянским трудам, его символ — человек, забравшийся на дерево и собирающий плоды. Июль — крестьянин в остроконечной шапке, серпом убирающий хлеб. Август — это бондарь: приближается пора сбора винограда и крестьянин все в той же шапке, подготавливает бочку. Сложное изображение сентября тем не менее очень точно: крестьянин срывает гроздь, несет на плечах корзину с виноградом и одновременно давит его ногами — готовит вино. Предельно насыщенная деятельность полно передает сентябрьскую страду итальянского земледельца. Октябрь — время откорма свиней: крестьянин палкой сбивает жолуди с дуба, под которым кормится пара животных. Только недолго им кормиться — ноябрь символизирует крестьянин, закалывающий бобра; другой бобр уже висит под потолком и видимо коптит. И, наконец, декабрь опять возвращает нас к теме холодов — крестьянин собирает топливо.

Природному календарю противостоял церковный, складывавшийся из двух независимых организующих рядов: передвижных и неподвижных

праздников. Непереходящие праздники были точно фиксированы в природном (солнечном) календаре: таково, например, празднество Рождества Христова, справлявшееся 25 декабря и, может быть, не случайно приуроченное к моменту солнцеворота, к началу возрастания дня, то есть к существенному моменту природной жизни. Другие непереходящие праздники отмечали те или иные события земной жизни Христа и близких ему лиц (Богородицы, Иоанна Крестителя, апостолов), а также память святых христианской церкви.

Но в отчетливой противоположности к ряду непереходящих праздников стоял другой ряд, в основе которого лежал праздник Пасхи, отмечавшийся как день воскресения распятого Христа. Здесь не место говорить о его сложном генезисе, важно лишь то, что первоначально он отмечался по древнееврейскому лунному (а не солнечному) календарю, и эта традиция удержалась и после того, как христианство отсеклось от своего еврейского прошлого. Вычисляемый в зависимости от сочетания лунного и солнечного календарей праздник Пасхи приходится на различные дни солнечного года и поэтому является передвижным, переходящим. А так как определенные события церковного календаря (Великий пост, Пятидесятница — день сошествия Св. Духа на апостолов и др.) исчисляются в соотношении с Пасхой, то создается особый ряд переходящих праздников, отмечаемых в разные дни.

Как ни противоречива была система церковного календаря, она, в отличие от природного время исчисления, по своему характеру неопределенного, нестойкого, создавала жесткую систему членения года, закрепленную особыми формами богослужения, обрядами и церемониями, свойственными каждому праздничному дню. Рождество, Пасха, обычное еженедельное воскресенье — все это имело свой ритуал, по-своему закреплялось в общественной памяти. Следовательно, церковь господствовала не только над временем дня, отсчитывая его колокольным звоном, но и над временем года, ею организованным и систематизированным.

Как природный, так и церковный счет времени отличался одной особенностью — цикличностью. Повторение феноменов было в этой системе счета нормальным и обязательным; и как весна обязательно сменяла зиму, как сентябрь-виноградарь приходил вслед за августом-бондарем, так с жесткой обязательностью ежегодно повторяли себя важнейшие события священной истории — христианского мифа, закрепленного литургией: рождение Христа, его крещение, его вступление в Иерусалим, воскрешение им Лазаря, его распятие и воскресение, его явление ученикам. Средневековое время постоянно повторялось. Оно было тем же самым, что и в прошлом году — во всяком случае в своей мифологической-литургической сущности.

И эта концепция постоянно повторяющего себя времени закреплялась типичным для Средневековья противопоставлением «время — вечность». Вечность лежала в начале и в конце бытия, вернее, до начала и после конца; время мыслилось промежутком (в этическом смысле ничтожным,

малозначимым между сотворением земного мира и его концом — Страшным судом и воздаянием людям по их делам и заслугам).

По учению средневекового философа и богослова Фомы Аквинского (1225—1274), каждая субстанция, будучи сотворенной, существовала и во времени, и вне времени. Всякий движущийся (находящийся вне вечности) объект может быть рассмотрен и как субстанция, и как движущееся тело. Как субстанция он не подлежит измерению временем, он принадлежит вечности, но как движущееся тело он измеряется временем. При этом, в отличие от вечности, время не имеет объективной реальности: прошлое уже не существует, будущее еще не существует, а настоящее не имеет протяженности.

Время оказывается только психологической категорией: оно существует в нашей душе, в нашей памяти. Оппозиция вечности и времени господствовала над представлениями средневекового человека, заставляла его глядеть на земное бытие как на преходящее и устремляться мыслью к нетленной вечности, жить в отрицании времени (земного) и в постоянном предуготовлении своей загробной судьбы. Конечно, это было идеалом поведения, расхोdivшимся с практикой, но идеалом, который не мог не влиять на практику.

Концепция цикличного времени наталкивалась на противоречия в самом христианском учении. Согласно учению церкви, время повторяло себя, настоящее было тождественно прошлому, но вместе с тем время оказывалось линейным, оно было направлено вперед, ибо христианство мыслило историю телеологически, оно рисовало путь человека от грехопадения Адама через воплощение Христа, сына Божьего, к Страшному суду.

Циклическое и линейное — таково было церковное время Средневековья, наложенное поверх природного времени, совпадающее и вместе с тем не совпадающее с ним, — единственная организованная форма исчисления времени вплоть до XIV в., когда вместе с механическими часами внедряется новая система осмысления времени, по сути дела, порожденная бюргерством. Ей присущи, правда пока еще в тенденции, специфические компоненты современного представления о времени как о некоей субстанции, независимой от природных явлений, сознание его значимости, непрерывности и необратимости...»<sup>15</sup>

## • ПРОСТРАНСТВО

**Город перед стенами.** Так же как и проблема времени, проблема пространства для города — это одновременно проблема власти и организации господства. Это проблема политическая и одновременно социально-психологическая, важный фактор конституирующий городское самосознание. Городское пространство — пространство, отвоеванное у городского сеньора или по-

жалованное королевской властью, закрепленное юридически привилегиями и городским правом, физически обособленное от внешнего мира оборонительной системой. Оно включает площади и объекты, представляющие хозяйственный и экономический интерес для горожан и важные с точки зрения обеспечения их безопасности и самообороны. Оно покоится на системе водных и сухопутных путей во вне и на сети дорог и продолжающих их улиц внутри городских пределов. Городское пространство по своей природе — «суть пространство коммуникаций и обмена, это — производная от коммунальных и общественных потребностей»<sup>16</sup> Такое содержание понятия городского пространства легко прочитывается в текстах жалованных городам грамот и привилегий.

Из грамоты, пожалованной Любеку в 1188 г. Фридрихом Барбароссой: «[п. 1] Вот пределы, предоставленные на пользу этому городу, нам подвластному, в силу нашего пожалования: от города на восток до реки Стубницы и вверх по Стубнице до Радигоса... В этих пределах все населяющие город наш Любек, какого бы они не были положения, будут иметь право всяческого пользования: путем и беспутьем, полями и пустошами, водами и рыбными ловлями, лесами и пастбищами...[п. 2]. Равным образом... мы передали горожанам пользование угодьями в ниже-описанных границах: от города вверх до местечка Ольдесло, так, чтобы по обоим берегам реки Травы они пользовались лесом на две мили расстояния, притом дровами, лугами и пастбищами, за исключением части леса, приписанного к монастырю Девы Марии. Сверх того, предоставлено будет самим горожанам и их рыбакам заниматься рыболовством, как они привыкли делать во времена герцога Генриха, от ...Ольдесло до моря, за исключением тоней графа Адольфа. Также будут они пользоваться всячески лесами... с тем, что могут рубить в них деревья как для топки, так и на корабли, на дома и прочие городские постройки... Сверх того, пусть они пасут своих свиней, мелкий и крупный рогатый скот по всей земле графа Адольфа, однако с тем, чтобы свиньи и весь скот могли в тот же день вернуться с пастбы в загоны, откуда они вышли утром... Сверх того, на удовлетворение их нужд мы пожаловали им[п. 3]... патронат над приходской церковью Девы Марии, чтобы по смерти одного священника горожане, как бы патроны, выбирали себе другого, кого захотят и представляли его епископу...

К тому же [п. 4] пусть они свободно передвигаются с товарами по всему герцогству без поборов и пошлины, за исключением Артеленбурга (на Нижней Эльбе), где пусть уплачивают 5 денариев с воза...

Сверх того [п. 13], нарочитым пожалованием мы подтверждаем, чтобы никто, ни знатный, ни худородный не захватывал своими зданиями или укреплениями территории вышеназванного города ни внутри, ни вне его пределов; если же кто-либо каким-либо способом соорудит укрепление на суше или воде, то пусть они (консулы), опираясь на Нашу волю, его

извлекут, а укрепление уничтожат. А кто преднамеренно захватит здания города и будет обличен, платит 60 фунтов [п. 14]. А граждане упомянутого уже города не будут ходить в поход, а будут только защищать свой город...

Кроме того [п. 17] жалуем им Нашею милостью, чтобы они, в пределах того места, куда заходит во время разлива река, называемая Трава, пользовались во всем тем же судом и свободой, как и в пределах города. Также желаем мы, чтобы они в пределах до моста пользовались тем же судом и свободой, как и в городе...»

В 1226 г., согласно другой грамоте уже Фридриха II Любеку был уступлен «также [п. 9] лежащий против замка Травемюнде остров, называемый Приволк, пусть они владеют им на городском праве, которое называется правом городской черты (Вайхбильд)... Сверх того [п. 10] мы желаем и приказываем соблюдать накрепко, чтобы никто, знатный или худородный, клирик или мирянин, никогда не вздумал соорудить укрепление или замок близ реки Травы, в пределах от города вверх по течению реки до ее истока, и от города вниз до моря, и по обе стороны реки на расстоянии двух миль; при этом строжайше воспрещается какому бы то ни было постороннему фогту в пределах городских проявлять свою власть или творить суд... Мы накрепко запрещаем [п. 11] на всем пространстве герцогства Саксонского взимать или взыскивать с них тот побор, который зовется унгельт (чрезвычайный побор, или добавочная пошлина)... [п. 12]. Кроме того, никто из князей, господ или знатных из прилегающих областей, да не дерзнет воспрепятствовать подвозу всего необходимого в город Любек, откуда бы то ни было, из Гамбурга ли или из Рацебурга, или из Виттенберга (на Эльбе), или из Шверина, или даже из всей земли Бурвина (из Мекленбурга) и сына его; сквозь все эти земли и по самим этим землям любой любекский бюргер, богатый ли, бедный ли, пусть проходит для купли и продажи беспрепятственно...

Выразительны, с точки зрения формирования «внутреннего» пространства города, грамоты маркграфов бранденбургских Иоанна и Оттона III основанному ими городу Стендалю: «Мы передаем им (горожанам) пользование мясных наших ларей (складов), а также тринадцати лавок под домом кожевников и всех, какие еще окажутся отданными каким-либо частным лицам на феодальном праве, при условии, чтобы они как полагается, выкупили их законным выкупом. Сверх того и весь рынок, который до сих пор был у нас в совместном владении, мы милостиво передали на пользу общине в вечное владение и на благо пользование (14 февр. 1227 г.). В апреле 1243 г. маркграфы Бранденбурга передали городу «все свои права собственности на торговое подворье в Стендале, чтобы они означенное подворье обратили в свое пользование и владели им на правах собственности... В апреле 1249 г. «по настоятельной просьбе» стендальских бюргеров маркграфы бранденбургские также пожаловали им на правах собственности два манса земли «у самого города» для разведения виноградников путем новой посадки...» с условием, что если кто-либо из бюргеров этого города впервые обработает какую-либо часть этого поля под виноградник, то он пусть и пользуется на правах



собственности этой частью или этими частями для себя и на правах наследства для своих наследников. Мы уже уступили вышеупомянутые участки городу нашему со всею полнотою прав, какие мы на них имели...

Сеньор французского города Марманде, даруя городу право, указывал в жалованной грамоте (кутюме) пределы его пространства, в которое включались: «все воды города — все водоемы и большие рвы, входы и ворота, дороги и улицы, выходы, прибрежья, мосты и фонтаны и все проточные, текущие воды, которые есть и будут в юрисдикции города»<sup>17</sup>

Городское пространство, таким образом, складывалось из «внешнего» и «внутреннего». Внешнее пространство — это та пред-округа, на которую распространялась городская юрисдикция и которая частично или полностью входила в сферу хозяйственных интересов и политических притязаний города; она в свою очередь подразделялась на ближнюю и дальнюю.

В непосредственной близости от города, составляя его продолжение, располагались коммунальные сельскохозяйственные угодья: выпасы, виноградники, пашни, рыбные ловли. Здесь выгуливалось городское стадо, паслись лошади и свиньи нагуливали жир в принадлежавшем городу лесу. В непосредственной близости от города располагались также городские мельницы, кузни, мастерские по обработке металлов и другие производства, производившие шум, или, подобно кожевникам, загрязнявшие атмосферу дурными запахами, или же, как производители бумаги, использовавшие силу воды. В городах с высоко развитым экспортным ремесленным производством это приводило, особенно в позднее Средневековье, к созданию подлинной «промышленной» зоны, подобно той, что под Нюрнбергом, запечатленной на известной гравюре Альбрехта Дюрера (1494): мастерские для производства проволоки с волоочильными приспособлениями и молотами, приводимыми в движение с помощью водяной мельницы. Здесь же под стенами, в непосредственной близости от ворот, осуществлялась торговля, имелись жилые постройки.

В «подгородье» строили специальные приюты-госпитали для больных антоновым огнем, проказой и другими заразными болезнями. Таков, например, госпиталь св. Юргена, основанный в XIII в. в шести километрах от Любека для заболевших проказой бюргеров. Он просуществовал вплоть до начала XVI в., когда был перестроен и превращен в городскую богадельню.

Предгородское пространство служило также местом для приведения в исполнение смертных приговоров. Виселица и колесо для четвертования — характерный элемент этого скорбного места, присутствующий, как и черепа казненных, на многих миниатюрах

с изображением города. В музее истории Гамбурга хранятся столбы с черепами казненных, выставившиеся в назидательных целях на всеобщее обозрение в месте казни. На картине неизвестного мастера XV в., изображающей библейскую сцену обезглавливания Иоанна Крестителя, лобное место расположено перед городом, по другую сторону крепостного моста<sup>18</sup>. Казнь представлена как общественный спектакль: в «ложах» на городских воротах восседают знатные горожане, люд попроще теснится в проемах стены, у ворот, на мосту через ров стоят зеваки и нищие. Палач выделяется экстравагантностью костюма. Он вне общества. Его презирают, но он порождает и священный ужас; его терпят, ведь он необходим; им даже восхищаются: он профессионал в своем деле, требующем физической силы и сноровки. Но неудачи ему не простят. В средневековом Геттингене, совет которого не обладал правом высшей юрисдикции, сохранявшейся за сеньором города герцогом Брауншвейгским, казни по приказу последнего происходили за городской чертой, на первой же возвышенности, расположенной на западной дороге. Печальное место это было отмечено липой, сохранившейся до сего времени. Так же, на некотором расстоянии от городской стены, часто поблизости от важной дороги, в поле зрения всех уходящих из города и в него прибывающих, сооружалась и виселица. Это место было излюбленным местом прогулок горожан.

**Сложение территории. Дуализм города и деревни.** Город создавал свою территорию целенаправленно. Это были не только сеньориальные пожалования. По мере хозяйственного роста городов, богатое купечество и состоятельные цеховые мастера начинают интенсивно вкладывать часть своих имуществ в землю. Завещательные акты бюргеров, в частности, ганзейских городов пестрят указаниями на крестьянские дворы, участки пахоты, луга, пастбищ, виноградников, приобретенные в окрестных и дальних деревнях. Земельные приобретения осуществлялись не только бюргерами, но и магистратами и отдельными городскими институтами, в частности больницами-госпиталями<sup>19</sup>. Сочетающие в себе благотворительное и лечебное учреждение, перешедшие из под контроля церквей под контроль городских советов или ими основанные, они выступали также в качестве орудия их территориальной политики. Эта сторона «госпитальной» практики уже достаточно хорошо изучена, в частности в городах Юго-Западной Германии. Так, в 1295 г. больница города Эслингена приобрела у графа Готфрида фон Тюбингена его права и владения в деревне Мэринген, через два года — в деревне Вайхинген, а у

рыцаря Конрада фон Бернхаузена в этом же году был куплен лес Катценбах. Поземельная городская книга 1304 г. свидетельствует о планомерной политике больницы по приобретению земельных владений. К 1331 г. благодаря ее действиям город располагал уже значительной территорией вдоль Неккара. Такие имперские города как Биберах, Мемминген, Кауфбайрен, Нордлинген, Аугсбург, Ройтлинген значительной частью своих территориальных владений были обязаны активности именно своих госпиталей.

Стремление к земельным приобретениям — отнюдь не специфика именно немецких городов. Процветание и успех средневековых городов, пишет Ж. Ле Гофф, «в конечном счете, в состоянии была питать только земля». Даже города, наиболее обогатившиеся за счет торговли, такие как Гент и Брюгге, Женева, Милан, Флоренция, Сиена и Венеция («вынужденная еще преодолевать трудности своей приморской топографии») «фундаментом своей (торговой) активности и могущества были обязаны своей сельской округе — тому, что итальянские города называли своим «контадо», откуда итальянские крестьяне получили и свое имя — контадини»<sup>20</sup>

Город не только скупал, но и захватывал земли, используя и военную силу, и политико-экономическое давление. Именно таким путем Констанц, важный уже к XIII в. торговый и политический центр Юго-Западной Германии, расширил городскую территорию за счет трех окрестных деревень, со временем (в XVII в.) превратившихся в его предместья. Х. Маурер, исследовавший историю образования одного из этих предместий — Петерсхаузена — некогда монастырской деревни, показывает, какими методами действовал город<sup>21</sup> Давление с его стороны начало давать о себе знать особенно с рубежа XII—XIII вв., когда был построен мост через Рейн и переправа, и когда контакты стали постоянными. Но Петерсхаузену удавалось сохранять самостоятельность вплоть до начала XV в. В 1417 г. совет города добился от императора Сигизмунда права распространить свою верховную юрисдикцию на Петерсхаузен. Вскоре последовал ряд новых мероприятий совета по усилению власти над Петерсхаузенем: обложение налогами, унификация мер и весов с городскими, требования выполнения общегородских работ, распространявшиеся даже на тех жителей Петерсхаузена, которые не являлись формально бюргерами Констанца. В 20-х годах XV в. для Петерсхаузена был установлен порядок пользования общинными угодьями, взимание штрафов с его жителей «за неповиновение совету», то есть за нарушение его предписаний. Совет начал вмешиваться в вопросы ремесленного производства. От жителей требовали принесения присяги уже не

аббату Петерсхаузена, но городскому совету. О росте полномочий последнего в Петерсхаузене свидетельствует распространение на его жителей в первой половине XVI в. общегородских предписаний: о пожарной охране, об охране от стихийных бедствий, об охране полей. Вскоре последовал запрет на самовольные собрания деревенской общины. К 1600 г. Петерсхаузен был окружен общегородской стеной. Также протекал процесс подчинения двух других деревень: распространение на их жителей прав горожан и налогового обложения, уменьшение объема общинного самоуправления и, наконец, его полная ликвидация. Несмотря на наличие ремесленников, главным занятием жителей, даже когда деревни стали предместьями, оставалось сельское хозяйство.

Исследователи средневековых пустошей обнаруживают множество заброшенных деревень в непосредственной близости от городов. Уже к XV в. от этих деревень зачастую не оставалось и следа: деревянные постройки сгнивали, каменные разрушались, лишь иногда уцелевшая часовня свидетельствовала о том, что здесь когда-то была деревня. Именно о такой судьбе могла бы поведать часовня Витмар, что в трех километрах от небольшого города Волькмарзен в Северном Гессене. В то время, когда этот город был основан (XIII в.), часовня служила приходской церковью деревни Витмар. Через какое-то время жители ее переселились в город, деревня опустела, жилые и хозяйственные постройки развалились. Осталась лишь часовня как напоминание о ней и одновременно — элемент, маркирующий, наряду с крестом, сакральную предгородскую зону.

Такова была сила воздействия даже маленького города. Что же касается крупных центров, то уже с конца XIII в. их внешнее пространство из совокупности разрозненных владений превращается в замкнутые территории их собственного сеньориального господства, включавшие, наряду с деревнями, и мелкие городки ближней и дальней округи, которые они эксплуатировали, пользуясь правом феодального бана — монополии. Они принуждали крестьян, как это мы могли уже видеть на примере Констанца, пользоваться принятыми в этих городах мерами веса, объема и длины, продавать продукты питания по низким ценам, навязывая в то же время свои товары по ценам завышенным. Они развивали к своей выгоде сельские ремесла, сохраняя полный контроль над ними. Такую политику в отношении своей территории проводили и «три гиганта» фландрского сукноделия — Гент, Ипр, Брюгге и такие немецкие центры экспортных ремесел текстильного производства и металлообработки, как Кёльн и Нюрнберг, и итальянские Флоренция, Милан, Венеция. Аналогичный тип взаимо-

отношений города с его внешним «деревенским» пространством характерен для Средневековья в принципе, варьируя лишь в степени интенсивности и многообразия форм в зависимости от масштаба города и его возможностей.

На эту диалектическую двойственность взаимоотношений города с его сельским окружением, как на одну из специфических черт средневекового урбанизма, особое внимание обращает Ж. Ле Гофф. На первый взгляд, пишет он, развитие городов было благоприятным для крестьян. Обосновавшись в городе крестьянин-переселенец по истечении года становился свободным, да и сам город, завладев округой, спешил освободить сервов. Но, с другой стороны, город, превратившийся в своеобразную сеньорию, эксплуатировал крестьян экономически; за счет набора крестьян формировал свои городские ополчения. И уже достаточно быстро города, так же как и феодалы, стали опасаться крестьян своей округи как наиболее вероятных, непосредственных врагов, и именно порожденные городом интеллектуалы — университетские юристы, разработали в конце Средневековья «законодательство, сокрушившее крестьян»<sup>22</sup>

**Священное пространство. Город — крепость.** Таким образом, городам было что защищать и чего опасаться в своем внешнем пространстве, как ближнем, так и дальнем. Собственно первое кольцо городских укреплений в виде рвов и изгородей сооружалось уже в предгородской зоне. В местах скрещения дорог возводились дозорные башни, иногда целая их система, как, например, в Кведлинбурге. Отстоящие друг от друга на определенном расстоянии, но в пределах видимости, они держали под контролем по существу всю ближнюю округу. При появлении неприятеля дозорные оповещали световыми сигналами об опасности друг друга и дозорных на городской сторожевой башне, расположенной на рыночной площади. От этих башен начинался контролируемый подход к городу. Нередко создавались еще и дополнительные укрепления вокруг принадлежащих городу хозяйственных сооружений, в частности таких жизненноважных, как мельницы. Один из ярких примеров тому «Замочек Топплера» — фахверковая башня на каменном основании в подгороде немецкого Ротенбурга-на-Таубере. Она была возведена по распоряжению города для охраны коммунальных мельниц в 1488 г. во время войны Союза швабских городов с южно-немецкими князьями. Для строительства укрепления город выделил тогда Топплеру, «уважаемому человеку», «господину бургомистру», а позднее полковому командиру городского войска, участок земли — «бесплатно». Возведена же она

была, как гласит надпись на самой башне, «на средства и собственными силами Хайнриха Топплера» — человека весьма состоятельного (он владел в 118 местах 333 крестьянскими дворами и семью мельницами); он же дал этой башне и имя: «Розенталь»<sup>23</sup> Охрана внешнего городского пространства составляла обязанность специального военного подразделения — ландвера, набиравшегося из числа городских бюргеров, состоящих на городской воинской службе.

Хотя город фактически и юридически начинался еще перед городскими стенами, но именно они были той границей, которая отделяла его от округи как «дальнего», «чужого» мира, маркируя одновременно и его внутреннее «собственное» пространство. Далеко не все города и не везде имели стены с самого начала. Во Франции, например, они в целом — феномен уже XIV в. («эффект Столетней войны», по выражению Ж. Ле Гоффа). В некоторых немецких городах, как, например в Северной Германии, бедной природным камнем, городские укрепления не только в высокое, но и в позднее Средневековье, сводились лишь к земляным валам. И тем не менее, в сознании горожанина именно городские укрепления, будь то каменные стены или земляной вал, в большей мере, чем что-либо иное, воплощали образ «своего мира» в его противостоянии враждебному, «чужому» пространству за их пределами. Городские стены — материальная база формирования городской идентичности и символ священного пространства города. Чужак, подходивший или подъезжавший к городу, не оставался незамеченным. Он привлекал пристальное внимание стражи. Только объяснив, кто он, зачем направляется в город и кто из местных горожан может за него поручительствовать, он мог рассчитывать быть пропущенным внутрь. Если время было позднее и ворота уже закрыты, приходилось дожидаться утра. Не менее жестко контролировался и обратный поток — из города, особенно в периоды внутригородских смут и убоищ. Невозможно было покинуть город с наступлением темноты: после удара ночного колокола ворота запирались. В этих ситуациях очень важны были добрые отношения с монастырем около городской стены, имевшем в ней свои особые проходы. В условиях военной угрозы город становился практически недоступным для приезжих. Его обязаны были покинуть все небюргеры, те же, кто постоянно жил в городе, но бюргером его не являлся — клирики, монахи, члены духовных орденов и некоторые светские лица, должны были принести присягу в том, что будут хранить верность городу и никакими своими действиями не причинят ему ущерба и вреда.

«На будущее время в ворота города — говорилось в постановлении совета Нюрнберга 1388 г., — не может быть впущен никакой гость, пеший или конный, если неизвестно, кто он. Слуга, сопровождающий его, должен получить специальное разрешение от властей на пребывание в городе, прежде чем он остановится на постоялом дворе. Тот, кто приютит у себя не имеющего такого разрешения, будет наказан лично и имущественно, по постановлению совета. Но те, кто ввозит рожь, или другой сорт зерна, дрова, сено, солому и предметы питания, в которых нуждается население города, могут быть пропущены в город с подводами и тележками и без указанного разрешения. Можно впускать и молочницу, привозящую молоко...»<sup>24</sup>.

Взору пришлого человека город являл себя прежде всего как крепость. Этим же его качеством гордились прежде всего и его обитатели. Далеко не случайно свое «Похвальное слово Нюрнбергу» Ганс Сакс начинает с передачи именно внешнего впечатления своего восторга при виде его могучих крепостных стен.

Глашатай городской привел  
Меня в большой красивый дол,  
Который был покрыт песком  
И опоясан дубняком.  
Мне показал старик-глашатай  
На крепость со стеной зубчатой:  
Стояла на скале она,  
Глубоким рвом окружена,  
И в небо башни возносила.  
Была в ней красота и сила;  
Искусных мастеров резцы  
Отделать окна и зубцы  
Сумели так, что дашься диву...  
Мы ближе подошли к обрыву  
И по подъемному мосту вступили вместе в крепость ту.  
За крепостью открылся мне  
Чудесный вид: там в глубине  
Долины, город предо мною  
Лежал. Он каменной стеною  
Был огорожен от врагов...

*Ганс Сакс. Избранное. М., Л., 1959. С. 70.*

Стены стягивали город прочным поясом, продолжая и усиливая препятствия, созданные самой природой. Конфигурация стен учитывала не только рельеф местности, но и необходимость предоставить защиту как старинному городскому ядру, так и тем кварталам, которые возникали по соседству — отсюда второй и даже третий

ряд стен. Городские стены — наиболее неприступная граница из всех известных Средневековью.

Полная осада города даже в позднее Средневековье, когда появилось огнестрельное оружие, была делом сложным и дорогостоящим, особенно если учесть что нередко именно города, а не князья владели необходимым арсеналом. Захватить город было не так-то просто. В дополнение к стенам и на подступах к ним предусматривалась еще одна система обороны. Для того, чтобы не допустить прорыва противника через реку или вход его в гавань, натягивались цепи. Цепями же перекрывались узкие улочки в случае прорыва противника, препятствуя продвижению его внутри города. Приспособления для их крепления — специальные вделанные в стены домов кольца — можно еще и сегодня видеть в Регенсбурге, Базеле, Люнебурге, Любеке. В Швейцарском земельном музее в Цюрихе хранится картина неизвестного мастера XV в., на которой художник изобразил сложную систему дополнительного обеспечения городской безопасности: башня с бойницами и отходящим от нее ограждением из мощных бревен на входе в гавань; в замкнутом пространстве последней — другая башня, служившая одновременно тюрьмой, и укрепленная церковь; в непосредственной близости от них и под их защитой — на случай необходимости — специальное черпальное колесо, посредством которого вода направлялась в трубы, питавшие городские фонтаны; вдоль внутреннего берега гавани располагались укрепленные соляные склады и дома-башни цюрихских купцов и nobilей.

**Городские укрепления — фактор сплочения и символ убежища.** Стены — не только защита, но и символ правовой независимости города. Право на их возведение добывалось в долгой и жестокой борьбе с феодальным сеньором, на землях которого город сложился и рос. Это право даровалось королями вместе с привилегиями горожанам вершить свой суд по гражданским делам, собирать в свою пользу таможенные и рыночные пошлины. Городская стена как бы исток городской автономии и городских финансов, основа которым была положена в немалой степени, в частности, введением специального обложения горожан на поддержание в порядке и строительство укреплений. В некоторых немецких городах представитель совета, ведавший финансами, так и назывался: баумайстер или бекфестигунгсмайстер, то есть ответственный за состояние городских укреплений.

Материальные проблемы и организационные заботы, связанные с поддержанием в порядке городских укреплений, являлись



одновременно и мощным фактором сплочения горожан, воспитания городского самосознания, чувства коммунальной общности. Это не должно удивлять, ведь защита города — одна из первых обязанностей и одновременно привилегий свободного городского сообщества и полноправных бюргеров, членов ремесленных корпораций. Тот, кто хочет кормиться этим ремеслом и занять положение самостоятельного мастера, говорится в уставе кёльнских бочаров XIV в., — должен «иметь полный панцирь», то есть полное военное снаряжение: доспехи и оружие (копье, шлем, защитные рукавицы, кольчугу)<sup>25</sup> Право охраны стен и заботы о них — одна из первых привилегий, дарованных городам королевской властью и территориальными сеньорами. В одной из самых ранних коммунальных хартий французскому городу Клермону (1219 г.) сеньор его граф Гийю II предписал, что в обмен на право «ассоциации» и свободу делать то, что им «надлежит», горожане обязаны «охранять стены и башни и заботиться о рвах»; в Монпелье обязанность заботы о стенах выступает рука об руку с правом на организацию ремесленных корпораций; с 1204 г. охрана ворот здесь была распределена между тридцатью представителями этих ремесленных объединений<sup>26</sup>. Аналогично решалась проблема и в немецких городах, где охрана участков городской стены и ворот была поделена между цехами или закреплялась за кварталами; в соответствии с этим делением формировалось городское ополчение. Высший контроль осуществлялся назначенными городским советом фиртельмайстерами<sup>27</sup>. В Кёльне контроль за состоянием и охраной ворот и башен возлагался на специальных старшин — членов большого совета.

Городские укрепления — объект постоянного внимания городских властей. Поддержание их в порядке требовало не только больших денежных затрат, но и людских ресурсов, рабочих рук. Стремясь сэкономить и вместе с тем поддерживать на должном уровне их обороноспособность, власти привлекали к работе осужденных за те или иные проступки бюргеров, вменяя им в обязанность починку или возведение за их счет определенных участков стены или ее ремонт собственными силами. С XIV в. в Кёльне строительство городской стены превращается в форму общественных работ, на которые отправляли нищих и бродяг.

К уходу за крепостными сооружениями привлекали и крестьян ближних деревень, пользующихся их защитой в случае опасности. Так было, например в Пуатье, где крестьяне не только сотрудничали с горожанами в ремонтных и строительных работах, но и несли дозорную службу, а в случае опасности становились и в ряды защитников. Это было существенным подспорьем для го-

рожан в случае осады, так как простиравшаяся на шесть километров стена заключала в своих пределах относительно немногочисленное (менее 15 тыс. человек) население. В этом пункте мы еще раз сталкиваемся с проявлением двойственности, амбивалентности отношения «город—окрута». Определяя исключительное пространство города, отделяя его от деревни как пространства враждебного, городская стена в определенных условиях становилась для деревенского населения фактором защиты, а городское пространство — местом убежища, реализуя тем самым один из самых важных библейских образов города, завещанных Ветхим Заветом городу средневековому.

**Башни, ворота, мосты — символика и функции.** Стены и их элементы — башни, ворота, имели не только военно-практическое значение, но и символически-правовое. Именно по этой причине они так часто воспроизводятся на городских печатях. На одной из старейших — печати немецкого города Фрейбурга-в-Брейсгау (1245 г.) представлена городская фортификация; на башнях ее, слева и справа, два трубача, дующие в рог, символизируют городскую независимость. К подобной символике часто прибегали и в позднее Средневековье, когда хотели подчеркнуть правовое значение города, авторитетность его органов власти, как это было, например, в немецком Регенсбурге. Портал ратхауза этого города, наряду с изображением герба, украшен располагающейся над ним скульптурой, представляющей ворота с двумя охраняющими их бюргерами-стражниками, облаченными в кольчуги, шлемы, боевые рукавицы и вооруженными — один боевым молотом, другой — камнем. Значение ворот подчеркивалось и непосредственно скульптурными изображениями на их внешней стороне святого покровителя города и(или) Богоматери, герба, а нередко и репрезентативной фортификацией, не имевшей большого военного смысла, но зато создававшей (или олицетворявшей) образ «города—господина». Таковы, например, знаменитые Хольстентор вольного имперского города Любека, главы ганзейского союза городов.

Ворота — наиболее существенный и привилегированный как функционально, так и символически элемент системы городских укреплений. Они суть «инструмент, посредством которого реализуется диалектика внешнего и внутреннего пространства»<sup>28</sup> Через них вступают в город с дурными и добрыми намерениями; через них поступают в город продукты земледелия и товары; через них покидает город все то, что в нем производится, и уходят те, кто создает продукты его ремесленного и интеллектуального труда.

Пространство около ворот, перед воротами и тем более с внутренней стороны — привилегированное место интенсивных коммуникаций, контроля и наблюдения, томоженных сборов и пошлин, взимаемых с грузов и людей, пеших и конных, прибывающих в город. Но это также зона сакральная и именно здесь прежде всего обосновывались первые монастыри нищенствующих орден — доминиканцев и францисканцев, осуществляя идеологическое воздействие на город как центр богатства и средоточие ересей.

В зависимости от важности города, но также и от его главных функций, характера хозяйственной жизни и соответствующей структуры его отношений с внешним пространством число ворот могло быть ограничено или, наоборот, велико. Если в Каркасоне их было всего двое, то в большем по масштабам Метце, открытом на округу и многочисленным торговым дорогам, в XIV в. было десять ворот. Первые средневековые стены Парижа насчитывали 19 ворот и потайных ходов. Самые важные из них — ворота Сен-Дени: они вели к королевской базилике и знаменитой ярмарке Ланди. Это были королевские ворота по преимуществу: через них короли осуществляли свой торжественный церемониальный въезд в Париж; через Сен-Дени следовали они и к месту своего последнего пристанища.

Но был еще один элемент в системе городских фортификаций, по важности своей в жизни города и в представлениях горожан едва ли уступавший воротам. Это — городские мосты. Их сооружение (как и контроль за их состоянием) было одним из важнейших предприятий городского сообщества. Во французском Ажене мост строили в течение столетия. Город нуждался в мостах из практических соображений, ведь водные коммуникации — одни из важнейших для средневекового города. Водным путем прибывали в город товары и люди, посредством его города связывались друг с другом: река и речки — один из важнейших элементов, конституировавших в средние века городскую сеть области, региона, страны. Река, наконец, это — препятствие, не преодолев которое в город попасть невозможно. Средневековый город трудно представить без реки и моста.

Мост — также предмет гордости горожан и авторитета города. Альпийские немецкие и итальянские города славились мостами с бревенчатым настилом, а французские королевские города — сооруженными из камня. Мост, сделанный из дорогого материала, — городская достопримечательность, одно из самых знаменитых сооружений, после собора, предмет престижа.

Французские медиевисты, исследовавшие эту проблему, отмечают, что переделка римских, замена деревянных и сооружение

новых, из камня, мостов идут рука об руку с хозяйственным и политическим возвышением городских коммун, формированием сознания коллективной идентичности и приходится на один и тот же период 1150—1340 г. Городская печать Кагора имеет изображение моста с башней; мост — городская эмблема. Предметом гордости горожан был третий, построенный в 1308 г. мост Валантре — из камня, укрепленный башнями с навесными бойницами, дополнительными бойницами в парапете. В некоторых случаях, как например, в Каркассоне или в Альби, именно строительство и содержание мостов послужило поводом и важным импульсом создания коммунальных учреждений, консулатов.

Для средневекового города в целом типична история «мостостроения» в Нарбонне<sup>29</sup>. Этот французский город имел римский мост. В конце XII — начале XIII в. он был заменен новым мостом из камня, который позднее стали называть «Старый мост». В 1275 г., как говорит запись в городской книге, «мудрые люди сите и бургуса» приняли решение построить мост, чтобы соединить ворота бургуса, возле которых с внешней стороны укреплений, находились кармелиты, с предместьем Бельвеце. С разрешения архиепископа, сеньора левого берега реки Оде, через которую должен был быть перекинут мост, он был сооружен из дерева в 1293 г., а в 1331 г. перестроен в каменный. Его стали называть: Новый мост или Мост кармелиток. Но еще в 1315 г. консулы сите и бургуса вновь обратились к архиепископу и королю с просьбой разрешить строительство третьего моста из камня, так как два моста недостаточны для столь населенного и торгового города, каким стал Нарбонне. Ни горожане, ни приезжие, сетовали власти, не могут ими пользоваться свободно из-за тесноты и больших трудностей. Его предполагалось построить за стенами, с южной стороны от бургуса, и на этот раз у ворот, перед которыми обосновались доминиканцы. Мост был построен в 1345 г.

**К единству жизненного пространства и самоидентификации.** Крепостные укрепления городов не менее красноречиво, чем хроники или правовые документы, в состоянии поведать о их возникновении, трудностях роста, о путях обретения ими единства внутреннего, физического пространства. История городских стен — история преодоления дуализма епископского (или монастырского) сите, графской крепости и рожденного ремеслами и торговлей бурга (или вика). Это история преодоления множественности ядер, лежащих у истоков средневековых городов (особенно их первой волны X—XII вв.), их постепенного соединения, побед и поражения на этом пути. Не всегда объединение осуществля-

лось полностью и тогда друг подле друга оказывалось два, а иногда и больше, города, каждый в своей крепостной стене. Во французском Невере бург и сите были соединены стеной в конце XII в., но каждая коммуна при этом сохранила свою особую администрацию. В Ницце к Верхнему городу, обнесенному стеной в XII в., в ходе XIII в. прибавились новые кварталы, образовавшие Нижний город. Обнесенный в начале XIV в. общим валом, соединившимся с укреплениями Верхнего города, он, однако, сохранил самостоятельность. Епископ нижнесаксонского города Хильдесхайма основал в XIII в. в противовес Старому городу Новый город. Этот город-конкурент был также обнесен стеной, имел свою рыночную площадь и свой независимый от Старого города распорядок хозяйственной и общественной жизни. Из четырех элементов состоял средневековый Арль: сите, Старый бург, Новый бург, Рынок и каждый имел свою стену и администрацию. Их объединение в пределах одной единой стены произошло только в 1623 г.

Вместе с тем, дуализм соседствовавших городских общин в отдельных случаях не препятствовал достижению согласия в некоторых вопросах, касавшихся их общего пространства, как это было, например, во французском Родезе. В 1192 г. на границе бурга и епископского города — сите был построен госпиталь, старшины которого обязаны были ежегодно предъявлять свою хозяйственную документацию для контроля членам консулата каждой из коммун. Во Франкфурте-на-Майне Старый и Новый город вплоть до XVI в. были отделены друг от друга стенами и рвами. Трое ворот, объединявшие оба города, на ночь крепко запирались. В 1335 г. жители Нового города, где жили в основном садоводы, попросили городской совет разрешить отпирать по ночам ворота для того, чтобы священник со святыми дарами мог пройти к умирающему, а повитуха — принять новорожденного.

Несмотря на официальную расчлененность городских общин, дух единства постепенно проникал в сознание их жителей. Вызревавшее представление о коммунальной общности, стремление к самоутверждению перед внешним миром заявляло о себе провозглашением объединяющего названия, как это произошло, например, в Тулузе. С 1141 г. наименование епископского города — «Толоза» распространяется и на бургус, как на его предместье; но с 1190 г. Толоза упоминается в документах уже как общее название, без подразделения на «город» и «предместье». В 1222 г. на месте римской крепостной стены, разделявшей епископский город и бургус, был выстроен коммунальный дом — Дом консулата, единый для обеих городских общин и с равным представительством от каждой из них<sup>30</sup>.

Городские стены — материальное воплощение и закрепление достигнутого на том или ином этапе хозяйственного, политического, культурного роста города, соотношения социальных сил и освоенного жизненного пространства, но это также и запечатленная в монументальных формах история становления городского самосознания, самоидентификации его горожан. Именно об этом рассказывают топографические планы городов разных европейских регионов. Выразительный в этом отношении ряд их приводит Ж. Ле Гофф в своем синтезирующем труде «Цивилизация средневекового Запада»<sup>31</sup>. Вглядимся в них внимательно.

Так, в Генуе первые укрепления были возведены в X в., когда над городом нависла угроза набегов сарацинов. В кольцо этих стен вошли сеньориальный замок (каструм) и епископский город (цивитас) с собором Сан-Лоренцо. Ремесленный бургус с другим собором, Сан-Сиро, остался вне их. В XI—XII вв. Генуя «сама переходит в наступление»: сначала ее мореходы прибыльно занимались пиратством, затем ее торговцы обогатились во время Крестовых походов. В 1155—1156 гг. началось строительство второй стены. Она вобрала в себя экономический центр — бургус и политическое ядро города — Дворец коммуны. С 1122 г. коммуна идентифицировала себя как «товарищество» (*сатрагна*), включающее в свой состав всех граждан, «благородных» и «неблагородных», занимающихся морской торговлей. Важность ее была подчеркнута возведением Дворца таможни.

Свои новые стены Париж получил при Филиппе Августе (1179—1223). В течение XII в. город значительно вырос, но ростом своим он был обязан не только экономическим функциям; по времени это совпадает с возникновением университета. Новые стены вобрали в себя кварталы по правому берегу Сены: здесь была сосредоточена хозяйственная жизнь города, находились Рынок, Гревская площадь, служившая одновременно и местом найма рабочих и местом разгрузки товаров; и Тампль, где хранилась королевская казна. Стены включили в свое пространство также университетский город, Латинский квартал на левом берегу Сены; «старинное сердце» города остров Сите, епископский центр вокруг нового собора Нотр-Дам и политическое ядро вокруг Пале-Рояль. Они объединили в своих пределах (или подошли к ним вплотную) аббатства, первоначально расположенные достаточно далеко от городского ядра.

Расцвет городов Центральной Европы приходится на XIII — начало XIV в., и на планах их, будь то Кёльн, Любек или польский Калиш, отчетливо прочитываются взаимосвязи, способствовавшие оформлению их общего пространства. Экономическое воз-

рождение Кёльна началось рано. Уже в X в. укрепления охватили старинный римский город и новый квартал на берегу Рейна, сложившийся вокруг рынка. В 1106 г. новые стены обеспечили защиту двум новым кварталам на севере и юге, выросшим вдоль течения Рейна. К 1180 г. город достиг в своем развитии максимальных для его средневековой истории границ, поглотив старинные приходы церквей Сан-Северина, Сан-Панталеоне, Сан-Геона.

Любек, в отличие от Кёльна, — «новый» город. Он был основан в 1159 г. саксонским герцогом Генрихом Львом, стремившимся привлечь туда купцов из Балтики и славянских стран. Он подобрал в себя два ядра: вик, основанный в 1143 г. графом Адольфом фон Шауэнном, бургус вокруг Собора и замок, возведенный Адольфом фон Шауэнном на месте славянского «города». С 1230 г. Любек стал обноситься укреплениями, охватившими пространство между реками Траве и Вакениц, на которых были выстроены причалы и мельницы. В Любеке, где не было старинных монастырей, довольно рано (в 1225, 1227 гг.) обосновались монастыри францисканцев и доминиканцев.

Не менее, если не более, сложным был процесс формирования единого городского пространства важного польского центра Калиша. На плане его отчетливо просматриваются четыре ядра, маркирующие этапы его истории: укрепленный славянский феодальный «грод» XI—XII вв. с церковью, вскоре удвоившийся за счет образования с западной его стороны, у реки, купеческого «подгородья». В XII в. к северу от него вырос «Старый город», а в начале XIII в. на скрещении сухопутной и водной магистрали был основан на немецком праве «Новый город», получивший, благодаря своему географическому и правовому положению, мощный импульс для дальнейшего развития.

Ранняя история, как история обретения единого жизненного пространства, не проходит для средневекового города бесследно. Она напоминает о себе структурой организации его пространства внутри стен, спецификой застройки, системы коммуникации, социальной топографии, топонимами и т.п. Об этом и пойдет речь далее.

**Город внутри стен. «Топографическая память».** Заботливо охраняемые сегодня средневековые центры старинных европейских городов поражают воображение лабиринтами своих улочек, оставляющих впечатление беспорядочности. Но это впечатление — обманчиво. Организация внутреннего пространства в средневековом городе в действительности имела свою жесткую струк-

туру, обусловленную многими факторами и подчинявшуюся иной, чуждой сознанию современного человека логике жизни и системе представлений. В топографии средневекового города запечатлены и особенности его географического положения, так же как и его происхождения, генезиса, этапов истории развития и то, что составляло «элемент (элементы) его роста», то есть превалирующие функции.

Со стенами или без стен, каждый город имел свою форму, определявшуюся во многом рельефом местности. Были города, которые располагались на равнине, в открытом пространстве, но, как правило, так или иначе естественно защищенном, например, в излучинах рек (подобно некоторым французским городам, ведущим происхождение от позднеантичных сельскохозяйственных поселений — вилл), или на островах — колыбелью Парижа, Венеции, Стокгольма были именно острова. Но в массе своей города осваивали склоны холмов, возвышающихся над местностью (на высоком холме возник Толедо).

Возвышенность давала большие преимущества для обороны и на случай стихийных бедствий. Множество городов во Франции, в Бельгии, Англии, Германии своим происхождением связаны с расположенными на возвышенностях крепостями мерovingской знати, широко распространившимися в IX—X вв., когда Европа подверглась набегам сарацин и норманнов. Внутреннее пространство крепости было достаточно обширным, чтобы не только защитить резиденцию и предоставить временное убежище окрестному населению, но и дать ему возможность возделывать землю и оставаться там длительное время.

Не последнюю роль в выборе места для основания города играло и стремление соответствовать христианскому, библейскому образу города—убежища Нагорной проповеди (излюбленному топосу средневековых теологов и проповедников): «Вы свет мира. Не может укрыться Город, стоящий на верху горы» (Матф. V, 14).

Исследователи подразделяют города, с точки зрения их происхождения на «естественно», спонтанно выросшие и «основанные» (или «новые»), которые со второй половины XII в. и особенно в XIII—XIV вв. распространяются по всей Европе от Атлантики до Вислы и за Эльбой. Они создавались правителями — князьями, королями, нередко монастырями с целью укрепления собственной власти. Население привлекалось туда при помощи торговых и правовых привилегий. В застройке этих «новых» городов подчас достаточно ясно прочитывается тенденция к предварительному рациональному планированию их внутреннего и внешнего пространства. Конечно, не всегда легко провести точную линию,



разделяющую оба вида городов. «Новые» города порой возникали не на пустом месте, а там, где уже существовали элементы, необходимые для их дальнейшего роста.

К числу спонтанно выросших относятся города, ведущие свое происхождение от позднеримских сите. Таких городов особенно много в тех частях Европы, которые входили в Римскую империю (в Италии, Франции, Рейнской области и т.д.). Для планов этих городов характерна прямоугольная структура пересекающихся линий улиц. Сите часто сохраняла свои римские стены и как бы вставлялась в средневековый город, развивавшийся вокруг нее. Площадь, занимаемая сите, была, как правило, невелика: Тулуза с ее 90 га и Метц — 70 га составляли исключение. У большинства французских городов площадь античного сите колебалась от 5 до 30 га.

Другой и самый распространенный случай «естественно» выросшего города представляли «города присоединения», по выражению известного французского историка-урбаниста П. Лаведана. Рожденные из предгородских ядер, сложившихся вокруг негородского по своему характеру элемента как, например, крепость или монастырь, они развивались либо по направлению к ним, либо отдельно.

Центров притяжения могло быть несколько и этот полицентризм, как уже отмечалось, сохранялся и позднее, несмотря на появление объединяющей стены. Так было, например, в Реймсе; топография его запечатлела два городских ядра: сите, в овале галло-римских стен, и бург, развивавшийся вокруг аббатства Сан-Реми. В конце XII в. образовалось два новых предместья — одно на территории епископа (тяготеющее к сите) и другое — на территории аббатства. Их планы определялись прямолинейными улицами, образующими при пересечении в плане шахматную структуру, что означало полный разрыв с античной планировкой.

Планы средневековых городов показывают, что в массе своей спонтанно возникшие города первой волны урбанизации тяготели к радиально-концентрической системе улиц. Часто она диктовалась рельефом местности и тем, что лучше учитывала существование пунктов, обладающих притягательной силой — собора или монастыря, формой ограждения которых в какой-то мере определялся и дальнейший рост города. Радиально-концентрический план, пишет П. Лаведан, — свидетельство иерархизированности пространства: там где он присутствует «все радиусы сходятся в центре, круги же удалены от него на разные расстояния и никогда его не достигают»<sup>32</sup>.

Топография «основанных» городов, напротив, тяготела к прямоугольной структуре, «означавшей равенство: все линии прямоугольной структуры параллельны, и все углы равны друг другу». Распространение ее некоторые исследователи объясняют тем, что города второй волны урбанизации, начавшейся с XIII в., в большинстве своем возникали вдоль транспортных магистралей, трактов. Параллельно участку дороги, часто выполнявшему функции главного рынка, появлялись затем другие улицы, которые соединялись друг с другом перпендикулярными отрезками. Влияние дороги на план города особенно ясно прослеживается тогда, когда дорога не прямая, и ее кривизна воспроизводится другими улицами. Еще более непосредственное воздействие на план мог оказать и перекресток дорог, пересекающихся под прямым углом.

Планомерность «основанных» городов — итог долгих проб и накопления градостроительного опыта. Ведь «основание» города в средние века означало прежде всего возвышение правового статуса зачастую уже существующего поселения и отнюдь не обязательно было сопряжено с предварительным проектированием и физическим возведением города, тем более в ранний период — во второй половине XII в. и даже нередко в XIII в. Топографические планы городов, появившихся в это время, в одних случаях свидетельствуют о приспособлении к рельефу местности, в других несут отпечаток спонтанного развития. Наглядный пример тому — топографическая структура старейших в Европе (из числа «основанных») городов Фрайбурга-в-Брейсгау и Любека.

Фрайбург-в-Брейсгау, официальная история которого начинается с жалованной грамоты герцога Конрада Церингена 1120 г. об основании города, имел в качестве исходного пункта поселение, сложившееся около важной рыночной магистрали; именно участок магистрали затем и образовал главную улицу города, пересекающую его насквозь — Кайзерштрассе; на ней же был учрежден герцогом и главный городской рынок. В ряде мест эта улица-рынок (как это можно видеть на плане города, реконструированном немецким историком-урбанистом Г. Планитцем) пересекалась под прямым углом поперечными улицами—дорогами. В западной части городского пространства, сформированной вокруг улицы, параллельной главной рыночной магистрали, были расположены кварталы жилой застройки, прямоугольные по форме. В южной их части структура менее регулярна, а формы различны, что сказалось на направлении улицы, соединившей по диагонали пространство между юго-западными и южными городскими воротами. Еще менее однородна топографически восточная часть города: пространство вокруг собора (возведенного после 1120 г.

окружено кварталами разной величины и формы, тогда как к востоку от этого комплекса преобладали в целом одинаковые кварталы с прямоугольной структурой расположения домов.

Лишь немногие улицы пересекали город по всей его площади и ни одна из них не была абсолютно прямой. Все это говорит о поэтапности застройки города, приспособлении к исходным топографическим предпосылкам, но вместе с тем и о стремлении к рациональной планировке: регулярность кварталов к западу от главного рынка — это уже новое пространство «основанного» города. Что же касается градостроительной инициативы герцога, то она ограничилась локализацией главного рынка и определением разметки первых участков для будущих поселенцев («100х50 шагов»). Полагают, что при выборе местоположения рынка герцог, руководствовался, как образцом, улицами-рынками Шпейера, Вюрцбурга, Аугсбурга, или, как считает Т. Халл, длинными рыночными площадями Кёльна и Страсбурга.

В основном застройка Фрайбурга-в-Брейсгау была завершена к 1200 г., когда были возведены стены. К середине XIII в. город имел францисканский монастырь, две церкви (кроме собора) и шесть ворот. В 1303 г. была построена ратуша.

Так же как в случае с Фрайбургом, топографическая история Любека, как уже отмечалось, началась раньше его официального основания в 1159 г. саксонским герцогом Генрихом Львом. Город сложился на скалообразном полуострове в месте впадения р. Ва-кениц в Траве. Его план, как и во множестве других случаев основанных городов или новых городских предместий в XII — начале XIII вв., отличается, с одной стороны, ясностью и перспективой, а с другой — непоследовательностью, нарушениями регулярности. В городе было мало сквозных улиц и много коротких и запутанных, что также свидетельствует об отсутствии общего предварительного плана строительства города и его поэтапной застройке. К концу XII в. он состоял из четырех элементов: бурга на севере, купеческого поселения в центре полуострова, бенедиктинского монастыря на востоке и собора в южной части. Собор и бург отстояли друг от друга более чем на полтора километра. В Любеке, таким образом, была особенно выражена полицентричность, характерная для спонтанно выросших городов раннего периода. Застройка пространства полуострова протекала стремительно и в своей большей части была завершена к концу XIII в.<sup>33</sup>

Упорядоченная в соответствии с предварительными планами структура внутреннего пространства в XIII—XIV вв. утверждается в большинстве «основанных» городов, особенно в Центральной

Европе, областях «немецкой колонизации», в Балтии, Чехии, Моравии, Словакии. Регулярная сеть улиц, организованных вокруг рыночной площади, (или рыночные улицы, как в городах немецкого ордена: Эльбинге, Мемеле, Кёнигсберге), кварталы с одинаковой величины и формы участками застройки — специфический элемент их топографической структуры. Четкий геометрический план застройки в форме ромба или квадрата, с пересекающимися под прямым углом улицами, ориентированными на центральную площадь с продовольственными складами, крытыми рынками, характерен и для «новых» городов во Франции и особенно для бастид на ее Юго-Западе. Четко распланированным было не только их внутреннее пространство, но и прилегающая округа, дороги которой как бы служили продолжениями городских улиц (как, например в основанных цистерцианцами бастадах Сан-Лис, Гренада, Булонь-сюр-Гессе).

Так или иначе, но средневековые города начинали свою историю там, где имелось уже поселение того или иного происхождения. «История меняется, — пишет Ж. Ле Гофф, — но совершается почти всегда на одном и том же месте. Отсюда иллюзия континуитета. Наследник долгой истории, которую он меняет, средневековый город носит внутри себя самого, в еще большей степени, чем в своих взаимоотношениях с внешним миром, знаки той истории, из которой он вышел. Он обладает топографической памятью»<sup>34</sup>

**Специфика организации внутригородского пространства и факторы ее определяющие.** Характером генезиса средневекового города обусловлено и то обстоятельство, что он за редким исключением небольших основанных городов (бастиды, например) не имел четко обозначенного единственного центра; редко присутствует он и в каждом из составляющих его элементов. Фактически городское пространство структурируется некоторым числом отдельных пунктов — общественных мест, монументальных зданий и сооружений, определяющих в известной мере и упорядоченность застройки и улиц, циркуляцию движения в пределах города. Они выделяются не только своими объемами, формами, эстетической нагрузкой, но также и своими функциями и своей символикой. Эти «пункты» служат для горожан «ориентирами» в их повседневной жизни и деловой практике. Этому термину, предложенному французской урбанисткой А. Игунэ-Надаль, Ж. Ле Гофф, предпочитает другой: «горячие точки», принимая во внимание то воздействие, которое они оказывают на горожан (притяжение или, напротив, отталкивание, отвращение). В своей совокупности, по-

лагает Ж. Ле Гофф, они не что иное, как реализация в городском пространстве ключевой для средневекового сознания идеологической модели «трехфункционального» общественного устройства. Разработанная теологами на рубеже X—XI вв., модифицировавшаяся с учетом меняющихся реалий социальной жизни, она формировала представления средневекового человека о социальной иерархии, организации господства и власти, функциях каждого из общественных разрядов. Так или иначе, это давало о себе знать в городском интерьере и образующих его элементах и институциях; специфике социотопографии, в реалиях повседневной социальной практики и поведения горожан, словом, в их образе жизни. Именно под этим углом зрения и организуется материал в нашем дальнейшем изложении, ставящем целью дать представление о внутригородском социокультурном пейзаже в единстве запечатленной в нем духовной и материальной практики горожан, культурных, идеологических и социоэкономических функций города, как специфического элемента средневековой общественной структуры.

#### **Церковь в городе. Религиозно-идеологическая функция.**

Церковь представлена в городе во всей мощи своей двойной функции — религиозной и идеологической, а также, не менее внушительно, и топографически — пространством, занимаемым ее храмами, часовнями, монастырями и всем тем, что к ним имело отношение, включая складские и торговые помещения, участки земли и т.д. Церковный храм притягивал к себе как центр благочестия и литургии, обладатель священных реликвий, а также как место официальных церемоний, отправной пункт торжественных процессий, религиозных и мирских.

Вокруг приходских церквей теснились лавки ремесленников и купцов и шла торговля. У ее портала завязывались обсуждения жизненно важных для горожан вопросов. В дни церковных праздников здесь же разворачивались театральные действия под руководством духовенства. В церковном дворе часто собирались ремесленники обсудить свои дела.

Церковь обладала в городе и высшей судебной юрисдикцией (архиепископский суд) и мощной экономической функцией. В пользу ее взимались десятины и чинши с торговых сделок и пошлин; в казну ее поступали доходы от церковных земельных владений в городе, от принадлежащих ей и сдаваемых в аренду строений, домов, рыночных мест; от сети лавок, мастерских, винных погребков, окружавших соборы и приходские церкви, располагавшихся в близлежащих от нее кварталах, вблизи кладбищ, церковных школ.

Церковный храм первоначально — единственное общественное сооружение в городе. Располагавшееся в самом сердце его, оно резко выделялось из массы городских строений своей высотой, внушительностью форм. Церковные башни, колокольни, как высшие точки внутригородского пространства, определяли своеобразие и внешнего силуэта города. В XIII—XIV вв. во многих городах, как мы видели, они принадлежали уже не церковной, а городской общине и их колокола звучали не только для церковной службы, но и для мирских дел. Как и беффруа над ратушей, колокольни коммунальных церквей и монастырей символизировали политическое самосознание горожан, соперничая подчас своей высотой и внушительностью с башнями сеньориальной крепости. Это вызывало порой ответную реакцию, как это случилось, например в Данциге, сеньор которого, Немецкий орден, потребовал снизить их высоту. Добившиеся свободы в середине XV в., горожане разрушили орденский замок в городе и нарастили на два этажа Мариенкирхе и беффруа ратхауза.

Как религия городская по самой своей природе, христианство, церковь, поддерживало на Западе городское развитие с самого его начала. Из римских городов в Средневековье, как известно, перешли в большинстве своем те, которые являлись епископскими резиденциями. Они были теми немногими, что сохранили и в раннее Средневековье свои экономические функции, хотя и в сильно урезанном и деформированном виде. Церковь взяла город под свой контроль, однако, чтобы сохранить его в дальнейшем, она должна была изменять себя — приспосабливаться к эволюции города, обеспечивая его необходимыми духовными ориентирами, трансформируя традиционные и создавая новые формы организации самой религиозной жизни, отвечающие как чаяниям и представлениям горожан, так и задачам самой церкви, ее потребности в наиболее эффективном идеологическом инструменте воздействия на их сознание.

Церковь производит в течение XI—XII вв. переоценку основных христианских ценностей, касающихся, в частности, труда. С конца XII—XIII вв. широко распространенное (согласно Книге Бытия) представление о труде как проклятье и несчастье, как каре человеку за первородный грех начинает вытесняться новым идеалом труда — созидания, труда как инструмента искупления и спасения человека. Это нашло отражение в столкновении в скульптуре и иконографии начала XIII в. двух образов Адама — традиционного, раздавленного трудом-проклятьем, и нового Адама-созидателя<sup>35</sup>. Одновременно воспитывалась нетерпимость и подозрительность к тем, кто добровольно или вынужденно пребывал в праздности.

Церковь покровительствует купцам, способствуя тем самым искоренению предубеждения против них в среде праздного феодального класса. Аристократия, главным принципом поведения считавшая публичное расточение богатства, а щедрость, проявляемую таким образом, как высшую добродетель, презирала купеческую расчетливость и бережливость, как и нажитые накопительством и бесчестно полученными прибылями их богатства. Церковь, обрушивая проклятья на алчных ростовщиков и богачей, в то же время оправдывала существование купечества и торговли как общественно полезное, необходимое для функционирования целого. Купеческие дела, учили проповедники, — точно такое же занятие, предопределенное Творцом, как и призвание земледельца, монаха, воина.

«Честная торговля» — тот идеал, который начинает усиленно пропагандировать церковь с XIII в. Богатства и собственность не предосудительны, если приобретены честным трудом и используются для благих дел, таких как благотворительность, поддержка сирых и убогих — «Христовых бедняков». Имуущество также вверено Богом владельцу, проповедовал в богатых торговых городах Южной Германии францисканец Бертольд Регенсбургский, как и его персона, время и должность, и он также является лишь управителем своего богатства и должен будет дать отчет за его употребление. Придерживаясь смысла средневекового христианства, церковные проповедники в городах, тем не менее, подобно Бертольду Регенсбургскому, смещали акценты. Земные труды и материальные интересы находили в их речах «теологическое обоснование, получали высшую санкцию, возводились в ранг выполнения божественных предначертаний». Это имело большое значение для формирования городского самосознания и его индивидуализации: «Человеческая личность, которая начинала себя осознавать, принимала себя самое, свое общественное и профессиональное призвание, свою собственность и свое время за дары Бога, «talantы» (по терминологии Бертольда), кои надлежало возратить Творцу сохранными и даже по возможности преумноженными»<sup>36</sup>

Церковные идеологи соответствующим образом трансформируют «трехфункциональную» модель социальной структуры средневекового общества. Так, Бертольд Регенсбургский выделяет, наряду с традиционной вертикальной иерархией трех высших «разрядов» (священники во главе с папой, монахи и «мирские судьи», император, короли, герцоги, графы и все светские господа), еще шесть разрядов, которые, как бы «рядоположены» и представляют мир городской, не включенный в иерархические

связи высших феодальных сословий. Это — «все те, кто изготавливает одежду и обувь» (первый разряд); «ювелиры, монетчики, кузнецы, плотники, каменщики» (второй разряд); третий разряд — купцы: «они привозят товары из одного королевства в другое, плавают по морю, одно доставляют из Венгрии, другое из Франции»; четвертый разряд — «продавцы пищи и питья, снабжающие население необходимыми припасами», пятый разряд — крестьяне; шестой — лекари.

Таким, многоликим сословно и профессионально, видели город доминиканские и францисканские проповедники, монахи нищенствующих орденов, ставившие своей целью пробиться к сознанию каждого горожанина, направляя его. Появившиеся в начале XIII в. нищенствующие ордена, душой которых стали доминиканцы и францисканцы (минориты) — новое воинство церкви и совершенно новый тип монашества, идеалом его был монах-проповедник. Они быстро отодвинули на второй план как традиционное монашество — клунийцев и бенедиктинцев «старого устава», — тесно связанное с сеньориальной аристократией, ведущее жизнь праздную, так и обновленные в ходе XII в. их формы (цистерцианцы, кармелиты, премонстранты и др.), проповедовавшие аскетизм быта, уединение в сельской глуши, ручной труд и земледельческие занятия<sup>37</sup>

Нищенствующие ордена — новый церковный институт, родившийся из стремления церкви адаптировать еретические течения, выдвигавшие своим идеалом смирение и абсолютную бедность раннехристианских общин, обратив их активность вместе с тем на городскую среду. Они порывают с прежней монастырской традицией, создавая свои обители, дома—кувенты не в сельском уединении, но в многолюдных городах, включаясь в хозяйственную жизнь города и «предпочитая монастырским кафедрам кафедры университетские»: знаменитые профессора Парижского университета Фома Аквинский и Бонавентура были один доминиканцем, второй — францисканцем.

Кувенты нищенствующих орденов были связаны не с традиционными приходами, но с городом в целом — «с его общиной и его коллективной идентичностью»<sup>38</sup>. Исследовавший эту проблему Ж. Ле Гофф отмечает, что уже с XII в. руководители нищенствующих орденов не только обладали городским сознанием, но и ориентировались в своей политике на обоснование в городах. Глава ордена доминиканцев Гумберт Романский в одном из своих посланий (середина XIII в.) аргументировал предпочтительность проповеди в городах тем, что в них более многочисленное население и более развращенные нравы; именно путем проповеди в



городах, утверждал он, можно достичь наилучших результатов и в деревне, ибо деревня подражает городу<sup>39</sup>. Карта францисканских и домениканских кувентов XIII—XIV вв. — это по существу карта городской сети христианского мира. Наличие их в агломерации — один из критериев, считает Ле Гофф, ее городского характера, что, в частности, особенно выразительно в Провансе, где имеется исключительная по полноте документация. Эту мысль Ле Гоффа подтверждает и исследование венгерского ученого Э. Фюгеди, посвященное процессу урбанизации в Венгерском королевстве XIII—XIV вв. Список доминиканских и францисканских монастырей здесь к началу XIV в. практически совпадает со списком новых торговых городов<sup>40</sup>.

В ходе XIII в. кувенты нищенствующих орденов, по мере роста их морального авторитета среди горожан и своих богатств, складывавшихся не в последнюю очередь благодаря пожертвованиям и дарениям, перемещаются из предместий и пригородов внутрь городских стен. Нищенствующие ордена становятся обладателями огромных материальных ценностей, входя тем самым в противоречие с принципами бедности, которые они пропагандировали. В бюргерских завещательных актах с XIII—XIV вв., наряду с легатами кувентам нищенствующих орденов, присутствуют в большом количестве пожертвования и другим новым религиозным институтам, непосредственно связанным с городской жизнью, духовными устремлениями и потребностями горожан. Речь идет о религиозных братствах, госпитальных, благотворительных, созданных при церквях приходских и монастырских, дававших приют убогим и сирым, больным, паломникам — «беднякам Христовым».

...Средневековую присуще своеобразное представление о бедности и нищенстве. В соответствии с христианской традицией бедность осмысливалась как состояние, угодное Богу (отсюда выражение: «Христовы бедняки»), а сами бедные — как избранники Божьи, которые пренебрегли земными благами ради благ небесных. Средневековые моралисты, восхваляя бедность, обычно осуждали не богатства, но алчность как один из безусловных смертных грехов. Бедность и богатство нередко трактовались как взаимодополняющие понятия: богатые — «казначей бедняков», — раздавая избытки имущества нищим, тем самым служат «самому Христу».

Наряду с этим возникали течения, представители которых требовали полного отказа от богатства и собственности как условия спасения души — это еретики (типа вальденсов) и упоминавшиеся уже нищенствующие ордена доминиканцев и францисканцев. Христианское учение о том, что милостыня способствует спасению души дарителя (особенно милостыня, творимая через церковь), чрезвычайно способствовала (наряду с

социальными факторами) развитию нищенства; нищие становились необходимой категорией средневекового социального устройства: они кормились при дворах королей и баронов, соборах и монастырях. Бедность считали естественным и неизбежным злом, подобно стихийным бедствиям, и никто не задумывался о мерах для ее ликвидации. Напротив, нищих по своему пестовали, включая милостыню, угощение, лечение или умывание нищих в ритуал королевских и церковных празднеств. При этом в центре внимания находились не сами обездоленные, а скорее податели благ: бедняки, по выражению французского историка М. Молла, служили не более, чем предлогом для подвига милосердия. В «Житии святой Маргариты», королевы Шотландской (конец XI в.), подробно изображены подобные ритуальные процедуры: мытье ею ног шестерым нищим, заранее подготовленным ее слугами, кормление сирот, обслуживание ею приглашенных во дворец бедняков. Пищу давали строго определенному числу бедняков (обычно двенадцать или двадцать четыре), а не всем нуждающимся... Но если до XIII в. бедность воспринималась преимущественно как проблема моральная и религиозная, то постепенно ее начинают ощущать как тревожную болезнь, как угрозу существующему устройству. К XIV в. бедняки образуют уже широкую беспокойную массу и постепенно понятие «бедность» сливается и перекрывается новым понятием «нищие слои»<sup>41</sup>

Наряду с религиозными братствами клириков широкое распространение получают религиозные братства мирян, объединявшихся по собственной инициативе с благочестивой целью праведного образа жизни и заботы о спасении души. Эта моральная проблема, центральная для средневекового сознания, особенно остро воспринималась в городской среде, где определяющую роль играли товаро-денежные отношения и предпринимательские операции с целью извлечения прибыли — стремление, вызывавшее острую критику церкви, как ведущее к «неправедной наживе». Порождаемый этой критикой «конфликт сознания» толкал наиболее активную в хозяйственном отношении часть городского населения к практике интенсивного благочестия, одной из форм которой и являлись религиозные братства. Члены братств практиковали совместные чтения молитв, процессии, торжественные поминовения усопших братьев и сестер, трапезы в дни церковных праздников. Забота о нищих, раздача милостыни беднякам, как и молитвы с просьбами о заступничестве Богу и святым, должны были, как полагали члены братств, снискать им расположение Всевышнего и сократить время их мучений в Чистилище. Наряду с профессионально нейтральными, были распространены также и религиозные братства ремесленников определенной специальности, как, например, в Штральзунде, исследованном И. Шильдхауэром, —

братства бочаров при церкви св. Катарини, мореходов при храме св. Николая, скорняков при церкви св. Иоанна и др. Братства имели свои алтари и капеллы в церквях, где они служили мессы своим святым покровителям и заупокойные по усопшим членам братства; делали постоянные пожертвования на украшение храма, на связанные с его перестройкой и ремонтом строительные работы, на воск для свечей, для благотворительных целей и т.д. Своего апогея деятельность братств, в частности в городах ганзейского региона, достигает на исходе XIV в. и в XV столетии. В Гамбурге, как показывает И. Шильдхауер, их число перевалило за 100, в Любеке — за 70; их было свыше 30 в Штральзунде, 15 — в Ростке. Особенно часты в завещательных актах этих городов братства, связанные с церквями доминиканцев и францисканцев.

Внедрение церкви в городскую среду происходит и посредством старинной сети приходов. Французские урбанисты отмечают стремительное возрастание числа приходов в городах со второй половины XII в. В XIII в. оно достигает своего максимума, оставшегося неизменным вплоть до революции конца XVIII в. Основная масса новых приходов располагалась на периферии городского пространства, в предместьях и городах. Система приходов использовалась и городскими властями в административно-фискальных целях.

Высшим образным выражением адаптации церкви к городской среде, ее духовным потребностям, умонастроению, материально-технологическим возможностям, наконец, является готический собор. В отличие от романских религиозных построек и цистерцианских церквей, ориентированных на ограниченное число избранных и уединенные места, готические соборы XIII—XIV вв. стремились впустить в себя, приобщая к слову Божьему, новое население городов. Их распространение приходится на пик демографического взрыва в средневековом обществе и притока в города масс иммигрантов из ближней и дальней округи.

Но величественная устремленность ввысь форм готического храма отвечала и эстетическим представлениям эпохи, «первым критерием красоты для которой является грандиозность размеров»<sup>42</sup> Стремление превзойти в этом соборы других городов порой приводило к трагедии, как это имело место, например, в 1284 г. в Бовези, где под тяжестью хоров в 48 м высотой рухнул стрельчатый свод.

Готический собор — собор городской. Он является таковым и по своей иконографии, отражающей дух городской культуры, стремление ее интеллектуалов соединить и уравновесить жизнь деятельную и созерцательную, и по тем производственным прин-

циям, которым следовали при его возведении: предпринимательская активность, разделение труда, использование наемных рабочих рук. Связь его с городом, нищенствующими орденами воплощена оформлением и организацией интерьера. Патрициат городов, богатое купечество поддерживали строительство собора своими пожертвованиями, завещательными распоряжениями и они присутствуют на витражах, которые приносят в дар собору, о них говорят и капеллы, возводимые ими в честь своего святого патрона в церковных нефах.

**Экономическая функция: ее отражение в топографии, сооружениях, коммунальных зданиях. Ратуша. Рынок.** Следующая по мощи, важнейшая для города функция, структурировавшая его внутреннее пространство, — функция экономическая. На первых порах она еще не столько выражена в зданиях и сооружениях, сколько топографически. Это рынки, улицы, заселенные ремесленниками и торговцами, купечеством, мельницы. Купеческие кварталы, как правило, располагались у ворот и мостов, а подчас и на самих мостах. С ними соседствовали дома ремесленников. Такое расселение вначале осуществлялось стихийно, позже становится заметным вмешательство властей: удаление из центров городов к городской стене, а иногда и за ее пределы из санитарных соображений мясных рядов и боен, кожевенных мастерских, кузнецов, котельщиков и людей других профессий из-за производимого ими шума. В 1398 г. в Сиене властями было внесено предложение следить за тем, чтобы представители отдельных ремесел селились только в специально отведенных местах.

К экономической функции относилось использование и контроль за городской гидросистемой. Важность воды для города возрастала по мере развития ремесел, особенно тех, которые как у суконщиков, красильщиков, кожевников, бочаров, были связаны с большим ее потреблением. Характерно, что городские укрепления часто строились с таким расчетом, чтобы охватить важнейшие источники воды. Протоки, ручьи, каналы внутри города заботливо использовались горожанами. В 1355 г. во французском городе Труа разгорелся конфликт, разбиравшийся самим королем, между жителями квартала «малые кожевники» и братьями-доминиканцами, которые хотели включить в пределы сада своего аббатства улицу, открывавшую жителям квартала доступ к Сене.

Важную роль в водоснабжении городов играли фонтаны. Они были частными, располагавшимися, как и колодцы, за домами (нередко, как показывают раскопки, рядом с клоаками), и общественными. Последние сооружали на площадях, порой неподале-

ку от церкви; отсюда разбирали воду для домохозяйств. Во многих городах Италии, Франции, Германии, особенно в позднее Средневековье, они превратились в важнейший декоративный элемент оформления города и излюбленное место встреч и времяпрепровождения горожан. Но средневековые города знали уже и водопровод. В Любеке он известен с 1272 г. Вода по трубам подавалась из Вакенитце (но в 60 м от того места, где мясники сбрасывали в воду отходы!). Водопроводные трубы до начала Нового времени делали из дерева; стыки рано стали делать из металла, но — из свинца, об опасных свойствах которого узнали лишь в Новое время. В Равенсбурге воду для городского водопровода, имевшего ответвления в дома, собирали в специальные башни (квелленхойзер), воздвигавшиеся над источником. Для отвода сточных вод прорывали канавы и каналы, вода для которых подавалась из расположенных вблизи речек (как это было, например, в Тюбингене). Крытые водостоки были редки и имелись лишь в немногих крупных городах.

С водной системой городов связано и сооружение мельниц — этих «средневековых заводов западной экономики»<sup>43</sup> Они располагались либо вне городских стен, на реках, окружавших город (как это было в Регенсбурге), порой прямо на городских рвах — «мельничные рвы» (как в XIII в. в некоторых городах Эльзасса). В небольшом французском городе Альби мельницы были сооружены на протоках р. Тарна. Их использовали суконщики, кожевники, владельцы мастерских по производству бумаги. Н. Игунэ-Надаль описывает мельницы Перигё в XIV в. Их в этом городе было много: выше и ниже по течению Исле. Некоторые имели укрепления, как например, мельницы аббатства Сен-Фрон. Случалось, что мельницы препятствовали судоходству. На этой почве часто возникали конфликты между горожанами и аббатствами, так же как и с жителями ближних городов. Мельницы часто сооружали и на мостах, как например, в Париже. Эти мосты с их мельницами, вращающимися жерновами и сооруженными поверх вычурными домами — один из самых живописных элементов городского пейзажа. В 1182—1183 гг. французский король Филипп Август пожаловал своему стольничему Бодуэну «арку на Большом Мосту» для сооружения там дома поверх мельницы тамплиеров.

По мере укрепления городской самостоятельности, роста купеческих богатств, ремесел и политического влияния бюргерства в городах появляются новые общественные здания, символизирующие этот процесс: крытые торговые ряды, рынки (фр. *halle*, нем. *Kaufhaus*), где городские власти осуществляли контроль за мерами

веса и длины, качеством монеты, т.е. за ремесленным производством и торговлей, коммунальные дома, предвестники ратуш и сами ратуши (нередко сочетавшиеся с торговыми рядами), цеховые помещения, городские продовольственные склады (соляные, хлебные), арсеналы, школы, госпитали, тюрьма. На индивидуальном уровне об экономико-политической мощи бюргерства свидетельствовали дома-крепости городского патрициата.

Коммунальные дома, как и ратуши, появляются в средневековых городах относительно поздно (с XIII, чаще второй его половины, — XIV в.), и были они не во всех городах. В большом торговом городе-порте Бордо муниципальные власти — консулат и юрада (суд) собирались в церкви. В бастадах власти часто проводили свои заседания в специально предназначенных для этого верхних помещениях халле. Так было в Ла Реоле, Гренаде, Виллереале, Дамазене и др. В сукнодельческом Генте еще в конце XII в. городской совет заседал на свежем воздухе перед церковью св. Жана. В Мюльхаузене (Тюрингия) ратуша появилась в 1301 г., в Страсбурге (Эльзас) в 1342 г., Франкфурт-на-Майне (Гессен) обрел ее в XV в., отстроив из двух коммунальных домов.

В «основанных» городах ратуша, как правило, находилась в центре города, на главной рыночной площади, соседствуя с рядами или домом коммунальных собраний. В спонтанно выросших городах месторасположение ратуши могло определяться различными соображениями, в том числе и политическими, как, например, в Мюльхаузене, где ратхауз, как символ объединения Верхнего и Нижнего города и совместно одержанной победы над сеньором, был воздвигнут на месте прежней границы, разделявшей оба города.

Первые ратхаузы немецких городов не отличались сильно внешне от бюргерских домов. Внушительность и представительность — характерная черта в основном городских ратуш позднего Средневековья и «постсредневекового» периода. Но во всех случаях сам факт возведения ее свидетельство победоносного завершения определенного этапа в борьбе города за свою независимость. Жители немецкого Вормса, восставшие против своего сеньора — епископа, рассказывает городская хроника, приобрели большой каменный дом, перестроили его так, что он стал «самым лучшим» в городе, и стали там проводить свои собрания, которые раньше происходили на епископском подворье или на площади перед собором. Но жителям Вормса не повезло. В очередном столкновении с епископом, которого на этот раз поддержал император, они потерпели поражение, и по его повелению должны были разрушить свой дом, на сооружение которого ушло больше десяти лет. В 1462 г.

такая же судьба постигла ратхауз в Майнце, разрушенный по приказу сеньора города архиепископа Майнского. Вольный город Аахен ознаменовал свой политический триумф переносом в первой половине XIV в. места заседаний своего совета из коммунального дома, сооруженного в 1267 г., в приобретенный городом бывший императорский дворец Каролингов на рыночной площади, который был перестроен в связи со своим новым назначением.

В большинстве своем ранние ратхаузы были одного классического для того времени образца. Построенное из камня или кирпича готическое здание ратхауза имело обычно в нижнем этаже склад или арсенал. В нижнем же этаже, украшенном по фасаду аркадами, располагались часто торговые помещения для купцов и ремесленников. Здесь осуществлялась торговля ценными сортами тканей, ювелирными изделиями, а также контроль за качеством ремесленной продукции и продовольственными товарами, зерном в том числе; все это делалось под непосредственным наблюдением властей. Здесь же хранились инструменты для измерения длины и ширины тканей, гири для взвешивания зерна. Об этой функции ратуш свидетельствовали изображенные на их фасаде часто общественные весы, или, как это имело место, например, в немецком Регенсбурге, прикрепленные у входа в ратхауз эталоны длины, принятые в этом городе. Надпись над ними гласила: «городской шаг», «городской локоть», «городская клафтер (сажень)».

Средневековые исчисляли длину посредством элементов человеческого тела: «шаг» — это длина стопы, «локоть» — нижняя часть руки до локтя, «клафтер» — маховая длина раскинутых рук. Приблизительность этого «антропологического» метода счета, свойственного аграрному обществу, плохо согласовывалась с требованием точности товарно-денежного городского хозяйства, и город пытался как-то нормировать, сделать по возможности более точными традиционные меры веса, длины и объема, приспособив их к своим нуждам. Унификация системы мер и контроль за соблюдением принятых их эталонов горожанами и крестьянским населением округа в своих деловых операциях — одно из первых установлений обретших автономию городских общин и одна из важнейших функций городских властей и цеховых старшин. Изображения позорного столба с цепями и наручниками на фасаде здания ратуши предупреждали, что никому не позволено нарушать предписания, что здесь вершится правосудие и наказание ожидает бесчестного купца, как и должника или нарушителя покоя горожан. Для этого в ратуше имелась и темница.

В верхних помещениях ратуши размещались парадный зал и ряд меньших помещений для заседаний, городского секретаря, для тех, кто занимался финансами. Стены, потолки, оконные проемы парадной залы украшались живописью на античные и библейские сюжеты, символизировавшие справедливое правосудие, а также сценами Страшного Суда. Они должны были напоминать членам совета об их долге «судить справедливо и во имя Божие». На дверях и скамьях вырезались нравоучительные изречения. Те, которые правят городом, — было написано при входе в зал заседаний совета города Эммериха, — должны соблюдать присягу, не допускать нарушения свободы, общественных денег не расточать.

В большом зале ратуши проходили заседания совета, здесь принимали высочайших особ — императоров, князей, давали присягу. Здесь же устраивались торжественные праздничные трапезы и танцевальные вечера, на которых могли присутствовать лишь патрицианские и ратманские фамилии, обозначенные в специальном, утвержденном советом списке. Со временем в некоторых городах для этих целей стали строить отдельные здания. Таков Гюрцених в Кёльне, где в 1474 г. городской совет устроил бал в честь императора Максимилиана и его сына. Это было сделано по просьбе самого императора, пожелавшего увидеть кёльнских красавиц, сообщает хронист.

В ратуше хранились городские грамоты о «свободах», привилегиях, отвоеванных горожанами, казна и печать, реликварий, на которых присягали члены рата и судьи. Реликвии составляли, наряду с ценной утварью и мебелью, сокровищницу магистрата, которая в тяжелых для города ситуациях нередко использовалась как источник дополнительных средств.

Ратуша — политический центр города. Эту ее функцию, как и политические притязания городской общины, призвана была подчеркнуть символика изобразительных и скульптурных украшений на фасаде ее здания. Так, многие немецкого города, стремившиеся обрести статус имперского или вольного города, украшали фасады своих ратхаузов в XIV в. фигурами императора или курфюрстов, демонстрируя этим не реальную ситуацию, но свои политические цели. Таким символом вожденной свободы и готовности бороться до полной победы в Бремене служила статуя рыцаря Роланда, установленная у портала ратуши. Сподвижник, согласно преданию, Карла Великого (фигура его также присутствует на фасаде ратуши вместе с курфюрстом Майнцским и св. патроном архиепископства Петром) Роланд должен был подтвердить древние свободы, якобы, пожалованные городу императором, но попорченные архиепископом. В 1366 г. люди архиепископа сожгли дере-



вянную статую Роланда. В 1404 г., воздвигнув новую его статую, бременцы предприняли вторую попытку с помощью этой фигуры выразить непреклонность своих намерений. Появившиеся в те же годы на здании ратуши вместе с современными эпохе политическими фигурами образы античных и ветхозаветных персонажей свидетельствовали о росте политического самосознания городской общины и ее стремлении утвердить себя в пространстве истории.

За политическими амбициями городов стоит реальная мощь их купечества, патрициата, ремесел. Монументальным выражением этой взаимосвязи является довольно часто встречающееся в крупных городах соединение со временем крытых рынков — гостинных рядов (халле, кауфхауз) в единый коммунальный комплекс с беффруа и ратушей. Наиболее впечатляющие примеры дают три гиганта фландрского сукноделия: Ипр, Брюгге, Гент, где эти торговые сооружения были достаточно внушительны уже в XIII—XIV вв. как символ мощи корпораций суконщиков. В Ипре соседствующий с беффруа и ратушей гостинный двор своим главным фасадом (125 м) оформлял длинную сторону прямоугольника Большой площади. В Брюгге Суконные ряды, представлявшие сложное сооружение, куда по специальному каналу заходили морские суда, соседствовал с беффруа. В Генте его знаменитая Суконная палата присоединилась к беффруа (XIII—XIV вв.) только в XV в.

Гостинные ряды, халле были инструментом крупной торговли и предпринимательства. Здесь преобладали оптовые торговые операции, заключались договора и сделки, производились финансовые расчеты и операции. Повседневные потребности рядовых горожан и коммерческую активность ремесленников удовлетворяли другие, мелкие городские рынки и торговые улицы. К услугам горожан были хлебные (ржаной) рынки — здесь торговали зерном, соляной, мясной, телячий, рыбный, зеленой, сенной и др. Некоторые цехи, как например, могущественные во многих городах Северо-Западной Европы, в Рейнской области цехи сукноделов, имели свои особые ряды, иногда небольшие по занимаемой площади: «между домом Ико и монетным двором», говорится в кельнской хронике. Те цехи, которые не имели своих рынков, а их было большинство, располагались особыми рядами на общем городском рынке; мастера родственных специальностей, как правило, группировались вместе: кожевники, обувщики, ремешники, шорники, кошелечники и т.п.

Рынки были еженедельные — для обмена между жителями города и торговли с крестьянами округи — и периодические:

ярмарки. Они проводились на Рождество или на Пасху, были приурочены ко дню местного святого-покровителя города, или патронов торговых и ремесленных корпораций и т.п. и привлекали купцов из дальних мест. В Лиможе XIII в. было две ярмарки — одна 30 июня, в день св. Марциала, совпадавшая с притоком в город паломников, жаждавших поклониться мощам этого святого, и другая, 13 октября, в день праздника св. Жиро. Но ярмарок могло быть и больше, как, например, в другом французском городе — Бурже. Здесь ежегодно проводились три основные ярмарки на площади Старого рынка: в Рождество, на св. Амброзия (18 окт.) и день святых Петра и Павла (29 июня), а позднее также и в день св. Урсини. Но к ним добавлялись еще и многочисленные мелкие ярмарки, скорее рынки: на св. Мартина; св. Устрийя (ярмарка «жирных баранов» в мае); ярмарка «постных»; ярмарка «чернослива»; три окружные ярмарки в дни святых Лорана (проходила на кладбище), Бартелеми и Ландра.

Важную роль в организации хозяйственной жизни городов играли также ярмарки интернациональные — эти мощные регуляторы общеевропейской дальней оптовой торговли и экспортных отраслей ремесла (прежде всего связанных с текстильным производством — сукна, бумазеи, полотна, шелка, хлопчатобумажных тканей, но также и с металлообработкой). В XIII в., пишет Ж. Ле Гофф, коммерческая и финансовая практика крупного французского купечества и городов направлялась двумя мощными ярмарочными циклами: во Фландрии (Ипр, Лилль, Брюгге, Турнэ) и в Шампани (Ланьи, Бар-сюр-Обе, Прованс, Труе). Важнейшими были шампанские ярмарки. Во-первых, — благодаря своему географическому положению на стыке наиболее населенных и экономически развитых регионов христианского мира (Фландрия, ядро французский земель, Юго-Западная Германия, Средиземноморье, особенно Италия — Северная и Центральная) и в самом центре скрещения важнейших сухопутных и речных магистралей (Рейна, Шельды, Мааса, долины Роны-Саоны и выходов альпийский перевалов). Во-вторых, — благодаря своей продолжительности: переходя последовательно из одного города в другой, они в своей совокупности обеспечивали западному миру постоянный рынок от января до января.

В последующие столетия большой славой в средневековом мире стали пользоваться проводившиеся дважды в году, весной и поздней осенью, ярмарки во Франкфурте-на-Майне и в Лейпциге. С XV в. они получили особую известность как книготорговые ярмарки, собиравшие типографов и издателей и просто образованных людей со всех концов Европы.

Ярмарки, межрегиональные и особенно интернациональные, пользовались непосредственным покровительством могущественных территориальных сеньоров (подобно графам Шампанским), а порой также короля или императора. Но, при всем том, «ярмарки прежде всего — феномен городской». Они были городскими потому, что товары, которыми там обменивались были произведены под контролем городских властей, они же регулировали и финансовые операции, да и сами действующие лица — купцы «суть квинтэссенция городского общества», как и ярмарки, которые не могли бы существовать вне непосредственной близости к городу<sup>44</sup>. Они, как и халле, гостинные дворы, — неотъемлемый элемент структуры городского пространства.

### **Политическая функция. «Симбиоз города и феодализма»\*.**

Хотя уже в высокое Средневековье многие города сумели высвободиться из-под власти светских и церковных сеньоров и стать вне феодального (сеньориального) права, получив привилегию руководствоваться городским правом на территории города и его округи, но во многих городах, особенно французских и итальянских, да и в Центральной Европе продолжал существовать замок местного или регионального сеньора или королевский. Топографически сеньориальная крепость, дополняя городской пейзаж, тем не менее не столько «встраивалась» во внутреннее городское пространство, сколько, по выражению Ж. Ле Гоффа, «нависала над ним подобно кисте». В городе сеньориальная власть, за которой сохранялось право высшей юрисдикции, была представлена политически в целом своими репрессивными функциями, визуальным выражением которых являлись позорный столб, обычно водружаемый на центральной рыночной площади, тюрьма (при замке) и виселица (за пределами городских стен).

Но далеко не всегда и не везде власть сеньора этим и ограничивалась. Своего максимального выражения политическая функция достигает в городах-резиденциях, где она является определяющей для развития города. Так произошло в Вене, например, которая с середины XII в. становится резиденцией герцогов Австрийских, являвшихся и городскими сеньорами и территориальными князьями. Структура городского пространства здесь определялась значительным по своим размерам и объему юрисдикции дворцовым округом. Наряду с этим в городе было много рыцарских домов и владений; под верховной властью герцога находились многочисленные церкви и монастыри. Монастыри, расположенные вне городской черты,

---

\* См.: Очерк I. С. 49—50; Очерк II. С. 91—95.

владели в Вене огромными подворьями, которые среди прочего служили также для сбыта вина, производимого в монастырских хозяйствах. Кроме того, в городе постоянно проживали светские и духовные сеньоры и масса людей всех рангов.

Конечно, города такого статуса как Вена — крайний случай, но не исключительный. Возникшие в феодализирующей или в уже сложившейся феодальной среде города запечатлели в своей и топографической и социально-политической структуре особенности феодального развития в том или ином регионе. Как коммунальные движения XI—XII вв., так и привилегии, обретенные в XIII—XIV вв. в результате грамот об «основании», не несли городам свободы в современном, буржуазно-либеральном смысле. Города складывались в обществе, характерном феодальной зависимостью, сословной стратификацией и сословным правом, и они оставались в рамках этого общества на протяжении всей своей истории. Соответственно, власть городского сеньора (светского или церковного) давала о себе знать в самых разнообразных формах: от вмешательства в дела городского совета (или консулата), фискальных поборов, попыток контроля за монетным обращением и рыночными ценами до существования в городах, в одних больше, в других меньше, земельных участков и объектов, составляющих вассальные лены (фьефы) или простые держания (цензивы) различных категорий зависимых людей сеньора. «Симбиоз между городом и феодализмом» — одна из специфических черт средневекового урбанизма, засвидетельствованная и осмысленная современными исследователями города.

Вот так, например, складывалась ситуация во французском Реймсе, исследованном П. Деспортом<sup>45</sup> Епископ, соборный капитул и аббаты двух аббатств Сен-Реми и Сен-Никез являлись сеньорами четырех частей этого города и, таким образом, жители каждой из них подлежали юрисдикции своего господина. Обитатели Сен-Реми имели своих эшевеннов, должностных лиц, облеченных судебными функциями по гражданским и мелким уголовным делам. Их было семеро и они назначались аббатом. Управление этой частью города осуществлялось от имени аббата двумя его должностными лицами: шатленом (им был монах) и мэром. Они вершили суд над купцами, приезжавшими на ярмарки из других мест, и председательствовали в суде эшевеннов. Они же взимали устанавливаемый аббатом ежегодный налог «с очага», вносившийся в день Св. Реми. Через специальных доверенных старшин аббат осуществлял контроль за торговыми сделками, мерами веса и объема. Без согласия аббата городская коммуна не могла проводить собрания, облагать членов городской общины поборами. Все это не могло не сказаться на статусе жителей.

Привилегированное положение в Реймсе занимали те, кто состоял на сеньориальной «службе» архиепископа или каноников («буржуа» каноников — так называли их в XIV в.). Они освобождались от некоторых видов обложения и подлежали юрисдикции исключительно каноников или епископа. Эта категория буржуа Реймса занималась реализацией зерна и вин из хозяйств капитула; кредитными операциями.

Аналогично складывались отношения и в другом французском городе, Шартре. Исследовавший их А. Шедвиль отмечает, что в этом городе, где коммуна конституировалась только в 1297 г., ремесла и торговля находились под контролем и в известной зависимости от графа, сеньора города, облагавшего корпорации натуральными и денежными поборами, контролировавшего меры веса и длины, назначавшего старшин и эшевенгов. Под контролем религиозных учреждений и должностных лиц епископа, другого городского сеньора, находились кредитные операции. Так же как и в Реймсе, возвышению определенного слоя буржуа в Шартре способствовала их причастность к сеньориальной службе графа или епископа<sup>46</sup>

Социальная структура средневековых городов в пору их расцвета свидетельствует однако и о «встречном движении» — стремлении состоятельных горожан «внедриться» в сеньориальную систему, приобщиться к главным для эпохи источникам престижа, богатства и власти — землям и инструментарию феодальной эксплуатации. В Меце (Лотарингия), епископской резиденции, горожане, начиная с 30—40-х годов, постепенно отвоевывают сеньориальные цензивы внутри города, а с конца XIII в. становятся владельцами феодальных поместий и вассальных держаний в округе, что привело их к столкновению и с церковными сеньорами и со светскими — герцогами Лотарингскими и графами Люксембургскими. В XIV в. в средиземноморском Дубровнике, аристократической республике, господствующий слой в городе составляли нобили (слав. — властели), которые были откупщиками городских доходных статей, торговцами солью, скотом и хлебом, ростовщиками и собственниками земельных владений. У некоторых дубровницких нобилей вблизи города имелись замки, а поместья обрабатывали их зависимые люди. В описи 1363 г. рассказывается, как возникло поместье нобилия Марка Лукаревича. Прежде на этом месте располагалось владение хорватского феодала Кранислава Братковича, которое исполу обрабатывал «человек» Марко Лукаревича. Туда явился Марко со своими пешими и конными людьми и силой занял землю, после чего расселил на ней своих крестьян.

Такую же социальную структуру обнаруживают и города Южной Франции. В Тулузе по переписи 1335 г. 56% зарегистрирован-

ной собственности составляла недвижимость: поля, виноградники, господские дворы. Среди знатных людей Тулузы имелись сеньоры и нотабли (знатные горожане, должностные лица сеньоров), владевшие окрестными селами и дворами. Аналогичную картину можно наблюдать в Арле, где городское население тесно было связано с эксплуатацией сельской округи, добычей соли и скотоводством. Среди полноправных граждан Арля в XIII в. 50% составляли лица, связанные с денежным делом, откупщики пошлин, мастера, изготовлявшие монету, ростовщики и менялы. Все они владели землей<sup>47</sup> Такой «парафеодальный» характер высших, ведущих городских слоев, патрициата может показаться особенностью южных, средиземноморских, вообще «старых» городов. Но это не так. В Любеке XIII—XIV вв., как уже отмечалось, некоторые горожане, особенно ратманы, владели деревнями, держали феодалы от крупных сеньоров. В хронику Дитмара включен псевдоуказ Генриха Льва (герцога Баварии и Саксонии, умершего в 1195 г.), в действительности датируемый концом XIII в. Указ устанавливает, что членами любекского совета могли быть лишь собственники земли внутри городских стен, но отнюдь не ремесленники<sup>48</sup>

Аналогичную по существу картину находим мы и в Гамбурге, во многом родственном Любеку. Владение ратманами (происходившими из среды высшего слоя купечества) рыцарскими ленами играло здесь значительную роль, но с одной особенностью. В Гамбурге рыцарские владения приобретались крупными бюргерами лишь в том случае, если графы голштинские (основатели «Нового» города, 1188/89 г.) отказывались от всех притязаний, вытекающих из вассально-ленных отношений. Бюргеры, приобретшие рыцарские имения, оставались бюргерами и не включались в голштинское рыцарство. В старинном праве Гамбурга (1270 г.) содержится пункт, запрещающий рыцарям селиться в городе. Запрет этот в той или иной форме повторялся до 1497 г. и даже в XVII в. Объяснение этой особенности Гамбурга современные исследователи (в частности О. Бруннер) видят в специфической ситуации города. Рассчитывавший на самого себя полноправный город сознательно отделялся от окружающей его территории и ее рыцарства и стремился не допустить никакой «наследственности» в сфере политической власти. Итак, внутри городов существовал «свой» феодальный слой. Он включал в себя некоторых светских сеньоров, переселившихся сюда и особенно многочисленных в городах к югу от Альп, в городах-резиденциях, епископских центрах. Но главной частью его был патрициат. Он манифестировал о своей экономической и политической мощи величественными

палаццо, возведенными из камня и на манер замков сеньориальной знати увенчанными башнями. Подобно ей патриции имели собственные капеллы, держали многочисленный штат прислуги, канцелярии. Вместе с тем, они владели бесчисленными домами, земельными участками, торговыми рядами, а поступления от своих загородных «сеньорий» пускали в торговлю<sup>49</sup>

**Социотопография.** Специфика общественной структуры города, как и доминирующие его функции запечатлены, в социальной топографии внутреннего пространства. В городах имелись свои формы административной организации: территориальные братства, группировавшиеся вокруг приходских церквей, торгово-ремесленные корпорации. Кроме того, городские власти прибегали к группировке населения по улицам, кварталам в соответствии с характером их профессиональных занятий и деятельности. Такая структура облегчала полицейский надзор, взимание налогов, военную организацию горожан. Во французском Монпелье с 1204 г. представителям различных профессий было запрещено произвольно менять место своего проживания. В Тулузе в 1222 г. мясники по приказу властей были расселены в трех разных частях города. В Страсбурге в 1190 г. имела улица галантерейщиков и квартал каретников; в 1240 г. упоминается улица бочаров, в 1244 г. — скорняков, в 1247 г. — плотников, в 1266 г. — слесарей, в 1286 г. — торговцев требухой, в 1298 г. — «ров гранильщиков». О поквартальной организации бюргерского населения в XIV в. говорят и хроники немецких городов Нюрнберга и Аугсбурга<sup>50</sup>. Результатом такой группировки, подчас сложившейся в ходе становления города и лишь потом закреплённой официально, было наличие во многих городах кварталов с социально и профессионально однородным составом жителей. Они представляли собой живописные ансамбли, придававшие городу неповторимое своеобразие. С течением времени регулярность кварталов так или иначе нарушалась, но сохранялась по существу. Она особенно выражена в «индустриальных» центрах прежде всего экспортного текстильного производства, таких как, например, Гент.

Продовольственные рынки (зерновой, мясной) и старинные кварталы Гента были расположены вдоль Лиса, выше по течению от графской крепости. Суконные ряды и рабочие кварталы Оверсельде и деревни аббатства Сен-Пьер концентрировались вдоль Эско, по которому до великого подъема Брюгге, осуществлялся импорт английской шерсти. В большинстве фламандских городов, пишет Николас, купечество было расселено в центре города, вокруг рынков — продовольственных и предметов первой необхо-

димости, тогда как рабочие текстильных специальностей обосновывались на городской периферии, которая только в конце XII—XIII вв., после возведения стен была инкорпорирована в городское пространство. Но как раз с этого времени начинается распространение профессиональной деятельности за пределы первоначальных кварталов. После 1320 г. ткачи обосновывались уже в различных приходах Гента. Но местом их наибольшей концентрации оставались южные предместья города, включавшие в себя старинные кварталы Оверсельде и деревень аббатства Сен-Жан и Сен-Пьер. Здесь они обитали бок о бок с валяльщиками, которые в массе своей предпочитали приход Сен-Жан, где их мастерские располагались вдоль Эско и в северных кварталах Сен-Мишель и особенно Сен-Жак.

В Меце новые городские кварталы XIII в. привлекали к себе бюргеров из числа недавно переселившихся в город иммигрантов. Так же как и в городах Фландрии, население кварталов (картье) Меца в это столетие уже начинает утрачивать свою однородность. Так, в картье Шампель обитало в XIII в. 17 корпораций, из них самыми многочисленными были бочары, и здесь же патрицианская фамилия Шампель имела свою резиденцию. В Реймсе более половины наиболее состоятельных горожан («жирный народ») располагались в приходах Сен-Хилари и Сен-Пьер, тогда как «тощие» обитали в большинстве своем в приходах Сен-Дени и Сен-Этьен.

Польский историк Б. Геремек реконструировал социальную топографию Парижа в XIV в. Прежде всего он обращает внимание на феномен, присущий большим городам, — стремление иммигрантов в данном случае из различных провинций королевства — Бретани, Нормандии, Пикардии, Фландрии группироваться по определенным улицам, которые получали соответствующие названия. Улица, где предпочитали селиться итальянцы, называлась улицей Ломбардцев. Богатые и знатные горожане концентрировались в Сите, особенно на правом берегу Сены; одним из самых престижных считался приход Сен-Пьер. Но в этой части города имелись «острова» бедности. Улицы бедняков тянулись вдоль Сены, в приходах Сен-Ландри и Сен-Дени-де-ла-Шетр. Однако основная масса их обитала на правом берегу, вдоль городских укреплений, и по их другую сторону. На Гревской стороне местом обитания бедных ремесленников и торговцев был приход Сен-Поль, тогда как «жирный народ» предпочитал кварталы прихода Сен-Жак-де-ла-Бушери.

Свое особое лицо имел левый берег. Это был город университета, профессоров и студентов, колледжей, но также и розничных торговцев и лавочников: торговцев пергаменом, владельцев посто-



ялых дворов, трактирщиков, разносчиков, старьевщиков, портных, обувщиков, торговцев деревом. Беднота теснилась вокруг площади Мобер. Но существовал еще и Париж бродяг, нищих, обитательниц публичных домов. Подобные «криминальные вкрапления» имелись и в Сите и в кварталах тамплиеров, около кладбища Невинных, как на правом берегу Сены (пять улиц), так и на левом (две улицы)<sup>51</sup>

Наиболее выраженная в больших центрах проблема нищенства и бродяжничества — одна из острейших социальных проблем средневекового города. Это нашло отражение и в городской топографии — названиях улиц, кварталов, переулков, свидетельствуя и об излюбленных этими маргиналами местах обитания и, одновременно, о стремлении властей локализовать их местонахождение. Ф. Ирзиглер и А. Лассота, авторы блестящего исследования о маргиналах и аутсайдерах в Кёльне XIV—XVI вв., на основании записей в городской тюремной книге и полицейских постановлений совета реконструировали местонахождение улочек (рядом с гаванью) в несколько десятков лачуг, в которых ютились нищие и «поляки» — погонщики скота. Дурная слава гетто окружала улицы на Альтенграбен, где, по выражению одного из современников, обитали «презреннейшие из простолюдинов», т.е. нищие, поденщики, проститутки, палач и его подручные<sup>52</sup>. Источники рассказывают о попытках живущих подаванием захватить пространство около городской стены и в ее арках выстроить свои халупы. Для жилья использовались и корабли в гавани. Для более действенного контроля за нищими и своевременного выдворения бродяг в Кёльне в позднее Средневековье была учреждена специальная полицейская служба во главе с Bubenkönig — «королем негодяев», который нередко сам происходил из их среды. Общий контроль за деятельностью бубенкёнига и его помощников «клокен» осуществлял городской палач. В таком большом городе, как Кёльн, с запутанной системой улочек и переулков, с его садами, складами, иммунитетом многочисленных духовных учреждений действенный контроль, однако, вряд ли был возможен. Лазейки для обхода постановлений властей создавали сами жители, причем не столько из чувства социальной солидарности, сколько из соображений реальной выгоды и стремления заработать на бродягах и нищих как постояльцах. Плата поденная или понедельная за угол, ночлег намного превосходила ту, что обычно взималась с ремесленников за аренду жилья. Особенно были заинтересованы в приработке жители бедных кварталов, где бродяги находили себе надежное пристанище.

К числу «горячих точек» городского пространства относились и публичные дома — «дома для женщин», «славные дома», как их

называют документы. Профессиональная проституция в той или иной ее форме — явление каждого развитого общества с известным уровнем социальной мобильности, урбанизации, развития товарно-денежных отношений. В средние века город был главным центром ее средоточения. Городские власти рано восприняли прагматическое положение Августина, который, видя в проституции неминуемое зло полагал что, во избежание еще худших бед для спасения души, с этим следует примириться. Уже с конца XII в. богословы признавали законность получения проститутками платы за свой труд, хотя и осуждали его как таковой<sup>53</sup> Этот прагматизм имел под собой вполне объективную основу. В обществе, где господствовала строгая моногамия и жесткие моральные требования, где женщины численно преобладали, где имелись обширные группы мужчин, связанных с продолжительным профессиональным обучением и создававших семьи только в позднем возрасте, где, наконец, присутствовали постоянно большие массы чужаков, — в этом обществе любая попытка абсолютного запрета проституции была иллюзорна. Речь могла идти, как в случае с нищенством и бродяжничеством, лишь о контроле, введении в определенные официальные рамки и, таким образом, об известном признании, легализации, правда, соседствующей с диффамацией.

Проституция и публичные дома получают широкое распространение с рубежа XIII—XIV вв. Первые упоминания о них в городских статутах относятся к середине XIII в. «В судебных документах папской курии в Авиньоне о них систематически говорится с 1326 г. Публичных домов в городе могло быть несколько и принадлежали они то городской коммуне, то отдельным лицам: епископам и аббатам, знатым фамилиям, некоторым купцам, королевским чиновникам. Более ста публичных домов было зарегистрировано в середине XV в. в Авиньоне и Дижоне; не менее 70—80 — в Лионе; ок. 60 — в Реймсе, в небольшом Тарасконе — 12. Публичные дома размещались открыто, наиболее престижные нередко — вблизи магистрата или здания суда. Резкое сокращение их числа приходится на конец позднего Средневековья и начало Нового времени. Это было вызвано не только страхом перед сифилисом, но и распространением Реформации и общим ужесточением поведенческих норм. Но в высокое Средневековье посещение публичного дома неженатыми мужчинами практически всех социальных классов, в том числе и клириками не считалось чем-то постыдным «или хотя бы требующем сокрытия».<sup>54</sup> Более того, в этом видели «признак физического здоровья и делового и морального благополучия».

Само же занятие проституцией по своей организации и регламентациям вполне может быть сопоставлено с деятельностью городских корпоративных общностей иного типа. Перечень мероприятий кёльнских городских властей по этому вопросу, как показывает исследование Ф. Ирзиглера, включал: ограничение деятельности женщин конкретными улицами; учреждение «домов женщин»; медицинский контроль городского хирурга; введение специальной одежды или «знака», учреждение монастырей для тех женщин, которые хотели бы отойти от своего ремесла. Предполагались и «привилегии»: ограничение конкуренции со стороны «чужих», закрепление монопольной сферы деятельности — «у ворот», «на рынке», «около собора», «на площади» и т.п.

Социальный статус кёльнских женщин этой профессии в целом был очень низок, хотя и не одинаков. На самой низшей ступени находились обитательницы «общего дома на Берлихе». Созданный городскими властями в начале XVI в., много позже, чем подобные заведения в других немецких городах, этот «дом» не был предназначен для посещения высокими особами (включая императора, как в Нюрнберге, Аугсбурге, Вене). Ко времени своего закрытия в 1591 г. (под давлением церкви и «добропорядочного бюргерства», как говорилось в постановлении) он превратился в притон: где было совершено немало преступлений. Дом был коммунальной собственностью, о чем свидетельствовал городской вымпел с короной; имел управляющего — одновременно содержателя винного заведения и гостиницы; устав, подобный цеховому, который регламентировал взаимоотношения обитательниц дома с управляющим, мастерицами, рабочее время, таксу гонорара и размер отчислений (чинша); цены на вино и продукты (как правило, чрезвычайно высокие). «Дом» был окружен «приютами» и домами, сдававшимися на условиях понедельной платы и служившими для «встреч»; они имели свои названия, обычно зверей и птиц — «Медведь», «Лисица», «Орел» и т.д. На обитательниц женских домов, как и на членов торгово-ремесленных корпораций, распространялись общегородские обязанности, включая строительные работы (как, например, возведение капеллы).

В «На Берлихе» женщины попадали после уличных облав, их привозили в карете палача; они были лишены (высшая форма дискриминации) права на погребение по христиански (при «доме» было свое кладбище). Обитательницы «дома» — в основном местные жительницы, немолодые. Основной контингент посетителей — местные холостяки (женатым посещения были запрещены под страхом сурового наказания) и приезжие (моряки, солдаты, подмастерья).

Положение тех, которые оставались на улице, было немногим лучше. С 1389 г. они были обязаны носить красный головной платок или вуаль (в других городах был принят желтый или зеленый цвет). Это были в основном девушки не старше 20 лет, пришедшие в город в поисках работы. Немало было и таких, которые проработали какое-то время ткачихами или в услужении. На улицу их толкнула нужда и соответствующее окружение. Дискриминация уличных женщин, кроме одежды, выражалась еще и в том, что они были подчинены надзору городского палача и тем самым как бы включались в сильно табуизированную среду людей его окружения. За «защиту» они были обязаны уплачивать палачу чинш, сумма которого колебалась в зависимости от места работы: «у ворот», «на рынке» и т.п.

В городах процветала также и тайная профессиональная проституция, базировавшаяся на посредничестве сводников и сводниц. Этим занимались содержатели постоянных дворов, гостиниц, трактиров, а также бюргеры и бюргерши. В кёльнских источниках рассказывается о некоей Метцин, которая принуждала к проституции работавших на нее (в специально арендованном ею помещении) льноткачих, которым она поставляла пряжу и производственный инвентарь. Среди жертв сводников было немало несовершеннолетних, молодых девушек, пришедших на заработки, но также и женщин из «хороших», но впадших в нищету бюргерских семей. Ополчаясь в позднее Средневековье против открытой проституции, общество, как показывают материалы по Кёльну, вместе с тем, принимало ее как естественный компонент повседневности в завуалированной форме сожителства со служанками, мастерицами и т.д. Открытый вызов утверждавшейся новой морали подлежал строгому наказанию — физическому, денежным штрафом, изгнанием из города. Это, вместе с тем, не исключало отдельных попыток, порой лично мотивированных, облегчить материальное существование «падших женщин». Об этом говорят завешения и пожертвования отдельных бюргеров, в частности на специальные приюты для тех, которые «искали спасения».

Маргинальная группа городских проституток, особенно в больших городах, была весьма многочисленна и динамична. Так, в том же Кёльне, женщины таким образом обеспечивавшие свое существование, не ограничивались городской клиентурой. Они регулярно посещали округу; вместе с торговыми транспортом отправлялись на ярмарки во Франкфурт-на-Майне, в Антверпен; сопровождали войска. Иногда им удавалось собрать средства, обеспечивавшие некоторое благосостояние. Но достичь его все же удавалось немногим.

Регламентированные и договорные по своему характеру отношения между обитательницами публичных домов, уличными проститутками, с одной стороны, и их «организаторами», городскими властями — с другой, способствовали восприятию этого вида женской деятельности как одной из разновидностей поденного труда. Маргинальный, с точки зрения господствующей морали, труд этот, однако, не являлся таковым по степени распространенности в средневековом городе и воздействию на его социальную топографию.

**В кольце предместий и садов.** Процесс оформления городской топографии и сложения внутригородского пространства в основных чертах своих завершается к началу XIV в. или в течение этого столетия. Расширение городской территории происходило разными путями. Большинство старых, первой волны урбанизации городов разрасталось за счет включения в свои пределы примитивных, стихийно сложившихся в непосредственной близости от городских ворот поселений — предместий. Они вырастали, как правило, около важнейших дорог, сходящихся у города или от него исходящих. Так обстояло дело, например, в Кёльне, где все его четыре предместья возникли в 1106 и 1180 гг. вдоль дорог, исходящих от городских кварталов в пределах римских стен, или в Аугсбурге; здесь тракты, связывавшие город с Регенсбургом и Мюнхеном послужили предпосылкой для возникновения восточного Облаттерфорштадта. В Меммингене все три городских предместья были ориентированы на главные торгово-промышленные трассы<sup>55</sup> Рост за счет предместий такого происхождения типичен в конце XII — середине XIII вв. для многих городов.

С неказистой жилой застройкой, хозяйственными помещениями ремесленников, производство которых было пожароопасным или требовало большого пространства, постоянными дворами для возчиков, сопровождавших грузы, тавернями, с садами и огородами — эти кварталы у городских ворот вклинивались острым углом в основное городское пространство, составляя его продолжение. Им присуща нерегулярность застройки, хаотичность улочек и переулков, которая усиливалась по мере того, как городская стена выталкивала сюда все новых и новых поселенцев. Со временем эти предместья окружались кольцом стен. Кварталы такого происхождения можно обнаружить на планах Мюнхена, Страсбурга, Мюнстера, Вормса, Аахена и многих других городов Центральной и Западной Европы. Вместе с тем, с XII в. мы находим города, где расширение их территории осуществлялось целенаправленно и планомерно путем основания новых поселений в их округе городски-

ми монастырями и сеньорами, часто становившихся ядром нового города. Именно таким образом происходило расширение Магдебурга (в его северной части), таково же происхождение нового города в Люнебурге и Кведлинбурге. Этим же путем не менее двадцати городов, как полагал Х. Планитц, достигли максимального расширения своего внутреннего пространства уже в XII в. В их числе — немецкие Кёльн, Зоэст, Гослар, Люнебург, Магдебург, Шпейер и французские города Безансон и Камбрэ.

Завершение процесса сложения городского пространства знаменовалось строительством стен. В одних случаях возводилось их новое кольцо, охватывавшее и предместья, в других — расширялись старинные стены, чтобы включить в свои пределы новые кварталы. Одним из крупнейших по занимаемой площади — 400 га — в немецких землях уже в конце XII в. (когда он был охвачен общими стенами) стал Кёльн, а в Северо-Западной Европе — Гент, ареал которого к концу XIII в. составлял 644 га. Для сравнения: в XIV в. Брюгге охватывал площадь в 430 га, Лувен — 410, Брюссель — 449, Аахен — 175, Вена, Магдебург, Оснабрюк — 110/102 га, Хильдесхайм — 82, Любек — 107, Гамбург — 106, Маастрихт — 113 га. Ареал Парижа в правление Филиппа-Августа (1165—1223) составлял 273 га.

В пределах стен города еще и в XIV в. имели значительное незастроенное пространство, огороды, участки пашни, луга, сады и виноградники, придававшие ему сельский вид. И это не должно удивлять: горожане нуждались в овощах, фруктах, молочных продуктах, технических культурах (для производства красителей, например). Эти потребности принимались во внимание и при планировании внутреннего пространства новых городов. Расширение города не влекло за собой сокращения сельскохозяйственных угодий внутри стен. Напротив, как показывают исследования французских медиевистов, с 20-х годов XIII в. и особенно во второй половине этого столетия резко учащаются упоминания в источниках о садах и огородах горожан<sup>56</sup>. Они характерны для городской топографии на всем протяжении истории средневекового города практически во всех европейских регионах. Правовые и литературные памятники, иконография свидетельствуют о важности садоводства и огородничества для горожан не только в раннее Средневековье, в XII—XIII вв., но и в последующие столетия. Пространство под садами, виноградниками, огородами могло возрастать или уменьшаться под влиянием демографических процессов — сокращения или увеличения численности населения, наличия или недостатка свободных рабочих рук, но никогда не исчезало вовсе. Важность садоводства и огородничества обуслав-

ливалась и постепенно происходившим изменением традиционной (хлеб, мясо, вино) структуры питания: увеличением удельного веса овощей и фруктов в повседневном рационе. Но сады и огороды обеспечивали горожан продуктами питания также и в экстремальных ситуациях: в случае неурожая зерновых, или военных действий и опустошения окрugi неприятелем.

Таким образом, средневековый город находился не только в кольце стен. Зеленый пояс густых садов и рощ, полей и заливных лугов составлял неременный элемент его пространства как внешнего, так и внутреннего.

## ГОРОД КАК ОБРАЗ: УРБАНИЗМ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Приступая к описанию средневекового города историки традиционно обращают внимание на тесноту, скученность застройки, антисанитарию, опасность пожаров и т.п. Но подобные описания, производя впечатление на читателя, все же мало что дают для понимания средневекового урбанизма по существу, хотя они и опираются на непосредственные свидетельства источников. Сегодня историки культуры предлагают несколько сместить ракурс прочтения этих свидетельств с внешних, лежащих на поверхности констатаций, на те внутренние мотивы и побуждения, которыми они собственно и были порождены, и тогда за их внешним фасадом обозначатся контуры некоего образа, идеала, к воплощению которого стремились.

Средневековому городу был присущ своеобразный урбанизм. Он складывался постепенно, так или иначе согласуясь с определяющими для города на том или ином этапе его развития функциями, с характером хозяйственной активности, образом жизни тех, кто его населял, — бюргеров и урбанизовавшейся феодальной аристократии, так же как и с их представлениями о том, каким должен быть город. Становление и развитие средневекового урбанизма пишет Ж. Ле Гофф, осуществлялось в четырех основных направлениях: «чистота, безопасность, регулярность, как точное соблюдение правил, красота»<sup>57</sup>

**Санитарно-гигиенические меры.** Именно стремлением к чистоте были вызваны к жизни соответствующие предписания городских властей. По сути, они стереотипны в своих требованиях, независимо от того, идет ли речь о городах Западной, Южной или Центральной Европы — о французском Аррасе, немецком Нюрнберге, итальянских Болонье или Вероне. Никто не должен делать

сточные канавы таким образом, чтобы вода из них разливалась по общественной улице, читаем мы в кутюмах Арраса 1243 г., также никто не должен выплескивать на улицу кипящую жидкость, выбрасывать навозную подстилку из стойла, виноградный отжим, человеческие экскременты, воду после мытья — вообще никакую грязь; нельзя ничего бросать на улицу перед домом; за нарушение постановления — штраф. Статуты XIII—XIV вв. Марселя, Милана, Болоньи, Нюрнберга запрещали пачкать улицы мясникам и рыбакам, а кожевникам, валяльщикам и красильщикам — работать на них и выливать воду из мастерских (последнее можно было делать лишь поздно вечером). Мыть лен и пеньку, мыть их, равно как и кожу, шерсть и сукно разрешалось лишь в специально отведенных для этого местах. Заботой о чистоте и стремлением ввести сельскохозяйственные занятия горожан (так же как и ремесленную деятельность) в определенные рамки городского общежития были продиктованы и предписания о запрете выпускать на улицы животных, в частности свиней. Подобные постановления характерны для Болоньи и Вероны, так же и для Нюрнберга, где эта проблема оставалась актуальной еще и в XV в. Свой категорический запрет городской совет мотивировал тем, что свиньи, бродящие по улицам, вызывают неудовольствие «знатных горожан и именитых приезжих».

Нечистоты и мусор, которые большей частью сбрасывали в реки или городские рвы, составляли бич средневекового города и источник инфекционных заболеваний. Служба мусорных повозок возникает поздно: в Париже в XIV в., в Аугсбурге — лишь в XV в. Но очистка улиц производилась нерегулярно — раз в неделю (чаще в две недели). Время от времени устраивались экстренные уборки. Во Франкфурте-на-Майне дважды в год, ранней весной и осенью, накануне ярмарок, которыми город славился на всю Европу, предписывалось вывозить нечистоты и устилать улицы в наиболее грязных местах соломой.

Одной из трудноразрешимых (ввиду относительно небольших размеров городских участков) санитарно-гигиенических проблем, было уберечь источники питьевой воды от загрязнения фекалиями. В Вене XIII в. питьевые фонтаны во дворах домов находились на расстоянии не более метра от отхожего места и так обстояло дело практически во всех городах Империи. Опасность загрязнения была уже в полной мере осознана к XV в. С начала XIV в. в немецких городах появляются постановления, определяющие месторасположение отхожих мест и расстояние, отделяющие их от источников питьевой воды и от соседей  $1\frac{1}{2}$  шага (прибл. 0,45 м) в Мюнхене; 7 шагов — в Гейдельберге; три шага — в Нюрнберге.



Городской совет регулировал работы по очистке клоак, а производились они за счет владельцев домов и участков. Очистки осуществлялись по ночам и в холодное время года. «Ночной король», «ночной мастер» — так называли горожане в австрийских землях тех, кто эти работы выполнял. В санитарном отношении эти меры были малоэффективными. Чума, холера, желудочно-кишечные заболевания на всем протяжении Средневековья оставались прежде всего заболеваниями городскими.

Более успешно, особенно в Западной Европе, решалась другая проблема городской чистоты: мощение улиц. Первые сведения о городских мостовых исходят из Парижа XII в.: каждый горожанин, «буржуа» здесь был обязан заботиться о том, чтобы улица перед его домом была замощена. Рассказывают, что поводом к этому грандиозному предприятию послужило гневное настроение короля Филиппа-Августа. Крайне раздраженный вонью, грязью и пылью, поднимаемой возами прямо под окнами дворца, он приказал прево и парижским «буржуа» замостить все улицы Сите «грубыми и прочными камнями». Эта мера была распространена затем по королевскому указу и на другие французские города, так что к XIV в. улицы важнейших французских городов имели мостовые.

В первой половине XIV в. мощение улиц началось в Праге. Но так обстояло дело далеко не во всех городах Центральной Европы. В богатом Аугсбурге мостовых не было почти до самого начала XV в., так же как и тротуаров: лишь в некоторых местах улиц были сделаны настилы для перехода, а вдоль домов — насыпи. В конце XV в. жители Ройтлингена уговаривали императора Фридриха III не приезжать к ним, но он не послушался и едва не погиб в грязи вместе с лошастью. Подобные анекдоты не означают, однако, что горожане этого европейского региона не осознавали необходимости и не испытывали потребности в улучшении улиц и дорог. В завещаниях любекских бюргеров, особенно купечества, с XIV в. частым становится пожертвование денежных сумм «для починки плохой дороги». В Кёльне со всех возов и повозок, прибывавших в город, взималась особая проездная плата для благоустройства улицы, ведущей от главных ворот к рынку, по которой было наиболее интенсивное движение. Благоустройство улиц у ворот, мостов, рынков, ратуши составляло особую заботу городских советов.

**Забота о безопасности. Каменное строительство.** На том же уровне важности, с точки зрения формирования урбанистического облика средневекового города, что и забота о чистоте, гигие-

не, находится и забота о безопасности — стремление максимально сократить возможность уничтожения внутреннего пространства огнем пожара: для города, где основная масса построек, особенно в первые столетия его истории, возводилась из дерева, это была самая большая опасность и проблема. Стремление защититься от пожаров являлось одним из мощных факторов, воздействовавших на изменение характера застройки городов.

Нет ни одного города в средневековой Европе, который бы не стал жертвой огня. Французский Руан с 1200 по 1225 г. пережил шесть пожаров. Именно после двух больших пожаров в середине XIII в. городским советом Любека было принято решение, чтобы впредь дома сооружались из камня. Так как вблизи города не было залежей естественного камня, то его заменили обожженным кирпичем. Строить дома из кирпича и глинобитные рекомендовал своим бюргерам и совет Нюрнберга в постановлениях 1329—1335 гг. В Хильдесхайме совет в 1381 г. обещал вознаграждение каждому, кто будет строить дом из кирпича, а в Иннсбруке после грандиозного пожара в 1390 г. вообще было предписано возводить жилые постройки только из камня. В Хаммельне в 1385 г. совет принял решение разобрать все деревянные пожароопасные дома и впредь делать их только глинобитными. Маленький альпийский Фельдкирх в Форарлберге в 1320 г., согласно переписи, был еще городом деревянной застройки, к концу же столетия, здесь, как сообщают источники, уже преобладали дома из камня и глинобитные (оштукатуренные), что не в последнюю очередь было спровоцировано сильным пожаром 1348 г. Аналогичные приведенным выше решения о каменной и кирпичной застройке были приняты городскими советами в Цюрихе (после пожара 1313 г.) и в Боцене, после того как в 1483 г. город выгорел дотла. В свете этих свидетельств обретает глубокий смысл запись в путевых заметках известного итальянского гуманиста Сильвио Пикколомини о том, что у немецких городов поразительно молодой вид, будто они возникли или были отстроены только что.

Под пристальным вниманием властей находились крыши домов. Сделанные из соломы или дранки они часто становились причиной городских пожаров. Запреты властей использовать этот легко воспламеняющийся материал проходят через все Средневековье, но особого успеха они не имели. Дело в том, что крыши из черепицы или шифера были очень дороги, не говоря уже о том, что они были слишком тяжелы для деревянного каркаса жилых строений. Во многих городах Империи власти обещали денежную помощь тем, кто хотел покрыть свой дом черепицей. Император Рудольф IV даже освободил бюргеров штирийского города

Войтсберга на шесть лет от налогов, когда они, восстанавливая свои дома после пожара, вознамерились покрывать крыши черепицей (в противном случае они могли рассчитывать лишь на четыре года льгот).

Но при всем том крыши из черепицы еще и на исходе Средневековья оставались редкостью из-за дороговизны материала и в то же время — символом социального престижа. «Драгоценностью» назвал епископ Ульрих II Бриксенский черепичное покрытие одной из башен своего дворца. Дороговизна и престижность черепичных и шиферных крыш толкали на подделку. Дранку или соломѹ окрашивали в красный цвет. Море красных крыш — так выглядит Вена на миниатюре XV в.; но Пикколомини, пришедший в восторг от уютных и теплых жилищ венцев, вместе с тем был неприятно поражен обилием в городе соломенных крыш.

Так обстояло дело в позднее Средневековье, причем в важном городе, городе-резиденции. Все это предостерегает от чрезмерно прямолинейных и оптимистических обобщений свидетельств письменных источников, касающихся намерений властей изменить качество городской застройки. Речь все же шла скорее о благих намерениях и пожеланиях, чем о радикальном в «однчасье» изменении реальности.

Городские дома, до XII в., по крайней мере, мало чем отличались от сельских. И это не должно удивлять: большинство городских жителей составляли выходцы из деревень, приносившие с собой и свои строительные навыки. Конечно, тип и материал, из которого делали дома, были разнообразны и зависели как от местных условий, так и от богатства, положения в обществе их владельцев. Но вплоть до конца средних веков большая часть жилищ крестьян и простых ремесленников воздвигалась из ивняка, обмазанного глиной, оштукатуренного сверху дерева или плохо обтесанного камня. В Вене (как, впрочем и в других городах немецкоязычного ареала) еще и во второй половине XIV в. широко была распространена деревянная застройка типа «штендербау» из переносных элементов: столбов, из которых мастерили основу здания, и брусѹв; вертикальные, горизонтальные и наклоненные под углом, они образовывали стены. Промежутки между ними заполнялись глиной, соломѹ, позднее — кирпичом. Характерно, что городское право в раннюю пору рассматривало дом как движимое имущество, потому что в случае расторжения договора об аренде земельного участка (а она широко была распространена в городах) сооружение могло быть разобрано и увезено арендатором с собой. Именно такой случай засвидетельствован в 1223 г. в Любеке. Напротив, новые дома из обожженного кирпича, кото-

рые начинают возводить в Любеке на исходе XIII в., были уже стационарными, связанными накрепко с наделом, что нашло отражение и в изменении правовых представлений: именно с этого времени земельная собственность и сооруженная на ней постройка<sup>59</sup> начинает рассматриваться как единое целое в правовом отношении

Каменные строения в городах, появившиеся в XIV в., принадлежали (в Любеке, например) представителям высшего городского слоя, купечеству, занимающемуся дальней торговлей. Главный дом, выходящий фасадом на улицу, служил товарным складом, нижний этаж использовался для торговли. Простые ремесленники и торговцы использовали пространство переднего дома, обращенного фасадом на улицу, для жилья, ремесленных занятий, торговли, хранения запасов продовольствия, сырья и т.п.

В непосредственной близости от главного рынка и возведенных ок. 1200 г. крытых рядов были построены первые каменные дома в Вене. Один из них, датируемый археологами 1220 г., имел 11 м в ширину и 14 м — вглубь двора. Другой, выстроенный между 1220 и 1250 гг. был двухэтажным, шириной в 6 м и в глубину — 11 м. Его стены, толщиной в 90 см были сделаны из бутового камня, прочно скрепленного цементным раствором. О концентрации каменных построек в одном из престижных приходов Кёльна — св. Колумба — говорит налоговая опись от 1286 г. 53 дома обозначены в ней как каменные и 37 как деревянные. Опись упоминает еще и Штрайтцойгассе, где стояло 11 каменных и 10 деревянных домов. Но Кёльн — это все же случай исключительный. В целом же, каменные дома горожан, особенно к северу от Луары, в тех же немецких землях, даже в крупных городах, в XIV в. были еще редкостью (в процветающем ганзейском Данциге в 1382 г. их имелось всего три). Они были наперечет, и обозначение «каменный» нередко превращалось как бы в собственное имя дома, (например, известная «Каменица» во Львове), в признак, выделяющий его из массы других жилищ в городе.

Письменные источники, как и археологические раскопки говорят о том, что и в XIII—XIV вв. городские жилые постройки в массе оставались невзрачными\*. Даже мощные, отстроенные из камня или кирпича, дома имели мало окон и небольшого размера. Такими, во всяком случае, предстают Страсбург и Базель в хронике конца XIII в. Упоминаемые в юридических документах Страсбурга (1322 г.) элементы конструкций жилых построек свидетельствуют о распространенности именно деревянных жилых домов.

---

\* См. Очерк II. С. 103—104.

В том же Кёльне еще и в позднее Средневековье основная масса жилых домов представляла собой простые постройки типа штендербау и фахверк. Множество городов и городков Германии к востоку от Рейна до конца средних веков так и оставались деревянными. Путешественник XVII в., посетивший город Вецлар, отмечает в своем дневнике: в городе только деревянные дома, обмазанные глиной. Таких, которые выстроены из камня или имеют каменный нижний этаж, немного. Дома теснятся один возле другого, многие крыты соломой и лишь некоторые имеют пожарные лестницы.

И все же, именно в городах каменное строительство распространяется с большей быстротой, чем в сельской местности. Именно здесь расцветает и достигает своего совершенства искусство строить, и именно здесь в век готики оно превращается в науку. Каменщик, архитектор-ремесленник, применяющий традиционные рецепты, вынужден дать место рядом с собой новому профессионалу, производящему расчеты по правилам, т.е. интеллектуалу. В сознании современников он обретает достоинство человека науки. «Мэтрами камня» называли таких мастеров во Франции XIII в. «Магистрами каменного строения» (подобно магистрам искусств или докторам права) самоощущали себя лучшие и наиболее честлюбивые из них<sup>60</sup>

Конечно, умение их и слава были сопряжены с искусством возведения соборов, монументальных построек, а не жилых домов. Но это искусство было городским, плоть от плоти нового городского общества. Им порожденное и им (его материальными и духовными импульсами) взращенное, это искусство, в свою очередь, ежедневно, ежечасно воздействовало на горожан. Зримо и образно своими творениями утверждало оно в их сознании понятия величия, порядка, богатства, но одновременно также идею красоты, гармонии и восприятие городского интерьера, как с точки зрения престижа и славы города, так и с точки зрения обеспечения нужд общежития и коммуникации. Именно в этом духовном климате формируется такой важный элемент урбанистического сознания и практики как тенденция к регулярности, упорядочению внутригородского пространства в интересах «общей пользы», но также удобства и в соответствии с принятым эстетическим идеалом.

**Стремление к регулярности. Что есть красота?** В средневековом городе дома теснились вдоль узких и извилистых улочек, которые от нависающих вразнобой эркеров казались еще уже. Даже важные коммунальные улицы редко были прямыми. Последовательное чередование сужений и расширений, уступов и поворотов,

подъемов и спусков характерно для большинства их. Эту общую картину пейзажа городских коммуникаций дополняли лабиринты проходов, тупиков, коротких улочек. Своими сочетаниями (как и занятиями их жителей) они образовывали специфические картье, кварталы, — особые мирки сосуществования, где всё и все взаимосвязаны отношениями соседства и зависимости.

На вершине иерархии системы городских коммуникаций располагались главные (или большие) улицы и улицы общественные, коммунальные. Главная улица, как правило, продолжавшая крупную торговую артерию, имелась далеко не в каждом городе. Ее ширина составляла минимум 5—6 м и не превышала 10—12 м. Даже в таких крупных городах с 20—30 тыс. населения, какими в период их расцвета были во Франции Руан, Монпелье, Тулуза, Тур, Бордо, Амьен, большие улицы, позволявшие разехаться без труда двум повозкам, составляли исключение. Даже в Париже, столице королевства, ширина его трех больших улиц (Сен-Дени, Сен-Жак, Сен-Мартен) составляла не более 18 шагов (ок. 6 м).

Коммунальные, или общественные улицы в большинстве городов обеспечивали главные коммуникации, связывая площади, рынки, собор, публичные здания, ворота, потайные ходы и гавани. Их ширина колебалась между 2—5 м, но могла быть и меньше, подобно одной из улиц старинного Брюсселя, которая до сих пор носит название «улицы одного человека»: двое там уже не могли разойтись. В 1475 г. члены братства галантерейщиков в Руане обратились с жалобой к городским властям. Они рассказывали, что нанятые ими для починки крыши и навесов их торговых рядов кровельщики и плотники грозятся прекратить работу из-за дурных шуток и поведения подвыпивших посетителей таверны на противоположной стороне улицы: «стоя в окнах они сквернословят и справляют нужду на глазах у рабочих»<sup>61</sup>

Узость улиц затрудняла движение транспорта, а в некоторые часы дня вообще делала его невозможным. Ситуация становилась неразрешимой, если начинались строительные работы. Серьезный ущерб жилищам был нанесен в Нанте и Ренне, когда там в XV в. началось сооружение монументальной часовой башни. В ходе строительных работ создавалась опасность сокращения или вообще уничтожения некоторых площадей, которые и без того были невелики. Заботой городских властей было сохранение того, что есть, но также и создание новых или расширение существующих. Прево Парижа периода правления Людовика Святого Этьен Буало распорядился уничтожить некоторые постройки, которые узурпировали пространство площадей, в частности Гревской площади. Городское право французских городов, в Дижоне например, обле-

кало мэров и эшевенов правом строительных работ только на площадях. Что же касается улиц, то стремление к упорядочению нашло отражение в постановлениях городских магистратов (типа того, что было принято в Авиньоне в 1243 г.), утверждавших минимальный предел ширины коммунальных улиц и предписывавших расширение уже существующих, но узких городских артерий, так же как и выравнивание слишком извилистых из них. В Дижоне мэру и эшевенам вменялось в обязанность выравнивание линии домов.

Пространные инструкции городских властей об обеспечении регулярности и красоты городской застройки и улиц — явление, типичное для всех европейских регионов. Они известны уже с середины XII в. Наиболее ранние из них относятся к городам итальянской провинции Тоскана. Тщательно продуманные предписания относительно правил возведения дома и поддержания его опрятного вида были обязательны для каждого горожанина-домовладельца. С конца XIII в. во Флоренции, Сиене, Пизе, Пистойе была учреждена специальная «служба для поддержания красоты». В обязанности ее входило, среди прочего, особое наблюдение за строениями в центре города, вокруг больших площадей и вдоль главных улиц. Высокому денежному штрафу подлежали те из домовладельцев, которые нарушали предписание относительно положенного числа балконов на главном строении, то есть выходящим фасадом на улицу, оконных арок и их ширины, обязательных украшений, в том числе и цветами. Если с роскошным палаццо нобиля соседствовало уродливое здание, владелец был обязан, под угрозой штрафа, произвести его перестройку. В итальянских городах, правда уже на исходе Средневековья, было принято, чтобы дома в центральных кварталах были, по возможности, одинакового размера и высоты и сделаны из того же строительного материала, что и заботливо вымощенная улица перед домом.

В немецких городах регулирующие предписания появляются со второй половины XIII в. Городской совет Гамбурга в 1268 г. принял постановление, вменявшее в обязанность ратманам определять официально границы, дальше которых не должны выступать фасады и эркеры домов, расположенных вдоль судоходных каналов, водных путей, улиц. Такого же содержания постановления известны во многих других городах. В Страсбурге уровень выступа эркера был отмечен на одной из наружных стен собора и сопровождался надписью: «Это предел выступа». Для контроля всадник с копьем или с палкой соответствующей длины проезжал по улицам. Если острие копья задевало за строение, его владелец платил штраф или даже был обязан сломать постройку. Размеры участков, на кото-

рых возводились городские дома, в целом были невелики, и на протяжении всего Средневековья городские власти боролись со стремлением своих бюргеров расширить жилое пространство за счет улиц и коммунальной земли. Именно эту цель преследовало сооружение эркеров, балконов, лоджий, которые домовладельцы навешивали на свои дома. Жилое пространство увеличивалось путем сооружения выносных лестниц, хозяйственных помещений.

С XIV в. в немецких городах вводится регулярный, не менее двух раз в год, осмотр властями состояния построек с целью определения того, не противоречат ли они общественным интересам и принятым постановлениям о красоте. В 1370 г. в Мюнхене комиссия из 36 наиболее уважаемых бюргеров, членов совета, предписала ликвидировать в домах в центре города и на его наиболее узких улицах из-за опасности пожара лоджии, а также наружные лестницы, крыльца, кровельные лотки для отвода дождевой воды с крыш и т.п. Требования ратманов и нежелание, а порой и невозможность домовладельцев учесть их, создавали почву для непрерывных судебных тяжб и разбирательств.

Трудно сказать, с заботой ли о красоте или со стремлением выделиться (но скорее и с тем, и с другим одновременно) связано широко распространившееся с XIII в., прежде всего в итальянских городах, обыкновение водружать на фасадах богатых домов, на концах балок, карнизах различные скульптурные изображения — иногда и самого хозяина, построившего дом, герба, но чаще это — деревянные статуи святых, Богоматери, героических личностей. Раскрашивали деревянные планки и балки фахверковых построек. Это придавало домам нарядный вид. Украшались и улицы: фонтанами на площадях, крестами — на перекрестках.

С XII в. города становятся полюсами притяжения паломничества — этого «средневекового прообраза туризма» (по выражению Ле Гоффа). Паломники стремились в город поклониться святым мощам, хранившимся в реликвариях величественных городских соборов и церквей. Но их привлекали также и городские достопримечательности, красота городских сооружений и монументов. «Итальянский францисканец Фра Салимбене из Пармы, посетивший в середине XIII в. Экс-ан-Прованс, пространно описывает «чрезвычайно прекрасную и очень знатную гробницу», которую королева Франции Маргарита Прованская, супруга Людовика Святого, повелела воздвигнуть в церкви Госпитальеров для останков своего отца, графа Раймонда Беренгара»<sup>62</sup>.

Но город поражал воображение приходящих в него и своими домами. Как же выглядели собственно средневековые дома? Здесь



мы вступаем в область предположений и реконструкций. Сохранились лишь отдельные, сильно испорченные временем, редкие их экземпляры, причем это, как правило, дома патрицианские. Чрезвычайно редки, пишет Ж. Ле Гофф, и иконографические их изображения более или менее реалистически передающие «подлинный» облик домов (как, например, миниатюры хранящегося в Парижской национальной библиотеке жития Св. Дени, подаренного в 1317 г. королю Филиппу У Длинному аббатом Сен-Дени). Фактически, в массе своей старинные города, во всяком случае в Центральной Европе, полагает немецкий урбанист Х. Бокман, донесли до настоящего времени тот «средневековый» облик, который они обрели в XV—XVI вв., а иногда и в XVII в. Собственно средневековые дома XII, XIII—XIV вв. уничтожены пожарами и временем и напоминают о себе лишь «строительной субстанцией» — фундаментами, стенами, балками, скрывающимися под фасадами домов позднего Средневековья и раннего Нового времени. В Трире на Глоккенгассе находится дом, выстроенный в 1490 г. и давший название этому переулку. Надпись под колоколом над его дверью гласит: «Названный «Под колоколом», я стал стар и трухляв и поэтому разрушен. Восстановленный пыльным летом на каменном фундаменте из двух строений, объединенных на узком участке, я изменил свое сердце. Но Фортуна оставила мне то же самое имя»<sup>63</sup>

Археологические, письменные, иконографические свидетельства тем не менее позволяют уловить некоторые общие черты и линии эволюции городского дома, сопряженные с экономическим, социальным и ментальным развитием. Средневековые дома как и участки чаще, чем сегодня меняли своих владельцев. В зависимости от хозяйственной ситуации они быстро приобретались и столь же стремительно продавались. Но чаще всего они служили обеспечением ссуд, отдавались под залог. Так называемые *грундрентен* — поземельные ренты, близкие к современным ипотечным операциям, — позволяли горожанам обходить осуждаемый церковью запрет ссужать деньги под проценты. В этой форме развивался торговый кредит. Вложение денег в дома и участки сулило большие прибыли и было широко распространено. Дома сдавались в наем. Многие бюргеры жили в арендуемых не только домах, но и помещениях, комнатах, закутках. В узких и глубоких дворах размещались многочисленные пристройки, каморы, «будки», которые сдавались в наем. Их сооружали под крышей, над подвальным помещением и т.п. Там обитала городская беднота и нередко представители среднего слоя.

Одноэтажные дома оставались правилом, хотя в больших городах таких, как Париж, или торговых метрополиях, подобных

ганзейскому Любеку, распространяются дома в два, три, а иногда и больше этажей. Они свидетельствуют о стремлении богатых горожан, в соответствии со своими экономическими возможностями и социальным положением, владеть красивым домом, сделанным из камня, украшенном скульптурой, хорошо освещаемым — с застекленными окнами, с башней, выражающей стремление этого высшего городского слоя к ассимиляции с аристократией. Престижность статуса его владельца подчеркивается и месторасположением дома. Унтермаркт — нижний рынок в средневековом Герлице, центре экспортного сукноделия, был застроен роскошными домами, здесь жили бюргеры, облагавшиеся по высшей налоговой ставке.

Бюргерский дом — символ принадлежности к городской общине; знак индивидуального и фамильного статуса; сфера действия особого, «домового мира», обеспечивающего защиту всем его обитателям — неприкосновенность жилища была одним из принципов средневекового права, хотя, разумеется, принцип этот неоднократно нарушался в ходе войн и в политических схватках. Самым тяжелым наказанием, высшей мерой, предусматриваемой уголовным городским правом за преступление против города, было разрушение дома, а значит и изгнание.

**Танцевальный дом.** Одним из важных элементов урбанистического облика города и его социокультурного пространства становятся на исходе Средневековья «танцевальные дома». Их начали строить с конца XIV в. и к XVI в. они имелись уже в каждом большом городе, в некоторых городах — даже несколько, как, например, в тирольском Китцбюхеле, где их было четыре. В большинстве случаев танцевальный дом находился рядом с ратушей и церковью или напротив их. И нередко танцевальная музыка, звуки труб и флейт нарушали благочестивое настроение посетителей Божьего храма, вызывая их недовольство и многочисленные жалобы.

Распространение танцевальных домов было сопряжено с глубокими социокультурными трансформациями в городской среде — ростом хозяйственной мощи бюргерства и политического самосознания его высших, ведущих слоев, но также и с индивидуализацией личности, стремлением к самоидентификации, самовыражению (в том числе и посредством танца); с изменением видения и ценностного восприятия человеческого тела. В русле этого ментального развития менялось и отношение к танцу — его перестают воспринимать как исключительный элемент ритуально-магической практики. Организованное телесное движение танца

сопрягается с новыми задачами: социальной репрезентацией и эстетической самореализацией, а это требовало нового жизненного пространства в прямом и переносном смысле.

Танцевальный дом, — помещение, посвященное определенной, «танцевальной функции», отвечавшее этой новой потребности и ею же вызванное к жизни. С точки зрения городской строительной практики, это была первая общественная светская постройка, конструировавшаяся с учетом одного, конкретного, специального предназначения. Правда, этот новый для Средневековья принцип использования общественных помещений утверждался очень медленно и практически танцевальные дома, как показывает историко-культурологическое исследование В. Бруннера, функционировали, во всяком случае в городах Империи, как многоцелевые. Здесь проводились праздничные торжества, театральные представления, приемы гостей, они использовались как гостиницы; для проведения заседаний городского совета, суда.

В немецких городах термин «танцхауз» часто тождествен термину «ратхауз». Это особенно характерно для небольших городов, где помещение ратуши, городского совета было единственным, пригодным для танцевальных целей. Термин «танцхауз» часто использовался для обозначения большого праздничного зала ратхауза, занимавшего целый этаж и специально предназначенного для танцев. Именно такое помещение, объединяющее ратхауз и танцхауз было сооружено в Мюнхене в 1470—1480 гг. Перед тем как начать строительство, архитектор мастер Йорг, как говорит хроника, посетил Аугсбург и Ульм, чтобы осмотреть тамошние танцевальные дома.

В Нордлингене танцевальный дом размещался в трехэтажном помещении, которое во время ярмарок использовалось как торговый дом суконщиков. На четырнадцать ярмарочных дней первый этаж танцхауза, где, собственно, и проходили танцы, соединялся переходами с расположенными рядом домом мясников и пивной, что позволяло перемещаться из одного помещения в другое. Многоэтажные танцевальные дома такого типа как в Нордлингене имелись во многих городах, например, во Франкфурте-на-Одере, во Вроцлаве с тем лишь различием, что здесь благородные бюргеры танцевали в зале верхнего этажа, предоставив нижние в распоряжение простых горожан.

В. Бруннер в своем исследовании танцевальных домов в городах Центральной Европы, обращает внимание на тесную связь их с общественно-правовой городской жизнью, что могло быть обусловлено, по его мнению, как коммунальным характером помещения, так и древними ритуально-магическими правовыми функ-

циями самого танца<sup>64</sup> Танцхаузы часто возводились в тех местах, где прежде традиционно осуществлялась судебная власть. Так было, например, в Фельдкирхе и в Мюнхене. После того как было отстроено новое помещение танцхауза, в него были перенесены и заседания суда. В танцхаузе происходили допросы, разбирательства, выдвигались обвинения и выносились приговоры. В подвале танцхауза порой (в Мюнхене, Регенсбурге) содержались заключенные. В Мюнхене каждый бюргер, хотя бы раз в жизни приносил клятву в танцхаузе, обещая верность городу и бюргерам. Здесь же делались публичные заявления и объявления. Именно танцевальный дом служил резиденцией императорской особе при посещении города, как, например, уже упоминавшийся в другой связи кельнский Гюрцених, выстроенный в 1441—1444 гг., один из самых роскошных и больших в Германии. В 1520 г. он принимал только что коронованного императора Карла V. Резиденцией императора Максимилиана I в 1500 и 1510 г. был Мюнхенский танцхауз и именно здесь происходила его встреча с ратманскими и патрицианскими фамилиями города.

Но при всей своей многофункциональности, организация внутреннего пространства танцевального дома учитывала танцевальные стили, господствовавшие в среде высших социальных слоев — городского патрициата и феодальной аристократии в позднее Средневековье. Длинный зал был рассчитан на большое число участников в танцах — «процессиях». Самым популярным из танцев этого типа был распространившийся с середины XV в. и происходивший из Бургундии «басседанзе» (испанский танец), который в Германии называли просто: придворный танец. Он ограничивался незначительным числом крайне простых па и фигур. Танцующие следовали размеренным шагом, парами друг за другом. Эта церемониальная форма танца известна также как танец «на немецкий манер». Это — репрезентативный и церемониальный танец. Он был обязательным элементом свадебных торжеств, празднеств по случаю визита в город его сеньора, императора. Плавнo двигающиеся в процессии пары были призваны продемонстрировать групповую общность и одновременно незыблемость сословного порядка, его иерархии. Во главе процессии, непосредственно за ведущим танцором, следовали высокие персоны, символизирующие своим участием «мир праздника», гарантию порядка — того, что торжество не будет нарушено распрями или вооруженным столкновением.

С начала XVI в. в среде городских верхов распространяется новая хореография. Присущие ей сложные движения могли быть усвоены только в процессе длительного обучения. Танцевальное

образование становится престижным и воспринимается как один из элементов социального статуса. Для получения его ехали в чужие земли. Местом паломничества была Италия. Альбрехт Дюрер во время своего пребывания в Венеции брал уроки танцев, но, как пишет он в письме своему другу и покровителю Вилибальду Пиркгеймеру, выдержал только два занятия. Обучение стоило дорого, к тому же он не обнаружил необходимых способностей.

Новая хореография была рассчитана лишь на небольшое число пар. Ставящая целью выделить и подчеркнуть индивидуальность каждого танцующего, она, ввиду большого количества па и сложности их комбинации, требовала уже иной организации танцевального пространства. Предусматривалось также присутствие зрителей, для которых создавались специальные трибуны (для дам по одну сторону, для кавалеров по другую сторону зала), а также специальный подиум для музыкантов. Танцы включали стилизованные элементы пантомимы, со своей особой знаковой нагрузкой, расшифровкой которой с воодушевлением занимались зрители — не участвовавшие в данный момент в танцах.

Любили танцы не только господа. Танцы-процессии, подчеркивающие общность и символизирующие мир, были широко распространены среди ремесленников, среднего бюргерства. В городе Госларе «длинный танец или процессия», как говорится в документе, приводимом В. Бруннером, стал знаком примирения двух враждующих группировок: жителей Нижнего города, где обитали «местные» — саксонцы, и «пришлых», «чужаков» — франконцев, населявших Верхний город. Обе части города долгое время были разделены цепью, символизировавшей неприкосновенность границы. Вражда же велась из-за того, что «чужаки», как полагали местные, «загрязняли ручьи и речки, стекающие вниз». Когда же мир все же был достигнут, устроили танцы в виде длинной цепи растянувшейся от одной части города до другой.

Как форма самоидентификации, танцы играли большую роль и в жизни цехов. Их специально создавали или заимствовали, переименовая, друг у друга и из других городов. В качестве «знакового танцевального оснащения» служили предметы и изделия, присущие производственной деятельности того или иного цеха. Они использовались для пантомимы. Так, танец нюрнбергских мясников был характерен тем, что танцоры держались не за руки, а за кожаные круги, символизировавшие колбасы. Вообще танцы с обручами, мечами, палками были чрезвычайно популярны. Танец с мечами был характерен для праздников даже тех цехов, которые не имели к их производству никакого отношения. Танцы устраи-

вались не только по праздникам, но и по случаю, в частности, завершения судебного разбирательства, заключения договора и других правовых действий. Исследователи усматривают в этом рудимент прежних культовых действий, превратившийся в обычай.

В среде «простых» людей были распространены танцы-импровизации, запрещаемые церковью как «грубые» и «бесстыдные», танцы-хороводы (вокруг дома или очага), культового происхождения. Танцевальные дома, где отплясывал городской люд, были простейшей конструкции: на четырех столбах под деревянной крышей и с деревянным, слегка приподнятым над землей настилом. Иногда его сооружали на небольшом каменном фундаменте. На гравюре рубежа XIV—XV вв. запечатлен незамысловатый помост, покрытый настилом из ивняка; на нем три музыканта, а вокруг, на отгороженном пространстве — танцующие пары. Так, вероятно, выглядел предшественник престижного патрицианского танцхауза позднего Средневековья.

Таков, в основных своих характеристиках, урбанистический образ средневекового города. Таким предстает он в исследованиях современных историков.

Но каким видели и представляли город современники? Эта проблема выходит сегодня на первый план изучения. Тот образ города, который доносят до нас иконография и литературные тексты высокого Средневековья был сформирован стереотипами, выработанными церковью и рыцарско-аристократической средой. В кольце стен, устремляющийся ввысь храмами и крепостью правителя Небесный Иерусалим и отвращающий своими мерзостями Вавилон — таков город церковной традиции. Пленяющий воображение великолепными постройками знати и кипучей жизнью, привлекающий богатой добычей, золотом, монетами и заморскими товарами, вызывающий ненависть своей независимостью — таким предстает город рыцарских романов.

Параллельно с христианско-рыцарской традицией вырабатывается и новый образ города и его идеология. Это осуществляется по нескольким линиям. Прежде всего — в русле новой схоластической учености. Большой вклад в это дело внес Парижский университет. Следуя властителем своих дум, Аристотелю и Августину, его доктора переносят на средневековый город понятия *цивитас* и греческого полиса в их античном смысле город-государство. Как место цивилизации и культуры, противостоящее нецивилизации «лесу», предстает город в сочинениях доктора теологии парижского епископа Гийома Овернского (1228—1249). Но особенно своей разработкой городская идеология обязана Фоме Аквинскому (1225—

1274) и его школе. Он и ученики его проводят в своих сочинениях идею о городе как унитарном, целостном организме, направляемом правом купцов, призванном обеспечивать его гармоническое единство, уважая одновременно оригинальность и своеобразие составляющих его элементов в той мере, в какой они способствуют общему благосостоянию. Город, согласно их концепции, противостоит окружающему его миру и возвышается над ним; это единственно достойная человека и адекватная ему форма существования.

С XIII в. получает распространение городская мифология, особенно в итальянских городах и на юге Франции. В конце этого столетия в Тулузе была создана легенда, относившая происхождение городского муниципалитета к Античности; в Бурже основание города — его сите, стен и бурга связывали с Карлом Великим. Уже с XII в. фиксируется такой жанр латинских литературных произведений как хвала тому или иному городу, его монументам — соборам, сооружениям, в частности мостам, реликвариям.

Свой вклад в развитие представлений о городе вносит и фольклор. В середине XIII в. впервые появляется тема, пользовавшаяся большим успехом в средние века — фавлю о Кокань, но не о волшебной стране, но о полном чудес городе. В этом перевернутом мире, где должны бы править деньги, все бесплатно. Гуси жарятся прямо на улицах, прямо на земле там находят кошельки с деньгами; там имеются очень любезные торговцы сукнами, которые продают просто задаром прекрасные ткани, а кожевники делают и дарят башмаки со шнурками, легкие ботинки и высокие сапоги. Подобно тому, как это бывает в городах, в центре площади там имеется и фонтан, но этот фонтан — источник юности<sup>65</sup>

## ШКОЛА. УНИВЕРСИТЕТ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

**Овладение школой. Образование: элементарное и «профессиональное».** «Город — это рынок. Но это также и школа. Школа, связанная с рынком». Средневековый город стал колыбелью новой школы — для мирян, для тех, кто связывал свое будущее не с церковными делами, но с повседневными заботами городской жизни.

В раннее Средневековье традиции античной светской школы сохранялись лишь кое-где на юге, главным образом в Италии. К северу от Альп школа была по преимуществу монастырской или церковной. Средневековая школа не знала возрастного ценза, дети обучались грамоте вместе со взрослыми юношами. Учебную про-

грамму (в соответствии с позднеантичной традицией) составляли семь свободных искусств, которые разделялись на две части: тривиум (троепутье) и квадравиум (четверопутье). Тривиум был начальной стадией обучения — отсюда наше слово «тривиальный», то есть обыденный. Тривиум включал грамматику, риторику и логику. В состав квадравиума входили арифметика, геометрия, астрономия и музыка. На раннем этапе Средневековья преобладал тривиум; проникновение квадравиума в общеобразовательную систему начинается с XIII в. Читать учились, заучивая наизусть молитвы, псалтырь и евангелие, особенное внимание уделялось пению. Затем переходили к грамматике, которая составляла костяк средневекового образования. Грамматику (только латинскую) учили по руководству Элия Доната — грамматика IV в., комментатора Вергилия и, согласно традиции, учителя св. Иеронима. Другие языки в школе не проходили (до XIV в.). Обучение латинской грамматике состояло в чтении какого-нибудь древнего автора с попутным его истолкованием. После того, как прочитывал учитель, тот же самый отрывок читали и комментировали ученики.

Первые городские школы были именно такими — латинскими школами, и цель, которую они преследовали, заключалась прежде всего в том, чтобы вооружить элементарными знаниями — умением читать и писать по латыни будущих клириков. Потребность в новых кадрах в ранних городских центрах, часто являвшихся епископскими резиденциями, была весьма ощутима. Так, в Майнце, архиепископской резиденции, в Каролингскую эпоху под охраной римских стен действовало девять церквей и капелл. В Люттихе, одном из значительных центров школьного обучения в X в., духовном центре Нижней Лотарингии, насчитывалось свыше тысячи духовных лиц.

Купечество поднимающихся городов рано осознало важность практического образования: знания счета, умения читать и писать. Купцы в числе первых из мирян овладевают грамотностью, начинают привлекать в качестве помощников для сопровождения своих грузов клириков из числа низшего и бедного духовенства. Из фландрских источников мы знаем, что местные купеческие гильдии уже в конце XI в. имели своих нотариусов (также людей духовного звания), которые вели переписку с клиентами и деловые записи<sup>66</sup>. Стремясь дать образование своим детям, богатые фландрские купцы отправляли их к простым священникам для обучения грамоте и счету, но они избегали церковные школы, хотя те и имелись во всех городах. Причиной тому был глубокий разрыв в ценностных представлениях купечества и церковных моралистов,



осуждение церковью торговой и кредитной практики, как источника прибыли.

В XII в. во Фландрии развернулась борьба за школьное обучение, отвечающее потребностям патрициата и городской общины и ею контролируемое. В Генте это привело во второй половине XII в. к подлинной войне — «школьной войне», когда после разрушения монастырской школы св. Фарельдиса горожане попытались учредить свою, городскую. Их право было оспорено местным духовенством; в борьбу вмешались папа, архиепископ Реймский, граф Фландрский. Городские школы остались под надзором каноника из церкви св. Фарельдиса, который одновременно был и графским нотариумом. В 1191 г. Матильда Португальская и Балдуин III даровали Генту привилегию и право открывать свои школы, ориентированные «на общественные дела», а не церковные.

А. Пиренн, посвятивший одно из своих исследований ранней истории городских школ, следующим образом сформулировал исторический смысл этого культурного феномена. Начиная с середины XII в., пишет он, городские советы были озабочены основанием школ для бюргерских детей. Это были первые светские школы в Европе со времени Античности. Благодаря им образование перестало служить исключительным благодеянием для монастырских новичков и будущих приходских священников. Умение читать и писать, став обязательным в коммерческой практике, перестало быть достоянием исключительно духовенства. И тут «буржуа» (горожанин) превзошел знатного, потому что то, что для него было лишь интеллектуальной роскошью, стало для него повседневной необходимостью. Церковь не приминула тотчас же заявить о своих правах на надзор за муниципальными школами, что стало источником бесчисленных конфликтов между нею и городскими властями. Церковные вопросы были чужды этим дебатам. Не было никакой иной причины, кроме желания городов сохранить свое верховенство над школами, ими же порожденными и управление которыми они имели в виду удержать<sup>67</sup>

Процесс создания городских школ примерно в это же время имел место и в немецких землях. В 1262 г. городской совет Любека в противовес школе соборного капитула учредил собственную при Сан-Якоби, над которой сохранялся лишь формальный церковный контроль. Совет заботился о поддержании в порядке ее здания, обеспечении персоналом учителей, учебном процессе. О практической направленности обучения в бюргерской школе дают представление образцы школьных упражнений по деловой переписке (1370 г.) на восковых дощечках, обнаруженные археологами в ходе раскопок на месте облицованной камнем школьной клоаки. В

одном случае речь идет о 31 тонне вина, высылаемой любекским купцом своему деловому партнеру; в другом о рекомендациях купцу, если он решит самолично направиться в Тюрингию и Франкфурт для торговли сельдью и треской. Таким образом, ученики Якоби-шULE в 1370 г. изучали то, чем тогда занимались любекские купцы в своих конторах. Создавая свои школы высший слой любекского купечества ставил сознательно целью рационализировать с помощью владеющих письменностью и конкретным практическим знанием молодых людей торговое дело и предпринимательские операции.

Но высшее купечество поставляло также и кадры для управления городской общиной — ратманов. Поэтому учеников обучали и умению вести политическую, официальную переписку. Фрагменты ее также запечатлены на многочисленных табличках. Содержание образцов явно было навеяно событиями протекавшей в это время войны с Данией. Запечатленные на восковых дощечках фрагменты документов, типичных для любекской городской канцелярии, позволяют говорить о том, что основатели школы были озабочены также подготовкой соответствующего персонала и для ее нужд.

Конечно, в массе школа по прежнему оставалась делом церкви, но и религиозные школы, находившиеся в контакте с городом, фундаментально трансформировались, вводя в свой план, наряду с латынью, церковными песнопениями (которым отводилось также определенное место и в бюргерских школах) обучение практическим наукам, прежде всего счету, «арифметике», как это было, например, в Иоханнеуме немецкого Люнебурга. Латинские школы, подчинявшиеся непосредственно городскому совету, им финансируемые и перед ним ответственные, имелись в XIII—XIV вв. не только в больших торговых городах, но и во многих менее значительных. Э. Эннен описывает историю становления бюргерской школы в Ганновере. Она сложилась на базе школы, прежде принадлежавшей сеньорам бурга Лауэнроде, передавшим в 1282 г. городу право представлять своего ректора. Город на свои средства выстроил новое здание, и с 1348 г. стал полноправным владельцем этого школьного предприятия. Ученики ректурировались и из числа горожан, и из знатных семейств округи. В 1521 г. совет счел необходимым ограничить число обучающихся ста учениками. В школе учили латыни, церковной истории, пению. Городской совет назначал ректора, который, со своей стороны, набирал (с согласия совета) учителей, и их оплачивал; взимал плату с учеников и ежегодно вносил в казну города семь фунтов своего рода арендной платы как бы за эксплуатацию «городского предприятия»<sup>68</sup>.

Но гораздо более внушительно, чем к северу от Альп, частные и городские светские школы были представлены, начиная с конца XIII в., в итальянских городах. Быстро отказавшись от латыни в пользу повседневного языка и добавив обучение счету, городские светские школы полностью посвятили свою деятельность здесь интересам и потребностям купечества. От употреблявшихся в школьной практике счетных досок — абака, получили они и свое название. Венецианский врач Симон Валентини рекомендовал сыновьям в своем завещании (1420 г.) после завершения элементарной школы, идти в абаку (*ad abacum*), «чтобы обучиться торговому делу». В 1338 г. во Флоренции имелось шесть таких купеческих «профессиональных» школ с общей численностью учеников в 1000—1200 чел. В 1486 г. цех суконщиков (Лана) в Генуе создал специальную школу для сыновей ремесленников, подобная школа имелась и в Милане. С конца XIII в. появились специальные задачники; с XIV в. их составляли уже на народном языке, а отвлеченные рассуждения о числах, характерные для ранних учебников, в том числе и церковных школ, были заменены практическими примерами. Задачи строились с учетом тех трудностей, с которыми сталкивался, скажем, купец, покупавший шерсть в Генуе, сукно в Пизе и перепродававший и то, и другое затем во Флоренции или любом другом городе с учетом различий в единицах денежного обращения, мерах веса, объемах, длины.

Французские исследователи фиксируют к началу XIV в. в городах, в том числе и в крупных церковных центрах, например в Реймсе, наличие относительно большого числа школьных учителей и учительниц, что позволяет предполагать уже довольно широкое распространение грамотности среди горожан. Как показывает Деспорт, в Реймсе она затронула детей не только патрициата, но и купцов, ремесленников средней состоятельности — владельцев мастерских, лавок. Вместе с тем, она обошла стороной тех горожан, которые подчас не имели средств для того, чтобы отдать детей даже в профессиональное обучение.

Образование, которое давали в массе своей общественные школы, было весьма скромным — «начальным», но уже то, что умением читать, писать и считать овладела весьма значительная часть городского населения было само по себе огромным завоеванием. Обычно, пишет в этой связи Ж. Ле Гофф, подчеркивают важность распространения грамотности для экономического развития, игнорируя значение ее для городской жизни в целом, но «эта культурная база нового городского общества суть основа его социального возвышения и его политического влияния». По своей значимости распространение с XII в. светских школ и образова-

ности сопоставимо, в частности конкретно во Франции, считает Ж. Ле Гофф, лишь с волной грамотности и школьного образования в XIX в., связанной с индустриальной революцией и сложением буржуазного государства.

**Новое латинское образование — «среднее» и «высшее».** Город вызвал глубокие превращения в мире образования. Наряду с элементарной и профессиональной школой здесь получает распространение новое латинское образование — второй ступени (среднее) и высшее. И к этим новым школам, непосредственно связанным с городом, с XII в. переходит от монастырей научная и интеллектуальная инициатива. О притягательной силе таких школ для любознательной молодежи, о методе обучения в них, атмосфере творчества и вместе с тем зависти и враждебности к ним со стороны монастырских богословов рассказывает в своем жизнеописании Петр Абеляр (1079—1142) — один из самых независимых умов Средневековья и создатель одной из таких школ, давшей начало Парижскому университету<sup>69</sup>

Абеляр начинает рассказ с того, что будучи по природе способным к занятиям, он отказался от воинской службы («отрекся от участия в совете Марса») и целиком предался изучению логики, или как тогда говорили, диалектики. Переезжая из одного города в другой, он слушал известнейших учителей, а затем и сам стал принимать участие в диспутах. Диспут (научно-учебное подобие рыцарского турнира) — характерная черта метода преподавания в новых школах. Ученик против учителя, учитель против учителя, наконец, учитель со своими учениками против другого учителя и его учеников — таковы разные формы обсуждения спорных проблем, стоявших перед тогдашней наукой. Абеляр был страстным и умелым диспутантом. Он участвовал во многих диспутах и нередко побеждал в них тех, кто был старше и опытнее его. Это и вызвало, замечает Абеляр, его бедствия: чем шире распространялась его слава, тем сильнее разгоралась зависть к нему со стороны его соперников.

В горниле дискуссий городских школ выковывалось, по выражению Ж. Ле Гоффа, «новое ментальное оснащение» Средневековья. В пылу споров рождался схоластический — рационалистический (т.е. логический) метод мышления, противопоставлявший ссылке на авторитет принцип ее логического обоснования. Тем самым менялось отношение к книге — этому важнейшему инструменту средневекового «ментального оснащения». Из сокровища и непререкаемого авторитета в монастырской культуре, она превращается в городской школе в источник познания, добываемого посредством критического анализа.

Рождавшийся в лоне городских школ схоластический метод не ставил под сомнение веру. «Наоборот, он стремился прояснить, очистить, лучше понять эту веру... Но как бы то ни было, применявшиеся в схоластике методы предполагали настоящий переворот в ментальных установках»: они вели «к осознанию личностью ее интеллектуальной ответственности», помогали «принять возможность существования разных мнений»; отучали пугаться новаций; побуждали использовать новые системы доказательств, применять наблюдение и эксперимент, способствовали развитию внутренней духовной жизни и индивидуального самосознания<sup>70</sup>

«Постепенно учителя, отделяясь от церковных и монастырских властей, стали создавать свои корпорации — университеты. Сам термин «университет» (*universitas*) означал первоначально всякое объединение людей, связанных общими интересами и имеющими правовой статус. Только с конца XIV в. его стали использовать применительно к академической корпорации. Средневековое обозначение высшего учебного заведения *studium generale* (впервые засвидетельствованное в 1237 г.) прилагалось к школе, пользовавшейся широкой известностью, привлекавшей учеников издалека, и способной обеспечить преподавание не только «семи свободных искусств», но и, по крайней мере, одной специальной дисциплины: гражданского или канонического права, богословия или медицины. Одни из этих школ признавали университетами по обычаю (*ex consuetudine*) как учебные заведения, постепенно сложившиеся и приобретшие известность, другие — в результате пожалования привилегии папой, императором, в редких случаях королем. Две привилегии связывались в представлении современников с университетами начиная с XIII в.: клирики, обучавшиеся в них богословию, сохраняли на пять лет свои церковные доходы (бенефиции); окончившие университет получали право преподавать в любой школе (*jus ubique docendi*)...

Древнейшие университеты — в полном смысле средневекового термина — Парижский, отличавшийся в сфере богословия, и Болонский, прославившийся преподаванием права. Формировавшиеся одновременно, они вместе с тем существенно отличались по своему внутреннему устройству, олицетворяя два основных типа университетов Средневековья. Университет в Болонье (и в Падуе) представлял собой студенческую организацию, возникшую для защиты интересов приезжавших в город студентов-правоведов. С середины XIII в. здесь существовали две конфедерации: *universitas citramontanorum* — гильдия учащихся из Италии и *universitas ultramontanorum* — гильдия, объединявшая приезжих из неитальянских государств. Болонские студенты не входили в эти гильдии. Несмотря на протесты преподавателей и городских властей, студенческие гильдии постепенно присвоили себе руководство всей университетской жизнью. Преподаватели не только не могли голосовать на университетских собраниях, но самый учебный процесс протекал под строжайшим надзором студенческих властей, и за нарушение его профессора подвергались штра-

фам. Такая система, однако, отнюдь не представляла собой демократической организации, ибо власть находилась в руках немногочисленных должностных лиц — ректоров и *consilarii*.

Парижский университет, напротив, сложился как организация преподавателей. Одной из существенных причин этого является, по мнению некоторых исследователей, количественное преобладание в Париже подготовительного факультета искусств, студенты которого были более молодыми и менее зрелыми, нежели болонские правоведы, люди подчас тридцатилетнего возраста с большим жизненным опытом. В отличие от болонских конфедераций, парижские «нации» факультета искусств (их было четыре: французская, пикардийская, нормандская, англо-германская) объединяли преподавателей, начиная с магистра, тогда как студенты не могли ни голосовать, ни участвовать в дискуссиях на университетских собраниях. «Старшие» факультеты (богословия, права и медицины) не подразделялись на «нации», но учившиеся на них магистры искусств примыкали к своим «нациям», пока не получали докторской степени, дававшей им право стать членами старшего факультета. В отличие от Болоньи, парижские «нации» объединяли не только приезжих преподавателей, но и местных. Проректоры — руководители парижских «наций» — обладали большой властью, но то обстоятельство, что они часто сменялись и были ответственны перед собранием «нации», придавало парижским преподавательским гильдиям демократический оттенок.

Некоторые итальянские университеты (в Пизе, Флоренции, Павии и др.) представляли собой переходные формы: здесь власть была разделена между студентами, преподавателями и муниципальными властями. Участие студентов в управлении было закреплено уставами также ряда испанских университетов. В южнофранцузских университетах — в Монпелье, Анжере, Орлеане студенты в борьбе против церковных властей действовали в альянсе с профессурой.

По парижскому типу строились северные университеты. Оксфорд, в частности, перенял в общем парижскую систему организации. Основное отличие состояло в том, что Оксфорд, как и Кембридж, возник не в епископальном городе и, соответственно, его подчинение епископальным властям было гораздо менее угрожающим, чем во французских университетах. История Парижского университета — это история его борьбы за освобождение из-под власти епископа и за ограничение прав епископского канцлера, контролировавшего деятельность университета и, в частности, выдачу дипломов. Напротив, оксфордский канцлер рано перестал быть епископским должностным лицом, его избирали преподаватели, а епископу принадлежало лишь право утверждения. К концу XIV в. Оксфорд полностью освободился от епископской юрисдикции. Выборное лицо университетских преподавателей — канцлер — в Оксфорде обладал широкими правами, сосредотачивая в своих руках духовную, гражданскую и уголовную юрисдикцию.

Особенностями ранних английских университетов является также сравнительно слабое развитие системы «наций», что определялось остров-

ным, замкнутым характером английской высшей школы; относительно высокий уровень преподавания математики и наук о природе (с первой половины XIII в.), меньшая затронутость богословскими и политическими дискуссиями, которые превращали Парижский университет в «академический микрокосм Европы»<sup>71</sup>.

Именно в английских университетах нашла свое преимущественное развитие система коллежей, зародившаяся в Париже в конце XII в. Первые парижские коллежи были благотворительными учреждениями и создавались они обычно при госпиталях как общежития для бедных клириков, обучавшихся в парижских школах. В 1257—1258 гг. Робер де Сорбон, капеллан Людовика IX, создал коллеж нового типа (получивший затем его имя) — общежитие для магистров, обучающихся богословию. По типу Сорбонского коллежа стали возникать коллежи магистров в Оксфорде и в Кембридже, однако в Англии порожденная коллежами децентрализация университетской жизни оказалась более последовательной: английские коллежи были демократическими самоуправляющимися ячейками с правом кооптировать новых членов и выбирать руководство, тогда как в Париже коллежи подчинялись внешним властям — как церковным, так и университетским. К тому же английские коллежи постепенно сосредоточили внутри себя самый процесс обучения, тогда как в Париже обучение в коллежах носило элементарный характер.

Подлинного равенства в среде средневекового студенчества, разумеется, не было: одни студенты были богаты и происходили из семей состоятельного бюргерства, другие — с трудом добывали себе пропитание. По статистическим данным (конец XIV—XV в.), основную массу студентов все же составляли люди среднего имущественного статуса<sup>72</sup>. Аристократов в студенческой среде было сравнительно мало до конца XV в., при этом в южных университетах их было больше, нежели в северных. Но уже с XIV в. наблюдается тенденция к включению университетов в аристократическую социальную структуру, к осмыслению университетской культуры в понятиях рыцарского мира, к уподоблению правоведа рыцарю.

Имущественное положение университетских преподавателей было первоначально очень неустойчиво, поскольку оно зависело от студенческой платы. Возможно, что болонская профессура мирилась со своим неполноправием именно потому, что большой университет в Болонье мог лучше компенсировать ее материально. Введение жалованья для профессуры, впервые в университете в Паленции (Кастилия) в начале XIII в. дало докторам известную независимость. Однако резкое колебание размеров жалованья создавало социальный разрыв в среде преподавателей, часть которых сливалась с городским бюргерством, и приводило, особенно в германских университетах, к разобщению в среде профессоров и к ослаблению университетской организации»<sup>73</sup>.

**Интеллектуал — новый социокультурный тип средневекового человека.** Каковы бы ни были различия в условиях существования университетских преподавателей, всех их объединяла при-

надлежность к особому социокультурному типу средневекового человека — «интеллектуала-профессионала», который формируется в городах с XII—XIII вв. Это люди книжной культуры, занятые умственным трудом. Средневековые не знали общего понятия «интеллигент». Их называли «доктор», «профессор», «магистр», «литерати», то есть знающий латынь (в противоположность невеждам — «идиоти»). «Философом Бога» называл себя Абельяр. К интеллектуалам по своему самосознанию принадлежали и клирики: люди духовного звания, они не имели церковных поручений и должностей, но были связаны со школой и университетами и получали материальную поддержку от городского совета или церкви и вознаграждения от учеников.

Этот социокультурный тип средневекового человека формируется на Западе в тот период, когда представление об учености как бесплатном «даре Божьем» сменяется убеждением, что знание — такой же товар, как и прочие, а преподавание — один из видов городского специализированного труда, который оплачивается. Именно как корпорация, подобно тому как были организованы ведущие отрасли городского производства, возникает и средневековый университет. Он — корпорация интеллектуалов, и это отражено в ее атрибутике: наряду с печатью, уставом, органами управления — своя программа обучения, своя система экзаменов, специфические правила социального возвышения: посредством жюри, конкурса; свой метод логического упражнения ума; своя практика научных дискуссий, скандализирующая, традиционалистски ориентированное общественное мнение.

Самосознание городского интеллектуала, однако, строится не столько на сближении своего труда с ремеслом, сколько на противопоставлении умственной деятельности и «работы руками». Он осознает свою особость и свое превосходство над теми, кто занимается ручным трудом и подчеркивает именно то, что отделяет его от ремесленника: любовь к книге, стремление к распространению своих знаний и идей (вспомним Абельяра). Интеллектуал — «человек мира». Он часто переезжает из одного университета в другой, из одной школы в другую, ибо всеобщим языком грамотности и обучения остается латынь. Он не женат, так как не желает стеснять себя семейными узами и заботами: «мудрому человеку жениться не следует», пишет Абельяр, внимая убеждениям Элоизы<sup>74</sup>. Интеллектуал — человек «авторитета», которым наделены изучаемые им и распространяемые обязательные тексты, начиная с Библии. Но он не следует им слепо, а подвергает их логическому истолкованию или вообще предпочитает им логическое знание, что подчас очень осложняет ему жизнь.



Интеллектуал постоянно вовлечен в идеологические споры своего времени. На переходе от XIII к XIV столетию появляется новая сфера интереса интеллектуалов — политика. Недовольные церковью, они критиковали светскую власть пап и становились на сторону императоров. Таков итальянец Марсилиус Падуанский (1275/1280—1343), помогавший императору Людовику Баварскому в борьбе с папой Иоанном XXII. В 1327 г. он был отлучен от церкви и заочно приговорен к смертной казни. Таков Уильям Оккам (1300—1349) — английский философ, не признававший «непогрешимости папы» и выступавший за независимость государства от церкви. В 1324 г. он был обвинен папской курией в ереси и находился в заточении в Авиньоне, откуда бежал в 1328 г. в Мюнхен к Людовику Баварскому; у него было много последователей и он оказал большое влияние на деятелей Реформации.

История сохранила нам славные имена «героев духа», взращенных городской школой и университетом. Это — философ и магистр петр Абеляр; «отец» средневековой схоластики и мистики архиепископ Ансельм Кентерберийский (1033—1109); ученик Абеляра Арнольд Брешианский (рубеж XI—XII вв. —1155) — пропагандист идеи равенства и бедной церкви раннего Средневековья; Ян Гус (1371—1415), магистр и ректор Пражского университета, проповедник Вифлеемской церкви в Праге, превратившейся в очаг распространения идей реформы церкви; Джон Уиклиф, профессор Оксфордского университета, доктор богословия, предтеча европейского реформационного движения. Это лишь небольшая часть из тех, кого выдвинула городская культура Средневековья и кто воплотил собой ее интеллектуальный облик<sup>75</sup>

**Приложение сил.** Город был не только центром, где происходило формирование нового интеллектуального потенциала средневекового общества, но и главным местом приложения его сил и реализации его возможностей. Об этом свидетельствует возрастающий с XII—XIII вв. процесс рационализации всей системы городского управления на основе письменности. Люди, владеющие ею, привлекаются для работы в городской канцелярии, для ведения городских книг, финансов, архива, библиотеки совета.

Городские советы испытывали острую потребность в ученых, юридически образованных людях. В 1363 г. совет Нюрнберга учредил должность городского секретаря — «юриста». В соответствующей записи городской книги говорилось, что совет посылает в Падую «на свои средства» человека для обучения юриспруденции

и обязывает его, в свою очередь, собрать соответствующие юридические сочинения для библиотеки совета. Город такого ранга как имперский Нюрнберг, имевший постоянное общение с королем, имперскими сословиями, территориальные споры со светскими и духовными сеньорами округа особенно остро нуждался в квалифицированном юристе, знающем гражданское, римское, и каноническое право, способном представлять город на высоком уровне и защищать его интересы. Вместе с тем, стремление влиться в систему городского управления было одним из побудительных мотивов и для бюргерских сыновей, стремившихся получить образование в университетах. Так, например, из 23 фамилий членов городского совета в Лüneбурге в начале XV в. более половины обучалось праву в Пражском университете.

Желанием воспитывать собственные кадры образованных людей не в последнюю очередь руководствовался совет Кёльна, обратившийся в 1389 г. от имени «граждан и коммуны» к папе Урбану VI за привилегией об основании университета. Город утвердил четырех «провизоров», которым поручил управление высшей школой, и оплачивал из своей казны основной состав профессуры. Наличие университета преумножало славу города, его престиж, привлекало желающих получить высшее образование, но также и деловых людей; обещало повышение доходов местным купцам, лавочникам, ремесленникам, особенно занимавшимся перепиской книг и школьных учебников; обеспечивало городское управление грамотными и образованными людьми, такими, как например, Иоханнес де Ново Лапиде. Родом из Кёльна, он побывал во многих университетах: в Гейдельберге (1386), Болонье (1387—1389); обучался и в университете родного города (1392 г.). В 1395 г. он стал его ректором, добился в Риме привилегий для города и университета, участвовал в Констанцском соборе (в составе городской депутации) и в 1419 г. заключил новый контракт с советом Кёльна на условии предоставления ему ежегодно оплаты в 250 флоринов, а также одежды и вина.

Потребность в людях, владеющих юридической профессией, остро ощущалась и на повседневном уровне городской жизни (особенно в крупных центрах): для оформления торговых сделок, нотариальных актов, касающихся продаж недвижимости, ее наследования, для выполнения секретарских и различных вспомогательных функций в судебных палатах. Исследовавшие эту проблему французские урбанисты отмечают стремительное увеличение слоя городских нотариусов (в массе происходивших из числа мелких клириков) с конца XII—XIII в., в частности в городах Прованса и Лангедока, по мере внедрения в практику их деловой жизни

римского права, развития института наследования и распространения обычая в среде горожан составлять завещания.

Преобразующее воздействие новой культуры, основанной на грамотности и образовании, на городскую жизнь в целом заявило о себе так же, как феноменом, внедрение в официальную сферу городской жизни местных языков взамен латыни. Так, с XIII в. в Лиможе сборники постановлений городского консулата издавались и на латинском языке, и на диалекте области Лимузен. П. Деспорт приводит документ (1351 г.), рассказывающий о просьбе, с которой, не без лукавства, эшеваны Реймса обратились к сеньору архиепископу: они просили использовать французский язык, когда ему будет угодно писать им: так как «они люди простые и нисколько не понимают по латыни», то им приходится вводить «в курс его секретов» переводчика. Исключительно на фламандском языке составлялись отчетные документы в маленьких фландрских городах; что же касается больших городов — Брюгге, Ипра, Гента, то соперничество между латынью и фламандским языком в официальной документации на протяжении XIII и XIV вв. в конечном счете завершилось преобладанием последнего. О возрастающем с XIV в. стремлении писать и составлять официальную документацию на диалектах родного языка свидетельствуют и немецкие городские источники.

## КНИЖНОЕ ДЕЛО — НОВАЯ ОТРАСЛЬ ГОРОДСКОГО РЕМЕСЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Распространение грамотности и книжной культуры имело далеко идущие последствия и в другой сфере городской жизни — в сфере материального производства. Оно дало мощный импульс возникновению новой его отрасли — книжного дела и таким образом вторжению города в еще одну монопольную область церкви и монастырей. В условиях города книга превратилась не только в источник знания, но и в товар, причем, весьма прибыльный, а производство его — в одно из передовых с точки зрения организации труда и сбыта продукции. Освоенные здесь принципы разделения труда, технологий тиражирования книжных текстов подготовили, в свою очередь, базу для рождения книгопечатания и книгоиздательского дела, давших один из первых образцов массового, серийного производства и раннекапиталистической мануфактуры, как рассеянного, так и централизованного ее типов.

Книжное дело, соединяющее в себе сферу духовную с материальной, открывает особые возможности для освещения целостного среза средневековой городской культуры, позволяя наглядно ощутить взаимосвязь и переплетенность друг с другом ее различных уровней. Интересный в этом отношении материал предоставляет нам исследование В.Л. Романовой о рукописной книге и готическом письме во Франции в XIII—XIV вв.<sup>76</sup> Автор детально исследовал целый массив кодексов — рукописных памятников этих столетий, рассматривая проблему развития письма, изменения почерков и стиля в тесной связи с общей историей рукописной книги во Франции, условиями ее изготовления и распространения. Выполненное на высоком научном уровне оно до сих пор остается единственным в своем роде в отечественной историографии средневековой книги.

Почти до конца XII в. церкви, монастырским книжным мастерским — скрипториям, удавалось удерживать ведущие позиции в производстве книги. Унаследованный от раннего Средневековья опыт в организации изготовления книг позволял им откликаться на рост потребности в книге, обозначившийся с XI в. Наибольшую известность во Франции получили мастерские письма монастырей северных и восточных районов. «Городом книги» называли в XII в. аббатство Мон-Сен-Мишель в Нормандии. Монастырские уставы поощряли монахов к переписке книг, считая это богоугодным делом. Работа в книжной мастерской приравнивалась к труду на полях. Продукцию монастырских скрипториев составляли литургическая литература, книги по каноническому праву, сочинения отцов церкви; в крупных монастырях, являвшихся центрами летописания, переписывались также исторические хроники. По некоторым данным, пишет В.Л. Романова, «во французских монастырях XII в. над перепиской книг работало до 40 тыс. писцов».

Но несмотря на количественный рост книжной продукции, возможности монастырских скрипториев были ограниченными, производительность труда монахов-переписчиков, несмотря на некоторое разделение функций, причем, далеко не везде (обработка пергамента, переписка, иллюминирование — украшение, изготовление переплета) в целом была низкой. «Существенную роль играл и сам характер труда — «ручной», но в то же время творческий, и в большей мере, чем какое-либо другое ремесло связанный с умственным напряжением и вниманием». Но были и другие обстоятельства: отсутствие материальной заинтересованности, не говоря уже о том, что работа монаха по переписке книг была для него побочным занятием, которому уделялась лишь часть его

времени, свободного от обязательств и служб, предусматриваемых монастырским уставом. Переписка книг иногда затягивалась на годы. За рабочий день писец переписывал в среднем 2—3 листа, а иногда и меньше. К этому надо еще прибавить трудности с приобретением писчего материала — пергамента, которого постоянно не хватало. Результатом всего была дороговизна книги и практическая невозможность увеличения ее выпуска как раз тогда, когда спрос стремительно возрос: город и королевская власть испытывали острую потребность в образованных людях: юристах, нотариусах, медиках, да и сама католическая церковь нуждалась в новых, образованных кадрах проповедников. Тяжелым ударом для монастырских скрипториев стало и то, что латинский язык, как уже отмечалось выше, перестал быть единственным языком грамотности и, следовательно, сама грамотность — привилегией духовенства. С XIII в. широко распространяется письменная литература на северофранцузском языке\*. Этому способствовало и признание французского литературного языка в среде сеньориальной знати в Англии, Германии, Италии. Именно «в угоду их вкусам ряд английских и итальянских хроник был составлен и переписан на французский язык». Но один из наиболее мощных импульсов роста спроса на книги, в том числе и на французском языке, был дан все же университетами. Объединявшиеся вокруг них учащиеся, преподаватели-ученые нуждались в книгах разного содержания — в учебниках, юридических, медицинских, философских трактатах и комментариях, произведениях античных авторов и современных поэтов и писателей. И именно при университетах в первую очередь создавались библиотеки\*\*. С постоянно возрастающим спросом на

---

\* «...С начала XIII в. лингвистическая граница четко и надолго фиксируется между светской по содержанию литературой, с одной стороны, и церковной и научной — с другой. Церковь стремилась сохранить эту границу и боролась против попыток перевода книг Священного писания на французский язык, часто рассматривая эти попытки как проявление ереси. Например, в 1199 г. папа Иннокентий III в ответ на донесение Мецкого епископа осудил в своем послании жителей Меца, пытавшихся перевести Евангелие и проповедовать его на французском языке. Папа приказал епископу провести расследование и сжечь найденные переводы. Только с середины XIII в. начала широко распространяться французская агиографическая литература. С конца XII и особенно в XIII в. увеличивается число двуязычных поэм, в которых в том или ином порядке сочетаются латинский и французский тексты»...(*Романова В.Л. Рукописная книга...* С. 52)

\*\* «...В короткий срок университетские библиотеки стали более значительными и лучше подобранными, чем большинство монастырских. Так, библиотека Сорбонны в 1338 г. насчитывала 1720 томов. С 1289 г. она состояла из двух хранилищ: «большой библиотеки», где на полках были расположены наиболее ценные книги и лучшие экземпляры из нескольких списков, которыми владел университет, и «малой библиотеки», хранившей вторые экземпляры и менее важные работы.

книги (а не с появлением бумаги, как это часто считают) связывают В.Л. Романова в первую очередь коренное изменение в организации изготовления книжной продукции и появление ремесленного ее производства.

В отличие от монастырского скриптория, где весь процесс изготовления книги был сосредоточен в рамках одного монастыря, в городах развивается «узкая специализация ремесленных мастерских, занятых в производстве рукописных книг; создаются цехи пергаментариев, переплетчиков, цехи, изготавливающие металлические застёжки для книг, мастерские переписчиков, рубрикаторов иллюстраторов»<sup>77</sup> В 1292 г. в Париже платили талью 19 мастеров-пергаментариев и насчитывалось 17 переплетных мастерских. Число переписчиков книг, работавших по найму в XIII в., было уже столь значительным, что некоторые источники, как отмечает В.Л. Романова, «упоминают их «беспорядочное множество» и даже «необузданные банды...» Растущий спрос на книги (в XII в. в Париже уже существовало специальное место, где ими торговали, — площадь перед собором Нотр-Дам) и их высокая цена делали переписку выгодным ремеслом. Наиболее ранние и четкие формы организации труда переписчиков и иллюстраторов складываются в XIII в. в системе университетского производства.

В.Л. Романова следующим образом описывает организацию производства книг в средневековых университетах, в том числе и Парижском (что, следует заметить, в свою очередь, проливает дополнительный свет на характер корпоративности и самого средневекового университета, о чем уже говорилось выше):

«...Возникшие на основе городского ремесленного производства университетские мастерские письма имели ряд специфических особенностей, обусловленных их связью с университетом. Они входили в университетскую корпорацию и пользовались всеми привилегиями, которые университет получал от папства и от королевской власти. Труд университетских пергаментариев, переплетчиков, переписчиков, иллюстраторов был регламентирован статутами университета. В университетских мастерских изго-

---

Книги «малой библиотеки» за определенную плату выдавались студентам на дом. В XIII в. появились первые крупные частные библиотеки. Среди них особый интерес представляет королевская библиотека. Она стала создаваться еще в царствование Людовика VII, но подлинного расцвета достигла в XIV в. при Карле V.... Обширную библиотеку собрал в середине XIII в. канцлер кафедрального собора в Амьене Ришаль де Фурниваль, написавший сочинение под названием «*Bibliomopia*», в котором он перечислял книги наиболее интересовавшие его современников. До нас дошли... сведения о библиотеках Робера де Сорбонна, пожертвовавшего в 1253 г. названному по его имени коллежу книги, каталог которых насчитывал 1017 экземпляров, и магистра Жерара Абвиля (часть своих книг — 118 томов по теологии он завещал в 1259 г. библиотеке Сорбонны...). Там же. С. 53—54.

товлялись лишь те книги, которые требовались по программе; университет контролировал содержание книг, с которых делались копии... Копии составлялись непосредственно с авторского подлинника. Сделанный список носил название «экземпляр». Он обычно переписывался на нескольких несброшюрованных тетрадах по четыре листа в каждой, с письмом в две колонки. Число тетрадей зависело от размеров переписываемой работы. Каждая тетрадь, составляющая часть «экземпляра», на языке эпохи называлась *ресе* — часть, кусок, штука. Первоначально термин употреблялся в производстве пергамена. Так называлась целая обработанная шкура, из которой вырезался большой лист пергамена. Этот лист складывался вчетверо и получалась тетрадь, которая также называлась *ресё* или *ресе*.

Составленный «экземпляр» проверялся специальной комиссией университета, которая устанавливала цену за пользование каждой тетрадью. Затем «экземпляр» передавался на хранение к «стационарию». Магистр или студент, которому нужно было переписать книгу, брали у стационария первую тетрадь, уплатив за нее установленную плату. Переписав, они возвращали ее и взамен брали другую и т.д., пока не будет переписана вся рукопись. Переписка осуществлялась самим магистром или студентом, а также профессиональными писцами, работавшими за соответствующую плату. Благодаря этой системе, книга могла многократно копироваться в течение того времени, которое раньше было необходимо для создания лишь одной копии. Нововведение заключалось... (именно) в практике многократного одновременного переписывания книги. Так, если в монастырском скриптории речь шла всегда о создании одной копии с одной книги, то в университете за это же время создавалось до 40 копий... Палеографически пометы о *ресё* появляются в рукописях между 1225 и 1238 г. Но регламентацию в университетских статутах новая система производства книги получает позднее: самое раннее упоминание о ней датируется 1275 г. Система *ресё* продолжала существовать до изобретения книгопечатания...

...Главой университетской мастерской письма был стационарий. Под его руководством работали писцы, иллюстраторы, переплетчики. Стационарий распределял работу по изготовлению новых «экземпляров», сам же непосредственного участия в переписке книг уже не принимал. Кроме того, стационарий следил за заменой обветшавших «экземпляров» новыми. Через посредничество стационария в переписку книг вовлекались студенты, которые таким путем иногда зарабатывали себе на жизнь. Посреднической торговлей рукописями и хранением «экземпляров» занимался либрарий. Но постепенно и стационарии все больше отходят от непосредственного участия в производстве и становятся своего рода «предпринимателями-купцами», действующими в рамках университетской корпорации... Ими могли стать теперь люди самых разных профессий — магистры, торговцы и даже аптекари...

...Деятельность стационария была ограничена контролем университета. Каждый год из магистров избиралась комиссия, члены которой назы-

вались ресіагі. В течение каникул они требовали, чтобы им были представлены на проверку все «экземпляры», составленные из ресіа, имевшиеся в распоряжении стационариев. При этом последние должны были поклясться, что они принесли все «экземпляры» и все ресіа, которые давали для переписки за плату. Если какие-либо тетради казались комиссии плохими (искажения, ветхое состояние) стационарию предписывалось за свой счет исправить или переписать их. В списке экземпляров, признанных хорошими или «полезными», указывалось заглавие работы, количество ресіа, из которых она состоит, цена за пользование ими... Беспощадно изгонялись те стационарии и библиотеки, которые нарушали свои обязательства перед университетом. Так, ордонансом университета от 12 июня 1316 г. были исключены 22 библиотеки и стационарии, отказавшиеся принести присягу в подчинении правилам университета. Университет строго контролировал и деятельность переписчиков. Их имена вносились в специальный регистр. Они также должны были приносить присягу в присутствии ректора и четырех прокураторов».

Средний тираж книги, выходившей из университетской мастерской письма равнялся 60—65 экземплярам. Книга была удобного для работы формата, в мягкой обложке и стоила во много раз дешевле (3—3,5 ливра), чем книги, изготавливаемые по заказу короля, сеньоров и богатых бюргеров: в середине XIV в. цена такой книги колебалась от 40 до 500 ливров. Приемы изготовления книги в каждом крупном университетском центре, как показывает В.Л. Романова, унифицировались. Так, согласно статутам Парижского университета (1468 г.), каждая ресіа должна была включать 4 листа, 16 колонок, 60 строк в каждой колонке, 32 буквы в каждой строке. Все это облегчило впоследствии переход к печатной книге.

Но книги создавались не только в университетских мастерских. В XIII—XIV вв. в городах получает распространение производство книг, не связанное с университетами и ориентировавшееся на широкую аудиторию, интересовавшуюся романами, фавлю, французскими хрониками. Мастера в городах изготавливали пользовавшиеся широким спросом у жителей часовники, молитвенники для домашнего обихода, псалтири, миниатюрные Библии и т.п. Эти мастера-писцы не входили в университетскую корпорацию. Парижская «Книга тальи», налогового обложения, упоминает в 1292 г. 24 переписчика, 17 иллюстраторов, 8 библиотекарей, проживавших в городе в это время. В начале XIV в. число писцов возросло до 60. Они обитали на отдельной улице, которая так и называлась — улица Писцов, тогда как иллюстраторы предпочитали ей улицу Эрамбур-де-Брие. Среди писцов было много клириков, священников, монахов, но нередки и магистры артистического и



медицинского факультетов, нотариусы. Эти писцы работали на заказ сочетая нередко переписку с иллюстрированием книги; их социальное положение было очень разным — от свободных художников, живущих случайным заказом и заработками, до мастеров при дворе знатного человека с гарантированной оплатой труда. Наиболее удачливые из них становились книготорговцами или хозяевами мастерских по переписке книг, или их иллюстрированию.

Во второй половине XIV в. появляются первые книги, для изготовления которых используется бумага. Производство таких книг было в четыре раза дешевле производства пергаменных. Но пергамен не сразу уступает свое место, в это столетие нередки книги, в которых бумажные листы чередуются с пергаменными. Литургические книги продолжали делать из пергамена.

С внедрением бумаги начинается новый этап истории рукописной книг. Если в XIII — начале XIV в. работа на заказ еще играла ведущую роль, то с середины 70-х годов XV в. книги переписывают преимущественно для свободной продажи. Появляются крупные мастерские. В отличие от мелких, узкоспециализированных предприятий ремесленников-книжников, здесь под одной крышей были сосредоточены уже все процессы производства книги и ориентировалось оно не на единичные заказные работы, но на массовое изготовление копий.

Во главе такой мастерской стоял либо книготорговец (либрий), либо писец (эквивен). Он определял число копий и заботился о их распространении. Перепиской или иллюстрированием он уже сам практически не занимался. Его производство было ориентировано на книжную продукцию массового спроса, прежде всего молитвенники, часословы. Они были в каждом доме. Их читали женщины и дети, их передавали по наследству. Мастерских по изготовлению часословов было особенно много во фландрских городах и в Париже, крупном уже с XII в. центре производства и торговли рукописной книгой не только во Франции, но и во всей Европе. К XV в. такие книжные производства широко распространяются и в крупных городах Империи.

В такой мастерской книгу делали от начала до конца, применяя разделение труда.

«..Сначала писцы черного текста писали основной текст, оставляя место для заголовков, инициалов, рамок и миниатюр; они же ставили на полях напротив оставленных мест «репрезанты», т.е. написанные карандашом буквы или заголовки, которые надо вписать. Затем рубрикатор вписывал рубрики. Мастер малых инициалов ставил инициалы на красных

строк; особый мастер ставил большие инициалы, открывающие целые параграфы. Следующим этапом была работа иллюстратора, который рисовал рамку; после него другой иллюстратор рисовал миниатюру, и, наконец, особый специалист рисовал фон. После того, как книга была написана и иллюстрирована, она переплеталась тут же в мастерской...

...Чтобы быстро и полно удовлетворить спрос покупателей, отдельно изготавливались календарь и часть, содержащая основной текст. Большое количество одинаковых копий последней изготовлялось в мастерской заранее. Календарь же писался непосредственно по указанию покупателя, с учетом праздников той местности, где он жил. Затем обе части соединялись (вначале шел календарь, а потом текст), книга переплеталась и продавалась покупателю. Создание многочисленных копий приводило к выработке строго определенных приемов в письме и иллюстрациях...»<sup>78</sup>

Так интенсивное развитие городского ремесленного производства рукописных книг в XIII—XIV вв. привело в XV в. к организации предприятий с ярко выраженными чертами разделения труда и предпринимательства. Далее слово было уже за книгопечатанием. Генетически связанное с художественными и графическими ремеслами, но также и с металлообрабатывающими, в той части в какой это касалось изобретения шрифта и словолитного аппарата, оно, восприняв эту новую, предпринимательскую линию в производстве книги, вместе с тем технологически и организационно означало вызов их корпоративным принципам регламентации производства и сбыта, рынка сырья и рабочей силы, неприятию технологических новшеств, традиционализму форм. Этот вызов содержался уже в самой истории возникновения типографского производства в середине XV в. и стремительности его распространения в ближайшие десятилетия прежде всего в самой Германии, но также и за ее пределами.

Книгопечатание рождается на волне начинающегося нового хозяйственного и культурного подъема европейского общества, его возрождения после потрясений («кризиса») XIV в. в связи с эпидемиями чумы, демографическим спадом, перестройкой под воздействием развития товарно-денежных отношений основ феодально-сеньориального хозяйства. Его становление происходило в русле единого процесса освоения новых производств и технологий, расширения горизонтов познания мира, глубокой трансформации традиционных представлений. Не удивительно, что в организации книгопечатания нашли выражение и отражение новые общественные потребности и радикальная ломка ценностных ориентиров, касающихся, в частности и восприятия времени, труда, работы.

Позднее Средневековье — это период «интенсивной секуляризации» представлений о времени. Как уже отмечалось выше,

утверждается сознание не только ценности, но и важности точного измерения времени. К XIV в. механические часы вытесняют все другие способы измерения времени, а сами часовые механизмы появляются в домах городской патрицианской и интеллектуальной элиты, богатого купечества и состоятельных цеховых мастеров. Исследования последних лет выявили чрезвычайную распространенность в европейской литературе позднего Средневековья «часовой метафоры», как эталона высшего качества и оценки. Часы, часовой механизм обретают символ упорядоченного движения, слаженности действий, точности и обязательности в делах, верности, продуманного руководства делом и действиями — политическими ли, коммерческими или военными. Часы, по выражению южногерманского протестанта Иоганна Гейгера (1621 г.), — истинный хозяин человеческой деятельности, распределяющий и направляющий ее. С хорошо отлаженным часовым механизмом, который помогает овладению временем, сравнивал Ян Амос Коменский разумно организованную систему школьного обучения. Вот в это-то новое смысловое пространство, как один из важнейших элементов его формирования и одна из форм реализации его в повседневной человеческой практике, входит книгопечатное производство позднего Средневековья и раннего Нового времени.

Отлаженность ритмично работающего часового механизма — это тот идеал, к которому стремились и в организации работы в своих типографиях крупные немецкие книгопечатники. Соблюдение сроков выполнения дневного задания, согласованность всех операций, связанных с набором, корректурой, отпечаткой тиража, было главным требованием, предъявляемым ими к работникам: наборщикам, корректорам, батырщикам, тискальщикам. Осознание важности повременной регламентации всего цикла производственных операций, пунктуального его соблюдения, как основного условия трудовой дисциплины, так же как и стремление закрепить законодательно наиболее отвечающую интересам хозяев организацию трудового процесса, явилось одной из основных причин оформления в немецких городах с XVI в. самостоятельных корпораций типографов и выработки специальных уставов, регулирующих организацию производственного процесса и взаимоотношения между хозяевами и их работниками. Подобные уставы появились в Страсбурге, Базеле, Аугсбурге, Виттенберге, Нюрнберге. Красноречивые свидетельства на этот счет содержит пространственный проект устава типографов Франкфурта-на-Майне середины XVI в., составленный, как отмечается в его преамбуле «по инициативе «господ-печатников» и по образцу уставов других немецких городов»<sup>79</sup>

Первый раздел основной части этого документа содержит перечень обязанностей наборщиков с указанием вида, объема работы и величины оплаты. Следующий — определяет труд и оплату печатников. Регламентируя работу наборщиков и тискальщиков создатели устава стремились согласовать между собой эти основные звенья производственного процесса. Это центральная по значению часть документа. Устанавливались определенные часы подачи наборных форм и оттисков с тем, чтобы «не задерживать ни печатника, ни корректора». В некоторых типографиях, говорится в уставе, «звучат ссоры и ругань хозяев с наборщиками; хозяева жалуются на то, что они не получают в установленное время наборные формы от наборщиков». Для того, чтобы избежать конфликтов, устав предписывал наборщикам соблюдать следующие правила: «Если печатают с трех форм (число их устанавливалось хозяином), то необходимо предоставить корректору (или хозяину, если он выполнял корректорские функции) первую форму около 9 часов, вторую — около 2 часов дня и третью — вечером; если печатают с двух форм, то первая форма должна быть представлена к 2 часам дня, а вторая — к 9 часам вечера». При печатании с 4 форм наборщику предписывалось сдавать первую форму около 2 часов, вторую — в половине шестого вечера, третью — в 8 часов утра, четвертую — в 11 часов утра. Столь же пунктуально расписывался график работы прессподмастерьев: если в типографии печатают с трех форм, то первый лист сдается около 9, второй — около 2 часов, третий — к 5 часам. Если печатают с двух форм, то первый печатный лист сдается «к вечеру» («после пива, или около 5 часов»), другой — «утром». Согласно данным устава печатников г. Франкфурта-на-Майне наборщик в течение дня должен был набрать от одной до четырех печатных форм в зависимости от типа шрифта и формата будущей книги. От количества печатных форм и формата зависела и дневная норма прессподмастерья, производившего за день от 3050 до 3375 оттисков. Набор, оттиск, корректура требовали неодинаковых затрат времени, и в течение дня наборщик и тискальщик производили различное количество «частичного продукта». Ставя целью бесперебойную работу типографии, хозяева одновременно стремились обеспечить оптимальное соотношение между работниками различных специальностей.

Данные о профессиональном составе работников в типографиях базельских издателей-компаньонов Иеронима Фробена и Никлауса Епископия (1558—1564 гг.) свидетельствует о том, что за исключением отдельных периодов, когда число подмастерьев двух основных групп (наборщики, тискальщики) было одинаковым

или почти одинаковым, на 4—6 прессподмастерья приходилось 7—8 наборщиков, тогда как число корректоров и «лекторов» не превышало 1—2 человек.

За нарушение производственного графика, непунктуальность работники карались штрафами, достигавшими нередко размеров недельного заработка. Наборщик страсбургского типографа Фогелина некто Гюнтер должен был трое суток просидеть «в темнице», за то, что в течение трех дней «самовольно» уходил с работы «из-за чего остальные подмастерья бездельничали». Мотивируя необходимость издания специального постановления, разрешающего хозяевам увольнять работника, расторгать досрочно договор о найме в случае нарушения трудовой дисциплины, типографы ссылались на то, что «после бесчинств» («пирушек и драк») подмастерья по нескольку дней валяются в постелях до 8 — 9 часов, а некоторые и до обеда. Другие выходят на работу, но затем до обеда или после него «убегают из дома» и «тогда работа останавливается».

Время — деньги. Внедрение этого представления в сознание во всяком случае хозяйственно и политически активной части бюргерства хорошо иллюстрирует та жесткость, с которой хозяева-типографы и городское законодательство стремились обеспечить ритмичность производственного процесса. Детализированная система штрафов предусматривала все возможные случаи: прогулы, порчу бумаги, низкое качество набора и оттиска, грязную корректуру, нарушение графика работы.

Вместе с тем, все эти меры свидетельствуют о зарождении и специфического представления о «рабочем времени», как времени, принадлежащем хозяину, поскольку именно он обеспечивает возможность самой трудовой деятельности. Благодаря его усилиям — материальным и организационным — труд становится возможным, так же как и заработок и рост хозяйского благополучия. Об этом недвусмысленно говорится в уставе корпорации книгопечатников Лейпцига и Виттенберга (вторая половина XVI в.). Обращаясь к работникам типографий, его составители призывают их в случае возникновения конфликта «работу не бросать, ибо это наносит ущерб хозяину, но передав дело в суд, вести себя благоразумно и продолжать работать».

Те же самые постановления подчеркивают традиционную ценность и престижность труда квалифицированного подмастерья — добросовестного работника, профессионализм которого, так же как и благонравие, приверженность постоянному месту работы заслуживают «ответного дара» со стороны общества и хозяина. Законодатель призывает типографов-хозяев относиться к таким

подмастерьям «по-человечески», а в случае ссоры — использовать увещевание, «а не побои», «как это нередко делается».

Наряду с подобным, еще вполне в духе схоластической традиции восприятием понятия «профессия» (*Beruf*), как послушного следования божественной воле, цель которого «польза ближнему», дают о себе знать и ростки нового социального и профессионального самосознания работников типографий. Мы слышим о наборщиках и прессмастерах, которые категорически отказываются принимать «новшества», «придуманные хозяевами» и выполнять «черную работу», которую «обычно» должны делать подсобные рабочие. Имеется в виду, в частности, ношение воды «из ручья» для смачивания форм перед накаткой их краской. Подмастерья мотивируют свой отказ тем, что эта работа не обусловлена договором о найме и к тому же «унизительна» и не совместима с их квалификацией.

Не менее красноречива по своему и аргументация хозяев. Франкфуртский типограф Иоганн Зауэр, в типографии которого разгорелся конфликт по этому поводу, утверждал, что «новшество», столь возмущившее подмастерьев, вовсе не является чем-то новым: повсюду подмастерья для нужд производства носят воду; правда, когда типография не загружена так сильно «как сейчас» (а дело происходило в феврале накануне традиционной европейской весенней ярмарки во Франкфурте), «он дает в помощь прессмастеру ученика, который и носит воду». Поддерживаемый хозяевами других типографий города, Зауэр был тверд в своем утверждении, что ни о какой дополнительной оплате за «ношение воды» прессмастерам и речи быть не может. Таким образом, при всех отсылках конфликтующих сторон к «обычаю» в данном случае красноречиво заявляет о себе утверждающееся новое сознание — выгоды, денежного интереса, определявшее восприятие и оценку труда как хозяевами, так и их работниками.

Подмастерья-печатники, нередко имевшие семьи и жившие своим домом, — с середины XVI в. это было уже обычным явлением, не воспринимали свой тяжкий труд в типографии как «Божий завет», исполнение которого обеспечивает существование и их собственное и собратьев по цеху, корпорации. Этот процесс переосмысления подмастерьями, работающими по найму, назначения своей трудовой деятельности, своего труда имел место не только в книгопечатании, но во многих, прежде всего в экспортных отраслях городского производства<sup>80</sup> Но в книгопечатании, в силу особой специфики, присущей его социальной и экономической структуре, представление о том, что подмастерье работает именно на хозяина и для того чтобы «сделать его богатым», давало о себе знать особенно остро уже в XVI в.

Одной из форм его проявления стали, в частности, притязания на «собственное», «не рабочее» время и на то, чтобы распорядиться им по своему усмотрению, в том числе и используя для побочных занятий, то есть — приработка. О том, что последнее было достаточно широко распространено в рассматриваемое время, косвенно свидетельствует практика самих же хозяев типографий, привлекавших для временной работы цеховых переплетчиков, граверов, художников, литейщиков и т.д. Именно этим было вызваны часто повторяемые требования соответствующих цехов к печатникам-«хозяевам», чтобы те приобретали права этих цехов и несли связанные с этим обязанности<sup>81</sup>

О настойчивом стремлении типографских подмастерьев располагать своим временем, использовать его по своему усмотрению позволяют говорить многочисленные свидетельства, с одной стороны, о нарушениях ими договоров с хозяевами, а с другой — строгости, устанавливаемые последними относительно соблюдения внутреннего распорядка. Так, предписывалось, чтобы подмастерье, до сдачи им положенного количества наборных форм или изготовления требуемого числа печатных листов не покидал рабочее помещение. Запрещалось передавать свою работу кому-либо из подмастерьев, заниматься во время работы «своим делом» и т.п.

Но понятия «свободное время» как такового документы, относящиеся к типографскому производству немецких городов XVI в. еще не знают. «Mussiggang» — праздность — топос, переходящий из одного документа в другой и распространяемый обычно на ту часть времени подмастерья, которая не заполнена работой на хозяина в его мастерской, так же как и на пребывание его «вне дома». Под это понятие подпадают потасовки, драки и «коллективные» мероприятия: посещения пивнушки, танцев, бани, публичного дома и азартные игры.

Христианская мораль порицает «ничегонеделанье», праздность, как нарушение божественной заповеди об обязанности трудиться, работать, как альтернативное работе состояние, связывая с ним все пороки и грехи. Пребывая в праздности, ты совершаешь грех также и в отношении своих ближних, утверждал Лютер в одной из проповедей (1529). В общественном сознании реформационной эпохи понятие «праздность» сливалось с такой организованной формой «ничегонеделания» как попрошайничество и бродяжничество, то есть с бездельем физически здоровых людей. Оно, как мы имели возможность уже видеть, порицалось моралью и законодательством всех уровней и жестоко преследовалось городскими властями. В нормативные документы, в частности регулирующие

продолжительность рабочего дня, распорядок и оплату работы в ремесленных мастерских, лавках и конторах, мысль о «свободном времени», как времени, посвященном приятным и вместе с тем «полезным для здоровья» делам (в том числе и прогулкам), благочестивому и «заслуженному» отдыху («после трудов праведных»), входит поздно — в XVII—XVIII вв., при этом заботливо отмежевываясь от аллюзий (намёков) на традиционную «праздность».

Рассмотренный в данном разделе материал наводит и на некоторые размышления методического порядка. Каждому, кто когда-либо обращался к социально-экономической истории Средневековья хорошо знакомы стереотипные формулы цеховых статуты, постановлений городских советов и отдельных властей, по своему содержанию и направленности однотипных только что рассмотренным. Их впечатляющие воображение данные о продолжительности рабочего дня — до 11, 18 часов в сутки (в зависимости от характера отрасли производства, времени года, региона) — это то, что главным образом привлекает внимание исследователей, интерпретирующих их однозначно как безоговорочное свидетельство либо «все возрастающей» эксплуатации подмастерьев, учеников и других категории работающих по найму, либо «разложения» самих традиционных форм корпоративной организации и ремесленного производства под воздействием роста денежного хозяйства и рынка. Не ставя под сомнение справедливость подобных выводов в каждом конкретном случае, имеет смысл, видимо, также задуматься и о том: исчерпывается ли подобной «арифметической» и лежащей на поверхности информацией их возможности? Не скрывается ли за этими «экономическими» данными более глубокие взаимосвязи, направляющие поступки и поведение людей, их практические действия, коренящиеся в массовых представлениях времени и общества, в котором они живут?

В раскрытии таких взаимосвязей Новая историческая наука видит одну из важнейших задач изучения культуры, в том числе и городской культуры Средневековья.

\* \* \*

Подведем некоторые итоги по существу рассмотренной в этом очерке в основных своих линиях темы о природе средневекового урбанизма и характере средневековой культуры. Главное, что обращает на себя внимание и в этом случае — противоречивая двойственность, амбивалентность, идет ли речь о восприятии времени, организации городского пространства, урбанистическом



облике или городской религиозности, формах церковной организации, интеллектуальной жизни и т.п. Корни ее — в истории происхождения самого города и в условиях функционирования его в феодальной общественной системе.

Город рождается в русле общих процессов становления новой, феодально-сеньориальной системы социальных связей, взамен тех, что рухнули вместе с Римской империей и завоеванием ее территории варварами. Он вобрал в себя и переплавил в ходе своего становления элементы разной природы и происхождения — купцы, первоначально жившие в обособленных поселениях (виках), свободные и зависимые, свободные землевладельцы и сеньориальные слуги-министерялы (главным образом епископские), создав экономически хотя и разношерстное, но по своему единое население, связанное общими правами и обязанностями взаимопомощи, подобно членам сельской общины, но, в отличие от нее, стремившееся к унификации. В XI в. во Франции, а столетие спустя в Германии, прежде всего в епископских городах на Рейне и Дунае, складывается понятие *burgenses* — бюргер (фр. «буржуа»), охватывавшее совокупность полноправных членов коммун.

Вызванный к жизни хозяйственным и политическим подъемом утверждавшегося христианского мира XI—XIII вв. город был плотью от плоти этого мира и его наиболее характеристическим элементом. Своеобразие средневекового города, непохожесть его урбанизма на античный или современный бросается в глаза. Организация его внешнего и внутреннего пространства ориентировалась на совершенно иные полюсы притяжения, обусловленные материальными и социокультурными реалиями современного ему средневекового мира. Средневековым христианством, трансформировавшемся в городской среде, отчуждена и его культура. Городская архитектура развивала принципы, выработанные при строительстве сельских жилищ и замкового фортификационного искусства. Вместе с тем, в окружавшем город мире замков и деревень, феодального господства и угнетения город выглядел (и воспринимался) как тело инородное, благодаря отвоеванной им в жестокой борьбе «свободе» и привилегии на собственное право в связи с характером занятий своих сограждан, их интересов и устремлений, видением ими мира. Городское хозяйство в несравненно большей степени, чем деревенское, ориентировалось на денежный обмен, и основная часть горожан была связана с торговлей, промыслами, специализированными ремеслами; в мастерских ремесленников и торговых предприятиях намного раньше и систематичнее, чем в крестьянском и сеньориальном хозяйстве стал использоваться наемный труд.

На протяжении XI—XIV вв. города — хозяйственное и культурное бродило средневековой жизни, двигатели экономики и распространения новых знаний и интеллектуальных моделей (схоластика, готика). Здесь рождался технологический поиск, стремление к совершенствованию транспортных средств, потребность в хороших дорогах, надежной информации, отсюда водяная мельница распространилась на деревню. Город создает вооружение нового типа, противопоставив рыцарскому копьё простонародный лук со стрелами, а в XIV в. применив огнестрельное оружие. Город стал местом деятельности новой науки — университетской, очагом грамотности и средоточием религиозных и социальных исканий — ересей. В городской среде совершенствуются формы и инструменты обмена и кредита; рождается банковское дело и предпринимательство, возникают раннекапиталистические формы организации производства. Манящий своим богатством и вызывающий отвращение своей чужеродностью, город был враждебен сеньориальному миру — рыцарству, церкви, монастырям. Но каково было будущее этих «городских островков Запада»? В отличие от традиционной историографии, видевшей в средневековом бюргерстве прообраз буржуазии, а в городах — среду, в которой вызревали капиталистические отношения, Новая историческая наука не так оптимистична и не склонна к однозначному ответу. Во всяком случае, «города, сумевшие в средние века стать государствами — Венецианская республика, Великое герцогство Тосканское, вольные ганзейские города, — пишет Ж. Ле Гофф, — двигались против течения истории, их существование мало-помалу становилось все более анахроничным. Италия и Германия, страны, где города долгое время составляли экономический, политический и культурный каркас, отстали от других стран, добившись объединения лишь в XIX в. Городское средневековое общество не имело перед собой исторического будущего»<sup>82</sup>

### Примечания

<sup>1</sup> *Le Goff J. L'apogée de la France urbaine médiévale, 1550—1330 // Histoire de la France urbaine. T. 2: La ville médiévale des Carolingiens a la Renaissance. P. 184—407, 367—368.*

<sup>2</sup> *Каждан А. П. Византийская культура. М., 1968; Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.*

<sup>3</sup> *Le Goff J. La civilisation de l'Occident médiéval. P., 1967. P. 229; Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. С. 95.*

- <sup>4</sup> *Le Goff J. L'apogée de la France urbaine médiévale...* P.368.
- <sup>5</sup> Ibidem.
- <sup>6</sup> *Оттокар Н.* Опыты по истории французских городов в Средние века. Пермь, 1919. С. 62.
- <sup>7</sup> См.: *Le Goff J. L'apogée de la France urbaine médiévale...* P. 269, 368—369.
- <sup>8</sup> См.: *Гюльманн К.Д.* Общественная и частная жизнь в европейских городах Средних веков. СПб., 1839. С. 17; *Белов Г. фон.* Городской строй и городская жизнь средневековой Германии. М., 1919. С. 54—59.
- <sup>9</sup> *Kühnel H. Zeitbegriff und Zeitmessung // Alltag im Spätmittelalter.* Graz, 1985. S. 12.
- <sup>10</sup> *Le Goff J. La civilisation...* P. 231; 236.
- <sup>11</sup> *Fleischmann P.* Arbeitsorganisation und Arbeitsweise im Nürnberger Bauhandwerk // *Handwerk und Sachkultur im Spätmittelalter.* Wien, 1988. S. 160.
- <sup>12</sup> *Kühnel H. Zeitbegriff und Zeitmessung...* S.13—14, 15.
- <sup>13</sup> Немецкий город XIV—XV вв. Документы и материалы по всеобщей истории / Подбор материалов, перевод В.В. Стоклицкая-Терешкович. М., 1936. С.44.
- <sup>14</sup> *Le Goff J. Le temps de travail dans la «crise» du XIV-e siècle: du temps médiéval au temps moderne // Le Moyen Âge.* P., 1963. T. 69. P.600.
- <sup>15</sup> *Ястребицкая А.Л.* Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха быт. костюм. М., 1978. С.9—14.
- <sup>16</sup> *Le Goff J. L'apogée de la France urbaine médiévale...* P. 370.
- <sup>17</sup> Средневековые в его памятниках. Под ред. Д.Н. Егорова. М., 1913. С. 117—122; 141—142; *Le Goff J. L'apogée de la France urbaine médiévale...* P. 370.
- <sup>18</sup> *Bookmann H. Die Stadt im späten Mittelalter.* München, 1986. S. 23, 24.
- <sup>19</sup> О них см.: *Materielle Kultur und religiöse Stiftung im Spätmittelalter.* Wien, 1990.
- <sup>20</sup> *Le Goff J. La civilisation...* P. 366.
- <sup>21</sup> *Maurer H. Stadterweiterung und Vorstadtbildung in mittelalterlichen Konstanz. Zum Problem der Einbeziehung ländlicher Siedlungen in den Bereich einer mittelalterlichen Stadt // Stadterweiterung und Vorstadt.* Stuttgart, 1969. S. 21—38.
- <sup>22</sup> См.: *Le Goff J. La civilisation de l'Occident médiéval...* P. 367.
- <sup>23</sup> *Bookmann H.* Op. cit. S.17.
- <sup>24</sup> Немецкий город XIV—XV вв. С.88—89.
- <sup>25</sup> Там же. С. 35.
- <sup>26</sup> *Le Goff J. L'apogée de la France urbaine médiévale...* P.202—205.
- <sup>27</sup> Немецкий город XIV—XV вв. С.97—98.

- <sup>28</sup> *Le Goff J.* L'apogée de la France urbaine médiévale... P. 200—205, 210, 214.
- <sup>29</sup> Ibid., p. 216—219.
- <sup>30</sup> *Le Goff J.* L'apogée de la France urbaine médiévale... P. 202, 214.
- <sup>31</sup> *Le Goff J.* La civilisation de l'Occident médiéval... P. 104—105, 108—110.
- <sup>32</sup> *Lavedan P., Hugueney J.* L'urbanisme au Moyen Âge. P., 1974. P. 6—11.
- <sup>33</sup> *Hall T.* Mittelalterliche Stadtgrundrisse. Versuch einer Übersicht der Entwicklung in Deutschland und Frankreich. Stockholm, 1978. S. 111—112; 114—118.
- <sup>34</sup> *Le Goff J.* L'apogée de la France urbaine médiévale... P. 220—224; 225.
- <sup>35</sup> *Le Goff J.* L'homme médiéval // L'homme médiéval. P., 1989. P. 14—15.
- <sup>36</sup> *Гуревич А.Я.* Средневековый купец // Одиссей. 1990. М., 1990. С. 106—109.
- <sup>37</sup> *Ястребицкая А.Л.* Западная Европа XI—XIII веков. С. 154—162.
- <sup>38</sup> *Le Goff J.* La civilisation de l'Occident médiéval... P. 118—119.
- <sup>39</sup> *Le Goff J.* Ordes mendiants et urbanisation dans la France médiévale // Annales. E.S.C. P., 1970. A. 25, N 4. P. 924—946.
- <sup>40</sup> *Fügedi E.* La formation des villes et les ordes mendiants en Hongrie // Ibid., p. 966—987.
- <sup>41</sup> *Ястребицкая А.Л.* Западная Европа. XI—XII веков С. 169—170.
- <sup>42</sup> *Le Goff J.* L'apogée de la France urbaine médiévale... P. 384—387.
- <sup>43</sup> Ibid., p. 227.
- <sup>44</sup> *Le Goff J.* L'apogée de la France urbaine médiévale... P. 252—259.
- <sup>45</sup> *Desportes P.* Reims et les Remois aux XIIIe et XIV-e siècles. P. 1979.
- <sup>46</sup> *Chedeville A.* Chartres et ses campagnes (XI—XIII siècles). P., 1973. P. 448—453; см. также: *Le Goff J.* L'apogée de la France urbaine médiévale... P. 244—245; *Keller H.* Adelscherrschaft und Stadtische Gesellschaft in Oberitalien (9. bis 12. Jahrh.). Tübingen, 1979. S. 369 и след.
- <sup>47</sup> См.: *Wolff Ph.* Les «Estimes» Toulousaines de XIV siècles. Toulouse, 1956.
- <sup>48</sup> *Frensdorf F.* Die Stadt-und Gerichtsverfassung Lübecks im 12. und 13. Jhrh. Lübeck, 1861. S. 40.
- <sup>49</sup> *Brunner O.* Hamburg und Wien. Versuch einer sozialgeschichtlichen Gegenüberstellung//Untersuchungen zur gesellschaftlichen Struktur der Mittelalterlichen Städte in Europa. Stuttgart, 1966. S. 280—281, 282—284.
- <sup>50</sup> См.: *Le Goff J.* L'apogée de la France urbaine médiévale... P. 284; Немецкий город XIV—XV вв. С. 96—100.
- <sup>51</sup> См.: *Geremek B.* Les marginaux parisiens au XIV-e—XVI-e siècles. P., 1976; *Le Goff J.* L'apogée de la France urbaine médiévale... P. 361—362.
- <sup>52</sup> *Irsigler F., Lassotta A.* Bettler und Gaukler. Dirnen und Henker: Randgruppen und Aussenseiter in Köln in 1300—1600. Köln, 1984. S. 41.

- <sup>53</sup> *Le Goff J.* Pour un autre Moyen Age. P., 1977. P. 102—103; см. также: Frau und spätmittelalterlicher Alltag. Wien, 1986.
- <sup>54</sup> *Бессмертный Ю.Л.* Жизнь и смерть в Средние века. М., 1991. С. 150—152.
- <sup>55</sup> *Planitz H.* Die deutsche Stadt im Mittelalter. Köln, 1965. S. 219—220; Hall Th. Op. cit., S. 119—121.
- <sup>56</sup> Jardins et vergers en Europe Occidentale. VIII-e—XVIII-e siècles. Auch, 1989. P. 163, 164, 282.
- <sup>57</sup> См.: *Le Goff J.* L'apogée de la France urbaine médiévale... P. 387—396.
- <sup>58</sup> *Kühnel H.* Das Alltagsleben im Haus der spätmittelalterlichen Stadt // Haus u. Familie in der Spätmittelalterlichen Stadt. Köln; Wien, 1984. S. 51—53.
- <sup>59</sup> *Kühnel H.* Das Alltagsleben im Haus... S. 38.
- <sup>60</sup> *Castelnuovo E.* L'artiste // L'Homme médiéval. P. 1982. P. 233—266.
- <sup>61</sup> *Leguay J.-P.* La rue au Moyen Âge. Rennes, P., 1984. P. 4; 12.
- <sup>62</sup> *Le Goff J.* L'apogée de la France urbaine médiévale... P. 390—391.
- <sup>63</sup> *Bookmann H.* Op. cit., S. 48, 52.
- <sup>64</sup> *Brunner W.* Städtisches Tanzer und das Tanzhaus im 16. Jh. // Alltag im 16. Jahrh. Studien zu Lebensformen in mitteleuropäischen Städten. München, 1987. S. 60—62.
- <sup>65</sup> *Le Goff J.* L'apogée de la France urbaine médiévale... P. 392—396.
- <sup>66</sup> *Ennen E.* Stadt und Schule // Die Stadt des Mittelalters. Darmstadt, 1976. T. 3. S. 461—464.
- <sup>67</sup> *Pirenne A.* L'instruction des marchands au Moyen Âge // Annales d'histoire économique et sociale. P., 1929. N 1. P. 13—28; см.: *Le Goff J.* L'apogée de la France urbaine médiévale... P. 370—371.
- <sup>68</sup> *Ennen E.* Op. cit., S. 465—467.
- <sup>69</sup> *Петр Абеляр.* История моих бедствий // *Августин Аврелий.* Исповедь; *Абеляр П.* История моих бедствий. 1992. С. 260—295.
- <sup>70</sup> См.: *Ле Гофф Ж.* Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 320—325.
- <sup>71</sup> См.: *Cobban A.B.* The médiéval universities: Their development and organisation. L., 1975.
- <sup>72</sup> См.: *Уваров Ю.П.* Французы XVI века. М., 1993.
- <sup>73</sup> *Ястребицкая А.Л.* Западная Европа XI—XIII веков... С. 107—109; О городской школе и университете см. также: Антология педагогической мысли христианского средневековья / Сост. и общ. ред В.Г. Безрогов, О.И. Варьяш. М., 1994. Т. 1—2.
- <sup>74</sup> *Петр Абеляр.* История моих бедствий... С. 268—269.
- <sup>75</sup> О средневековых интеллектуалах см.: *Le Goff J.* L'homme médiévale... P. 24—28; *Fumagalli Beonio Brocchieri M.* L'intellectuel // L'homme médiéval... P. 201—232; *Le Goff J.* L'apogée de la France urbaine médiévale... P. 320—321,

372—375; *Дюби Ж.* Европа в Средние века. Пер. с франц. Смоленск: «Полиграмма», 1994.

<sup>76</sup> *Романова В.Л.* Рукописная книга и готическое письмо во Франции в XIII—XIV вв. М., 1975.

<sup>77</sup> Там же. С. 45, 49, 53, 56.

<sup>78</sup> Там же. С. 60—66; 80—81.

<sup>79</sup> См. *Ястребицкая А.Л.* О формах раннекапиталистических отношений в немецком книгопечатании второй половины XV—середины XVI в. М. 1967. С. 165—195.

<sup>80</sup> *Bräuer H.* Herren ihrer Arbeitszeit? // Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften. Heft 2. Wien. 1990. 75—96.

<sup>81</sup> См.: *Ястребицкая А.Л.* Там же. С. 98—107.

<sup>82</sup> *Ле Гофф Ж.* Цивилизация Средневекового Запада... С. 276; *Котельникова Л.А.* Феодализм и город в Италии VIII—XV вв. М., 1987.

## **ГОРОД В СИСТЕМЕ ПОВСЕДНЕВНОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ: КОСТЮМ И МОДА**

### **К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ**

Соответствие и одновременно «отклонение», взаимодействие и вместе с тем «противостояние» — эта амбивалентность положения города в системе феодализма проявляется на всех уровнях и во всех сферах культуры, в том числе повседневной жизни Средневековья: идет ли речь о восприятии времени, семье или о костюме. Наряду со спецификой именно городского образа жизни и «бюргерского» мировосприятия дают о себе знать общие — основополагающие, сформировавшиеся в аграрном мире, каким по существу и являлось Средневековье, модели сознания и мифы. Приверженность традиции, неприятие новшеств, склонность к стереотипам, символизм мышления, нравственная окраска воспринимаемой действительности — все это было свойственно горожанам не в меньшей степени, чем обитателям деревень и замков. Но город не только воспроизводил, хотя подчас в трансформированной форме, общие модели мышления, поведения и образа жизни, но и сам так или иначе порождал их новые формы и стереотипы, не говоря уже о тех возможностях, которые открывались в сфере материальной культуры и повседневности благодаря чрезвычайному динамизму его хозяйственной жизни. История средневекового костюма позволяет в полной мере ощутить эту органическую «встроенность» городского организма во все сферы жизнедеятельности средневекового общества. Но прежде чем обратиться непосредственно к рассмотрению материала необходимо сделать краткий историографический экскурс, касающийся терминов «повседневная» или «материальная культура», «повседневность». О чем собственно идет речь: о направлении (или одном из ликов?) Новой исторической науки?

С понятиями «история повседневности», «материальная культура» наше сознание привычно связывает традиционную тематику из истории быта, истории техники, рассказы об исторических курьезах и т.п. Хлынувший в последние полтора десятилетия на книжные прилавки поток работ (прежде всего зарубежных), посвященных рассказам о том, как жили, что ели, во что одевались и т.п. наши предки, вызывает удовольствие «эрудитов», неискушенного читателя и некоторое замешательство у «профессионалов», смешанное, правда, с известной долей любопытства и инстинктивным чувством, что за всем этим все же что-то стоит. Но что? Имеем ли мы дело с модой, с одной из форм «коммерциализации» истории, со своеобразным возрождением позитивистских увлечений начала века или с чем-то большим, затрагивающим принципиальные проблемы исторического познания?

В книжном потоке без труда можно найти примеры и того, и другого и третьего, так же как и работы, поднимающие в этой связи методологически-ключевые проблемы изучения истории. В то же время нетрудно заметить и нечто общее для них всех, а именно — органическую связь с состоянием современного общества, с проблемами, которые волнуют людей сегодня, занимают массовое сознание и ответы на которые люди стремятся найти в своей истории.

Показательно, что обращение к сюжетам и темам истории повседневности, скажем в ФРГ, где интерес к ней особенно высок, приходится на рубеж 60—70-х годов, когда, по выражению известного историка В. Моммзена, «историческое сознание вновь стало фактором очень важным для политической ориентации граждан»<sup>1</sup>. И так обстояло дело не только в Германии. Где-то с середины 70-х годов, пишет в своей автобиографии ученого Ж. Дюби, издатели стали обращаться к профессиональным историкам с предложением писать не только для своих коллег и учеников, но и для широкой публики. Именно рост интереса читающей публики к истории движения цивилизации, к реалиям повседневной жизни, к интриге политической истории, стимулировал то явление, которое дало повод говорить, и подчас не без оснований, о «коммерциализации» исторической науки<sup>2</sup>.

Но как бы то ни было, такие понятия как «мода», «коммерциализация» все же лишь с большой долей условности могут быть использованы для объяснения сегодняшнего повышенного интереса к истории повседневной жизни. В реальности за этим скрываются серьезные процессы в массовом сознании, разочарование в глобальных теориях — «модернизма», научно-технической революции, прогресса как линейного поступательного процесса с разумно организованным обществом будущего в качестве его апофеоза.



Пережитые народами трагедии национал-социализма и фашизма, второй мировой войны, радикальное студенческое движение 60—70-х годов, социальные катаклизмы последнего десятилетия поставили европейское общество перед проблемой индивидуальной ответственности, перед проблемой человека в истории и потребностью критического переосмысления не только настоящего, но и недавнего прошлого<sup>3</sup>. Далеко не случайно, что интерес к истории «повседневной жизни», и, в частности, к такому ее направлению как «история снизу», особенно высок в немецкой историографии, причем применительно именно к периоду новейшей истории 20—40-х годов<sup>4</sup>. Не менее показателен в этом отношении и все возрастающий интерес к истории повседневности и в отечественной историографии.

Таким образом, «возрождение» интереса к истории повседневности представляется в этом контексте как своеобразный «ответ» на «вызов» общества в его стремлении к самопознанию и поиску идентичности. Говоря «возрождение», я имею в виду лишь то, что подъем интереса к истории повседневной жизни уже имел место в исторической науке (и в обществе) на рубеже прошлого и нынешнего столетий<sup>5</sup>. Но то, что мы наблюдаем сегодня, вызвано к жизни иными импульсами развития самой исторической науки. Тогда, в начале века, интерес к истории повседневной жизни (или к «материальной культуре»), быту далекого прошлого разворачивался в русле открытой позитивистами хозяйственной и экономической истории, вносившей новое измерение в изучение истории, дополнительно к уже существующим: политическому и идеологическому.

Сегодня же в центре внимания исследователей находятся не столько материальный мир как таковой, не столько объекты и вещи сами по себе, сколько человек как создатель этого мира, данной культуры, человек как субъект истории, выражающий себя в реалиях (и через реалии) своего повседневного бытия — материального, психического, социального, биологического. С этой точки зрения, история повседневной жизни, или повседневности, как она заявила о себе в начале 70-х — в 80-е годы, во всяком случае в работах приверженцев направления «Новой исторической науки» (или «Новой социальной истории»), есть одно из выражений присущего этому направлению видения истории, ее предмета и подходов к ее изучению, противопоставляемого абсолютизации как единичного, исключительного в истории, так и закономерностей, возносимых над человеком и обществом, «подобно мировому духу»<sup>6</sup>.

Каково же содержание понятия «повседневность» и, соответственно, что изучает история повседневной жизни? Этот вопрос

сегодня составляет предмет дискуссий социологов, психологов, антропологов, социальных историков. Для одних «повседневность» — то, что повторяется, синоним обыденного, рутины. Другие полагают, что «повседневность» может быть вычленена и изучена по контрасту с чем-то исключительным и чрезвычайным<sup>7</sup>. Для третьих «повседневная жизнь» — суть совокупность отдельных, «частных» повседневностей. Некоторые полагают, что «повседневная жизнь» как научное понятие вообще не правомерно, поскольку каждому человеку свойственна своя повседневность, независимо от его положения в обществе.

Но существует и другой уровень осмысления понятия «повседневность», «повседневная жизнь» — как интегративного метода познания человека в истории, как истории «целиком», то есть «тотальной» истории. Эта трактовка имеет немало приверженцев среди тех, кто занимается изучением истории доиндустриальной Европы, особенно среди медиевистов и историков раннего Нового времени. Для них история повседневности нечто большее, чем описание быта или повествование о том, как жили в прошлом, пишет Г. Яритц, австрийский историк-медиевист, один из энтузиастов этого направления. Она — не дополнение к «серьезной» истории, но она также и не «история снизу» — история «бесправных и обездоленных», хотя медиевисты не игнорируют эти социальные слои и группы. Она не сводима также и к «истории будней», «рутины», хотя и включает ее в поле своего внимания, «но лишь как один из аспектов»<sup>8</sup>.

Речь идет, по существу, об освоении историками нового исследовательского пространства, охватывающего, «элементарную базовую деятельность человека, которая встречается повсеместно и масштабы которой фантастичны»<sup>9</sup>. Это гигантская область познания, которую Ф. Бродель условно обозначал понятиями «материальная цивилизация», «структуры повседневности», объемлет все то, из чего складывается собственно, жизнь человека: ее условия, трудовую деятельность, потребности (жилище, питание, одежда и т.д.) и возможности их удовлетворения, технику и технологии, самого человека как существо биологическое.

Но это также и весь спектр соответствующих человеческих взаимоотношений, поступков, действий, желаний, надежд, идеалов, ценностных ориентаций и правил, регулирующих и также определяющих в ту или иную эпоху «возможное и невозможное» в поведении человека, его индивидуальной и коллективной практике, формах коммуникаций, общения.

Культуро-антропологически ориентированная история повседневности изучает человека в его связях с окружающей средой

(экологической и социальной), в его биологическом поведении (семья, матримониальная практика и т.п.) и материальных условиях жизни и труда; с его потребностями и возможностями (ментальными, социально-психологическими, материальными) их удовлетворения. Иными словами, обращается ли она к предметному, вещному миру, объектам, или образу жизни, она во всех случаях имеет целью выявить всю совокупность стоящих за ними социокультурных взаимосвязей, определяющих (или направляющих) функционирование общественного организма в целом. Задача историка повседневности (и главная трудность) — не реконструкция и описание индивидуальных форм бытия, но выяснение некоего инварианта, присутствующего в формах и быта, и городского или сельского поселения, и сеньориальной эксплуатации, обмена, семьи, религиозного культа и политической организации изучаемой эпохи.

Применительно к европейскому высокому Средневековью опыт подобного синтеза был предпринят Ж. Ле Гоффом в его известной работе «Цивилизация средневекового Запада»; в таком же методическом и методологическом ключе написана им также и работа «Апогей средневековой городской Франции 1150—1330 гг.», составляющая одну из частей второго тома коллективного труда «Городская Франция»<sup>10</sup> Истории повседневности позднего Средневековья и раннего Нового времени посвящено синтезирующее исследование Ф. Броделя «Материальная цивилизация, экономика и капитализм»<sup>11</sup>

Концепция истории повседневности и материальной культуры как интегративного метода изучения исторического прошлого лежит в основе научного проекта австрийских историков «Повседневная жизнь и материальная культура Австрии в позднее Средневековье и раннее Новое время» и созданного ими в Кремсе европейского исследовательского центра «Medium Aevum Quotidianum». Одной из главных задач этого центра, наряду с разработкой исследовательских методик, является создание банка данных о предметном мире, наполнявшем и формировавшем жизнь средневекового человека. Создание подобного банка данных, почерпнутых из источников разного типа, как полагают австрийские медиевисты, позволит выявить некие общие линии, социокультурные взаимосвязи; поставить вопрос о воздействии традиции, изменений в пристрастиях, вкусах, моде — о всем комплексе взаимовлияний, в конечном счете определяющих историческое своеобразие «образа жизни» в Средневековье. Городу в этой программе отводится одно из центральных мест. Методически и конкретно-исторически важные результаты некоторых из посвященных ему

исследований по интересующей нас здесь теме городского костюма приводятся и в данном очерке.

В отечественной историографии, в частности в медиевистике, изучение истории повседневности не институализировано как в Австрии или, например, в Польше. Оно не получило пока еще и массового распространения, подобно тому, как это имеет место, скажем, в ФРГ, во французской или английской историографиях. Из этого, однако, не следует, что российские историки остались индифферентны и к тематике и к тем теоретическим проблемам исторического познания, которые сегодня с ней связываются. Формально специальных работ действительно не так много. Вместе с тем, мы имеем полное основание говорить об известной традиции в изучении повседневности и материальной культуры, как и об опыте социокультурного синтеза в этой области изучения истории Средневековья. У историков этой традиции стоит Л.П. Карсавин (1883—1953). В его пионерских работах начала века, посвященных средневековой культуре и религиозности, фактически впервые был сформулирован и реализован принцип системного подхода к изучению материальной культуры и повседневности как части единого социокультурного целого<sup>12</sup> Именно этим методологическим принципом руководствуется и автор.

Почему из всех возможных тем, входящих в исследовательское поле истории повседневности и материальной культуры, выбрана именно эта? Дело в том, что история костюма, изобилующая, как ни одна другая тема, яркими и эффектными фактами, особенно способна ввести исследователя в искушение, фиксировать лишь поверхностную эволюцию, формальные изменения моды, не вдаваясь в выяснение глубинных причин этих изменений, их связи с социальной эволюцией, изменениями эстетических и этических представлений и т.п. Не менее опасна и другая распространенная крайность абсолютизации одного какого-нибудь измерения — социального или функционального. Обращаясь в контексте этой книги к истории городского костюма, мне хочется показать на ее материале, с какими проблемами имеет дело изучение истории повседневности и материальной культуры, которое (как понимает это Новая историческая наука), к какой бы теме оно не обращалось, всегда имеет целью социокультурный зондаж исторической действительности.

\* \* \*

Бесспорно: первая и непосредственная функция одежды — защитить человеческое тело от неблагоприятных воздействий погоды: от дождя и снега ненастной осенью или в зимнюю пору, от

палящих лучей солнца летом. Но костюм, одежда выполняют и другие, «нематериальные» функции, напрямую связанные с господствующими в данном обществе представлениями о целомудрии и стыдливости, роскоши и богатстве, социальном престиже. Костюм многое может поведать о своем хозяине — о его склонности производить впечатление или о его гордыне и спеси. Будучи неотъемлемым компонентом повседневной жизни человека — его быта, окружающего его мира вещей, одежда вместе с тем запечатлевает в себе явления иного, более «высокого» уровня, принадлежащие сфере сознания и поведенческих форм.

Костюм, сама манера одеваться — один из «языков» культуры в ее историко-антропологическом понимании. Ткань, из которой шили одежду, покрой платья, характер цветовой гаммы, как и широта ее спектра, аксессуары костюма говорят нам об уровне экономического развития общества, особенностях присущей ему материальной культуры, организации социальных отношений, но одновременно они «знак», «символ» принятых и господствующих в данном обществе и в данной культуре социально-психологических установок, норм и ценностных ориентаций, стиля поведения. Костюм запечатлевает не только статику. Само изменение манеры одеваться, ослабление, или, напротив, усиление тех или иных функций одежды, это также показатели более глубинных социокультурных процессов, движения культуры и общества, их трансформации и, в конечном счете, сложения нового их качества.

История костюма, как и «материального быта вообще», оправдана только в том случае, если она вплетается «в одно развивающееся целое» истории культуры, как писал в начале нашего столетия Л.П. Карсавин. Ему же принадлежит образная и в своей образности предельно точная характеристика сути метода подхода к изучению истории повседневности и материальной культуры, который мы сегодня определяем как историко-антропологический. Конкретно-исторические примеры, приводимые в этой связи Л.П. Карсавиным, позволяют ощутить всю сложность задач, перед которыми оказывается историк культуры, так же как и высоту требований, предъявляемых ими к его профессиональной подготовке.

«...С давних пор уже появляются труды по «истории» костюма, «истории» оружия, земледельческих орудий труда и т.п. Некоторые из этих трудов мне приходилось в свое время изучать. Не знаю более утомительных по бессвязности изложения и мучительной скуке книг. Они становятся интересными лишь в том случае, если сам начинаешь производить историческую работу над собранным в них изобильным материалом. Дело заключается в следующем. — Не может быть связи развития, т.е. *истори-*

ческой связи, между пространственно разъединенными вещами, пока не преодолевается их разъединенность и материальность. Повесьте в один ряд все костюмы данного народа за известный период времени. Сколько бы вы не переходили глазами (с помощью или без помощи ног) от одного к другому, вы, оставаясь в строгих пределах «костюмности», не сумеете связать ваш ряд в одно развивающееся целое... Для установления связи вам понадобятся понятия формы, цветов и их гармонии, качества материи и т.д. А чтобы понять изменение одной формы в другую, переход от состояния *этих* цветов к состоянию *тех*, вам придется так или иначе прибегнуть к *чувству* формы и краски, к эстетическим и бытовым идеалам. Вы, разумеется, постараетесь сохранить свою объективность, прибегнув сперва к понятиям техники, к технологии материалов. Но, во-первых, и техника, и технология уже социально-психические факты, а во-вторых, их будет недостаточно и все равно без эстетических и бытовых идеалов вам не обойтись. Когда же вы сумеете объять ваш материал категориями социально-психического, он оживет, приобретет исторический смысл и ценность, а чисто материальные предметы (в нашем примере — костюмы) станут выражать, символизировать, при всей разъединенности своей, непрерывное развитие некоего качественства.

Римская тога с ее тщательно разглаженными линиями, не набрасывается небрежно на плечи, подобно походному плащу. Требуется известное уже при Цинциннате умение ее надеть и носить. В ней нельзя работать. В ней смешно бежать или даже быстро идти, торопиться. Она требует внимательного отношения к себе, когда садишься и встаешь, пожалуй, не менее внимательного, чем кринолин или фижмы. Зато мало какой другой наряд способен в той же мере оттенить важность и благородно-спокойные манеры. В этом смысле наш современный мундир ничего не стоит по сравнению с римской тогой. И разве не такую должна была стать официальная и парадная одежда римлянина, не извне, как современный чиновник, заковываемого в достоинство, но определяющего его изнутри? Римлянин был весь проникнут сознанием своей свободы и своего достоинства, которые не позволяют ему бегать и спешить, подобно какому-нибудь рабу, зависимому человеку, выскочке. — «Civis romanus sum». Если он заседает в сенате или отправляет магистратуру, он должен и вове неоторопливо выразить свое достоинство, сдержанно природную живость своей натуры, вероятно, не меньшую, чем у современных итальянцев. Если он идет по улице, ему, сопровождаемому толпой друзей и клиентов, нечего подобляться какому-нибудь жалкому простолыдину. Хорош представитель Римского народа — Веррес! Пираты появились у берегов его резиденции, врываются в гавань. А он выскочил посмотреть, в чем дело, прямо с пира, не сняв венка, не надев тоги или военного плаща полководца! Право, не гибнет ли Рим? — К римскому провозглашенному войсками императором генералу, движущемуся из Галлии в Рим, прибыли послы сената. И он принимает сенаторов не в тоге, а в ...штанах!...

Теперь, я полагаю, ясно, при каких условиях и при каком подходе к проблеме возможна «история костюма», «история материального быта»

вообще. Материальное само по себе, то есть в оторванности своей не важно. Оно всегда символично и в качестве такового необходимо для историка во всей своей материальности. Оно всегда выражает, индивидуализирует и нравственное состояние общества и его религиозные и эстетические взгляды и его социально-экономический строй. Вспомним изысканные наряды Бургундии при Карле Смелом, парики в эпоху «Короля-солнце», помпезную процессию испанского самодержца в спальню супруги-королевы, прически дам при Дворе Людовика XVI или лозунг модниц в эпоху Директории: *minimum* материи — *maximum* эффекта! Конечно, с той же точки зрения надо подходить и к истории материального быта вообще, оппечатающего социально-психические процессы на преобразуемой им материи, причем не только не умаляется «показательное» значение самого материального бытия, возможность с его помощью и в его терминах говорить о социально-психическом. Эта история возможна только как один из моментов, как одно из качественных исторического процесса, выражающее и символизирующее в себе его самого. Оттого-то доньше еще обладают непревзойденной ценностью работы прежних «археологов», умевших жить в прошлом. Они ошибались, как ошибаются и нынешние, но они не были только археологами и умели через попадавшие им в руки обломки прошлого воспринимать его как нечто целое и живое. Да и теперь, в чем ценность общения с настоящим историком искусства? Не в том, что он обращает наше внимание на красоту пропорций и красок: все это важно и хорошо, но достижимо и без его помощи как историка. — Он умеет нам объяснить данный профиль свода из технических умений его строителей, указать незаметные следы резца, обнаружить эстетический мотив кривизны дорической колонны, т.е. он умеет привести нас в непосредственное соприкосновение с душевностью прошлого»<sup>12</sup>.

Изучение истории средневекового костюма как социокультурного феномена сопряжено и с немалыми объективными трудностями, в том числе и с состоянием источников, особенно применительно к раннему Средневековью, запутанностью терминологии, относящейся к сфере одежды, ее региональным и локальным многообразием. Вместе с тем, развитие археологии Средневековья, совершенствование методов иконографического анализа, исследования терминологии средневековых письменных памятников, так же как и развитие исследований в области средневековых ментальностей заложили основы для культурологического анализа и этой сферы средневековой культуры. Уже стали более ясными некоторые общие, принципиальные линии эволюции средневекового костюма, факторы, динамика и своеобразие этой эволюции, в ходе которой закладывались основы европейского костюма Нового времени и первые представления о моде.

Для Средневековья, как эпохи господства традиционного общества, характерно действие «правила неподвижности». Собственно говоря, Средневековье практически до самого своего конца не знало моды в современном смысле этого слова, «как неодолимого стремления к переменам от года к году» (Ф. Бродель). Это не значит, что движения не было вовсе. Изменения происходили, но темп их был столь замедленным, а социальное пространство распространения новаций столь ограниченным, что это не нарушало общего состояния (и впечатления) покоя и повторяемости в сфере повседневного бытия. Тем не менее обращает на себя внимание то, что костюм в разных странах средневековой Европы — насколько можно судить по сохранившимся изображениям, — во всяком случае костюм ее господствующих классов, оставивших о себе заметные следы в книжной миниатюре и в скульптурных памятниках, оказывается довольно однотипным. «Неподвижность», таким образом, не исключала «движения» в пространстве. Изолированность средневековых княжеств и государств не была абсолютной. Информация преодолевала расстояния, хотя и медленно, и «мода» проникала повсюду, где говорили и писали на латинском языке.

С точки зрения радикальных изменений типа средневекового костюма, современные исследователи выделяют два качественных рубежа в его истории: середина XII—XIII в. и середина XIV столетия<sup>13</sup>. Они маркируют, с одной стороны, завершение многовекового пути его становления и совершенствования, а с другой — начало принципиальных трансформаций, связанных с новой организацией европейского мира и его реальностями, с новыми горизонтами и потребностями.

## СТАНОВЛЕНИЕ, ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ

Истоки средневекового костюма восходят к галло-римской эпохе, когда под варварским влиянием вошли в обиход накладная рубаша и штаны и складывается новый, гораздо более закрытый, чем римский, тип одежды. Это отвечало как климатическим условиям (в Центральной и Северной Европе в римской одежде было бы холодно и неудобно), так и изменению этического идеала: церковь объявляла плоть греховной и требовала, чтобы люди наглухо закрывали свое тело. В принципе, костюм Средневековья, как он обозначился уже к тысячному году, составляла льняная рубашка — камиза или шенс, штаны, верхняя рубаша, плащ и мягкая обувь. Короткие штаны, так называемые брэ, первона-



чально были простым полотнищем, которое обертывалось вокруг бедер и закреплялось у пояса. Позднее брэ несколько удлинились: их делали до колен и даже до лодыжек, с завязками внизу. С течением времени поверх брэ стали надевать другие штаны — шосс, типа плотных чулок, натягивавшихся отдельно на каждую ногу и прикреплявшихся специальными застежками к поясу брэ. Шосс могли быть и относительно просторными, их носили и женщины.

Камиза в раннее Средневековье не была нижней рубахой в нашем смысле слова, во всяком случае такое понятие как «белье» возникает поздно, только в XIII в. Крестьянская одежда, как об этом свидетельствуют скульптурные изображения и миниатюры, состояла из камизы и брэ (на некоторых изображениях можно видеть крестьян, работающих в одной камизе, возможно, с набедренной повязкой). Камиза (обыкновенно полотняная) доходила до колен. Люди состоятельные и знатные надевали поверх камизы еще одну рубаху — блио (от этого слова происходит наша блуза). Как и камиза, блио имела рукава, которые у мужчин были более широкими и длинными. У мужчин блио было коротким, нависавшее напуском над поясом оно едва доходило до колен. Женское блио представляло собой длинное свободное платье с напуском на талии, стянутой узким кожаным ремешком. Без рукавов, оно скреплялось на плечах фибулами-застежками.

Плащ был простым прямоугольным куском материи, который застегивался фибулой на правом плече или на груди. В X—XI вв. он был короткий и едва покрывал верхнюю часть тела. Изредка плащи шили вместе с капюшоном. Женщины закутывали голову и плечи накидкой. Зимой поверх блио надевали меховую одежду — обычно выделанные овчинные тулупы. Монах Сен-Галленского монастыря Аббо описывает плащ, в какой в меровингскую эпоху облачались в холодную погоду монахи — так называемое рено из звериных шкур мехом наружу.

Перчатки и рукавицы — изобретение Средневековья. Они родились в связи с нуждами крестьянского быта — при прополке и жатве. Но постепенно они сделались предметом роскоши и обросли символическими значениями: войти в церковь в перчатках считалось непристойным, пожать руку приятелю, не снимая перчатки, — оскорбительным. Вручение перчатки означало омаж — установление вассальной зависимости; напротив, бросая кому-нибудь перчатку, человек выражал презрение. Королевская перчатка, укрепленная на специальном кресте в центре рыночного места, — знак королевского покровительства и защиты, символ королевского тела и королевской воли и дарованных королем рыночных

привилегий. Наконец, перчатки были совершенно необходимы при соколиной охоте, когда птицу держали на руке. Их изготавливали из оленьей, телячьей и овечьей кожи. Средневековые перчатки не имели пуговиц. Плотные сидевшие на руке, они обычно расширялись к предплечью, чтобы покрывать рукава.

Более закрытой, чем римские сандалии, стала также и обувь. Бешили из мягкой кожи и без твердой подошвы, закрепляя на ногах, как сообщает тот же Аббо, узкими, перекрещивающимися на икрах кожаными ремешками. Такая обувь годилась для дома или для верховой езды. По грязным улицам ходили либо босиком, либо в деревянных башмаках.

Варварские короли и знать в меровингскую эпоху адаптировали римские и византийские церемониальные одежды. Король салических франков Хлодвиг (465/466—511) в торжественных случаях облачался в пурпурную тунiku и тканую золотом консульскую тогу (хламиду). Но Карл Великий (742—814), пишет его биограф Эйенхард, предпочитал франкскую одежду. «Он носил на теле льняную рубаху и надевал льняные исподние. Поверх — тунiku, обшитую шелковой каймой, и штаны, мягкие сапожки с ремешками, стягивавшими голени. Плечи и грудь зимой он защищал накидкой из шкур выдры и соболя. Поверх всего — голубой плащ. Всегда он был опоясан мечом с золотой или серебряной рукоятью и перевязью. Изредка он носил меч с самоцветными камнями, однако лишь при особых празднествах или на приеме иностранных посольств. Чужеземные же одеяния, хотя бы и самые красивые, отвергал. И не терпел никогда, чтобы его облачали в них: только в Риме, раз по просьбе папы Адриана, пишет биограф, в другой раз — по настоянию его преемника Льва, он облекся в длинную тунiku и хламиду и надел римские сандалии. На празднествах он выступал в златотканой одежде, в обуви с самоцветными камнями, плащ застегивал золотой пряжкой, корона из золота и драгоценных камней украшала его чело. В иные же дни одежда его мало отличалась от обычной простонародной»<sup>14</sup>

Это последнее замечание Эйенхарда продиктовано не только стремлением подчеркнуть черты христианского благочестия, присутствующие императору и образу его жизни. В рассматриваемую эпоху раннего Средневековья, во всяком случае, принципы конструирования костюма мужского и женского, знатных лиц и простонародья, мирян и духовенства были одинаковы, и их отличали скорее качество материала и применение украшений нежели формы кроя. Конечно, во время работы, крестьянин, босой, в коротких брэ и камизе отличался от священника или вооруженного рыцаря, но в домашнем быту знатные, одетые в домотканые одежды, вряд ли

выделялись среди своих зависимых людей. Нужно было время, чтобы половые и социальные градации отразились и были закреплены в одежде. Во всяком случае, в конце VII в. римский папа еще осуждал только что рождавшийся обычай духовенства носить особые одеяния, а несколько раньше другой папа жаловался на трудности, которые порождало отсутствие разницы между мужским и женским костюмом.

Разграничение происходило постепенно и началось оно с цвета. Регенсбургский клирик, автор «Императорской хроники», сообщает под 788—802 гг., что император предписал крестьянам носить платье только черного или серого цвета «и никакого оружия»; знатные же могут одеваться «в зеленое, синее, красное». Это постановление Карла Великого — одно из самых ранних средневековых постановлений об одежде<sup>15</sup>

Золото, пурпур, фиолетовый, голубой — уже в меровингскую эпоху это цвета церемониальных одежд, символ знатности, благородства крови и королевского достоинства, близости к высшему, небесному миру, Богу. Также и шелк, парча и льняные полотна. При раскопках гробницы королевы Арнегонды (550—570) в Сандени были обнаружены: шэнс из льняного полотна, фиолетового шелка блио, пурпурная шелковая туника на подкладке из льняного полотна с круглыми фибулами, скрепляющими шейный вырез, а также шосс с завязками у щиколоток и мягкие сапожки. Археологические раскопки женских захоронений VI—VII вв. говорят о чрезвычайной популярности во всех социальных слоях украшений, в частности фибул всевозможного орнаментального типа (в эти столетия появились новые его стили — плетеный, змеевидный узор), с гравировкой, насечкой золотом и серебром и из самых разнообразных сверкающих и светящихся, многокрасочных материалов — золота, серебра, железа, бронзы, керамики, эмалей, жемчуга, цветного стекла. В IX—X вв. украшения начинают вытеснять вышивка в виде каймы по вороту или подолу, а также драгоценными камнями на церемониальных одеждах. В Мюнхенском музее хранится блио, приписываемое императору Генриху II (начало XI в.). Оно украшено вышивкой на вороте, рукавах и подолу.

Качество ткани, из которой должна была шиться и шилась одежда, ее стоимость, место производства уже в меровингское время и в каролингском обществе становятся знаком происхождения, социальной значимости и самоидентификации человека. Многоцветные, яркие, легкие ткани были «присвоены» — «закреплены» за высшим социальным слоем. Причина тому не только в их богатстве, сколько в особенностях мировидения людей той

эпохи, воспринимавших конкретное, земное одновременно как символ, знак, образ иной, высшей, неземной реальности. Именно это «наслоение», по выражению Ж. Ле Гоффа, — конкретного на абстрактное составляло основу ментальностей и чувствований средневекового человека. Яркие, сверкающие цвета, блеск золота и серебра, драгоценных камней, как и многоцветье церковных витражей, статуй и живописи, ассоциировались средневековым сознанием со светлой изначальной энергией и силой, которые суть Бог и спасение, иными словами — с причастностью к высшему божественному миру. Отсюда и понимание красоты, как света, «который успокаивал и ободрял и являлся знаком благородства». «Видимая красота, — согласно Гильому Овернскому, — определяется либо рисунком и расположением частей внутри целого, либо цветом (который, как и пропорции, он производил от первичной энергии света), либо, наконец, и тем, и другим вместе, рассматривают ли их отдельно друг от друга или изучают гармонию, порожденную их взаимодействием»<sup>16</sup> Таким образом, красивое — это разноцветное и блестящее, но также и богатое, сопрягающееся с благородством происхождения, знатностью по крови, и в этом своем содержании запечатлеваемое также одеждой.

Если простой люд, челядь, воины довольствовались грубыми тканями, которые изготовлялись в крестьянском хозяйстве и домениальных мастерских, то знатные шили шэнс и брэ из льняного полотна, блио и плащи из ярких шелков, привозимых купцами с Востока и из Сицилии, тонких сукон высшего качества «из Фризии» — «*pallia frisonicum*».

Этот термин, фигурирующий в источниках эпохи викингов, породил в научной литературе большую дискуссию. Дело в том, что несмотря на широкое употребление в источниках того времени, он практически не подтверждается какими-либо дополнительными свидетельствами, в том числе и археологическими, о существовании столь развитого сукноделия в «земле фризов». Не следует ли из этого, полагает Х. Келленбенц, один из крупнейших исследователей и знатоков хозяйственной истории европейского Средневековья, что «фризские купцы» занимались сбытом сукон, в действительности произведенных во Фландрии и Англии. Агиографические источники, северные саги сообщают о высоком развитии сукноделия в названных странах, так же как и о вывозе сукна. Вместе с тем, по мнению Келленбенца, нет никаких оснований утверждать, что речь идет в данном случае именно о «фризских сукнах». Доподлинно известно лишь то, что сукна, которые назывались фризскими, были очень высокого качества и что Карл Великий и высокопоставленные придворные его облачались в

одежды именно из «фризского сукна» и что император направил партию такого сукна в качестве дара халифу Харун-Аль-Рашиду, герою «Тысяча и одной ночи». «Фризские сукна» продавались купцами на огромном европейском пространстве — от Эльзаса до Скандинавии.

Людовик Благочестивый (778—840), король Аквитании, ставший в 814 г. франкским императором, имел обыкновение по случаю главных годовых праздников — на Пасху, Рождество, Пятидесятницу — одаривать высокородных нобилей из своего окружения шелками и «фризскими сукнами», а челядь и прислугу — простыми тканями местного производства. Упоминания о «фризских сукнах» исчезают из источников одновременно с завершением эпохи викингов, с уходом их с исторической сцены.

Перемены стали заметными к середине XII столетия. Нормандский хронист Ордерик Виталий возмущался новшествами в туалетах господ: короткие одежды, удобные для движения, стали заменяться длинным костюмом. Удлинились носки туфель, длиннее стали рубашки и плащи, которые подчас даже волочились в пыли; расширились и удлинились рукава. Даже волосы и те стали отпускать. Длинная одежда, подчеркивающая особый образ жизни аристократии, ее избранность, ее «праздность» как приверженность к специфическому образу жизни, непричастность к физическому труду, сразу же зримо противопоставляла ее и простым воинам и тем, кто добывал свой кусок хлеба в поте лица своего.

Другой чертой новой моды было усиление в ней орнаментальных мотивов и новый крой, свидетельствующий о совершенствовании портняжного искусства. Блио не только украшалось вышивкой; его шили таким образом, чтобы ворот был открытым и позволял видеть орнамент на нижней рубаше — шэнс; орнаментированный подол шэнс выглядел из-под более короткого блио. Особое внимание стали уделять поясу: раньше блио носили с напуском и оно прикрывало пояс, а теперь (отчасти в связи с более широким применением шелковых тканей) блио стало обтягивать фигуру (у женщин плотно облекая грудь), тем самым открылся пояс и стал важным декоративным элементом; он проходил вокруг талии и завязывался узлом спереди, так что оба его конца ниспадали к ногам. В венском музее хранится блио, сотканное, как сказано в арабо-латинской надписи на нем, в 1181 г. в Палермо (где в середине XII в. налаживается производство шелковых тканей). Оно сшито из сине-фиолетового шелка. Широкие рукава собраны книзу в узкие обшлага. Тесный ворот имеет разрез для просовывания головы. Вместе с блио сохранилось полотняное шэнс, окаймленное фиолетовым шелком.

Внедрение новых сортов ткани: шелка и хлопка было также одним из проявлений «революции костюма», поразившей воображение современников. До XII в. шелк привозился исключительно с Востока и ценился в Европе чрезвычайно дорого. В середине XII в. налаживается его производство в европейских городах: Палермо, а затем в Лукке. В XII в. оно распространяется во Франции, а затем — в Германии. Хлопок шел на изготовление как рядовых тканей (подчас вместе со льном), так и дорогих сортов (моллекин). Производство хлопчатобумажных тканей во Франции было налажено в XII в. Наряду с этим из давно знакомых сортов волокна — из льна и шерсти — научились готовить высоко-сортные материи (льняной дамаск и др.). С XII в. домотканые одежды сохраняются лишь в крестьянском обиходе. Феодалы и городская верхушка предпочитают ткани, изготовленные профессиональными ремесленниками (хотя для домашних нужд и простой повседневной одежды и в этой среде даже в позднее Средневековье еще широко использовались ткани собственного производства).

Появление нового типа костюма не было столь внезапным и спонтанным, как это представлялось Ордерику Виталию. Археологические находки тканей в Хайтхабу в X в., надгробные скульптурные портреты причисленных к лику святых королевских супружеских пар X—XI вв. показывают, что длинный, подчеркивающий фигуру фасон платья, был уже знаком, во всяком случае знатым дамам, и в эти столетия. Но с XII в. он обретает смысл и получает распространение как символ новой земельной аристократии — класса феодалов, осознавшего свое особое место в общественной системе. Новая мода — это конечно и один из результатов прогресса, имевшего место в сфере материальной жизни и производства в X—XII/XIII вв., но также и отражение нового качества социального устройства, складывающегося в эти столетия — новой организации отношений господства и подчинения, отношений власти, так же как и утверждения новых эстетических идеалов и поведенческих форм.

Становление новой моды вплетается в те же социокультурные процессы, которые маркировали «пробуждение», начало хозяйственной стабилизации средневекового Запада и «становление христианского мира» (Ж. Ле Гофф), после столетий завоеваний и регресса, связанных с падением Римской империи, переселениями германцев и войнами варварских королевств, возникших на ее территории. К тысячному году завоеватели, наконец, стали оседлыми, превратившись в класс крупных землевладельцев, а некогда подчиненные им конные воины получили привилегии

благодаря распространению системы бенефициев и вассального договора. К середине XI в. понятие «nobiles» — знатный уступило место понятию «miles» — рыцарь. Центром экономической, судебной и политической власти становится сеньория, а ее ядром — укрепленный рыцарский замок. Господствующий класс сплачивается не только иерархической системой вассальных отношений, но и новой организацией семейно-родственных связей. В XI—XII вв. возникают обширные аристократические семейные коллективы, объединявшие потомков одного предка по мужской линии, с нераздельным владением патримонием — родовыми землями. Аристократические линияжи высокого Средневековья — не пережиток родового строя, но элемент уже новой феодально-сеньориальной общественной системы. От первобытного клана его отличали и меньший масштаб родственной группы и четкие экономические связи, развитое семейное сознание, находившее выражения в генеалогиях, родовом имени и замке, гербах и символике цветов. Иной была и его функция. Строгая внутренняя иерархия — подчинение младших авторитету старших в роде, принцип нераздельности фамильных владений, практика брачных альянсов — все это было подчинено укреплению основ сеньориального господства: земельной собственности, власти над массами лично-зависимого и свободного крестьянского населения и иерархических отношений власти.

Эти реалии социальной жизни, расчленение общества на социальные классы, как это обозначилось в центральных европейских регионах к X—XI вв. четко были осмыслены уже современниками. Свидетельство тому распространившееся в эти столетия учение о трех общественных «разрядах» («ordines»): «молящиеся», «сражающиеся», «трудящиеся». Центральная социальная идея этого учения, разработанного церковными авторами — епископами Адальбероном Ланским и Герардом Камбрейским — идея служения, взаимных обязательств и связанной с этим социальной иерархии. Каждый разряд — «ордо» имеет свою социальную функцию и вместе с тем строго определенное место в обществе. Духовенству и аристократии отводилось высшее место в этой системе. Поддерживая друг друга, они вместе обеспечивают единство общества — «Дома Божия». «Трудящиеся» — преимущественно крестьяне, «пахари», призваны кормить всех, воины-рыцари — защищать «Дом Божий», а монахи и духовенство — возносить молитвы, заботясь о спасении их душ<sup>17</sup>. Это представление о «трехфункциональном» общественном устройстве, как мы видели выше, получило к XII в. свое закрепление и в costume.

«Трехфункциональная» модель трансформируется по мере изменения социально-политической действительности и идеологи-

ческих потребностей ведущих социальных слоев и, наконец, уступает место новым теориям, учитывающим усложнение общественного разделения труда и социальной структуры общества в целом под влиянием подъема городов XII—XIII вв., развития торговли, изменений в структуре феодальной аристократии, ростом притязаний элиты городов и королевской власти.

Писатели XII—XIII вв. (Гонорий Августодунский, францисканец Конрад, Бертольд Регенсбургский), авторы пособий для исповедников, наряду с вертикальной ориентацией социальной иерархии «сверху» — «вниз», символизирующей незыблемость общественных разрядов, «ординес», начинают учитывать и иерархию «горизонтальную», отражающую профессиональные функции, жизненные ситуации и положения — «статусы», «состояния». Немецкий сборник проповедей, составленный ок. 1220 г., перечисляет 28 «состояний»! В их числе: папа, кардиналы, послушники, странствующие монахи, белое духовенство, юристы, медики, студенты, странствующие студенты, монахини, император, король, князья и графы, рыцари, дворяне, оруженосцы, бюргеры, купцы, розничные торговцы, герольды, крестьяне «послушные», крестьяне «мятежные», женщины, «братья-проповедники» (доминиканцы)<sup>18</sup>

Но для всех подобных сочинений неизменной остаётся центральная идея: «Общество функционально расчленено, составляющие его группы и индивиды выполняют свои службы, свое «призвание», и все они должны способствовать благу социального целого... и это ведущая характернейшая черта феодальной идеологии»<sup>19</sup> Но одновременно также — и видения социальной действительности.

В соответствии со своими представлениями об общественном устройстве и идеологическими моделями организовывало Средневековье и свою повседневную жизнь, включая и такие, казалось бы, «частные» сферы, как манера одеваться или устраивать застолье, семейные торжества по случаю бракосочетаний, крестин, поминовения усопших и т.п. Из каких тканей (с точки зрения их стоимости, качества, расцветок и т.п.) шить одежду, какие блюда и в каком количестве предлагать гостям, да и самое их число, — все это должно было соответствовать традиции — «статусу», «состоянию» каждого и ни в коем случае не оскорблять общественную нравственность.

В этом отношении красноречив эпизод, описываемый Жаном Жуанвилем, французским историком XIII в., наблюдателем и участником которого был он сам. Однажды на Пятидесятницу (Троицын день) король (Людовик IX), выйдя из-за стола, беседовал с графом Бретани, а Жуанвиль прогуливался неподалеку.



Подошел мэтр Робер, один из советников короля, взял его за плащ и подвел к государю. Собралось много рыцарей, снедаемых любопытством. Робер спросил Жуанвиля: «Если бы король сидел здесь, а вы захотели бы усесться на его скамью на более высоком месте, разве не нанесли бы вы ему оскорбления?» — «Без сомнения», — отвечал сенешаль. «Итак, — продолжал мэтр Робер, — вы его оскорбляете, ибо вы одеты вельможнее короля: ваш костюм украшен отличным мехом, ваши сукна ярких цветов, а у короля этого нет». «Мэтр Робер, — возразил сенешаль, — простите, но я не нанес королю оскорбления, ибо я одет как одевались мой отец и моя мать. Но кто оскорбляет государя, так это вы, ибо вы — сын виллана и вилланки, а вы оставили одежду ваших родителей и нарядились в платье из камлина — богаче королевского». Все характерно в этом рассказе: и отражение в одежде социального статуса, и традиционность костюма: тот же, «что носили родители», и свойственное Людовику IX приписывание одежде нравственных ценностей.

Сам Жуанвиль — сеньор, сир Жуанвиля, имел наследственный титул Великого сенешаля Шампани, происходил из одной из знатнейших семей земельной аристократии этого графства, чей родовой замок господствовал над верхним течением Марны. Дядя его участвовал в завоевании Константинополя латинянами (1204 г.), а отец оказал большую услугу королевскому дому во время восстания баронов Франции, воспользовавшихся малолетством Людовика IX. По линии матери Жуанвиль находился в достаточно близком родстве с Фридрихом II Гогенштауфеном. Жуанвилю было 22 года, когда он, оставив родовое гнездо, жену и двоих детей на попечение своей матери и верных «вассалов и подданных», последовал (1248 г.) за Людовиком IX в Палестину. Описывая сцену своего пленения и спасения, Жуанвиль приводит некоторые детали, небезынтересные с точки зрения отношения средневекового человека к одежде как к знаку общественного положения. «Сарацин», вытащивший тонувшего Жуанвиля, который для своего спасения назвался «родственником короля», снял с него военное облачение, а затем, пишет сенешаль, из сострадания ко мне и видя меня больным, набросил мне на плечи пурпуровое покрывало с зеленой каймой, которое подарила мне госпожа моя мать. Другой «сарацин» принес Жуанвилю белый пояс, которым он «подпоясался сверх покрывала». И пояс, и «покрывало» — плащ пурпурного цвета — наглядное свидетельство родовитости и высокого положения, что сознавали, как можно понять из текста, и пленившие Жуанвиля «сарацины». Показательно и упоминание в данном контексте о том, что «покрывало» — материнский подарок:

к тому времени, когда Жуанвиль принял решение отправиться с королем в Святую Землю, госпожа мать была еще жива и как вдова, пишет Жуанвиль, пользовалась большею частью моего имущества. Плащ, переданный ею сыну, был не просто подаренной новой вещью, но родовой реликвией, знаком благородства крови и рыцарского достоинства, переходившей по наследству от отца к старшему сыну как главе линьяжа. Таким образом, платье не только грело и украшало человека Средневековья, но и показывало его место на социальной лестнице.

Аристократизм моды, получившей распространение с XII в., особенно резко обозначился в женском туалете: шэнс и блио ниспадали до пят, оставляя открытыми лишь острые концы мягких туфель из цветной кожи. Блио обтягивало торс, а начиная от бедер книзу, было сшито из другого куска материи и составляло, по сути дела, зародыш юбки. Рукава, узкие сверху, начиная от локтя, стремительно расширялись, ниспадая чуть ли не до земли. Ворот и обшлага были украшены вышивкой. «Юбка» и широкие части рукавов — плиссированы. Блио перепоясывалось поясом из шелка, полотна, шерсти или кожи. Одежда подчеркивала фигуру и вместе с тем свободно развевалась...

Чрезмерное расширение от талии и длина делали женскую походку плавной, но одновременно заставляли при ходьбе кокетливо приподнимать платье — «благородный жест», запечатленный в изобразительных памятниках, но одновременно и повод для критики моралистов. Францисканский монах Бертольд Регенсбургский порицал женщин, следующих этой моде, за «беспрестанную возню с платьем», за их «бросающиеся в глаза странные жесты», цель которых, по мнению моралиста, состояла только в том, чтобы «обратить на себя внимание». Осуждение его вызывали и кайма по подолу юбки и украшенные вышивкой вырезы, обнажавшие шею, но также и брыжжи, привлекавшие внимание к ней и оттенявшие лицо. Женщины стали носить платья с разрезом на груди, застегивали его на пуговицы, вошедшие в обиход с XII в., или скалывали булавками, соединяли пряжками.

Линии костюма, подчеркивающие особенности женской фигуры, ее пластичность, отражают изменение в обществе отношения к женщине и новое эстетическое восприятие женственности и телесного начала вообще, утверждающееся в XII—XIII в. под влиянием куртуазной культуры.

Само слово «куртуазный» (от старофранц. *court* — двор) впервые было употреблено французским филологом-медиевистом Гастоном Парисом (1839—1903) для обозначения той формы отношений между мужчиной и женщиной, которая складывается в среде

господ — могущественных князей феодальной Франции и группировавшихся при их дворах рыцарей-вассалов. Это были отношения, которые сами современники называли «fine amour» — утонченная любовь. Речь идет об определенном кодексе поведения между мужчиной-рыцарем и женщиной-Дамой, об «игре в любовь». «Играя в эту игру, — пишет французский исследователь рыцарской культуры Жорж Дюби, — демонстрируя умение изысканно завлекать женщин, придворный подчеркивал свою принадлежность к миру избранных, свое отличие от «деревенщины»... Куртуазная любовь была прежде всего знаком престижа в мужском обществе». Но заповеди любовного кодекса были адресованы обоим полам. Они диктовали им определенные моральные правила поведения, зиждившиеся на двух добродетелях: выдержке и дружбе.

В языке произведений придворных поэтов — трубадуров, по стихам которых ученые сегодня реконструируют модель куртуазного поведения, слову «любовь» постоянно сопутствует слово «дружба». Рыцарь должен был уметь владеть собой, укрощать свои порывы, овладевать женщиной «благородно». Как воин, рыцарь должен был быть физически сильным, выносливым, соблюдать кодекс рыцарской чести, быть верным и самоотверженным в служении той, которую он избрал своим «другом». От женщин тоже требовались смелость, осмотрительность, умение владеть своими чувствами и преодолевать «свои недостатки», то есть те, которые церковная мораль связывала с женщиной — легкомыслие, лицемерие, чрезмерное вожделение. Вместе с тем образ Дамы-друга был освещен и эстетическим любованием: тонкая талия, высокая грудь, плавные движения. Став в высших слоях общества составной частью системы рыцарского и женского воспитания, куртуазная любовь, вместе с тем не имела целью изменить существующий порядок, при котором женщина занимала подчиненное по отношению к мужчине положение. Тем не менее, распространение рыцарской литературы, воспевающей мужскую доблесть и заслуживающее восхищения женское обаяние и добродетели, оказало на общество плодотворное воздействие. Постепенно куртуазные обычаи распространяются на рыцарство в целом и на элиту городов, превращаются в норму, и то, что «поэты некогда воспевали как опасный и недостижимый подвиг, — пишет Ж. Дюби, — стало обычным требованием хорошего тона».

С распространением куртуазных обычаев связывают современные исследователи ослабление к рубежу XII—XIII вв. насилия и грубости в сексуальном поведении мужчин и как следствие — опеки над женщиной со стороны отцов и мужей, что в свою

очередь способствовало распространению женского влияния за пределы «геникея» — женской половины дома. К началу XIII в. утверждается сознание того, что женщина «не только тело», что нужно сперва завладеть ее сердцем, заручиться ее согласием. Так то, что вначале было только игрой, «предназначенной для мужчин, помогло женщинам феодальной Европы выйти из своего приниженного состояния»<sup>20</sup>

Куртуазная литература воспела дам-вдохновительниц, реальных или «героинь грез». «Элеонора Аквитанская, Мария Шампанская, Мария Французская, равно как и Изольда, Гвиневрева или Далекая принцесса, — пишет Жак Ле Гофф, — они открыли современную любовь»<sup>21</sup>

Мужчины и женщины этой поры были полны забот о своих нарядах и внешности. В рыцарском «Романе о Розе» Амур наставляет куртуазных любовников заботиться о своей внешности: иметь белые руки и чистые ногти, носить узкие рукава, изящно причесывать волосы и не жалеть денег на покупку шелкового кошелька, вышитого пояса, шляпы, не говоря уже об искусстве ездить верхом, танцевать, петь. Парижские щеголи пудрили лицо и выщипывали брови, душились и держали руки в молоке для пушей белизны. Дамы носили накладные волосы из шелка, красились и открывали декольте.

Утвердившаяся к XII в. в аристократическом рыцарском обществе куртуазная модель отношений между полами в последующие столетия постепенно распространяется на другие социальные слои. Этот процесс получает закрепление и находит отображение в тенденциях развития костюма и моды. Все более разводя принципы конструирования мужской и женской одежды, она в своем движении доступными ей средствами «материализовала» формировавшиеся в обществе представления о мужественности и женственности и, соответственно, актуализировала складывавшийся, характерный для Запада тип отношений между полами, отмеченный традициями куртуазной любви.

На рубеже XII—XIII столетий «аристократическая мода» была потеснена новым типом костюма. Шелковая парча сохраняется лишь для самых торжественных случаев в быту высшей знати (бархат внедряется в придворный обиход лишь с XIV в.). Зажиточный горожанин, как и рыцарь, облачается теперь в сукно, подчас отороченное мехом. Костюм XIII в. — костюм «городской» и по материалу, и по функциям: сукно — продукт ткацкого производства самых развитых городских центров Фландрии, Северной Италии, Северо-Западной Германии. Суконная одежда была практичнее костюма XII в. Она рассчитана не на пребывание в доме,

но на уличную деятельность, на дальние путешествия. Свободный полет краев одежды, столь типичный для предыдущего периода постепенно исчезает. Напротив, возник обычай зашивать в полы монеты, чтобы придать линиям напряженность и неподвижность. Рубахи укорачиваются, рукава сужаются.

Важным нововведением XIII в. явилась котта. Блю оставалось лишь домашней одеждой. Уезжая из дому, человек надевал шерстяную котту, плотно сидевшую на груди, с узкими рукавами. Поверх котты носили сюрко — безрукавку из дорогой материи (иногда из кожи) с разрезами по бокам (а иногда спереди и сзади) для удобства движений. Встречаются изображения сюрко, сшитого вместе с капюшоном. Мужские котта и сюрко становятся относительно короткими — до середины икр. Под ними носили брэ (в ту пору нередко кожаные) и шосс, обтягивающие ногу. К брэ, которые в начале XIV в. стали носить на тоненьком пояске, прикреплялись необходимые предметы: ключ, кошель, нож.

Строгость силуэта в какой-то мере компенсировалась многоцветностью одеяний: котта были синие, красные, зеленые; шосс — зеленые, белые, синие, розовые. С XIV в. в моду входит платье с вертикальной цветовой гранью. Соответственно и шосс были двухцветными: левая половина одного цвета, правая — другого.

Женщины в XIII в. отказались от плиссировки, орнаментальных поясов, обилия вышивок, но зато ввели в употребление кружева. Чрезмерное употребление их вызывало озабоченность моралистов. В конце XIII в. в Нарбонне были запрещены кружевные одежды, через которые просвечивала нижняя рубаха — шэнс.

Женская котта и сюрко были длинными, до пят. Так называемое открытое сюрко, которое состоятельные дамы надевали к обеду и уже не снимали весь вечер, украшалось длинным шлейфом, волочившимся по земле, и большими вырезами под рукавами, подчас с меховой опушкой. Специальной женской формой котты становится так называемая сюркени, плотно облегающая грудь. С XII в. входят в употребление пуговицы. До этого времени отдельные элементы средневековой одежды скреплялись завязками и застежками, имевшими помимо функционального еще и декоративное значение. Пуговицы нашли широкое применение в точно пригнанном, прилегающем костюме XIII столетия: узкий ворот сюрко застегивался на несколько пуговиц или скреплялся застежкой — аграфом. Но отдельные детали и элементы одежды, как например рукава к платью, или шосс к рубахе, еще долго и в следующие столетия прищуровывались или прикреплялись пуговицами. Это позволяло дамам и щеголям без больших хлопот разнообразить туалет, лишь заменяя рукава, комплект которых

обычно изготавливался отдельно. Ульрих Лихтенштейн в 1227 г. распорядился изготовить 12 женских платьев и 30 пар рукавов к ним для дамы сердца, которые он намеревался отправить из Фриуля в Чехию.

В этот период носили два типа плащей: открытый спереди или сбоку, завязываемый шнурком, и так называемый «гарнаш» типа пончо.

Изменения коснулись и прически. Средневековая прическа постоянно колеблется между римской модой (римляне стриглись коротко и брили лицо) и старым германским обычаем, согласно которому длинные волосы — признак знатности. До середины XII в. мужчины брили подбородок и щеки, иногда оставляли усы, волосы стригли коротко. С середины XII в. начинают носить длинные волосы и отпускать бороду, что отвечало в какой-то мере длинным одеждам XII столетия. Но развитие массивного горшководного шлема заставило рыцарей отказаться от ношения и длинных волос и бороды. В соответствии с укорочением и упрощением одежды волосы стали носить короче — сзади завивая, а спереди выстригая челку.

Женщины отпускали длинные волосы, разделенные прямым пробором на две части и заплетенные в две косы. С XIII в. длинные косы — редкость, девушки носят волосы, волной ниспадающие на плечи, замужние дамы, напротив, убирают волосы, скрывая их под платком или шляпой.

До XII в. мужчины и женщины перевязывали волосы головной повязкой. С XIII в. входят в употребление разные виды головных уборов: чепец, который иной раз надевали под шапку, шляпка с полями, мягкий берет, полусферический калотт (тип колпака). Капюшон, который до конца XII в. был составной частью крестьянского плаща, в XIII столетии стал особой формой головного убора и сделался очень модным — ведь он удачно соответствовал общему типу «подвижного» костюма этой эпохи. Широко внедряется ношение драгоценных камней. Знатные дамы украшали ими и прически, и пояса. Украшением служили и кошельки из вышитого шелка, которые носили у пояса.

Складывавшаяся в аристократических кругах мода, как и куртуазная манера поведения, проникают в XII—XIII вв. в городскую среду. Богатые горожане старались не отстать в своей роскоши от сеньоров. Но в своем стремлении они натолкнулись на осуждение церковных моралистов, видевших в этом проявление гордыни и суетности, желание присвоить себе то, что было не положено бюргерскому сословию. «Грех гордыни, — писал в 1272 г. францисканский монах Бертольд Регенсбургский, — свойствен не толь-

ко богатым, кичащимся своим богатством, но и малообеспеченным, которые, не имея денег на дорогие одежды, изыскивают для этого иные пути и средства. Феодалная власть с конца XII в., почувствовав опасность этого соперничества, пыталась оградить привилегии своего сословия. В 1294 г. французский король Филипп Красивый специальным ордонансом запретил горожанам носить мех горноста, белки и некоторые другие виды меха и украшать платье золотом и драгоценными камнями. Он запретил также горожанам пользоваться восковыми свечами и даже установил максимальное количество блюд, которое они могли подавать у себя дома.

## ПЕРЕМНЫ. НАЧАЛО ПОБЕДНОГО ШЕСТВИЯ МОДЫ

К XIV в. костюм, как мы видели, обогатился новыми элементами и четко закреплял уже в себе основные сословные различия в средневековом обществе. Вместе с тем, к этому времени все более явными становятся и тенденции его нового развития. На исходе высокого Средневековья мужчины и женщины постепенно отказываются от длинного и свободного покроя платья. Оно становится все более прилегающим, пригнанным по фигуре, с разрезами, на пуговицах или на шнуровке (у женщин), коротким — у мужчин (они уже никогда не вернутся к длинному платью). Разделение мужского и женского костюма отныне будет становиться все более четким, а ношение женщинами плащей и шапок мужского покроя все жестче порицаться церковью как «постыдное».

Стремительное укорочение костюма приходится на 40—50-е годы XIV в. «Примерно в этом году, — пишет под 1350 г. французский хронист, монах монастыря Сен-Дени, — оруженосцы и их свита, некоторые горожане и их слуги завели столь короткое и узкое платье, что оно позволяло видеть то, что стыдливость повелевает скрывать. Для народа сие было весьма удивительно»<sup>22</sup> Родившаяся при дворе новая мода была подхвачена горожанами. Городская молодежь, читаем мы под 1367 г. в Майнцской хронике, в подражание аристократам стала носить такое короткое платье, что при ходьбе, наклоне, сидении «делались видимыми либо зад, либо — срам». Триумфом новой моды в немецких городах стало распространение так называемого шекке — короткого, на французский манер предельно зауженного, приталенного, подбитого ватой «кафтана». Церковь его осудила, а придворная знать высмеивала. В

конце столетия в габсбургской Вене придворный поэт Петер Зухенвирт написал поэму «О сне возлюбленной», рассказывающую о пикантных похождениях некоего Хинденплотца (голозадного), приверженца узкого и короткого платья. Столь резкому изменению моды, как полагают некоторые исследователи, психологически способствовала эпидемия чумы 1347—1350 гг., как и ее последующие волны, особенно поразившие города. Она освободила людей от многих сословных ограничений и сословных табу. Сократившееся почти на 40% население городов стало обладателем выморочного имущества и богатств. «Мужчины и женщины Флоренции, — говорится в хронике Маттео Виллани, — ввиду изобилия всяких вещей не хотели больше заниматься своим обычным ремеслом. Они хотели есть самую дорогую пищу, вступать в браки по своему разумению (вопреки обычаю). Слуги и служанки из купеческих домов облачились в бархат, роскошные и дорогие платья умерших господ и дам».

Укорочение верхнего мужского платья повлекло изменения всех традиционных элементов костюма. Укоротилось нижнее платье и белье. Шосс, которые теперь оказались на виду, стали плотно облепать ногу, наподобие лосин, их пришнуровывали или прикрепляли пряжками и пуговицами к нижней одежде. Ок. 1370 г. во Франции и с XV в. в немецких землях отдельные до того шосс стали сшивать сзади вместе, что имело большое будущее. Но под длинным платьем и в народе их продолжали носить как и прежде — раздельными. Эта часть туалета обрела теперь и новый социальный знак: знатные и состоятельные люди шили шосс из тонкого материала, узкими, и каждая шосс другого цвета. С XVI в. их стали делать вязаными (что облегчало надевание) и с подчеркнутой кроем новой деталью — гульфиком. Простые и пожилые люди продолжали носить штаны старогерманского типа со свободно свисающими штанинами.

Прилегающий покрой короткого (до колен) шекке (кафтана) не позволял надевать его через голову. Недостаточно удобен был для этой цели и небольшой вырез у горловины. К середине XV в. его стали делать застегивающимся вплоть до пояса на пуговицы с помощью пришитых петель. Это новшество означало важный шаг на пути эволюции мужской одежды в костюм современного типа. Модным и важным элементом короткого костюма стал пояс из плотного материала, заимствованный из воинского облачения — нем. «дупсинг» или «дусинг». Поскольку платье было сильно приталенным, дупсинг носили неестественно низко, на бедрах, но встречаются изображения, где дупсинг надет через плечо по диагонали. Пояс был декоративным и имел сугубо репрезентатив-



ную функцию. Его делали из дорогих сортов тканей, инкрустировали драгоценными камнями и металлами, слоновой костью. В 1400 г. в Тюрингии для знатного бюргера был изготовлен дупсинг из серебра и с серебряными колокольчиками, издававшими легкий звон при каждом движении его обладателя<sup>23</sup>. Во второй половине XIV в. во Франции, в XV в. — в немецких землях, вместо шекке часто надевали короткий плащ (фр. табар). С 1370 г. получил распространение другой тип верхней одежды — так называемый хуппеланд: более длинный, широкий, с расклешенными рукавами, собранный на талии поясом. Он пользовался неизменным успехом до конца XV в. Его носили и мужчины, и женщины. Позднее Средневековье богато разнообразными типами плащей и накидок, похожих на пончо и открытых спереди: короткие для верховой езды и дождевики с капюшоном и длинными рукавами.

Разнообразие фасонов характерно и для обуви: шосс на подошве, сапожки из мягкой кожи, сапоги-краги, высокие ботинки с пряжками. Новинка XIV в. — сапожки с загнутыми вверх носами очень вытянутыми, они удерживались в таком положении на китовом усе. К середине XV в. их сменяют широкие башмаки «медвежья лапа» — так прозвали их французы, в Германии они известны как «коровья мода». С XIV в. мужчины стали носить короткие волосы. Прическа открывала затылок и уши, оставляя волосы шапочкой лишь на верхней части головы. Она пользовалась успехом вплоть до 1450 г., когда вновь возвратилась мода на длинные волосы.

Женская одежда в своем развитии следовала той же тенденции, что и мужская. Оставаясь аристократически длинной, она тем не менее все сильнее подчеркивала телесность. Все элементы женского костюма были призваны акцентировать женский силуэт, его изгибы, тонкость талии. Дамы шнуруют свое тело так — сетовал анонимный автор сатирического сочинения XIV в., — что не могут шевельнуться. Подобно мужскому шекке, женское платье застегивалось спереди на пуговицы. Сохраняя традиционную длину, оно посредством кроя подчеркивало полноту бедер и груди. Пышность юбки сочеталась с длинным шлейфом и свисающими от локтя рукавами с манжетами, закрывающими кончики пальцев. Женская мода имела тенденцию открывать тело как можно больше: широкий и глубокий вырез обнажал шею, делал видимой грудь и спину. Телесность подчеркивалась и широкими проймами рукавов и шнуровкой корсажа — сбоку, затем и спереди. И не с этим ли стремлением женщин «показать себя» связана тенденция игнорировать плащи. Правила предписывали женщине надевать плащ и накидку при выходе в церковь и в другие общественные места.

Женщины отдавали предпочтение плащу фасона «колокол» — «хойке», широко распространившемуся после 1350 г. Если мужчины застегивали его пряжкой на правом плече, то женщины носили, накидывая на голову<sup>24</sup>

С середины XV в. стало модным подчеркивать выпуклость живота и ягодиц. Для этого одежда подбивалась мягкими мешочками. Женщины ратовали за декольте, смягчая его глубину драпировкой. Стремясь открыть лицо и затылок, они выстригали волосы на лбу выше естественной линии до чепца, а сзади зачесывали их вверх, или собирали в косу; подвешивали локоны по бокам и сильно румянились. Августинский монах Готшалк Оснабрюкский (ум. в 1481 г.) уподоблял подобные действия женщин поведению «торговцев пивом, вином или лошадьми», которые маркируют свой товар с тем, чтобы привлечь внимание покупателя. Точно также, заявлял моралист, «приобретенные за деньги блестящие волосы мертвой женщины говорят о их новой владелице как о выставленной на продажу (продажной)».

Высоким прическам, получившим распространение с XV в. соответствовали и формы головных уборов — «рогатый чепец»; конусообразный с острым концом «хеннин», иногда увенчанный длинной вуалью («знамя») и т.д. В это столетие декольте обрамляют воротником или меховой опушкой, обшивают позументом, оно открывает спину. Чудовищно увеличиваются длина шлейфов и проймы сюрко. «Чертов хвост» — так определяли эту моду моралисты, а современные исследователи усматривают в ней своеобразную форму женского самоутверждения, стремление подчеркнуть собственную самооценку. Рост затрат на платье сопровождался уменьшением роли мантии и накидок в женском костюме.

В позднее Средневековье резко возрастает употребление мехов и в мужском и в женском костюме. Их используют для утепления одежды в качестве подбоя; поверх нее, в виде воротника; мехом обшивают проймы рукавов и полы платья. Своего апогея мода на мех достигает в Западной Европе между 1389—1410 гг.<sup>25</sup> Мех в средние века — один из показателей социального ранга человека. Простые люди довольствовались мехом ягнят, кроликов, лисы; в среде низшей знати и зажиточных горожан были приняты беличий и куний меха. Привилегированным мехом высшей сеньориальной знати считались горностаи и соболь. На протяжении всего Средневековья, вплоть до начала Нового времени, это знак исключительно княжеского и королевского достоинства, что, впрочем, не исключало посягательств со стороны, в частности, могущественного городского патрициата. В 1462 г. городской совет Аугсбурга запретил патрицию и ратману Ульриху Дендриху, растратившему

городскую казну, облачаться в костюм, соответствующий статусу, а именно, надевать соболя, куницу, бархат, драгоценные камни, золотые и серебряные украшения. В 1426 г. в имперском Ульме дамам было разрешено носить шляпу и воротник из куницы. С середины XV в. мех был разрешен «благородным» бюргершам в качестве отделки: на рукавах, головном уборе, верхнем платье.

Утверждение короткого костюма сопровождалось рождением моды в современном смысле, «ибо с этого времени начинает действовать правило перемен в одежде» Ф. Бродель. В отличие от длинного платья, со временем унифицировавшегося и ставшего почти одинаковым по всей Европе, короткий костюм был сильно подвержен переменам. Фасоны его, не меняя главных принципов и тенденций в развитии одежды в целом, варьировали не только от страны к стране, но и в пределах одного и того же королевства — от одного княжеского двора к другому: ведь привилегированными законодателями мод в эту эпоху были князья-меценаты и придворная аристократия. И именно бургундскому двору Валуа, задававшему тон в среде европейской придворной знати почти до конца XV в., обязан короткий костюм своими наиболее роскошными и дерзкими воплощениями. При бургундском дворе вошло в обыкновение во время праздников и торжественных выездов облачать придворных и свиту в платье одного и того же цвета в соответствии с геральдическими цветами дома сеньора. Этот обычай, означавший первый шаг к униформе в современном смысле слова, был заимствован рыцарством и городами, которые для своего представительского костюма избирали расцветку в соответствии с цветами герба, хотя и следуя при этом принятому обществом в данное время модному фасону.

С середины XIV в. изменения одежды, хотя и не столь радикальные, как те, что были связаны с рождением короткого костюма, и не столь продолжительные, как прежде, по своему действию, входят в практику повседневной жизни. Историки костюма фиксируют их проявления в Западной Европе в 1340—1350, 1380—1420, 1450—1460, 1492, 1539 гг. и позднее<sup>26</sup>. В конечном счете, это стало основой формирования национальных мод, так или иначе оказывавших друг на друга влияние и «последовательно преобладавших»: в XV в. это многоцветная и экстравагантная бургундская мода; костюм итальянского Возрождения — пышный, с большим квадратным декольте, широкими рукавами, золотыми и серебряными сетками, шитьем, золотистой парчой, темнокрасными атласами и бархатами, ставший примером для подражания на территории значительной части Европы; в XVI в. — испанский черный суконный костюм — «символ политического преобладания всемирной

империи католического короля»: облегающий камзол, штаны с пуфами, короткий плащ, высокий воротник с небольшим жабо; в XVII в. — костюм французский, «с яркими шелками и свободного покроя». Не прошли бесследно как для Западной, так и Восточной Европы возвышение со второй половины XV в. Османской империи и войны с ней в последующие столетия, в которые так или иначе оказались втянуты все, но прежде всего центрально- и восточноевропейские страны, особенно испытавшие на себе влияние турецкой моды.

«Европа и в дальнейшем остается многоликой, по меньшей мере до XIX века, хотя и готовой довольно часто признавать лидерство какого-то избранного региона». Это последовательное преобладание мод, как тонко подметил Ф. Бродель, является одним из ярких проявлений культурного единства Европы, которая «невзирая на свои ссоры или же по их причине была единой семьей. Законодателем был тот, кем больше всего восхищались, и вовсе не обязательно сильнейший, как полагали французы, любимейший, или же наиболее утонченный. Вполне очевидно, что политическое преобладание, оказывающее влияние на всю Европу, как если бы она в один прекрасный день меняла направление своего движения или свой центр тяжести, не сразу же оказывало воздействие на все царство мод. Были и расхождения, и отклонения, и случаи неприятия, и медлительность».

Взаимовлиянию мод, как и общеевропейской популярности в отдельные периоды той или иной из них, способствовало, вероятно, совокупное действие факторов разного порядка. Достаточно вспомнить об общеевропейском масштабе связей и отношений родства высших слоев феодальной знати, королевских и княжеских фамилий, дворов принцев крови, как, впрочем, и о семейных отношениях патрицианских городских элит, являвшихся одним из важных факторов региональных и культурных взаимосвязей и политического сплочения. Следует, видимо, иметь в виду и то, что XIV в. и последующие столетия — это также время сложения новых форм общеевропейской торговли (система постоянных контор, общеевропейских периодических ярмарок, вексельных расчетов и т.п.) и «европейского экономического мира» с новыми, наряду со средиземноморскими, центрами притяжения на Северо-Западе европейского континента и в Центральной Европе. В этом контексте особенно выразительна роль моды: ее функция как одного из важных инструментов культурной коммуникации и формирования новых эстетических и шире — социокультурных представлений.

Конечно, в жестко стратифицированном сословном средневековом обществе движение моды определялось по существу господ-

ствующими, власть предрежащими слоями. Следование моде — привилегия знатных и богатых. Нет богатства — нет и свободы выбора, нет возможности изменений, пишет Бродель, и с этим в принципе нельзя не согласиться. Бесспорно, увлечение перемена-ми в одежде, развившееся с конца высокого Средневековья, затрагивало в первую очередь узкий высший слой, чей социальный имидж включал в себя как обязательный компонент изобилие, броскость, великолепие часто меняемых туалетов<sup>27</sup>. Вместе с тем, документы эпохи позволяют говорить и о достаточно развитом «чувстве моды» в более широких слоях, включая даже и такую казалось бы заповедную «зону традиционализма», как среда церковная.

Постановления церковных иерархов, начиная уже с XIV в., полны сетований на интерес клириков к модным аксессуарам и покроям одежды; их привлекают рясы с разрезами по бокам или спереди, башмаки с длинными носами, золотые и серебряные застёжки и «другие причуды» типа, например, ложных длинных рукавов ряс, свисающих со спины или на грудь.

В 1360 и затем повторно в 1371 г. Кёльнский синод выступил с запрещением монахиням использовать модный головной убор типа «крузелес» (с украшениями и сложным перекрещением вуали), шпильки для волос с большими пуговицами и платье из многоцветной ткани. Констанцский собор 1414—1418 гг. в своих постановлениях сетовал, что духовенство пренебрегает церковным сословным платьем, «стремясь следовать мирской моде». Даже в строго регламентированной монастырской среде известны случаи обладания богатым и разнообразным гардеробом. Так, у одного из монахов штирийского бенедиктинского монастыря св. Лампрехта, он, согласно описи (1498 г.), включал в себя: одну «шаубе из аррасского сукна с лисьим мехом» и другую, подбитую овечьим мехом, два «рока» (верхнее платье типа «камзола»), две рясы, старую и новую, шлафрок, шерстяную рубаху, четыре наплечника, «лейброк» (верхнее платье типа сюртука), «нагрудный мех», четыре льняных и две купальных рубахи, пару штанов, нижние «штанишки до колен», плащ для верховой езды, модную шапку типа гутель (петух), скуфью.

Соображения престижности иногда толкали на нарушения регламентаций церковного сословного костюма и весьма высоких особ. В 1359 г. герцог Рудольф IV Габсбург с одобрения папы Иннокентия VI ввел для каноников только что основанного венского соборного капитула особое облачение, допускавшее мирские вольности и даже красный цвет, составлявший привилегию кардиналов. Каноникам было разрешено при исполнении своих

должностных обязанностей облачаться в длинный «рок» и мантию красного цвета с золотым крестом на левой стороне груди. Под мантию, в зависимости от времени года, они могли поддевать либо шелковый плат, либо — мех. Если канонику предстояла поездка «верхом полями», он мог надеть сапоги и шпоры, шапку «гугель», котту и плащ, «какой носят обычные люди». При этом одеяние должно быть также красного цвета. В 1364 г. новый папа Урбан V отменил этот порядок, санкционированный его предшественником, как «дерзость», и потребовал, чтобы венские каноники впредь следовали в своем облачении тем предписаниям, которые обязательны для каноников в габсбургских землях.

О моде как выражении неумного стремления к перемене, охватившего «всю нацию», выразительно повествует Георг Викрам — автор немецкого шванка середины XVI в. «Как художник не имел никакого представления о том, как изобразить немцев в одежде». Один знатный человек, говорится в шванке, нанял художника, чтобы он расписал зал. Об этом художнике этот знатный человек знал, что он художник хороший. Сеньор приказал ему нарисовать все нации и все народы в их одежде и с обычным для них воинским снаряжением. Художник нарисовал всех «очень искусстно и художественно: евреев, датчан, язычников, турок, греков, сарацинов, арабов, индийцев» — всех, за исключением немцев. Он изобразил только одного абсолютно нагого с большим тюком сукна на спине. На недоуменный вопрос сеньора, что он хочет этим сказать, художник ответил: «нарисовать немецкое платье не по силам ни одному художнику во всем свете, так как немцы всякий день надевают на себя что-нибудь новенькое. И нельзя отличить друг от друга ни клирика, ни мирянина. Но этот тюк сукна я потому взвалил ему на спину, чтобы каждый имел возможность нагому немцу сделать платье по своему вкусу (кому какое понравится). Этим ответом сеньор удовлетворился и должен был художника вознаградить. Это случилось приблизительно 30 лет тому назад». Но теперь хотел бы я знать, пишет автор, «если бы нашелся кто-нибудь, кто захотел бы нарисовать немцев, во что бы он их обрядил — ведь мир развивается?» На это он сам же и отвечает — в «плодерхозен»: так назывались широкие, свисающие ключьями штаны бродяги, свидетельствующие о мотовстве и пороках<sup>28</sup>. В этом ответе (как и в самом тексте) отразилось и характерное для позднего Средневековья стремление широких социальных слоев, в частности, городского населения, к присвоению того, что было привилегией знати, и озабоченность властей, моралистов и церкви этими посягательствами на костюм высших сословий, как нарушением социального равновесия.

Формирующееся с XIV в. «чувство моды» сопрягалось с утверждением в средневековом сознании представлений о разнообразии, возможности выбора, переменах. Оно открывало простор для индивидуальных решений, вариаций моды в соответствии с личными вкусами. Немецкий историк повседневной средневековой культуры Леоние фон Вилкенс приводит интересный с этой точки зрения пример — фрески в Санта Мария Новелла во Флоренции (XV в.), изображающие дам из фамилии Торнабуони, которой капелла принадлежала, в роскошных туалетах. Ни одно из платьев, в которых они портретируются, не было похожим на другое ни по покрою, ни по цвету, ни по украшениям<sup>29</sup>. Но усиление индивидуалистического сознания означало, как неизбежное следствие, ослабление сословных границ и предписаний. Оставаясь достоянием знати, мода в позднее Средневековье вместе с тем все больше и больше становится образцом для подражания и других социальных групп. И это находит отражение в костюме этой эпохи, запечатлевающем притязания и претензии различных социальных ориентаций, как результат усложнения стратификации феодального общества.

## ГОРОД И МОДА. БЮРГЕРСКИЙ СОСЛОВНЫЙ КОСТЮМ

Развитие костюма на исходе высокого и в позднее Средневековье было отмечено «вторжением» в эту заповедную сферу феодальной знати бюргерства. Осознавшая свою общественную значимость и мощь городская элита и состоятельные слои адаптировали аристократическую моду, трансформируя ее в соответствии со своими представлениями и образом жизни и все более и более воздействуя, в свою очередь, на ее дальнейшее движение. Результатом стало постепенное сложение бюргерского сословного костюма — «городской моды». Этот процесс был особенно интенсивен не в последнюю очередь из-за слабости центральной власти в немецких землях. Выразительные свидетельства включения города в движение моды сохранило нам городское законодательство, так же как и моралистические сентенции проповедников.

В Средневековье, в гораздо большей степени, чем в обществе современном, одежда и ее аксессуары служили показателем социальной значимости индивида и средством его самоидентификации. Платье было призвано сделать видимым место человека в обществе. И прежде всего именно в этой функции одежды коренится один из импульсов тех огромных трат и неумных стремлений к изме-

нению костюма, сообщениями о которых наполнены источники с XIII по XVII в. «никто не должен украшать себя модой, присущей другим, каждый должен носить платье, согласно своему положению, — утверждал Хенрих Тайхнер (ум. 1373/77 г.) — автор трактата «О длинных шлейфах и высоких вуалях»<sup>30</sup>

Лишь аристократия, зная обладала в этой общественной системе правом демонстрировать роскошь, блеск драгоценностей, яркие краски, броскость покроя. Позиция ведущих слоев городского общества, тех, в чьих руках, собственно, находилось городское законодательство, оказывалась двойственной. Следуя, согласно своим привилегиям, аристократическим обычаям и привычкам во всех сферах повседневной жизни, они вместе с тем в своей социальной политике стремились утверждать бюргерские ценности и добродетели: бережливость, скромность, соразмерность трат возможностям. «Luxus» — роскошь. Согласно духу городских постановлений, — это жить не по средствам. Это траты, большие, чем положено по происхождению, должности, профессии, размерам имущества, капитала, земельных владений. Но «Luxus» это также и «мотовство», «расточительство», чреватые угрозой собственному благополучию, разорением наследников и, в конечном счете, общему благосостоянию городской общины, бравшей на себя, согласно праву, обязательства поддерживать своих обедневших членов; наконец, роскошь наносит ущерб общественной нравственности. Аргументируя вводимые ограничения в расходах бюргеров на одежду, городской совет Лейпцига указывал в своем специальном постановлении (1463 г.), на то, что увлечение женщин модой, злоупотребление роскошью чревато угрозой благополучию их домашних и наносит ущерб их доброму имени как хозяек. Такие женщины, говорилось в постановлении, вынуждены экономить в расходах на пищу, для этого они заменяют вино водой и покупают мясо плохого качества. В конечном счете, они рискуют оказаться в «неприличном обществе».

Городские проповедники предостерегали бюргерш от следования «дурным наклонностям обедневших аристократок»; стремясь роскошно одеваться, увешивая себя жемчугами и браслетами, подобно высокородным княгиням, пишет Ханс Винтлер, они вынуждены скрывать, что на кухне у них царит пустота, что они разбавляют вино водой или вообще отказываются от его употребления, что едят тощую свинину<sup>31</sup>.

Бюргершам не рекомендовалось носить дорогие ткани с серебряной и шелковой нитью, иноземные меха, драгоценные камни. Сколь действенны были эти постановления? Свидетельства говорят сами за себя. Так, в Лейпциге в 1463 г. городской совет,



запрещая бюргершам шить платья из роскошных тканей, называл лишь шелк и бархат. В постановлении 1506 г. перечень запрещенных для широкого употребления заморских и дорогих тканей включал уже такие их сорта, как атлас, тафта, дамаст, цендаль, тобин, зеттин, шарлах, аррас. Стремление зажиточного бюргерства к «представительской» роскоши, к самоутверждению через одежду было неодолимо. Автор бернской хроники Диебольд Шиллинг рассказывает под 1470—1471 гг. о протесте знатных бюргерш против запрета носить им «длинные хвосты» — шлейфы на платьях. Бюргерши ссылались на то, что не стремятся носить такие платья, равно как и платья из шелка и шитые золотом, постоянно, тем более в будни. Они просят только разрешить им носить платья с длинными шлейфами для того, чтобы их «отличали от других, что принесет пользу».

В вопросах моды законодатели и проповедники призывали к «мере», «следованию обычаю», к тому, что «идет исстари». Но со временем приходилось все же делать уступки. Нюрнбергский устав об одежде 1480 г. был вынужден разрешить богатым бюргершам носить шаубен. Одновременно, исходя из реально существующей практики, совет отменял введенный ранее собственный запрет мужчинам одеваться в короткое платье с разрезами на рукавах. Несколько десятилетиями ранее (ок. 1356 г.) совет города Франкфурта-на-Майне постановил, что вопрос о длине платья и рукавов каждый должен решать по «собственному разумению».

Австрийский историк средневековой материальной культуры и повседневности Х. Хундсбихлер сделал любопытное наблюдение относительно смысла, вкладываемого в городской среде в слово «мода», «модный»<sup>32</sup> Выступая против моды (башмаки и сапоги с длинными загнутыми носами — шнабельшуе, предельно короткое и обтягивающее верхнее платье по бургундской моде, типа шекке, «рогатый чепец» и т.п.) городские законодатели, пишет историк, в отличие от проповедников, хронистов, поэтов, порицали ее не столько как «чужой обычай», «иноземное влияние», сколько как отход от традиции, вызывающее настороженность новшество. Появление новых форм и фасонов одежды объяснялось с точки зрения христианских топосов — связывалось «с присущей человеческой натуре» склонностью к «гордыне», «суетности», с высокомерным стремлением выделиться, отличиться от других, изыскивая для этого все новые и новые средства.

Тяготение к «роскоши» отождествлялось в этом контексте с безнравственностью, а изменения моды — с упадком нравов. Постановления городских советов XIV в. и последующих столетий

об одежде носят церковно-моралистическую окраску, направлены против «постыдного оголения» — эротизации и сексуализации костюма: узких и коротких мужских одежд, обнажающего тело женского костюма, эротизирующих его шнуровок, застежек на пуговицах и т.п. «Постыдной» объявлялась также практика ношения женщинами плащей мужского фасона и шапок гутель. Вместе с тем, городские советы, определяя привилегии городского патрициата, строго следили далее, чтобы костюм и украшения бюргерш соответствовали величине имущества их супругов, официально зафиксированной списками налогового обложения. Законодатели особо выделяли «неблагородные» профессии (к ним в разных городах причислялись разные ремесла, нередко льноткачи, кожевники, цирюльники и др.); женам этих ремесленников запрещалось надевать украшения, «которые носят почтенные женщины» (например, коралловые бусы).

С течением времени, по мере усложнения профессиональной, имущественной и социальной структуры городского населения, подобная регламентация не только не ослабевает, но и становится все более детальной и дифференцированной, жесткой, особенно в определении типа костюма и аксессуаров каждого из «разрядов» городского населения.

Эта линия городского законодательства об одежде, тесно переплетающаяся с традиционными постановлениями «против роскоши» в одежде, показательна как отражение процесса становления бюргерского, городского сословного костюма, собственно «городской моды». Процесс этот, как отмечалось выше, достаточно выражен уже в XIII—XIV столетиях. Он интенсифицируется в позднее Средневековье и на рубеже раннего Нового времени и прослеживается в законодательстве практически всех европейских городов. Статут об одежде 1453 г. итальянского города Болоньи подразделял жительниц его на три «разряда», детально регламентируя все элементы одежды для каждого из этих «разрядов», включая ткань, покрой рукавов, расцветку, украшения. Так, относящиеся к первому, высшему аристократическому разряду почтенные матроны и незамужние юные дамы получали право на платья из бархата и дорогих сортов шерсти алого и розового цветов и со шлейфом «длиною в два локтя». Им разрешалось носить («не нарушая норм благочестия») до шести перстней и ожерелья только из кораллов (но не из жемчуга — привилегии нобилей). Праздничный наряд включал два драгоценных камня: один на груди, другой — на лбу. Женам и дочерям «перинных дворян» — университетских профессоров и «новых дворян» (тех, кто, занимаясь коммерцией, денежными операциями и имея отношение к про-

изводству, не был связан с физическим трудом) разрешалось носить платья со шлейфом в «пол-локтя», а на пальцах — только четыре перстня. Низшую ступень составляли жены и дочери «художников» (архитекторы, ювелиры) и ремесленников. Им разрешалось платье со шлейфом длиной «в треть локтя», два перстня, но никаких ожерелий. Ткани с золотым и серебряным узором, мех горноста, как атрибуты сеньориальной аристократии, запрещались горожанам всех трех разрядов.

Выразительные свидетельства становления сословного бюргерского костюма и знаковой функции его элементов содержат постановления властей немецкого имперского города Нюрнберга, занимающего одно из центральных мест в этом процессе. Почти до 30-х годов XVI в. постановления городского совета об одежде не выходили практически за пределы традиционно средневековых предписаний, осуждающих роскошь и чрезмерные затраты в различных областях повседневной жизни. Они еще и в 60-х годах были адресованы вообще к «почтенным женщинам и девицам» — «женам и дочерям бюргеров и небюргеров» (проживающих в Нюрнберге); «почтенным мужам, бюргерам и небюргерам». Все они должны были носить платье, отвечающее их положению как горожан и отличающееся как от аристократического, так и от крестьянского. О сознательном, сословном нормировании одежды, подчеркивающей особый статус горожанина и противопоставляющей его не только обитателям замка, но и «деревенщине», красноречиво свидетельствует высказанное в образной форме крестьянское требование, которое приводит Мартин Лютер в своей проповеди о 5-й Книге Моисея (1529 г.): «Об этом заявили восставшие крестьяне: мы хотим также носить куньи шаубен и золотые цепи и жрать молочных поросят!»<sup>33</sup>

В то время как первое изданное печатным способом (в 1568 г.) постановление об одежде выделяло только патрициат и «почтенных людей», противопоставляя им на другом конце социальной иерархии «слуг» и «девиц из лавок», то последующие постановления (вплоть до 1657 г.) закрепляли и оформляли сословную дифференциацию. Уже постановление 1583 г. делало различия между четырьмя статусами: «самым первым положением», «торговыми и купеческими людьми», «обычными мелочными торговцами и ремесленниками» и «состоящими в услужении». Постановления 1618 и 1657 гг. шли дальше, они содержали детальные предписания для каждого из шести «разрядов»: патрициата (1), самостоятельных «уважаемых торговых людей» (2), торговых людей больших «почтенных и известных компаний» (3), мелких торговых людей, розничных торговцев из ремесленного сословия (4), «обычных»

лавочников и ремесленников (5), ремесленных подмастерьев и служанок (6).

Запреты и регламентации этих постановлений касались всех видимых и выставлявшихся на всеобщее обозрение составных частей костюма — верхней и уличной одежды (белье и нижнее платье не регламентировались). Речь шла о разных типах верхней одежды: вамс, мантиль, рок, шаубен, а также об обуви, головных уборах, украшениях, модных аксессуарах. При этом порицалась уже не индивидуальная склонность к роскоши (как «грех гордыни» и суетность), а — посягательство, претензия на «чужой статус».

Так, в 1570 г. некая бюргерша «супруга Вайля Кристофа» была привлечена к штрафу за слишком роскошное верхнее платье (рок), носить его, однако, ей было разрешено после того, как она смогла «правдиво заверить», что надевает его только дома и никогда — вне его.

Под давлением реальностей жизни законодатели вынуждены были идти на уступки, допуская дорогие одежды, увеличение затрат на них и необходимые аксессуары. Показательно, что со второй половины XVI в. усиливается имитация на рынке дорогих, роскошных тканей, появляются поддельные украшения, что открывает возможность средним и низшим социальным слоям городского населения приобщиться к моде. Но, уступая в этом, городские власти прилагали все усилия, чтобы оградить от посягательств «нுவоришей» и чрезмерных новаций торжественный костюм, принятый в высших социальных слоях бюргерства, — подчеркнуто консервативный в своих линиях, порой даже немодный.

«Erber tracht» — фамильная, благородная мода, — костюм, переходящий по наследству, так определяли сами современники содержание этого собирательного термина, фигурирующего в документах для обозначения бюргерского сословного костюма. Главные элементы женского сословного, патрицианского костюма составляли (следуя исторической терминологии): пюндляйн, или бюндляйн (тип чепца), кеттен (цепи), цветные шаубен.

Среди этих составных частей городской сословной моды одно из первых мест принадлежало головному убору. Именно он прежде всего выражал ранг и достоинство носившей его. До и в 30-е годы XVI в. сословный головной убор знатной дамы составлял чепец с «крыльями» (так называемый штюрце). Знатные патрицианки надевали его отправляясь в церковь и в других торжественных случаях. С 30-х годов входит в моду пюндляйн. Запечатленные на рисунках и картинах Альбрехта Дюрера, оба типа женского головного убора могут быть описаны достаточно точно. Штюрце состоял из двух частей: нижнего чепца, плотно прилегавшего к голове,

охватывающего лоб, щеки и подбородок, и выполнявшего одновременно «поддерживающую» функцию для другого чепца — типа свободного, в складках платка. Он накидывался поверх нижнего, облекая одновременно шею, и закреплялся шнурком под подбородком. Само название «штюрце» было известно в XIV—XV вв. и означало головной убор типа вуали, вообще головную накидку, покрывало с перекрещивающимися концами.

Постановлением городского совета 1522 г. традиционный штюрце был официально заменен пюндляйном, который отныне должен был отличать «благородных почтенных» женщин «от иных». Он имел сводчатую выпуклость на затылке и жестко охватывающую подбородок повязку (откуда, возможно, и пошло его название). Частично закрывающие лицо (в отличие от беретов и шляп, которые носило простонародье) и в этом сближающиеся с монашеским головным убором, штюрц и пюндляйн были призваны подчеркнуть благочестивость и благородство происхождения. Эти символы сословной исключительности породили вместе с тем жаргонные выражения, к которым прибегали нюрнбержцы, имея в виду благородных дам: «штюрцфрау», «пюндляйнвайбер».

Запрещение носить штюрц или пюндляйн рассматривалось как одно из позорных наказаний, полагавшееся, в частности, за нарушение супружеской верности. Постановление 1514 г. требовало для нарушительницы, после подтверждения вины, наказание денежным штрафом и лишением права на определенный срок носить сословный головной убор. Патрицианская дочь Вероника Тетцель была лишена (1576 г.) права носить пюндляйн, также как цепи и цветные шаубен из-за мезальянса — брака с непринадлежавшим к патрициату Эндресом Колбом. Запретом носить «благородный штюрце» наказывались также и сводницы.

И даже тогда, когда со временем пюндляйн был вытеснен беретом, нюрнбергский устав 1557 г. «О свадьбах» выразительно указывал на необходимость вступающим в брак молодым девушкам следовать «принятому у почтенных людей обычаю» — надевать головные уборы, принятые исстари, и ни в коем случае не использовать, как это «уже бывало в некоторых случаях» никаких беретов.

Знаковой функцией почтенного и благородного происхождения, наряду с головными уборами и цепями, обладала также и шаубен, точнее — ее расцветка, материал и украшения. Красный или коричневый шамлот\*, кайма из одноцветного бархата или меха выделяли обладателя шаубе, поднимая над остальными.

---

\* Шамлот — шерстяная ткань, сукно высшего качества с добавлением козьей шерсти. В XVI и XVII в. его делали с добавлением шелка.

Несмотря на то выдающееся значение, которое имела шаубе в городском сословном костюме в позднее Средневековье, ее нельзя описать столь однозначно, как это делают подчас историки костюма. Впрочем, это справедливо по отношению не только к шаубе, но и другим типам и элементам средневекового костюма, о чем речь пойдет ниже. Здесь же надо сказать, что в женском костюме понятие «шаубе» в ходе XVI столетия изменило свое значение.

Имевшее в виду первоначально верхнюю одежду типа мантиль — широкую, с рукавами, отороченную нередко мехом, название шаубе со второй половины XVI в. переносится на цельное женское платье — рок, в то время как это последнее наименование начинают употреблять применительно к платью, состоявшему из двух отдельных частей: верхней жакке (отсюда, вероятно, происходит современный жакет) и нижней рок (типа юбки). Собственно словом шаубе обозначался теперь целиком женский костюм нового типа, включавший в себя и рок как платье из жакета и юбки, и платье, надеваемое поверх его, цельное, с длинным продольным разрезом спереди. В соответствии с придворной модой, шаубе носили почти или совсем открытым, позволявшим видеть надетое снизу рок. Незнатные застегивались наглухо (как это изображено Йостом Амманом в его цикле гравюр «Женский костюм»: открытая у княгини, шаубе плотно застегнута у простой бюргерской дочки). Шаубе характерна также как тип праздничного и свадебного костюма. Он складывается во второй половине XVI в. под сильным влиянием испанской моды. Прежняя женская шаубе, как одежда, подбитая мехом и предназначавшаяся для выхода из дома на улицу, продолжала жить под новым наименованием — хуэкке.

Бюргерский сословный костюм оказывается в центре особого внимания властей с 60-х годов XVI в. Постановления об одежде этого времени отражают две тенденции в ее развитии, с одной стороны, известную унификацию (с точки зрения своих составляющих элементов, принципов покроя) городского костюма в среде состоятельного бюргерства и денежного небюргерского населения, а с другой, все возрастающую закрытость высших слоев и как следствие этого — усиление регламентации всех деталей и элементов костюма, обладавших знаковой функцией (ширина опушки шаубе, прострочки штюрце, материал, цвет, длина платья, количество, вес надеваемых цепей и т.п.). Разрешение на ношение шаубе постепенно распространяется на все разряды горожан, но с жестким ограничением цвета (только черный или серый). Лишь в XVII в. «почтенные торговые люди» (3 разряд) получили право облачаться в цветное — зеленое — шаубе. Шаубе в качестве

праздничной одежды, правда из дешевых шерстяных тканей и черного цвета, позволено было шить себе также приказчикам и служанкам. При этом строго оговаривалась ширина бархатной опушки — «пол-локтя». Родовитые дамы (первые два социальных разряда) могли использовать для этой цели «локоть» бархата любого цвета. «Ellen Samt», локоть бархата, расхожее выражение, употреблявшееся для обозначения принадлежности к городской знати. В инвентарии имущества патрицианки Анны Хеллер (1522 г.) упоминается: «одна красного шамлота шаубе, подбитая лисьим мехом и с опушкой из красного бархата, свадебная шаубе». В инвентарии 1614 г. Хелены Баумгартнер среди прочих шаубе названа шаубе с «локтем бархата».

Портным вменялось в обязанность иметь официально юстированный измеритель из жести, чтобы точно определить в соответствии с законом ширину бархатной или меховой опушки. Ошибка каралась денежным штрафом, как это имело место, например, в 1515 г., когда супруга патриция Зигмунда Тетцеля потребовала возмещения ущерба за «испорченную» портным шаубе, опушка которой оказалась уже положенного.

Городское законодательство позднего Средневековья вырабатывает принудительно-обязательный костюм для определенных групп населения — бюргеров, живущих подаванием, проституток, палачей, жонглеров, евреев. Он должен был подчеркивать маргинальность их общественного положения и «нечистоту» занятий.

Южнофранцузская книжная миниатюра XIII—XIV вв. представляет жогларесс (жонглерш) — городских танцовщиц, акробатов, музыкантш, облаченными в платья особого, свободного покроя и цвета: зеленого, красного, желтого — аналогичного тому, что было предписано в окситанских городах носить женщинам, «получавшим плату», то есть живущим проституцией. Со сходной ситуацией сталкиваемся мы и к северу от Альп. В 1389 г. власти немецкого Кёльна обязали уличных проституток носить красный головной платок или вуаль (в других немецких городах был принят желтый или зеленый). Показательно, что эти же расцветки и смелый покрой платья составляют в позднее Средневековье (наряду с обязательной атрибутикой — яблоко, череп) отличительную особенность иконографии Евы, как символа соблазнительницы мужского пола.

В том же Кёльне с конца XIV в. для облегчения контроля за «своими» бедняками, живущими милостыней, был введен специальный «знак», прикреплявшийся к их одежде. Особого покроя плащи носили и назначенные советом лица для надзора за нищими и проститутками, так называемые клоккен (от нем. Glocken —

колокол). Обязательным элементом мужского костюма еврея в немецких городах была шапка желтого цвета или специальный знак на рукаве.

Костюм палача, во всяком случае в иконографии позднего Средневековья, был призван отразить, с одной стороны, «нечистоту» его профессии, страх и отвращение, вызываемые ею, а с другой — его статус как должностного лица. Это достигалось при портретировании сочетанием дорогих тканей и подчеркнуто модных, вызывающих моральное осуждение форм одежды.

## ОДЕЖДА КАК ЭЛЕМЕНТ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО БЮРГЕРСТВА

Горожане носили одежду долго. Бережно ее хранили и передавали по наследству. Это не должно вызывать удивления. Ведь платье, помимо своей практической необходимости, представляло немалую материальную ценность и обладало к тому же, как мы видели, важнейшей социально-знаковой функцией. Для основной массы самостоятельных горожан, не имевшей, в отличие от родовитого бюргерства — патрициата или проживавшей в городе аристократии, ни гербов, ни замков, именно одежда служила одним из главных, если не самым главным, определителем их общественного, если не положения, то состояния — престижным свидетельством уровня благосостояния и почтенности статуса.

Согласно средневековому праву, одежда входила в приданое и составляла предмет наследования как мужчин, так и женщин, наряду с такими предметами, как меч, ларь, домашние животные. Статьи «Саксонского зеркала», касающиеся раздела имущества между наследниками после смерти одного из супругов, позволяют наглядно представить «мир вещей женщины» и «мир вещей мужчины» и, соответственно, значение в нем одежды.

...Жена должна в качестве особого имущества мужа дать его воинское снаряжение — меч и лучшего коня или лошадь, оседланную, и лучшие латы, которые муж носил при жизни и которые он имел, когда он умер. К этому она должна дать также походную постель, одну кровать, одну подушку под голову, одну простыню, одно покрывало, одно полотенце. Это обычное воинское снаряжение... как оно должно быть дано... Где имеется два или три претендента на одно военное снаряжение, там старший берет меч, а остальное они делят равными долями между собой».



«После выделения особого воинского имущества мужа, пусть жена возьмет ее утренний дар\*. К нему относятся все рабочие лошади, рогатый скот, козы, свиньи, которые выгоняются на пастбище пастухом, далее, огороженный усадебный участок и дом... Затем она берет все, что относится к женской доле. Это все овцы и гуси, и сундук, вся пряжа, постели, подушки, простыни, скатерти, полотенца, простыни купальные, умывальники, медные подсвечники, льняное белье и все женское платье, перстни, браслеты, головные украшения, псалтырь и все богослужебные книги, которые обычно читают женщины, стулья, лари, ковры, пологи, стенные ковры. Это все, что принадлежит к женской доле. Еще принадлежат к ней различные мелочи, как щетки, ножницы, зеркало. Все льняное полотно, которое не скроено еще для женских платьев; все золото и серебро, которое еще не переработано в изделия, к женской доле не принадлежит. Все, что имеется еще, кроме перечисленных вещей, все относится к наследству...»<sup>34</sup>

Выразительный материал, раскрывающий отношение бюргерства к одежде и ее значение как средства социальной коммуникации, содержат городские завещательные акты. Практика их составления широко распространяется в европейских городах со второй половины XIII в. В данном случае мы опираемся на завещательные акты XIV—XVI вв. бюргерства могущественных ганзейских городов, в частности Штральзунда, скрупулезно изученные И. Шильдхауэром, и Любека (вторая половина XIII—XIV в.), публикация которых была осуществлена в 70-е годы XX в. Агасфером фон Брандтом<sup>35</sup>

Первое, что сразу же бросается в глаза при ознакомлении с этими документами — присутствие практически в каждом из них одежды и относящихся к ней аксессуаров как объекта завещания, причем одного из самых ценностно значимых. Одежду завещали детям, супругу или супруге, племянникам и племянницам, родственникам, крестным, слугам, вообще лицам, которым хотели выразить свое особое расположение и почтение. Любекские завещательные акты представляют социально чрезвычайно широкий круг лиц, выступающих в качестве как завещателей, так и тех, кому эти легаты были адресованы: от простой служанки до супруги ратмана и церковного учреждения.

Вот некоторые из примеров. Магистр Иоганн Йоде (1320 г.) завещает: «на помин души и для строительных работ: Мариенкирхе

---

\* От нем. Morgengabe — термин средневекового брачного права, обозначавший дар мужа новобрачной и составлявший, наряду с приданым, собственное имущество жены.

свой лучший пояс, свой сюрко и тунику; Санкт-Петри — свой красный пояс и клирикам 2 марки; Собору — «свое лучшее верхнее платье»; далее, «свое малое золотое кольцо, украшенное сапфиром и двумя жемчужинами» — Иоганну ван Озенбругте; золотое кольцо с восточным сапфиром — Херманну Варендорпе; Хинрику Плескове — золотое кольцо с сапфиром, другое кольцо с сапфиром, окруженным жемчужинами, — супруге Хинрика ван Грабове; свою фиолетовую «нижнюю одежду» — послушнице Маргарите, зеленую — другой послушнице с тем же именем; госпоже Виндельбург — «голубое нижнее платье», сыну аптекаря — маленькие золотые застёжки. Из своей верхней, состоящей из двух частей, одежды красно-голубого цвета «красное» — повару Иоанну, в доме своего хозяина, «голубое» — конюху Иоганну в этом же доме; шорнику Иоганну, проживающему напротив Дитмара Лундена, — кольцо с разбитым сапфиром; супруге пекаря Николауса — кольцо с агатом. Обоим детям в доме своего хозяина — 2 нем. марки на приобретение «нижнего платья». Лошадиному маклеру Хартвиху — пара штанов из кожи...»

Абеле Вокендорф завещает (1350 г.) братьям проповедникам, «где она хочет быть похоронена», свое лучшее верхнее платье с мехом, но без серебряных пряжек, и к этому еще 40 локтей льна им на брэ (штаны); братьям миноритам — «свое лучшее нижнее платье с мехом, без серебряных застёжек и к этому также 40 локтей льняного полотна на брэ». Остальные одежды: «коричневое нижнее платье и зеленое верхнее» — дочери своей крестной.

Любекский бюргер Андреас Рейгер (1350 г.) завещает обитателям госпиталя «белую нижнюю одежду из бранденбургского сукна»; «сыну Андреасу, находящемуся в монастыре, позолоченный пояс; сыновьям Виллекину и Хеннекину по золотому поясу и кроме того Виллекину еще оружие». Дочери своего брата Йоханна из Роскильде он дает 10 марок для того, чтобы «для нее сшили верхнее (уличное) и нижнее платье из брюгтского сукна». Вольдер ван Озенбругте (1351 г.) завещал брату «свою одежду, серебряный пояс, серебряный нож и сверх того относящиеся к одежде пряжки-застёжки».

Грета, служанка Эверхарда Шеневедера, завещает (1351 г.) «свое самое лучшее верхнее платье» Мариенкирхе. Два других «лучших нижних платья» (типа туники, иногда без рукавов, поверх которого надевалось другое платье) своей сестре. «Мех и свое лучшее нижнее ирландское (из ирландского сукна) платье и свои лучшие застёжки — дочери своего хозяина Христине». Другой дочери Эверхарда — Зеффекке завещались застёжки и браслеты к «желтому нижнему платью», в то время как «застёжки к коричневому ниж-

нему платью» — третьей дочери хозяина Талеке; «двенадцать пар других пряжек» предназначались уже упомянутой выше Христине. «Все иные платья», согласно распоряжению завещательницы, должны были быть «поделены среди бедных».

Тяжело болеющая вдова состоятельного бюргера Иоанна Врукера по имени Гербург (1350 г.) распорядилась о следующем: «Своей сестре Грете — находящееся непосредственно здесь синее нижнее платье (туника) и верхняя одежда, затем белое нижнее платье, меховой воротник, а также железный таз и кувшин». Некой Тиббеке — «лучшее голубое платье (нижнее) и короткая голубого же цвета верхняя одежда, затем также тонкое из льна покрывало (вуаль) и зеленое верхнее платье». Грете, супруге брата завещательницы, предназначался «плотный» мех, безрукавое нижнее платье и ее повседневный хойкен-плащ. «Фиолетовая тога» должна быть продана, а вырученные за нее деньги розданы бедным. «Все остальное» завещательница просила поделить между ее детьми — Иоанном и Тельзеке. «В дальнейшем Тельзеке должна также получить другое лучшее нижнее голубое платье, лучшее коричневое верхнее платье, также как и серебряную чашу». Служанке (вдовы) Тельзеке следовало отдать «голубое повседневное надеваемое вниз платье и зеленого цвета верхнее платье. И обе должны молиться за спасение души завещательницы»<sup>36</sup>

Приведенные тексты типичны для бюргерских завещаний. Они показательны с точки зрения структуры городского костюма, его основных, наиболее значимых составных частей, элементов, аксессуаров. Каждый раз специально оговаривается, если платье украшено пряжками, меховым воротником (или имеет меховую подкладку), драгоценностями. Указывается цвет платья и материал, из которого оно сшито («ирландское сукно», например, и т.п.). Доминируют красные, коричневые расцветки, распространены также и пестрые, черные, синие, голубые, фиолетовые, белые. Хотя завещаниям и знакомо такое понятие как «повседневное платье», но все же чаще речь идет о «лучшей одежде», сшитой портным по заказу, — о платье праздничном, таком, в котором «ходят в церковь».

Завещания позволяют проследить и манеру одеваться, и покрой костюма, моду: платья длинные или короткие, «сшитые по фигуре», с «разрезами», состоящие «из двух частей», украшенные вышивкой, с серебряными застежками и пряжками, из набивных и «смешанных» тканей.

Но завещания выразительны так же как свидетельства не только материальной культуры, но и присущих бюргерской среде ценностных представлений и форм поведения. Они говорят и о бережливом

отношении к одежде, как к предмету первой необходимости, и о чрезвычайно высоком ее «рейтинге» «в деле спасения души».

Об этой ценностной значимости одежды в глазах бюргерства выразительно свидетельствуют переходящие из одного документа в другой указания на пожертвования одежды, притом «самой лучшей», «для служения поминальных месс» — собору, монастырю, приходской церкви, госпиталю, служившему местом призрения бедных и немощных бюргеров, так же как и высказываемые пожелания разделить, после смерти завещателя, всю его одежду среди бедняков и нищих, или выделить специальные суммы на приобретение «платья и башмаков» для них.

Проделанный И. Шильдхауэром количественный анализ содержания завещаний штральзундских бюргеров XIV—XVI вв., в том числе и с точки зрения свидетельств, касающихся одежды (не менее 300 упоминаний в 30% документов) вскрывает некоторые общие черты, присущие в этой сфере ганзейскому региону, но возможно и вообще городской среде как таковой.

В частности, бросается в глаза, наряду с возрастающим значением «нового» (модного) платья, устойчивость некоторых традиционных форм одежды, восходящих к костюму галло-римского времени. Так, вплоть до начала XIV в. упоминается (9 раз) тога типа плаща в качестве уличной одежды. В завещаниях и мужчин и женщин до 1361 г. фигурирует (не менее 18 раз) туника — просторная одежда типа блю, иногда без рукавов, как нижнее платье, надевавшееся поверх рубахи. Наряду с этим широкое распространение получает (до 1525 г. — 78 упоминаний) восходящий к началу высокого Средневековья плащ хойкен, который и мужчины и женщины накидывали сверху на платье. Он был разных расцветок. Наиболее часты красный и черный цвета, но также — синий и зеленый. Престижность и ценность плаща возрастали за счет подкладки (белой, красной, коричневой), а также прострочки золотой нитью по борту.

Наряду с хойкен популярностью пользовалась упоминаемая столь же часто в завещаниях (75 раз) шаубе, как престижная, открытая спереди верхняя уличная мужская одежда. Ее распространенный цвет в завещательных актах — черный. Затем следуют: коричневый, серый, синий и красный (престижные расцветки одежд высших социальных слоев). В завещательных документах шаубе всегда значится как «самое лучшее платье». В ранний период ее нередко называют также паллий (плащ). В качестве аксессуаров шаубе всегда значатся серебряные пряжки, пуговицы, подкладка из меха. Завещатели нередко делают различие, отмечая «шаубе на каждый день» и «шаубе праздничную».

Но самой большой популярностью из всех видов одежды (около 240 упоминаний!) пользовался «рок» — в данном случае как верхнее платье, надеваемое поверх туники. Для этого элемента костюма характерна чрезвычайно широкая цветовая гамма. Роки чаще всего — черные, красные, коричневые, серые, зеленые, синие, двуцветные, бело-коричневые или пестрые. Наряду с «новыми» — модными, «самыми лучшими» в завещаниях фигурируют «старинные» роки, наряду с длинными — скроенные в виде крыльев, короткие, с подкладкой из шелка и на меху, опушенные мехом ламы, лисы, выдры. Штральзундские и любекские бюргеры-завещатели использовали для украшения и утепления своих одежд мех самых разных животных, помимо названных выше, — также кошек, овец, ягнят. Нередко для украшения одежды, а также как материал для ее пошива использовалась кожа. В завещании любекского магистрата Йоде (1320 г.) фигурирует, например, «пара кожаных штанов». Это упоминание, однако, показательное также как одно из свидетельств появления, в качестве модной новинки, особого типа этого элемента мужской одежды — соединенных вместе сзади шосс, как прообраза «брюк», но еще тесно облегающих ногу подобно чулку (традиционно раздельных). «Пара штанов» упоминается в 1431 г. и в одном из штральзундских завещаний. Также единичны и свидетельства об ультрамодном экстравагантном шекке и о нательной одежде — штанах, рубахах.

Редко (не более 18 раз в тестамах штральзундцев) фигурируют и головные уборы; упоминаются капюшон, головной убор типа «петух», колпак, шляпы и шапки из войлока красного и черного цвета. В одном из завещаний 1520 г. был упомянут «купальный колпак». Единичность упоминаний подобных типов одежды и головных уборов наводит на мысль, что к наследуемой одежде относились прежде всего уже прочно вошедшие в обиход покрои, так же как и функционально и социально наиболее значимые составные элементы мужского и женского костюма, сшитые из престижных сортов ткани и закрепленные в массовом сознании в качестве сословного платья.

Показательно в этом отношении, что наряду с одеждой в завещаниях часто фигурируют и ткани, из которых она сделана, с указанием мест их производства, совпадающими подчас с теми городами и областями, где штральзундские и любекские бюргеры осуществляли свои деловые операции: лейденские, дельфтские сукна, шерстяные ткани из «марки», то есть из Бранденбурга, Ипра, Брюгге, Бергена. В завещаниях фигурирует продукция практически всех ведущих центров сукноделия и немецкого Северо-За-

пада, и Европы — наряду с Фландрией, Брабантом, Голландией также Англия, Шотландия, Ирландия.

К числу важнейших объектов завещаний, связанных с одеждой, костюмом, относятся и украшения «для тела и головы». Среди них особой репрезентативной ценностью, как уже упоминалось, обладал серебряный пояс. Это — самый распространенный объект мужских завещаний (упоминается в 11% их), особенно в периоды с начала XIV в. по 1378 г., а также с 1463 по 1524 г. Наряду с драгоценными, украшенными серебром и узорами поясами очень часто фигурируют простые пояса для платья. И это не удивительно: в средневековой одежде, не имевшей карманов, на пояс приходилась большая функциональная нагрузка: на него, как уже отмечалось, вешали кошелек, ключи, нож, четки и другие необходимые предметы.

Второе место среди украшений для платья по частоте упоминаний занимают застёжки — пряжки, часто из серебра и с четким разграничением их функций: «для рукавов», «платья», «для шейного выреза», для рок, мантиль. Они фигурируют в завещаниях обычно с указанием общего их количества: 12, 19, 24, 30, 40, 60. Они особенно часты в тестамах XIV столетия (в том числе и любекских бюргеров), в XV в. упоминания о них реже и единичны. В числе украшений для платья присутствуют также фибулы, в массе из серебра, золотые — крайне редко: броши из серебра, часто с драгоценными камнями, а также пуговицы: из серебра, для мантиль и хойкен. В одном случае завещалось сразу 25 пуговиц. С конца XIV в. вместо перечня отдельных украшений в документах, как правило, состоятельных бюргеров появляется собирательное понятие «украшения для одежды». В одном из завещаний упоминались шапка фасона «когель» с серебряным украшением, коралловый шнур для прически, «шаубе и к ней 6 лотов серебряных украшений».

В числе «украшений для тела и головы», фигурируют драгоценные камни, изделия из серебра и золота, до 1524 г. — с обозначением цены. Первое место по частоте упоминаний в качестве объекта завещания занимают золотые кольца, часто с драгоценным камнем — сапфиром, рубином или инкрустацией. Гораздо реже (7 к 73) — кольца серебряные и совсем простые, напротив, достаточно часто — цепи, обручи для прически, рукавов. К числу украшений относились также четки (из кораллов и янтаря), кресты с цепочками и другие культовые предметы.

Средневековый бюргер — не только купец, ремесленник, но и воин. Каждый город имел свое войско — ополчение. Кроме того, в обязанности полноправных бюргеров, их гильдий и корпораций

входило обеспечение полицейского порядка в пределах прихода, так же как и дозорная служба на том или ином участке крепостной стены, башнях. Оружие было необходимым средством самозащиты от разбойных нападений во время дальних деловых поездок, тем более в чужие страны, как это имело место у ганзейцев — отважных купцов-мореходов. Поэтому, наряду с обычной одеждой, в завещательных актах и любекских, и штральзундских бюргеров часто фигурируют оружие и военный костюм как ценность. Знак бюргерского достоинства и предмет наследования от отца к сыну, или от брата к брату. Шильдхауэр выделяет около 40 документов, содержащих подобные свидетельства, подчас с перечнем и элементов самого костюма и вооружения. «Военное платье» — это кольчуга, латы, железный шлем и воротник, защищающий шею, боевые перчатки и ножные латы. Боевое оружие включало меч, секиру, шпагу, кинжал и самострел, служивший для поражения противника на расстоянии. С конца XV в. в штральзундских завещаниях появляются упоминания о «пистоле и пороке», то есть огнестрельном оружии. В одном из ранних патрицианских завещаний (1376 г.) содержался перечень вооружения, используемого для турниров: шлем, щит, копье, пика, а также боевой конь.

В целом завещания, как и большинство документов, из которых черпаются свидетельства о средневековом городском костюме, отражают, конечно в массе, ситуацию, характерную для имущественно состоятельных слоев и групп горожан. При всей приверженности к традиционному костюму здесь достаточно ошутим интерес к моде, новым фасонам платья, к разнообразию гардероба — даже у служанок богатых бюргерских домов. Но завещания практически не затрагивают низшие социальные слои, особенно те, что были связаны с повседневным физическим трудом. Вряд ли здесь заходила речь о моде, скорее о том, как продлить возможно дольше жизнь одежды. Для этой среды характерна скудость гардероба — чаще по одному-два экземпляра важнейших элементов одежды: один рок, двое верхних штанов, две рубахи, двое брз (исподнее), две-четыре пары обуви — таков гардероб ученика или ремесленного подмастерья, не считая их постоянной одежды: рабочей блузы и фартука. Для работающих по найму покупка платья из дорогих привозных тканей была в позднее Средневековье в массе исключена. Довольствовались дешевыми тканями местного производства преимущественно серых тонов.

Вместе с тем, о спросе на одежду именно в широких слоях городского населения косвенно говорит увеличение со второй половины XIV в., в частности во многих немецких, пользовавшихся европейской известностью, текстильных центрах производства

дешевых сукон, бумазеи, сурового полотна. Показательно, что в это же время возникает и получает распространение в городах широкая торговля подержанным и старым платьем. В какой-то мере стимулированная стремлением высших социальных групп горожан к обновлению одежды, эта практика, вместе с тем, наводит на мысль о существовании аналогичной встречной тенденции «снизу», порождавшей спрос. В этом отношении обращает на себя внимание все усиливающаяся с XIV в. озабоченность городских властей посягательствами на элементы и аксессуары сословного костюма полноправных бюргеров и патрициев не только со стороны нуворишей, но и социально слабых групп населения, в частности, работающих по найму и в услужении. Именно в этом ряду стоит, например, постановление цехов портных четырнадцати рейнских городов относительно подмастерьев их цехов, запрещающее носить им серебряные цепи и какие-либо украшения на платье. Жесткое требование следовать официальным предписаниям о сословной одежде было включено властями в устав братства подмастерьев-портных во Франкфурте-на-Майне (середина XV в.). Им запрещалось «носить трехцветное платье», «платье с разрезами» — «одежда подмастерья должна состоять из куртки, капюшона и штанов»; «носить белую обувь, так же как и обувь, сделанную из трех сортов кожи»; «иметь кольца на пальцах, шелковые шейные повязки, обертывать четки вокруг шеи». «Если подмастерье носит платье с разрезами и если он заявляет, что оно подарено ему, то он должен доказать это заслуживающими доверия свидетелями или под присягой...». «Подмастерьям и всем, кто состоит в услужении», говорится в постановлении совета города Страсбурга, запрещено «в праздничные дни днем и ночью и во время обедни носить в городе и в пределах городской округи меч, нож с длинной рукояткой, шпагу или какое-либо другое оружие... Им разрешается только нож для разрезания хлеба или обыкновенный нож в футляре, ручка и лезвие которого не длиннее одной пяди»<sup>37</sup>

Эти нормативные предписания являются показателем высокой степени интереса, небезразличия к одежде, к ее модным фасонам и сословно-престижным аксессуарам со стороны городской молодежи, в частности, той ее группы, которой владели честолюбивые мечты о социальном возвышении, путь к которому открывало, в случае удачи, обретение статуса цехового мастера и таким образом — полноправного члена, соответствующей профессиональной корпорации. Вместе с тем, не являлась ли подобная практика присвоения подмастерьями манеры одеваться, свойственной цеховой верхушке и почтенному бюргерству, также одной из форм самоутверждения и одновременно социального вызова в условиях, когда



так называемое «замыкание цехов» в позднее Средневековье и фактическое прекращение ими приема новых мастеров обрекало массы квалифицированной ремесленной молодежи на положение «вечно» работающих по найму?

## ГОРОДСКАЯ ОДЕЖДА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОД

В средние века костюм не только внешне определял принадлежность человека к социальному классу, сословию, «разряду», группе, но и служил способом самовыражения и групповой самоидентификации, причем не только на уровне власти имущих: аристократии, городского патрициата, состоятельных слоев бюргерства, но и самых низших и маргинальных слоев городского населения. Современные социокультурные и социолингвистические исследования, в частности Р. Жютте (университет Хайфы), посвященное такой многочисленной в городах группе маргиналов как нищие и бродяги, показывают, что в этой среде на рубеже позднего Средневековья и раннего Нового времени одежда обретает функции особого группового языка, а ее терминология — метафоричность, запечатлевающую специфический образ жизни и мировидения его носителей<sup>38</sup>

Платье в заплатах — характеристический символ нищего в средневековой иконографии и топос нищенства в источниках повествовательных. Но и в реальной действительности грязное разодранное платье тех, кто на улице выпрашивал милостыню, было своего рода «гербом», признаком статуса — выставленным напоказ подтверждением отсутствия средств к существованию. Этот «стандарт лохмотьев» доводился порой до крайности, скорее обнажая, чем прикрывая тело. И делалось это, как утверждают авторы наставлений, предупреждающих добропорядочных бюргеров о мошеннических приемах, не без умысла. Для достижения наибольшего эффекта в сборе милостыни, спекулируя на чувстве стыда у прохожих перед обнаженным телом, бродяги подчас срывали на многолюдных улицах и площадях свое платье, разрывали его в клочья, демонстрируя свои болезни и увечья. Нищие, эксплуатировавшие таким образом чувства окружающих, составляли особую группу, имевшую разные жаргонные именованья. В судебной книге немецкого города Нордлингена имеется запись под 1487 г. о некоем Гансе из Страсбурга, который был уличен в том, что «спрятав свое платье в частоколе», он затем нагой выпрашивал подаяние в близлежащем монастыре «на новое платье». В другой раз, также раздевшись догола и повесив на грудь доску с надписью,

что находится на покаянии (в средние века нагота кающегося — знак смирения и отдача себя в руки Божьи), он также просил милостыню.

Платье было ценностью. Оно не только грело и защищало от непогоды, за него можно было выручить деньги. Имелись особые бродяжьи группы, специализировавшиеся на выпрашивании именно одежды и тканей. В «Книжечке о шельмовских проделках» (1420 г.) рассказывается о бродягах, которые выпрашивали у крестьян лен, якобы для изготовления алтарного покрывала; в действительности же они использовали пряжу для того, «чтобы помочь своим сожительницам и проституткам обзавестись новым платьем». В тех случаях, когда милостыня оказывалась скудной, бродяги обращались к воровству. В Амстердаме специализировавшиеся на шельмовстве такого рода бродяги и нищие специально обучали мальчишек, которые пробирались во двор или в дом и похищали одежду и ткани; затем ворованное продавалось или обменивалось. В Англии нищих, занимавшихся воровством одежды, называли крючки или прыгуны. Они ходили с длинными палками мимо окон и чердачных люков, снимая платье с бельевых веревок.

В среде бродяг и мошенников одежда играла большую роль как предмет обмана и маскировки. В «Книжечке...», предостерегавшей «добрых людей» от их проделок, рассказывалось как члены таких шайк меняют свой внешний вид с помощью одежды и чаще их различают не по именам, а по тому, как они одеты; говорилось о некоем Буркарте, нищем, который «держал одну руку на перевязи и носил на ней перчатку», так как как бы страдал антоновым огнем. Описывались различные трюки, к которым с помощью одежды прибегают бродяги и нищенки, симулируя «то беременность, то слоновьи ноги». Эти реалии повседневной жизни, так же как и ставшее резко отрицательным в позднее Средневековье отношение к нищенству, нашли отражение в живописи и моралистических трактатах той эпохи. Излюбленные топосы, символизирующие несчастья, поджидающие тех, кто расточителен, ведет непристойный образ жизни (пьянствует, склонен к азартным играм, безделью и т.п.) — свисающее лохмотьями облачение выпрашивающего милостыню; узкое, едва прикрывающее тело, платье отсутствие обуви, пояса или плаща. Напротив, в латинской лирике вагантов, живописующей образ жизни нищенствующих поэтов, студентов и просто бродяг, звучит гордость своим аутсайдерским положением и лохмотьями. Наш орден бродяг, говорится в одном из стихотворений, запрещает носить «одно платье поверх другого» (то есть несколько верхних одежд одновременно — принцип средневеко-

вого костюма). Тот, кто выставляет напоказ свои одежды, «стяжает только бесчестье». Вступление в орден предполагало отказ от прежней одежды: «Мы дарим тебе рубаху и накидку, а твоё платье хотим пропить», пояс и плащ — проиграть. Так повествуется в лирике вагантов.

Как обстояло дело в реальности? Видимо, по-разному, кому как повезет. Описание примет десяти бродяг, разыскиваемых властями как участников восстания Башмака 1513 г. в Брейсгау, в этом отношении показательно. За исключением одного, носящего «полусапоги», никто не имел обуви. Лишь у троих был головной убор — черная шляпа или красный берет «с пилигримским знаком», а у двоих — верхняя одежда, плащ (в одном случае «серый просторный», в другом — «обшитый кожей и в заплатках»), под которым было надето платье из тика. У шестерых верхняя одежда ограничивалась курткой (вамс, рок); в одном случае было сказано, что она «на желтой подкладке». Как типичные признаки разыскиваемых, фигурируют посох и мешок для сбора подаваний. Владелец «полусапог» имел еще и пояс, на котором висел небольшой кошель. Единственной общей приметой для всех являлся «знак из черного сукна на красном» — на правой стороне груди. «Тот же, кто не имеет его там, говорилось в документе, имеет на правом рукаве три перекрещивающиеся полосы. И святой Йориг служит им паролем».

Житейская практика бродяг, манера одеваться, тип одежды, используемая ткань, так же как формы поведения и общения, принятые в этих сообществах маргиналов, нашли образное выражение в жаргонных наименованиях составных частей и элементов костюма. Летящий — «volant» (от франц. voler — лететь), вздыбленный ветром — «wintfang» (от нем. Wind — ветер) — так французские ваганты и немецкие гаунер, бродяги, называли уличную верхнюю одежду — плащ. В жаргоне английских бродяг название плаща — togman — представляло собой гибридную форму от лат. корня *toga* и английского суффикса *man/castor*, обозначавшего и бобровый мех, и распространенный сорт грубошерстной тяжелой ткани. Разодранный, в клочьях, со взлетающими от непогоды лапами, плащ был не только важнейшим элементом костюма, он частенько использовался также и в самом процессе сбора подаваний. Немецкий хронист Матиас Кемнат рассказывает о нищих, которые расстилали под ноги плащ, ставили на него восковую свечу, создавая таким образом впечатление покаяния. Страдающие антоновым огнем выставляли на нем напоказ свои изуродованные болезнью конечности.

Непогодой навеяно также одно из жаргонных названий шапки — «флюгер» (wetterhan) — в виде колпака с мягким верхом, она

меняла свою форму под порывами ветра. От распространенного широко еще и в раннее Новое время латинского приветствия, сопровождавшегося жестом как бы приподнятия шапки, происходит и другое ее жаргонное название «bonus dies» — добрый день. Распространенные среди французских бродяг наименования головного убора были связаны с их цветом: обион («aubion» от лат. albus — белая) или с фасоном: комбль — «comble» — островерхая с козырьком.

От широко распространившегося в позднее Средневековье узкого покроя платья пошло, вероятно, жаргонное слово цвенген (от нем. «zwängen» — протискиваться, подгонять), которым обозначали куртку. От названия грубых тканей (нестриженого сукна, холстины) происходили наименования верхнего платья (у женщин доходившего до ступней ног) — доз, и нательной рубахи — ханфшганд.

Образность лежит в основе жаргонного названия штанов (представлявших собой у бродяг полосы ткани, обертывавшиеся вокруг ног и бедер), — штрайфлинг (от нем. Streifen — полоса, лента).

Социолингвистические и социокультурные исследования терминологии одежды и ее элементов, их знаковой функции таят в себе огромные возможности проникновения в глубины сознания средневекового человека — понимания его поведенческих форм, образа жизни. Один из примеров тому — исследование австрийского историка повседневной культуры Герхарда Яритца, посвященное такому интимному элементу мужского костюма как брэ — предтечи современных трусов и «плавок»<sup>39</sup>

Относящиеся к «приватной» сфере брэ обычно не фигурируют в постановлениях об одежде ни городских, ни территориальных властей. Более красноречивы в этом отношении церковные, монастырские документы. Так, устав св. Бенедикта предписывал ношение штанов (в том числе и исподних) только монахам, находящимся в поездке или отправляющимся по делам верхом. В самом монастыре в соответствии с античной традицией никаких штанов не носили. В монастырях каролингской эпохи и высокого Средневековья этот порядок постепенно изменялся. В клонийских монастырях ношение штанов внутри и вне монастыря становится правилом. Но ранние цистерцианцы, напротив, усматривали в этом «обмирщение», «роскошь», недопустимую в монастырях. В развернувшейся в XII в. дискуссии сторонники ношения брэ указывали на климат, на то, что это способствует повышению чувства стыдливости и воспитанию благопристойности. Наконец, ношение их важно, так как подчеркивает различие в общественном положении между мужчиной и женщиной, монахом и женщиной. Мужчина, не носящий брэ, «подобен шуту».

Таким образом, уже сам характер дискуссии указывает на то, что брэ рассматривались как элемент исключительного мужского костюма, подчеркивающий именно мужское достоинство. Те же, кто их не носил, были аутсайдерами: женщины и «дураки» («шуты»). Это противопоставление скрывало противостояние, проследяющееся на протяжении всего Средневековья.

Изобразительный материал, будь то религиозные сцены (разбойники на кресте, сцены мученичества святого и т.п.) или мирские (мужчины в бане, у фонтана, собирающиеся лечь в постель и т.д.), почти всегда представляет мужчин, носящих брэ. Иконография и письменные свидетельства позволяют проследить изменение их покроя и постепенное укорочение. В монастырях раннего и высокого Средневековья они почти полностью закрывали ноги; в XII—XIII в. — доходили до середины икры, а к XV в. закрывали и далеко не полностью лишь тазобедренную часть туловища. Передняя и задняя половины брэ соединялись полоской ткани или шнуровкой. Их облегающий покрой, как отмечает Яритц, не сопрягался ни с какими коннотациями: и положительные, и негативные герои носят одинаково узкие брэ как в мирских, так и в религиозных сценах.

Тем не менее это был элемент одежды, так или иначе отражавший тенденции развития костюма и моды в целом. В какой мере это затрагивало представления интимной и эротической сферы остается пока неясным. Но брэ — символ мужественности как таковой сам по себе и тем самым силы и власти. Как элемент мужского костюма брэ входит в смысловое поле представлений о противоположных полах и их диспозиции и соответственно — о «соперничестве полов» за господствующее положение. Тема «борьбы за брэ» в XVI в. звучит и в письменных памятниках, и в иконографии. Они — знак, свидетельство соотношения сил, наряду с такими символами мужской власти как меч, ключ, кошелек с деньгами. Гравюра XVI в. запечатлевает все стадии «борьбы полов»: мужчина, потерявший брэ, и женщина, поднимающая их. Вот она, уже обретшая власть и силу, погоняет мужчину, впряженного в повозку и одновременно натягивает на себя брэ, привешивает к поясу меч и кошель. Гравюра изображает мужчину, занятого женским трудом — стиркой, прядением. Потеряв брэ и другие символы мужского достоинства и власти, мужчина превращается в «ее мужа» — порядок разрушен. Мир — перевернут. Немецкие изобразительные памятники, развивающие эту тему, созвучны соответствующей письменной традиции, восходящей во французском ареале к XIII в., а в немецком — к исходу XIV столетия.

В городских масленичных циклах брэ фигурирует в несколько трансформированном контексте представлений о глупости: «не носить брэ» — символ глупости (она распространяется и на женщин, брэ не носящих). Стать дураком — то же, что потерять брэ. Дурак — асексуален и всегда без брэ.

Таким образом, брэ в Средневековье и в раннее Новое время — отнюдь не маргинальный элемент структуры мужской одежды, о котором не принято говорить. В определенном смысловом пространстве они — знак нарушения существующего порядка, превращения его в беспорядок, «перевернутый мир». Действительно, брэ — знак «обмирщения» роскоши и излишеств в монастырях раннего и начала высокого Средневековья; они — символ мужественности, так же как и утраты ее (носить/не носить брэ); символ власти и подчинения в «войне полов»; топос глупости «увальня», «деревенского дурака» с неадекватным поведением. Отсутствие брэ — знак неправильного поведения, отклонения от системы, принятых правил и ролевых функций. Как элемент костюма брэ «вне времени» и вместе с тем подвержены изменению, развитию.

До XVI в. брэ, как и другие формы штанов, — элемент исключительно мужской одежды; с XVI в. начинается их постепенное внедрение (продолжавшееся вплоть до XIX в.) в женский костюм, прежде всего в высших социальных слоях.

Полисемантичность присуща и другим элементам мужского костюма, таким как, например, плащ и шляпа. Это — не просто обязательный элемент должностного костюма, знак сеньориального и рыцарского статуса, но и символ мужского достоинства как такового (отсюда, видимо, запрет церкви женщинам пользоваться плащами мужского покроя). Соответственно, плащ и шляпа выполняли не только функции уличной одежды. Их надевали и носили также и в помещении. Известен рассказ о Карле IV французском, который, в то время как его разыскивали придворные, покоился на ложе в широком и длинном хуппелланде и в обрамленном мехом головном уборе. Шляпа и короткий плащ — модный аксессуар и символ мужественности, характерный атрибут придворного мужского костюма начала XV в. Мужчины обнажали головы в церкви, демонстрируя свое уважение перед Всевышним и благочестие. Вместе с тем, шляпа и плащ, снимаемые при входе в таверну, постоялый двор могли быть просто деталью бытового поведения<sup>40</sup>

С представлениями о воинской силе и доблести, восходящими к германской древности, связан и такой популярный аксессуар мужской одежды, как пояс — символ свободного человека. «Кто подпоясан — правильно одет», — говорится в «Саксонском зеркале». Согласно установлениям этого правового памятника XIII—

XIV вв., человек только тогда вправе распорядиться своим имуществом «пока он, опоясанный мечом и со шитом, в состоянии с камня или пня сесть на коня без посторонней помощи, кроме того, что ему держат коня или стремя. Если он не в состоянии более этого сделать, то он и не может его передавать, отчуждать или отдавать в лен и тем самым лишить того, кто имеет право на ожидание после его смерти». Пояс, в этом смысле, — знак физической силы, психического здоровья и правоспособности. В «Саксонском зеркале» пояс — также символ обретения правоспособности, инвеституры, вступления в должность или владение: «Если монах или нона становится епископом или абатиссой, то они должны получить от короля пояс, как знак своей власти и права на исполнение своей должности, службы».

Как показывает исследование текста и миниатюр различных списков «Саксонского зеркала», проведенное историком средневековой материальной культуры и повседневности Рут Шмидт-Виеганд, костюм (наличие или отсутствие отдельных его элементов) мог быть и знаком определенной правовой ситуации: «Там, где суд осуществляется в соответствии с королевским баном — по приказу короля, там ни шеффены, ни судьи не должны быть ни в судейских шапках, ни в шляпах, ни в шапочках, ни в клобуках (*kappen*, *hut*, *huven hudeke*), ни в перчатках (*hantseen*). Мантии они должны иметь на плечах и не иметь оружия».

Особые требования предъявлялись к одежде в случае судебного поединка. Шлем и латы, главные элементы военного костюма мужчины, в данном случае использовать не разрешалось — «только кожа и полотно». Участвующие в судебном поединке должны быть «вооружены по правильному обычаю. Кожаной и льняной одежды (кожи и полотна) они могут натянуть на себя столько, сколько пожелают. Голова и ноги спереди должны быть обнаженными и на руках они должны иметь только тонкие перчатки. Поверх нижней одежды из полотна [надевается] рок из кожи с рукавами. Поверх его другой рок — из сукна, без рукавов с широкими проймами»<sup>41</sup>. В иллюстрациях к главе о поединках он — серо-голубого цвета у обоих противников. Однотонность в данном случае — символ одинаковости (равенства) их положения.

К «ситуационному» костюму, скрывающему за собой сложный комплекс представлений, восходящих, порой, к дохристианским верованиям и ритуалам, может быть отнесена также и одежда в дни карнавалов и празднеств. Французский культурантрополог Ф. Вальтер обратил внимание на фантастичность костюма клюнийского монаха, описанного епископом Адальбероном Ланским, в одном из его сочинений (XI в.)<sup>42</sup> Монах, по словам епископа,

был облачен в простые одежды кузнеца с соответствующими этой профессии производственными аксессуарами и имел на голове «шапку из шкуры медведя». Все детали этого описания, ставившего в тупик комментаторов Адальберона, считавших его плодом фантазии епископа, Вальтер исследовал в контексте обычаев, связанных с календарными народными празднествами, — новолетия, смены времен года и т.д. Он показал, что одеяние клюнийского монаха не столько шутовское, сколько ритуальное, связанное с древним мифом, в котором присутствует кузнец. Что же касается «шапки из шкуры медведя», то она тоже не что иное как отражение, «воспоминание» древнего мифа о медведе, как символе духа умерших, посещающих живых в периоды смены времен года, и связана с ритуалом погребения. Никакого отношения к реальной манере одеваться, тем более монахов, она не имеет.

В какой мере описания костюма или его зрительный образ, созданный миниатюристом, художником адекватен реальности, той конкретной ситуации, в контексте которой костюм функционирует? Какова его ментальная, знаковая нагрузка? Реалии подлинной жизни или мир представлений автора текста, художника стоят за описаниями костюма? Эти вопросы сегодня все чаще заставляют задумываться историков материальной культуры и повседневности. О том, что они не праздны, свидетельствует, например, уже упоминавшаяся выше работа, посвященная костюму в иллюстрациях «Саксонского зеркала». Шмидт-Виеганд отмечает бросающиеся в глаза различия в изображении одежды, в частности официального костюма (орната) знатных лиц: однотонно-зеленый с поясом рок, венец на непокрытых ниспадающих до плеч волосах. В одном случае венец из простого металла с лилиями на форзацах. В другом — из золота с красными лилиями. У князей и знатных вассалов венец надет на головной убор — гутель. Но если венец, как символ знатности, в общем передан реалистически, то костюм в целом свидетельствует скорее о потребности художника выделить своих героев из основной массы: светло-зеленый или с разрезами рок красного цвета, облегающие ногу шосс, открытая обувь. Немало произвольного, продиктованного скорее собственными представлениями, чем реальностью, в изображении императорского орната, который напоминает больше одеяние духовного лица, чем подлинную королевскую альбу и тунику. Показательна также функциональная нагрузка таких элементов как королевская корона или головной убор знатного лица. Это знак статуса, достоинства, но не ситуации, в которой ее фактически надевали. Если головные уборы судей, например, своей формой соответствовали тем, что существовали в действительности, то цвет их, как всегда яркий,



когда речь шла о знатном должностном лице, выбирался иллюстратором произвольно, соответственно представлениям, бытующим в народной среде.

## ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ

Чрезвычайная полисемантичность средневекового костюма, проблемы и перспективы изучения отдельных его элементов, выявленные социолингвистическими и культурантропологическими исследованиями последних десятилетий, так же как и расширение наших представлений о средневековой культуре в целом, о присущей Средневековью картине мира и специфике преломления ее в памятниках письменности, иконографии выявили круг проблем, над которыми практически не задумывались историки материальной культуры не только прошлого века, но и первой половины нынешнего. Одна из таких проблем связана, как уже отмечалось выше, с терминологией одежды. Как соотносятся названия, обозначения костюма, вещи с ее реальным фасоном, внешним видом — особенно в позднее Средневековье, когда изменения происходили чаще, а мода стала скоротечной, когда, наряду с сословным, традиционным «старым» костюмом соседствовали новые его виды и элементы? И в какой мере приложимы современные классификационные категории видов одежды к средневековой терминологии костюма?

Средневековье отличало «нижнее», «верхнее» платье и еще платье, надевавшееся поверх обоих. Но употребление этих отдельных видов одежды отличалось от современного. Нижнее белье в нашем понимании — рубаха, штаны, изготовлявшиеся из льна, археологически практически не сохранились. Редко оно присутствует в изобразительном материале, так же как в письменных источниках. Не всегда адекватны и однозначны, как мы могли видеть это выше на примере рок, шаубен XVI в., мантиль, различия между «нижним» и «верхним» платьем, так же как «верхним» и тем, что надевалось еще поверх, причем это последнее могло быть надето не только в церковь, но и дома. Не менее условны обозначения типа «новое», «старое». Так, в 1343—1344 гг. при французском дворе, откуда тогда начала свое движение мода на короткое и узкое мужское платье, в многочисленных инвентариях делаются различия: «*de novo*» и «*de antiquo*». При этом последнее относилось к еще не ношенной, но длинного фасона мужской одежде.

Осложняют реконструкцию реального костюма и региональные вариации названий типа одежды. Исследователи стремятся опе-

реться на какие-то общие и относительно бесспорные понятия, как например *mantel*, в своей изначальной форме представлявший несшитый четырехугольный кусок ткани или покрой типа пончо; *heuke* или фр. *houppelande* — просторное облачение, с поясом, длиной до колен, иногда до земли, с длинными широкими рукавами, частично открывающими руки.

Лишь одна немецкая *Shaube* XV в. более или менее близка к пальто в современном смысле: длинные полуприлегающие рукава, передняя застежка, поднимающийся воротник.

Другая проблема, тесно связанная с первой, — критика источника, письменного или изобразительного, из которого черпается описание костюма, терминология одежды. При анализе необходимо учитывать его происхождение, особенности, присущие жанру, специфику фразеологии, клише и т.п. Общим для средневековых памятников, как источников свидетельств о костюме, является то, что они в принципе не ориентированы на описание индивидуального. В рыцарских романах, изобилующих характеристиками костюма, в центре — идеальный тип, модный идеал. Описания одежды носят символический характер. Их «точность» в изображении деталей, цвета и т.д. подчинена задаче раскрыть статус и характер героя, прояснить его действия, поступки, не более того.

Не дает адекватного отражения действительности и моралистическая литература. Ее критика не имеет в виду реальную ситуацию, преследуя преимущественно и прежде всего цель дидактическую — воспитание благочестия. Исследовавшая эту сторону проблемы австрийский историк повседневной культуры Хельга Шупперт подчеркивает сильную связь с традицией, «требованиями жанра» авторов средневековых трактатов, выступавших с критикой костюма и излишеств моды. Терминология этих произведений, пишет Шупперт, зачастую восходит к Библии, отцам церкви, канонам проповеднического искусства. Через столетия, вплоть до эпохи барокко, повторяются слова, выражения, целые пассажи — типа «длинные одежды», «высокие головные уборы», «деревянная обувь», «длинные рукава на одежде», «разрезы на мантиль и туниках», «длинные шлейфы» и т.д.

Через всю моралистическую литературу Средневековья проходит метафора «павлиний хвост», восходящая к проповеди Григория Назианзина, осуждавшего женщин за щегольство и длинные шлейфы как олицетворение греха «гордыни». Она не имеет фактически отношения ни к реальному типу платья, ни головного убора. Эти и подобные описания вне времени<sup>43</sup>

Таким образом, взятое в отдельности понятие, изображение костюма, так же как и его описание, не могут быть истолкованы

однозначно, как прямое воспроизведение реальности. Путь к ней, полагают сегодня историки культуры, лежит через критический сравнительный анализ свидетельств источников разных типов и жанров, через выявление «за планом выражения» плана «содержания»: культурного кода, социальных функций, мифологических представлений. Особый интерес, с точки зрения социокультурного анализа, представляют источники, сочетающие текст и образ (как, например, редакции «Саксонского зеркала» или «Корабль Дураков» Себастиана Бранта, нюрнбергская «Шембартская хроника», описывающая масленничные карнавалы и костюмы их участников). Анализ слова и образа вещи в их взаимосвязи позволяет реконструировать развитие реального костюма, разграничить реально существовавшие его формы, типы, моду от рожденных фантазией и мифомагическими представлениями создателей исторического памятника, равно как и выявить факторы, влияющие на него, проследить все возрастающее в позднее Средневековье воздействие городской моды.

Внимание исследователей сегодня сосредоточено на выработке продуктивных методик, позволяющих прояснить терминологию, отделить топосы от реальных для рассматриваемого времени обозначений форм одежды, выяснить факторы, стоящие за сменой общих понятий другими, — конкретизирующими и специфическими. Это предполагает соединение разных подходов и приемов анализа: социолингвистического, филологического, историкоантропологического. Вместе с тем, нельзя не признать, что при всем обилии сегодня трудов, посвященных средневековому, в том числе и городскому костюму, наука находится все же лишь в начале пути его подлинного изучения.

## Примечания

<sup>1</sup> См.: Оболенская С.В. «История повседневности» в современной историографии ФРГ//Одиссей, 1990. М., 1990. С. 182—198.

<sup>2</sup> См.: Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции после 1950//Одиссей, 1991. М., 1991. С. 48—59.

<sup>3</sup> Kocka J. Sozialgeschichte. Göttingen, 1986. S. 167; Lüdke A. Was ist und wer treibt Alltagsgeschichte//Alltagsgeschichte. Zur Rekonstruktion historischer Erfahrung und Lebenswesen. Frankfurt a. M.; N.Y., 1990. S.9—47.

<sup>4</sup> Geschichte von unten/Hrsg. von Hubert Ch. Ehalt. Wien; Köln; Graz, 1984. S.7—40.

<sup>5</sup> Kohler A. Zum Geleit: Alltag im 16. Jahrhundert / Hrsg. von Kohler A., Lutz H. München, 1987. S. 9—22; Irsigler Fr. Kaufmannsmentalität im Mittelalter // Mentalität und Alltag im Spätmittelalter... S.53—75.

<sup>6</sup> Rosener W. Sozialgeschichte und mittelalterliche Realienkunde // Erforschung von Alltag und Sachkultur des Mittelalters. Wien, 1984. S.88—98.

<sup>7</sup> См.: Stadt und Fest / Hrsg. von Hugger P. Stuttgart, 1987. S.7—10.

<sup>8</sup> Jaritz G. Alltag zwischen Ewigkeit und Augenblick. Einführung in die Alltagsgeschichte des Mittelalters. Wien; Köln, 1989. S.9—12.

<sup>9</sup> Бродель Ф. Структуры повседневности. Возможное и невозможное. М., 1986. С.38—39.

<sup>10</sup> Le Goff J. La civilisation de l'Occident médiéval. P., 1964.

<sup>11</sup> Brodel F. Civilisation materielle, economie et capitalisme XVe—XVIIIe siècle. P., 1979. T. 1—3.

<sup>12</sup> См.: Ястребицкая А.Л. Повседневность и материальная культура Средневековья в отечественной медиевистике // Одиссей, 1991. С. 84—102; см. также: Карсавин Л.П. Философия истории. Берлин, 1923 (Переиздание работы см.: Памятники религиозно-философской мысли Нового времени. Русская религиозная философия. М.; СПб, 1993. С.100—102).

<sup>13</sup> См.: Stouff L. Modes de vie // La France médiévale. Sous la direction de Jean Favier P., 1983. P.50—57; Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное... С.338—339; Чернова А. Все краски мира, кроме желтой. М., 1987.

<sup>14</sup> Средневековые в его памятниках/Под ред. Егорова Д.Н. М., 1913. С.28.

<sup>15</sup> Schmiedt-Wiegand R. Kleidung, Tracht und Ornat nach den Bilderhandschriften des «Sachsenspiegels» // Terminologie und Typologie mittelalterlicher Sachgüter: Das Beispiel der Kleidung.— Wien, 1988. S.143—176, 144.

<sup>16</sup> Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. — М., 1992. С.312, 313, 315.

<sup>17</sup> Гуревич А.Я. Исторический синтез и «Школа Анналов». М., 1993. С.146—150.

<sup>18</sup> Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада... С.54.

<sup>19</sup> Гуревич А.Я. Исторический синтез и «Школа Анналов»... С.150.

<sup>20</sup> Дюби Ж. Куртуазная Любовь//Одиссей, 1989. — М., 1990. С. 92, 93, 96.

<sup>21</sup> Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада... С.268.

<sup>22</sup> Бродель Ф. Структуры повседневности... С. 339.

<sup>23</sup> Hundsichler H. Kleidung//Alltag im Spätmittelalter Graz, 1985. S.232—253.

<sup>24</sup> Stouff L. Op. cit. P.56—57.

<sup>25</sup> Hundsichler H. Op. cit., S.247—249.

<sup>26</sup> Stouff L. Op. cit. P.55.

<sup>27</sup> *Бродель Ф.* Структуры повседневности... С. 335, 338, 339—341, 342—343.

<sup>28</sup> *Schuppert H.* Bezeichnung, Bild und Sache//Terminologie und Typologie... S. 93—94.

<sup>29</sup> *Wilckens L. von.* Terminologie und Typologie spatmittelalterlicher Kleidung. Hinweise und Erläuterungen //Terminologie und Typologie... S.47—58; см.: S.56.

<sup>30</sup> *Hundsichler H.* Op. cit. S. 248.

<sup>31</sup> См. также: *Zander-Seidel J.* Ständischer Kleidung in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadt//Terminologie und Typologie... S.59—76; см.: S.60—61.

<sup>32</sup> *Hundsichler H.* Op. cit. S.232—235; 252—253.

<sup>33</sup> См.: *Zander-Seidel J.* Op. cit. S. 9; 60—68.

<sup>34</sup> Саксонское зеркало. Памятник, комментарий, исследования/Отв. ред. Корецкий В.М. М., 1985. С. 27—29; *Rieger A.* Beruf: joglaressa. Die Spielfrau im Okzitanischen Mittelalter//Feste und Feiern im Mittelalter. S. 229—244; *Schubert E.* Gauner, Dirnen und Gelichter in deutschen Städten des Mittelalters//Mentalität und Alltag im Spatmittelalter. — Göttingen, 1991. S.97—128.

<sup>35</sup> *Brandt A.* von Regesten der Lübecker Bürgertestamente des Mittelalters. Bd 1— 2. (1278—1363). Lübeck, 1964; *Schildhauer J.* Hansestädtischer Alltag. Untersuchungen auf der Grundlage der Stralsunder Bürgertestamente vom Anfang des 14. bis zum Ausgang des 16. Jahrh.//Abhandlungen zur Handels-und Sozialgeschichte. — Bd 28. Weimar, 1992. S.73—88.

<sup>36</sup> *Brandt A.* Op. cit. Bd 1. N 66, 318, 240, 298, 408; Bd 2. N 440, 455, 436.

<sup>37</sup> Немецкий средневековый город XIV—XV вв. С.60—62, 65.

<sup>38</sup> См.: *Jütte R.* Windfang und Wetterhahn. Die Kleidung der Bettler und Vaganten//Terminologie und Typologie... S. 117—204; 180—191.

<sup>39</sup> *Jaritz G.* Die Bruoch//Symbole des Alltags. Alltag der Symbole. Festschrift für Harri Kühnel zum 65. Geburtstag. Graz, 1992. S.395—416.

<sup>40</sup> См.: *Wilckens L.* Op. cit.

<sup>41</sup> Саксонское зеркало... С.29, 37—38; 44, 108.

<sup>42</sup> *Walter Ph.* Der Bär und der Erzbischof. Masken und Mummenschanz bei Hinkmar von Reims und Adalbero von Laon//Feste und Feiern im Mittelalter. Sigmaringen, 1991. S.337—390.

<sup>43</sup> *Schuppert H.* Op. cit. S.94—96.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, мы выделили и исследовали узловые моменты становления и развития современной урбанистики как социально-исторической дисциплины — от ее истоков в 20—30-е годы до последних десятилетий нынешнего столетия. Мы проследили долгий путь движения в этом направлении исследовательской мысли, смены и трансформации исследовательских парадигм: от постановки вопроса о социальном «измерении» в трактовке содержания феномена «средневековый город» до развертывания на этой основе, начиная с 60-х годов, разностороннего его изучения как специфической социальной структуры и социального пространства, его функционирования как особой социально-экономической системы средневекового общества; его связей с сельской экономикой, роли в структурах рынка, обмена, денежного обращения и т.д.

Следуя в общем русле развития медиевистических исследований в целом, урбанистика отдала должное структурному анализу. Расширение поля исторических исследований, накопление нового конкретно-исторического материала, развитие полидисциплинарности в изучении Средневековья обусловили чрезвычайный динамизм, особенно в последние полтора десятилетия, исследовательского инструментария и принципиальные изменения в познавательных приемах историков-урбанистов. Свидетельство тому — обращение к исторической демографии и культурантропологии, к изучению городской семьи, отношений родства, матримониальной практики, положения женщины, истории повседневности, ментальных представлений и социальной психологии и выработка на этой основе новой стратегии урбанистических исследований, ориентированной на целостное, в единстве культурного и социального, видение истории города и средневекового общества.

Этот подход отражает вместе с тем одну из генеральных тенденций исторической науки на современном этапе (истоки ее, впрочем, вполне различимы уже в начале и в первой половине нынешнего столетия) к осмыслению исторического прошлого в нерасторжимом единстве материальной, социальной практики людей и их ценностных ориентаций, которые они «определяют в процессе самоосознания» (Ж. Ле Гофф).

Городской материал сегодня широко привлекается исследователями средневековой ментальности и культуры. Вместе с тем, изучение самого города как особой социокультурной целостности

и ее функционирования в культурной системе Средневековья находится еще на начальной стадии. Это нашло отражение и в освещении этой проблемы в книге. Концентрируя внимание на общих и принципиальных вопросах городской истории и культуры, методологии и методах современных историко-культурных исследований города автор стремился прежде всего обозначить исследовательское пространство, освоенное Новой исторической наукой в этой области медиевистики во второй половине нынешнего столетия; подчеркнуть ее достижения, важнейшим из которых является собственно открытие Средневековья, как самостоятельной эпохи с особой организацией общественных отношений и своеобразными ценностями, и города, как интегрального и своеобразного элемента этой же социокультурной системы.

Без ясного понимания пройденного наукой пути, без осмысления ее открытий и тупиковых линий, без освоения уже достигнутого уровня познания исторического феномена, в данном случае средневекового города, продуктивное движение в направлении культурного синтеза вряд ли возможно.

## ЛИТЕРАТУРА

*Бессмертный Ю.Л.* Споры о главном // Новая и новейшая история. М., 1990. № 6. С. 123—131.

*Он же.* «Анналы»: Переломный момент? // Одиссей: Человек в истории. Культурно-антропологическая история сегодня, 1991. М., 1991. С. 7—24.

*Гуревич А.Я.* Историческая наука и историческая антропология // Вопр. философии. М., 1988. № 1.

Демография западноевропейского Средневековья в современной зарубежной историографии (К XVI Международному конгрессу исторических наук, Штуттгарт, 1985). М.: ИНИОН АН СССР, 1984.

*Дюби Ж.* Развитие исторических исследований во Франции после 1950 г. // Одиссей: Человек в истории. 1991. М., 1991. С. 48—59.

Идеология феодального общества в Западной Европе: Проблемы культуры и социокультурных представлений Средневековья в современной зарубежной историографии. М., 1980; Культура и общество в средние века: Методология и методика зарубежных исследований. М., 1982. Вып. 1: 1982; Вып. 2: 1987; Вып. 3: 1990.

*Ле Гофф Ж.* С небес на землю // Одиссей: Человек в истории. Культурно-антропологическая история сегодня. 1991. М., 1991. С. 25—47.

*Стоклицкая-Терешкович В.В.* Происхождение феодального города в Западной Европе // Вест. МГУ. М., 1955. № 1. С. 3—25.

*Тьерри О.* Городские коммуны во Франции в средние века: Пер. с фр. СПб., 1901.

*Ястребицкая А.Л.* Основные проблемы ранней истории средневекового города в освещении современной западной медиевистики // Средние века. М., 1980. Вып. 43. С. 218—274.

*Ястребицкая А.Л.* Быть историком сегодня: Обзор материалов Международного colloquium «Школа Анналов» вчера и сегодня // Новая и новейшая история. М., 1990. № 6. С. 132—140.



- Annales de démographie historique: Ville du passe.* 1982. P., 1982.
- Arnold W.* Verfassungsgeschichte der deutschen Freistädte. B., 1854.
- Barel Y.* La ville médiévale: système social, système urbain. Grenoble, 1975.
- Brunner O.* Stadt und Bürgertum in der europäischen Geschichte // *Idem.* Neue Wege der Sozialgeschichte: Vorträge und Aufsätze. Göttingen, 1956. S. 80—97.
- Bücher K.* Die Bevölkerung der Stadt Frankfurt-am-Main im Mittelalter. B., 1886. Bd 1.
- Burke P.* The historical anthropology of early modern Italy: Essays on perception and communication. Cambridge, 1987.
- Burke P.* Die «Annales» im globalen Context // Österr. Ztschr. für Geschichtswiss.: Geschichte neu schreiben. Wien. 1990. Jg. 1, H. 1. S. 9—24.
- Chartier R., Neveux H.* L'armature urbaine // Histoire de la France urbaine. T. 2. P. 23—50.
- La démographie médiévale: Sources et méthodes.* Nice; P., 1972.
- Doren A.* Untersuchungen zur Geschichte der Kaufmannsgilden des Mittelalters. Leipzig, 1893; *Idem.* Studien aus der florentiner Wirtschaftsgeschichte. B.; Stuttgart, 1901—1908. Bd. 1—2.
- Duby G.* L'urbanisation dans l'histoire // Études rurales. P., 1973. № 49—50. P.10—13.
- Duby G.* France rurale, France urbaine: Confrontation // Histoire de la France urbaine. P., 1980. T. 1. P. 13.
- Ehbrecht W.* Mittel- und Kleinstädte in der Territorialkonzeption Westfälischen Fürsten // Jb. für Regionalgeschichte. Weimar, 1987. Bd 14. S. 104—140.
- Eichhorn K.F.* Über den Ursprung der städtischen Verfassung in Deutschland//Ztschr. für geschichtliche Rechtswiss. B., 1815. Bd 1; Bd 2.
- Ennen E.* Frühgeschichte der europäischen Stadt. Bonn, 1953.
- Famille et parenté dans l'Occident médiéval.* P., 1977.
- Fevrie P.-A.* Vetera et nova: Le poids du passé, les germes de l'avenir I— IV siècle// Histoire de la France urbaine. P. 1980. T. 1. P.339—479.
- Fossier R.* Qu'est-ce que la ville // Enfance de L'Europe: Aspects économiques et sociaux. P., 1982. T. 2: Structures et problèmes. P. 980—986.

*Flandren J.-L.* Famille // La Nouvelle histoire. P., 1978.

Geschichte Grundbegriffe. Bonn, 1978. Bd 2. S. 254—255, 257, 266.

*Goody J.* The development of the family and marriage in Europe. Cambridge, 1983.

*Goudineau C.* Les villes de la paix romaine // Histoire de la France urbaine. P., 1980. T. 1 P. 309—382.

*Graus F.* Die Anfänge und Vorläufer der Städte im Westslawischen Gebiet // Settimana del centro di Studi... di Spoleto, XXI (1973). 1974, P. 231—266; 1901; *Guizot F.* Histoire generale de la civilisation en Europe. 3 ed. P., 1939 (Рус. пер.: *Гизо Ф.* История цивилизации в Европе. Спб., 1891.); *Guizot F.* Histoire de la civilisation en France. 2 ed. P., 1840. Vol. 1—4 (Рус. пер.: *Гизо Ф.* История цивилизации во Франции. Спб., 1877—1881. Т. 1—4).

*Haase C.* Stadtbegriff und Städtentstehungsschichten in Westfalen // Die Stadt des Mittelalters. Darmstadt, 1975. Bd 1. S.60—94; *Idem.* Die Mittelalterliche Stadt als Festung: Wehrpolitische militärische Einflußbedingungen im Werdegang der mittelalterlichen Stadt // *Ibidem*, S.377—407.

*Häpke R.* Die ökonomische Landschaft und die Gruppenstadt in der älteren Wirtschaftsgeschichte // Die Stadt des Mittelalters. Darmstadt, 1976. Bd. 3. S. 33—54.

*Haverkamp A.* Die «frühbürgerliche» Welt im hohen und späteren Mittelalter: Landesgeschichte und Geschichte der städtischen Gesellschaft. S.579—583.

Haus und Familie in der Spätmittelalterlichen Stadt. Köln, 1984.

*Heimpel H.* Auf neue Wegen der Wirtschaftsgeschichte // Die Stadt des Mittelalters. Darmstadt. 1976. Bd 3. S.9—32.

*Heit A.* Die mittelalterliche Stadt als begriffliches und definitorisches Problem // Die alte Stadt. Darmstadt, 1978. Bd. 5. S 350—408.

*Higounet-Nadal A.* La démographie des villes francaises au Moyen Âge // Annales de démographie historique, 1980. P., 1980.

Histoire de la famille / Sous la dir. de Burguiere A. et al. P., 1986—1987. T. 1—2.

*Irsigler F.* Ein Grossbürgerlichen Kölner Haushalt des 14. Jahrhunderts // Festschrift Mathias Zender. Bonn, 1972. Bd 2. S.635—668. *Idem.* Der Alltag einer hansischen Kaufmannsfamilie im Spiegel der

Veckinchusen Briefe // Hansische Geschichtsblätter Köln; Wien, 1985. 103. S.76—99.

*Isenmann E.* Die deutsche Stadt im Spätmittelalter 1250—1500. Stuttgart, 1988. S.19—25.

*Jecht H.* Studien zur gesellschaftlichen Struktur der mittelalterlichen Städte // Die Stadt des Mittelalters. Darmstadt, 1976. Bd. 3. S.217—256.

*Kellenbenz H.* Wirtschaft und Gesellschaft Europas, 1350—1650 // Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Stuttgart. 1986. Bd 3: Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte vom ausgehenden Mittelalter bis zur Mitte des 17., S.122—127; *Idem.* Bevölkerungsbewegung // *Ibidem*, S.110—127.

*Le Goff J.* Marchands et banquiers du Moyen Âge // Que sais-je, 699. P., 1956; *Idem.* Pour un autre Moyen Âge: Temps, travail et culture en Occident. 18 essais. P., 1977; *Idem.* L'Histoire nouvelle // La Nouvelle histoire. P., 1978. P. 210—241; *Idem.* Introduction // Histoire de la France urbaine. P., 1980. T. 2: La ville médiévale. P. 12—15; *Idem.* La bourse et la vie: L'économie et religion au Moyen Âge. P., 1986; *Idem.* L'imaginaire médiéval. P. 1985.

*Maschke E.* Städte und Menschen: Beiträge zur Geschichte der Stadt, der Wirtschaft und Gesellschaft 1959—1977. Wiesbaden, 1980.

Die Mittelalterliche Stadtebildung im Südöstlichen Europa / Hrsg. von Stöob H. Wien; Köln, 1977.

*Mollat M.* Les pauvres au Moyen Âge. P., 1978.

*Nitzsch K.* Ministerialität und Bürgertum im 11. und 12. Jahrhundert. B., 1859.

*Planitz H.* Die Deutsche Stadt des Mittelalters: Von der Römerzeit bis zu den Zunftkämpfen. Wien, 1973.

*Renouard Y.* Les villes d'Italie de la fin X-e siècle au du XIV-e siècle. P., 1969. T. 1—2.

*Rossiaud J.* Crises et consolidations // Histoire de la France urbaine. P., 1980. T. 2. P. 408—614.

*Schlesinger W.* Stadt und Burg im Lichte der Wortgeschichte // Studium generale. B., 1963. Bd 16, H. 6. S. 433—444.

*Schorn-Schütte L.* Territorialgeschichte, Regionalgeschichte // Civitatum Communitas: Studien zum europäischen Städtewesen. Köln; Wien, 1984. Teil 1. S. 390—416.

*Sombart W.* Der Begriff der Stadt // Archiv für Sozialwiss. und Sozialpolitik. B., 1907. T. 25. S. 1—9; *Sombart W.* Der moderne Kapitalismus: Historisch-systematische Darstellung des gesamteuropäischen Wirtschaftslebens von seinen Anfängen bis zur Gegenwart. München; Leipzig, 1922. S. 124—142.

Städteforschung: Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Stadtgeschichte in Münster / Hrsg. von Stoob H. Köln; Wien, 1960—1985. Bd 1—25.

*Stoob H.* Die Hochmittelalterliche Städtebildung im Okzident // Die Stadt: Gestalt und Wandel bis zum industriellen Zeitalter. Köln; Wien, 1985. S. 125—150.

*Toubert P.* Les structures du Latium médiéval. Rome. 1973. Vol. 1. P.314—377; 658—679.

Vor-und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter / Hrsg. v. Jahnkuhn H. Göttingen, 1973—1974. T. 1—2.

*Weber M.* Die Stadt: Begriffe und Kategorien // Archiv für Sozialwiss. und Sozialpolitik. B., 1921. T. 47. S.621—772.

*Wee H. van der.* Die Niederlande 1350—1670 // Handbuch der europäischen wirtschafts-und Sozialgeschichte. Stuttgart. 1986. Bd 3. S.573.

Zentralität als Problem der mittelalterlichen Stadtgeschichtsforschung / Hrsg. von Meynen E. Köln, 1979.

## СОДЕРЖАНИЕ

### ВВЕДЕНИЕ

История в движении	5
Примечания	21

#### *Очерк I*

Как писали историю средневекового города в прошлом и как ее пишут сегодня.	22
Смена парадигм .	23
Выработка дефиниции города	26
Городские функции	32
Об оценке социальной структуры города	38
Разнообразие в пространстве и движение во времени.	39
Итоги и перспективы .	46
Примечания	55

#### *Очерк II*

Новая социальная история европейского города: пути становления	57
Пересмотр традиционных проблем: понятие, происхождение, силы, участвовавшие в становлении города	59
Хозяйство. Общество. Социальные контрасты. Самосознание «Бюргерство» и «феодальный мир».	74
Предгородские поселения и ранние города в свете археологии Средневековья .	91.
«Городские ядра»: терминология, научные дефиниции.	97
Пересмотр теории А. Пиренна о происхождении городов	108
Вклад российской науки	111
Примечания	117
	139

#### *Очерк III*

Новые горизонты	144
Ключевые проблемы городской жизни в перспективе историко-демографических исследований	144
Городская семья: разложение традиционных форм или своеобразие развития?	166
Малые города как специфическая форма средневековой урбанизации.	191
Примечания . . . . .	221

#### *Очерк IV*

<b>Урбанистический образ жизни. Компоненты средневековой городской культуры.</b>	227
Овладение временем и пространством	229
Время	230
Пространство	244
Город как образ: урбанизм в средние века	293
Школа. Университет. Интеллектуалы.	309
Книжное дело — новая отрасль городского ремесленного производства	321
Примечания	336

#### *Очерк V*

<b>Город в системе повседневной культуры средневековья: костюм и мода. .</b>	341
К постановке проблемы .	341
Становление, этапы эволюции .	350
Перемены. Начало победного шествия моды	365
Город и мода. Бюргерский сословный костюм .	373
Одежда как элемент материальной культуры средневекового бюргерства .	382
Городская одежда как социокультурный код	391
Проблемы и перспективы изучения .	399
Примечания	401
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ .</b>	404
<b>ЛИТЕРАТУРА .</b>	406

**А.Л. ЯСТРЕБИЦКАЯ**  
**СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА И ГОРОД**  
**В НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ**

*Учебное пособие*

Зав. редакцией **В.И. Михалевская**  
Технический редактор **Г.З. Кузнецова**

ЛР № 060663 от 05.02.92.

Подписано в печать 17.10.95. Формат 60х90/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,0. Тираж 3000 экз. Бесплатно. Зак. № 1099.

Фирма «Интерпракс», 101430, Москва, Звонарский пер., 4

---

Отпечатано с готового оригинала-макета в Московской типографии № 6  
Комитета Российской Федерации по печати.  
109088, Москва, Южнопортовая ул., 28

БЕСПЛАТНО



ПРОГРАММА  
ОБНОВЛЕНИЕ  
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РОССИИ